

Элизабет Таскем

МЭРИ  
БАРТОН



## Annotation

В 1871 году литературный критик «Отечественных записок» М. Цебрикова, особо остановившись на творчестве Гаскелл в своей статье «Англичанки-романистки», так характеризовала значение «Мэри Бартон» и других ее социальных произведений: «... Сделать рабочий народ героем своих романов, показать, сколько сил таится в нем, сказать слово за его право на человеческое развитие было делом женщины».

---

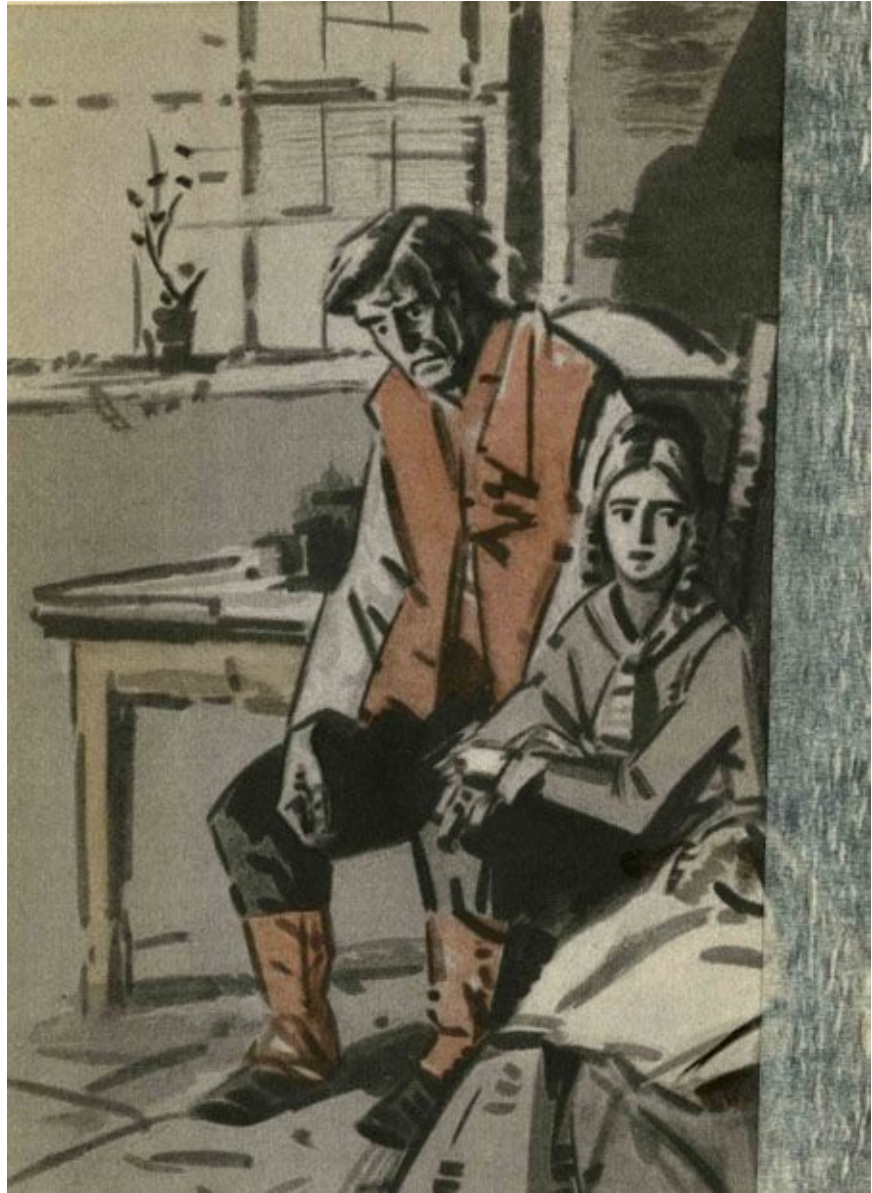
- [Элизабет Гаскелл](#)
  - 
  - [Предисловие](#)
  - [ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА](#)
  - [ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ](#)
  - [ГЛАВА II](#)
  - [ГЛАВА III](#)
  - [ГЛАВА IV](#)
  - [ГЛАВА V](#)
  - [ГЛАВА VI](#)
  - [ГЛАВА VII](#)
  - [ГЛАВА VIII](#)
  - [ГЛАВА IX](#)
  - [ГЛАВА X](#)
  - [ГЛАВА XI](#)
  - [ГЛАВА XII](#)
  - [ГЛАВА XIII](#)
  - [ГЛАВА XIV](#)
  - [ГЛАВА XV](#)
  - [ГЛАВА XVI](#)
  - [ГЛАВА XVII](#)
  - [ГЛАВА XVIII](#)
  - [ГЛАВА XIX](#)
  - [ГЛАВА XX](#)
  - [ГЛАВА XXI](#)
  - [ГЛАВА XXII](#)
  - [ГЛАВА XXIII](#)
  - [ГЛАВА XXIV](#)

- [illegible]



[illegible]





**Элизабет Гаскелл**

**Мэри Бартон**

*OCR – vetter*

*Spellcheck – SanTERS*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1963

*ELIZABETH GASKELL "MARY BARTON", 1848*

*Перевод с английского Т. КУДРЯВЦЕВОЙ*

*Редактор перевода И. ГУРОВА*

*Вступительная статья А. ЕЛИСТРАТОВОЙ*

*Художник В. МИНАЕВ*



## Предисловие

Осенью 1832 года среди прихожан церкви на Кросс-стрит, в Манчестере, не прекращались толки о событии, всколыхнувшем их маленький мирок. Их священник, мистер Уильям Гаскелл, женился на некой мисс Элизабет Клегорн Стивенсон и только что вернулся в Манчестер из свадебного путешествия с молодой женой. Как-то справится новобрачная, которой только что исполнилось двадцать года, со своими новыми обязанностями? Как-то освоится она, выросшая на вольном воздухе, среди фруктовых садов и лугов, с дымным и шумным фабричным Манчестером? Какие бы догадки ни строили досужие собеседники насчет миссис Гаскелл, даже в самых смелых своих домыслах они, конечно, не могли предугадать ее будущего. Кто бы мог подумать, что эта скромная молодая женщина, с таким спокойным выражением безупречно правильного лица и кротким взглядом серо-голубых глаз, сумеет восстановить против себя все респектабельные английские газеты и журналы, от местной «Манчестер гардиен» до «Квотерли ревю» и «Эдинбургского обозрения»? Кто бы мог подумать, что она осмелится сочинять и выпускать в свет такие книги, которые навлекут на нее обвинения клевете, в подрыве существующего общественного строя, в натравливании низших классов на высшие и в преступном пренебрежении христианской моралью, – так что кое-кто из самых почтенных прихожан преподобного мистера Гаскелла сочтет долгом собственноручно бросить ее богомерзкие писания в горящий камин?

Казалось, воспитание, обычаи и семейные обстоятельства заранее предопределяли русло, в котором должно было бы течь незаметное существование молодой женщины. Заботы о семье и о доме, визиты к наиболее видным и влиятельным прихожанам мужа, неуклонное соблюдение «дня субботнего», немножко душеспасительной филантропии – и очень много жалоб, за чашкой чая, на неблагодарность прислуги и испорченность «низших классов»... Так могла бы сложиться ее жизнь. Она могла бы даже благодушно «не заметить» той бездны нищеты и отчаяния, которая разверзлась в «голодные сороковые годы» перед рабочей беднотой, ютившейся в трущобах Манчестера. Ведь прихожане мистера Гаскелла принадлежали по большей части к обеспеченным буржуазным кругам: в Манчестере шутили, что церковь на Кросс-стрит рассчитана на тех, кто намерен «въехать в рай в экипаже». А сам город, по свидетельству столь

наблюдательного очевидца, как Энгельс, «расположен так своеобразно, что человек может прожить в нем много лет, выходить на улицу ежедневно и ни разу не побывать в рабочем квартале и даже не прийти в соприкосновение с рабочими, если вообще будет выходить только по своим делам или на прогулку» <sup>[1]</sup>.

Но миссис Гаскелл принадлежала к числу тех беспокойных натур, которые не умеют ограничиваться «своими делами». Она добросовестно исполняла все то, чего требовал от нее долг хозяйки и матери семейства: вырастила четверых детей (и похоронила еще двоих); заботилась о белье преподобного мистера Гаскелла; учила порядку неопытных служанок и гордилась тем, что держала в Манчестере свою корову, домашнюю птицу и свиней. Но это была только одна сторона ее жизни.

«У меня – много «я»; в этом вся беда», – так, полушутя, полувсерьез, признавалась сама Элизабет Гаскелл в письме подруге. «Одно из моих «я», как мне кажется, настоящая христианка (только люди называют ее социалисткой и коммунисткой), другое из моих «я» – жена и мать... А потом у меня есть еще одно «я», с развитым вкусом к красоте и удобству... Как мне примирить все эти враждующие существа? Я стараюсь заглушить самое себя (мое первое «я»), говоря себе, что все должен решать Уильям и что его чувство справедливости должно быть для меня законом. И так оно и есть, – да только не совсем так...»

По счастью для самой Элизабет Гаскелл и для английской литературы, ей не удалось заглушить голос своего «первого я». Если христианская мораль и сказывается, в большей или меньшей степени, во всем ее творчестве, то значение лучших ее книг определяется тем, что в них, наперекор этой морали, отразилась действительная правда жизни.

«Обратимся теперь к точке зрения рабочих», – замечает она, описывая в «Мэри Бартон» конфликт манчестерских ткачей и прядильщиков с фабрикантами.

В тогдашних условиях нужна была большая смелость для того, чтобы допустить право на существование особой, самостоятельной «точки зрения рабочих», противоположной убеждениям капиталистов, и еще большая смелость нужна была для того, чтобы сделать эту «точку зрения рабочих» предметом изображения в литературе. «Что ж, это добрая почва, но все же она слишком тверда для поступи художественного вымысла; боюсь, что она окажется по временам каменистой, тернистой», – предупреждала молодую Элизабет Гаскелл Шарлотта Бронте, писательница, которой довелось убедиться на собственном опыте, как нетерпимо было общественное мнение буржуазной Англии к тем, кто посягал на ее устои и традиции.

В середине сороковых годов прошлого века, в ту пору, когда у Гаскелл возник первоначальный замысел «Мэри Бартон» – романа, посвященного жизни и борьбе манчестерских рабочих, – эта «каменистая, тернистая почва» не разрабатывалась еще почти никем из английских писателей.

В 1845 году – а именно к этому году относится начало работы писательницы над «Мэри Бартон» – Дизраэли опубликовал свой роман «Сибилла, или Две нации». Но изображенные им столкновения рабочих с предпринимателями служили автору поводом для пропаганды торийских консервативно-аристократических взглядов. Темной, одичавшей и опустившейся массе пролетариата романист противопоставлял романтически идеализированных «спасителей» народа, аристократов, людей «голубой крови»; сама его героиня, работница Сибилла, оказывалась в конце концов наследницей знатного рода.

Социально-исторический роман Шарлотты Бронте «Шерли», действие которого, относящееся ко времени луддитского рабочего движения, во многом перекликалось с современностью, вышел в 1849 году, годом позже «Мэри Бартон» (1848). А «Тяжелые времена» – единственный роман Диккенса, целиком посвященный проблеме труда и капитала в промышленной Англии, – появился только в 1854 году. Друг Диккенса и знаток его творчества Джон Форстер (который в качестве консультанта издательской фирмы «Чепмен и Холл» рекомендовал к печати «Мэри Бартон») недвусмысленно подчеркивал приоритет Гаскелл в изображении социальных конфликтов в английской индустрии. «Могу, если понадобится, засвидетельствовать, – писал ей Форстер в 1854 году, – что Ваши представления об этом предмете сложились раньше, чем у него (то есть у Диккенса. – А. Е.), и совершенно независимо от него».

Гаскелл родилась в Лондоне, где служил ее отец; но, рано лишившись матери, она выросла у родных, в маленьком городке Натсфорде, в графстве Чешир, в обстановке, очень непохожей на «раскаленный, страшный, дымный, гнусный Вавилон Великий», каким показался ей Манчестер.

Хотя Натсфорд находился всего в 16-ти милях от Манчестера, он принадлежал к другому миру. Здесь еще были живы патриархальные традиции старой Англии, не затронутые индустриальным капиталистическим развитием. Здесь еще праздновали по-старинному первое мая, соблюдая древние обычаи украшения города. Средневековые коттеджи, со стенами, выложенными из черных и белых дубовых балок, стояли бок о бок с более новыми кирпичными особняками XVIII века, окруженными живыми изгородями, лужайками и фруктовыми садами, со шпалерами слив и груш вдоль обомшелых каменных стен. Окрестные

фермеры привозили деревенские припасы на старинный рынок, основанный, по преданию, еще в XIII веке; да и сам Натсфорд, населенный мелкими домовладельцами, чиновниками в отставке да одинокими дамами, доживающими свой век на проценты со скромной пожизненной ренты, походил на большую деревню. В образе Крэнфорда – захолустного городка, где разворачивается действие ее одноименной книги, – Гаскелл воссоздала впоследствии атмосферу тихого, старосветского Натсфорда, где прошло ее детство.

Резкий контраст между этой провинциальной идиллией и манчестерским промышленным адом обострил наблюдательность будущей романистки и помог ей особенно живо почувствовать всю противоестественность существования, на которое были обречены тысячи рабочих Манчестера. Потрясающие картины голода и нищеты; отвратительные вонючие трущобы, где люди живут в тесноте и грязи, в какой рачительный хозяин не стал бы держать скотину; дворы, превращенные в сточные ямы, улицы, куда не заглядывает солнце и где самый воздух отравлен дымом, зловонием и миазмами, – она увидела все это и изобразила так точно, что иные сцены ее романа «Мэри Бартон» совпадают почти дословно со страницами, полными «отвращения и негодования» <sup>[2]</sup> которые посвятил Манчестеру Энгельс в своем «Положении рабочего класса в Англии».

Когда тяжелое горе – смерть десятилетнего сына – заставило Элизабет Гаскелл взяться за перо, в надежде забыться, дав новую работу воображению и памяти, она оказалась перед выбором: писать ли о том, что окружало ее в Манчестере, или отвлечься от этой суровой и мрачной действительности и писать о доброй старой деревенской Англии былых времен. Сперва – как вспоминает сама писательница в предисловии к «Мэри Бартон» – она избрала последнее.

Но действительная жизнь слишком властно звала ее к себе. «Глубокое сочувствие», которое, по словам самой писательницы, внушали ей рабочие, определило в конце концов и выбор героев, и выбор темы ее первой книги, а вместе с тем и все направление ее творчества. «...вдруг мне пришло в голову, что ведь и в жизни тех, с кем я ежедневно сталкиваюсь на улицах Манчестера, наверно, тоже немало глубоких чувств и благородства», – вспоминала Гаскелл. Начатая молодой женщиной повесть о старом захолустном Йоркшире была отложена в сторону; вместо этого на страницах ее книги ожили и заговорили простонародным, грубым, но зато полным энергии и страсти языком манчестерские рабочие и работницы. В страданиях рабочих, в объединяющем их чувстве товарищеской

солидарности и в их борьбе за социальную справедливость Элизабет Гаскелл уловила ту «романтику» современной истории, которая и поныне придает поэтическую привлекательность и жизненную силу ее первому роману – «Мэри Бартон».

«Ланкашир, в особенности Манчестер, является местонахождением сильнейших рабочих союзов, центром чартизма, пунктом, где насчитывается больше всего социалистов» <sup>[3]</sup>, – писал Энгельс в «Положении рабочего класса в Англии». Манчестерский рабочий Джон Бартон – «чартист, коммунист», как называет его сама Гаскелл, – стал главным действующим лицом ее книги. Первоначально именно его имя служило заглавием романа. Только по настоянию издательства, которому такой выбор показался слишком рискованным, писательнице пришлось выдвинуть на передний план образ дочери старого революционера, швеи Мэри Бартон, и назвать роман ее именем.

Можно только предположительно судить о том, как строился первый вариант романа. Но и в существующем, окончательном тексте книги образ Джона Бартона играет важную роль. В трактовке этой фигуры наглядно отразились и сильные и слабые стороны реализма Гаскелл – ее искреннее сочувствие рабочим и стремление правдиво выразить их требования и надежды, а вместе с тем и ее иллюзии относительно возможности «примирения» классов в буржуазном обществе, заставлявшие ее отступать от жизненной правды.

Действие романа разворачивается на протяжении нескольких лет, и писательница приобщает читателей к истории духовного роста своего героя. Сначала это рядовой рабочий, которого тяжелые удары судьбы заставляют задуматься над своим положением и проникнуться глубоко осознанной враждебностью к капиталистам. Он не может забыть ни страданий крошки-сына, погибшего от голода, ни падения свояченицы, своей любимицы Эстер, которую нужда сделала проституткой, ни безвременной смерти жены, сломленной лишениями и горем. Постепенно обобщая свой жизненный опыт, Джон Бартон начинает мыслить все более широкими понятиями; сначала он становится членом профессионального союза; потом – застрельщиком борьбы за хартию, одним из руководителей масс, которого чартисты Манчестера посылают в Лондон, доверяя ему защиту своих требований перед парламентом. И наконец, когда жизнь убедила его в недейственности «мирной» политической агитации, петиций и просьб, он становится сторонником революционного действия.

Элизабет Гаскелл рисует Джона Бартона как типическую фигуру своего времени. Она понимает, что такие характеры, полные суровой

решимости и воли к борьбе, естественно и закономерно возникают в гуще народа.

Не разделяя его убеждений, она тем не менее отзывается о них с уважением. «Джон Бартон стал чартистом, коммунистом, – словом, стал одним из тех, кого обычно называют безумцами и мечтателями. Но разве быть мечтателем – так уж плохо? Это значит – быть человеком, которому ведомы не только эгоистические, плотские желания, человеком, который желает счастья другим, а не только себе».

Нужна была немалая смелость и проницательность, чтобы в ту пору отнестись таким образом к взглядам чартистов, которых буржуазная пресса поносила как опасных преступников и злодеев.

Мы не найдем в «Мэри Бартон» точной характеристики политической программы чартизма, да этого и нельзя было бы ждать от Гаскелл. Но реализм писательницы проявляется не только в правдивом изображении ужасающих бедствий пролетариата, но и в стремлении воздать должное нравственным достоинствам рабочих-революционеров, наперекор клевете и насмешкам, которые извергала на них буржуазная печать. Гаскелл пишет о ясном уме Джона Бартона, о его энергии, организаторском таланте, о его «грубом ланкаширском красноречии», покорявшем рабочих, чьи чувства он умел «облечь в слова». И как самое главное, она подчеркивает глубочайшее бескорыстие своего героя-чартиста: «...все с ним соприкасавшиеся чувствовали, насколько бескорыстны его побуждения. Он отстаивал интересы своего класса, своего общества, а вовсе не собственные права».

Нельзя не почувствовать даже теперь, по прошествии целого столетия, полемического, антибуржуазного смысла этих слов, как и всех тех многочисленных эпизодов романа, где Гаскелл приводит живые примеры самоотверженной солидарности рабочих. Иронизируя над теми, кто возмущается пороками бедноты, она призывает читателей, напротив, преклониться перед героизмом тружеников. Рабочие, провозглашает она, совершают в своем единении не менее благородные подвиги, чем самые прославленные рыцари прежних времен. Готовность к самопожертвованию, отзывчивость, дружелюбие, доброта Бартона не раз проявляются в романе, прежде чем он предстает перед нами в роли террориста, убивающего по тайному приговору рабочих ненавистного им фабриканта Карсона.

В изображении этого террористического акта писательница была близка к жизни. В «Положении рабочего класса в Англии» Энгельс писал, что «в периоды особенного возбуждения» на протяжении 30-40-х годов рабочим союзам случалось предпринимать – «с ведома или без ведома

руководителей – отдельные действия, которые можно объяснить только ненавистью, доведенной до отчаяния, дикой страстью, переходящей всякие границы» [4]. В числе подобных актов классовой мести – нападений на штрейкбрехеров, поджогов и взрывов на предприятиях – Энгельс приводит и случай убийства фабриканта, представляющий непосредственную аналогию судьбе Гарри Карсона, застреленного Джоном Бартоном: «Однажды вечером, во время сильных волнений среди рабочих в 1831 г., в поле был застрелен молодой Аштон, фабрикант из Хайда близ Манчестера; убийца остался необнаруженным. Нет никакого сомнения в том, что это являлось актом мести со стороны рабочих» [5].

Биографы Гаскелл рассказывают, что сестра убитого Аштона (упомянутого Энгельсом) упала в обморок, когда, читая роман «Мэри Бартон», дошла до сцены гибели молодого Карсона: так схоже было событие, изображенное автором этой книги, с подлинной историей ее брата. Но правдивость образа Джона Бартона определяется, конечно, не только этой жизненной достоверностью отдельных подробностей. Показывая, как сформировался в жестокой школе страданий и борьбы этот суровый, глубокий и цельный характер, Гаскелл уловила важные действительные закономерности духовного и политического возмужания рабочего класса Англии в период чартизма.

В сюжете романа начало личное, семейное неразрывно сплетается с началом общественно-историческим. Гаскелл при этом проявила и редкий художественный такт, и социальное чутье, наотрез отказавшись в мотивировку убийства Карсона какие-либо субъективные, эгоистические побуждения. Ей было бы легко построить сюжет так, чтобы драматическая катастрофа – убийство Карсона – была результатом ревности его соперника, Джема Уилсона, или же личного озлобления Бартона, мстящего обидчику дочери. Многие тогдашние читатели и читательницы гораздо охотнее «проглотили» бы этот эпизод, будь он сервирован им под таким сентиментально-патетическим соусом. Гаскелл избежала этой пошлости и фальши: в ее романе Джон Бартон даже и не подозревает, что молодой фабрикант, которого ему предстоит убить, посягает на честь Мэри; а Джем Уилсон, знающий об этом и пылающий ревностью и злобой, неповинен в совершающемся убийстве.

Писательница отступает от реалистической мотивировки характеров и событий только *после* этого вершинного пункта романа, отступает именно в том, что касается изображения дальнейшей судьбы Джона Бартона. Современный читатель не сможет не почувствовать особенно резко

разительный контраст между суровой социально-исторической правдивостью, преобладающей в повествовании Гаскелл вплоть до эпизода гибели молодого Карсона включительно, и теми навязчивыми дидактическими христианско-примирительными мотивами, под знаком которых излагается история духовного краха, мучительного раскаяния и безвременной смерти, какими Джон Бартон якобы расплачивается за совершенное им убийство. В изображении нравственного банкротства этого рабочего вожака, который отказывается на смертном одре от суровой непреклонности и непримиримости, каким научила его жизнь, и смиренно обнимает как «брата во Христе» отца своей жертвы, ярого врага рабочих, фабриканта Карсона-старшего, Гаскелл-пасторша берет верх над Гаскелл-реалисткой.

Проповедь христианского примирения враждующих классов, которой писательница попыталась закончить свой роман, с необычайной для того времени силой и выразительностью показавший разделяющую эти классы бездну, никого не убедила. Консервативная пресса выступила сомкнутым строем против «Мэри Бартон», как опасной, зловредной книги. Автора (чье имя долгое время оставалось неизвестным) обвиняли в незнании политической экономии, в предвзятости, в намерении внушить беднякам «фатально ложное представление» об ответственности капитализма за их бедствия. Особенно велико было возмущение местных, манчестерских, капиталистов: их газета «Манчестер гардиен» усматривала в «Мэри Бартон» непростительное проявление «болезненной чувствительности к положению фабричных рабочих, вошедшей в моду за последнее время».

Роман, однако, был значителен не только сочувствием, с каким Элизабет Гаскелл воспроизвела ужасающие бедствия английских тружеников на рубеже «голодных сороковых годов». «Не хватало только Данте, чтобы описать их страдания», – лаконично замечает она. Но важно было и то, что в людях, находящихся в последних кругах, на самом дне этого нового, индустриально-капиталистического ада, она сумела распознать черты подлинно человеческого благородства и достоинства, которые вызвали в ней глубокое уважение.

В одном из дружеских писем Гаскелл признавалась, что находилась под особым обаянием личности Джона Бартона, единственного из персонажей ее книги, который, по ее словам, был взят ею прямо из жизни, хотя и поставлен в вымышленные обстоятельства. «Вокруг характера Джона Бартона, – писала она, – сгруппировались все остальные; он был моим героем, *тем* лицом, которому принадлежали все мои симпатии».

Но и «все остальные» рабочие и работницы Манчестера, вовлеченные



в действие романа – дочь Бартон Мэри, ее будущий муж Джем Уилсон, старый ткач Джоб Лег и его внучка Маргарет и другие, – изображены писательницей внимательно и любовно. В массе рабочих, которых английские предприниматели пренебрежительно именовали словом «руки» (hands), как бы отказывая им даже в праве на человеческую индивидуальность, Гаскелл обнаружила много одаренных природой, оригинально мыслящих и тонко чувствующих людей. Современные Гаскелл читатели не могли не ощущать особого полемического смысла в той настойчивости, с какою она ссылалась на многочисленные примеры высокого интеллектуального развития, встречающиеся среди манчестерских рабочих, несмотря на их вопиющую приниженность и нужду. Она упоминает о ткачах, ночами изучающих труды Ньютона, о рабочих-энтомологах и ботаниках, обогативших науку новыми наблюдениями. Одним из таких самородков является естествоиспытатель по призванию, старый чудак Джоб Лег, чье наивное резонерство не мешает ему оставаться человеком большого сердца и живого ума. Трогателен образ его внучки Маргарет – швеи, ослепшей от непосильного труда, которая, благодаря редкой врожденной музыкальности, стала, на радость себе и другим, талантливой исполнительницей народных песен. Незауряден по натуре и молодой Джем Уилсон – дельный механик, изобретатель-самоучка, на которого с таким необоснованным высокомерным презрением смотрит его соперник, пустой лощеный франт Карсон-младший. Джем Уилсон стоит в стороне от политической борьбы и не разделяет убеждений Джона Бартон; но он верен неписаному закону рабочей солидарности и, будучи обвинен в убийстве Карсона, даже не пытается оправдываться, хотя прекрасно знает, кто убийца.

Оригинален и характер Мэри Бартон. Она совсем непохожа на тех ангелоподобных, безупречных – и безличных – героинь, которые во множестве населяли страницы английских романов во времена королевы Виктории, проникая иногда даже в произведения Диккенса и Теккерея. Эта молоденькая модисточка, выросшая среди соблазнов большого города с его контрастами роскоши и нужды, и капризна, и своевольна, и доступна многим искушениям. Ее самолюбивому воображению льстят домогательства столь блестящего поклонника, как Гарри Карсон. Наивно доверяясь его обещаниям, она по-детски тешит себя мечтами о том, как, выйдя за него, станет настоящей «леди», как обеспечит покой и достаток отцу... Но, в сущности, Карсону не удалось затронуть глубин ее сердца; оно принадлежит Джему, хотя сама Мэри не сразу понимает это. Те страницы, где показано, как из ветреной и тщеславной упрямцы Мэри

Бартон превращается в мужественную и самоотверженную женщину, которая с подлинным героизмом спасает жизнь Джему Уилсону и в решающий момент на судебном допросе прямодушно признается, что любила и любит только его, принадлежат к числу лучших в книге. Если этим страницам и присуща известная мелодраматическая патетичность, то в ней нет ничего фальшивого, ничего противоречащего жизненной логике характеров и положений, изображаемых писательницей.

Несколько искусственным может показаться самый конец истории Мэри и Джема Уилсона. Чтобы обеспечить своим молодым героям хотя бы скромное счастье, Гаскелл пришлось переселить их из угрюмого Манчестера в далекую Канаду. Так и Диккенс в «Дэвиде Копперфилде» заставил эмигрировать в Австралию многих своих несчастливцев (беднягу учителя Мелла, старого рыбака Пеготти с семьей и злополучных чудаков Микоберов), чтобы там сказочным образом даровать им всем желанный успех и удачу. Необходимость переселения молодоженов Уилсонов в Канаду косвенно свидетельствовала и о том, что сама Гаскелл не очень-то верила в практическую действенность своей проповеди классового примирения и всепрощения. Хотя Джем Уилсон и оправдан судом, над ним все же продолжает тяготеть подозрение в убийстве фабриканта; и ни ему, ни дочери старого бунтаря Бартона не житье в Манчестере.

Современники Гаскелл по праву воспринимали «Мэри Бартон» как животрепещуще актуальную книгу о вчерашнем и сегодняшнем дне тогдашней индустриальной Англии. Читатель нашего времени склонен будет скорее читать «Мэри Бартон» как *исторический* роман, и такое восприятие, по-своему, также будет оправдано.

Английские литературоведы XX века не жалуют «Мэри Бартон». Лайонель Стивенсон, автор «Панорамы английского романа» (1960), безапелляционно обвиняет автора «Мэри Бартон» в наивности и незнании жизни, хотя и не отрицает того, что она изображала факты, слишком хорошо известные ей по личным наблюдениям. Биограф Гаскелл Ивонна Френч вообще отказывается считать эту книгу произведением искусства. «Мы читаем «Мэри Бартон» не для удовольствия, а по той же причине, по какой принимаем лекарство», – пишет Френч, отдавая предпочтение тем позднейшим произведениям писательницы, где нет места «приторному пафосу», характеризующему якобы ее описания «бедствий рабочего класса». Она противопоставляет роману «Мэри Бартон», этому «воплю человеческого негодования», повесть «Крэнфорд», где Гаскелл будто бы «довольно мурлыкала, как кошка», и в особенности «Жены и дочери» – «роман английских нравов, который... не содержит никаких призывов, не

ставит никаких проблем, а попросту излагает умело задуманную любовную историю...» А.Б. Хопкинс, автор наиболее обстоятельного критико-биографического исследования о Гаскелл, также резко противопоставляет ее «полемическим писаниям» во главе с «Мэри Бартон» – более поздние произведения романистки, которые якобы «совершенно свободны от спорных злободневных проблем».

Такое противопоставление «Мэри Бартон» остальному творчеству Гаскелл неправомерно. Именно в «Мэри Бартон» сформировалось литературное дарование писательницы. Здесь оттачивалась ее наблюдательность; здесь выработалась ее чуткость к оттенкам устной речи, сделавшая ее мастером живого, выразительного диалога; здесь, в портретах манчестерских буржуа, испробовала она свою сатирическую иронию, которой впоследствии восхищался Маркс. Здесь же впервые проявились и сохранились на всю жизнь особый интерес Гаскелл к острым, драматическим ситуациям и ее смелость в выборе и трактовке «неприятных», а то и крамольных с точки зрения обывателя тем.

Социальная несправедливость, где бы она ни проявлялась, вызывала страстное возмущение писательницы. В исторической повести «Колдунья Лоис» она создала трогательный образ юной и чистой девушки, которая, переехав после смерти родителей из Англии в американские колонии, погибает на виселице как одна из жертв печально знаменитых салемских процессов конца XVII века, оклеветанная злобными и жестокими «охотниками за ведьмами». В романе «Север и Юг» (1854-1855), героиня которого, пылкая и благородная Маргарет Хэйл, наивно мечтающая о том, чтобы примирить и сдружить капиталистов с рабочими, кажется психологическим автопортретом самой писательницы, появляются две оригинальные фигуры, очень необычные для английского викторианского романа. Это – отец Маргарет, священник англиканской церкви, который уже на склоне лет, изверившись в церковных догматах, публично слагает с себя свой «сан» и обрекает себя на бедность и насмешки, чтобы не служить делу, которое считает неправым. И это сын его, брат Маргарет, лейтенант Фредерик Хэйл, молодой моряк, не вынесший жестокой издевательской дисциплины, установленной на его военном судне, и принявший вместе с матросами участие в восстании. Если он осмелится появиться в Англии (а он это делает), ему угрожает смертная казнь. В более позднем историческом романе «Женихи Сильвии» (1863), действие которого разворачивается в английском рыбацьем поселке во времена контрреволюционной войны с Францией в конце XVIII века, особенно запоминается образ старика крестьянина Дэниэля Робсона, отца героини.

Возмущенный действиями вербовщиков, насильственно захватывающих мирных жителей для пополнения флота, Робсон подбивает односельчан напасть на тюрьму, чтобы освободить завербованных, – и погибает на виселице, искренне не понимая, в чем состоит его «преступление»: ведь он же стоял за правду и свободу?

Даже в тех произведениях Гаскелл, которые могут показаться совершенно безмятежными, идиллия оттеняется противоположным, контрастным фоном. Это относится даже к таким светлым, «спокойным» книгам писательницы, как, например, «Кузина Филлис» (1864) или особенно широко известный «Крэнфорд» (1853) – вымышленное название, под которым Гаскелл изобразила с юмором и сердечной теплотой свой родной захолустный городок Натсфорд. Дочь Теккерея, Анна Ритчи Теккерей в своем предисловии к этой последней повести Гаскелл проницательно заметила, что если бы не «Мэри Бартон», «Крэнфорд» был бы написан совершенно иначе. Невинные причуды и эксцентрические привычки чудаковатых старосветских обитателей и обитательниц Крэнфорда кажутся писательнице особенно забавными и трогательными потому, что в них доживает свой век старая, докапиталистическая Англия. Рядом с Крэнфордом уже шумит и грохочет деловой индустриальный Драмбл, в котором угадывается тот же Манчестер. Оттуда в Крэнфорд приходят известия, будоражащие умы; там помещается тот банк, крушение которого причиняет столь тяжкий урон и беспомощной старенькой мисс Мэтти Дженкинс (главной «героине» повести), и другим горожанам и окрестным фермерам.

В повести «Кузина Филлис» аналогичную роль играет постройка железной дороги, меняющая не только пейзаж, но и нравы уединенной сельской местности, изображаемой писательницей. Молодой инженер, закончив строительство дороги на своем участке, уезжает работать в другое место; он не подозревает, какую бурю смятенных чувств вызвал в душе Филлис, выросшей в патриархальной фермерской семье и никогда еще не встречавшей людей его склада.

Трижды на протяжении не столь уж долгой литературной деятельности Гаскелл ее книги оказывались в центре особенно яростных общественных бурь. Первый раз это произошло в 1848 году, после выхода в свет «Мэри Бартон».

Во второй раз гроза разразилась после появления романа «Руфь» (1853). Судьба юной героини этой книги, швеи, совращенной и брошенной незадолго до рождения ребенка богатым любовником, складывается так, как могла бы сложиться судьба Мэри Бартон, если бы она уступила

домогательствам Карсона. Ханжеские вкусы буржуазных читателей и критиков были особенно возмущены тем оборотом, который Гаскелл придала этой обычной житейской истории. Ее «падшая» героиня не только не сломлена горем и раскаянием, но, напротив, мужественно растит своим трудом сына и радуется своему материнству. Когда отец ее мальчика, ничтожный Беллингэм, несколько лет спустя опять появляется на ее пути и в порыве снова вспыхнувшей страсти предлагает жениться на ней и «узаконить» сына, она с презрением отвергает это предложение. Она не хочет дать своему Леонарду такого отца: «Пусть лучше он работает на большой дороге, чем вести такую жизнь, быть таким, как вы...» Элизабет Гаскелл не решилась оборвать на этом свой роман и завершила его более сентиментально-компромиссным концом. Руфь, чье прошлое получило все-таки огласку, оказывается в положении отверженной. Но в городе вспыхивает эпидемия; самоотверженно ухаживая за больными, Руфь в конце концов восстанавливает героическим трудом свое доброе имя; но дни ее сочтены; она умирает, заразившись тифом от Беллингэма, который тоже оказался одним из ее пациентов. Поборники реалистической смелости в искусстве были разочарованы этой концовкой романа. «Почему она должна умереть?» – возмущалась Шарлотта Бронте. Однако даже смерть Руфи не смогла примирить с нею буржуазное общественное мнение. Роман изымали из библиотек, поносили его в популярных литературных журналах; Элизабет Гаскелл узнала, что по крайней мере двое из прихожан ее мужа собственноручно сожгли ее книгу, а третий запретил своей жене читать ее. «Я могу только сравнить себя со святым Себастьяном, привязанным к дереву, как мишень для стрел, – писала Гаскелл золовке. – В субботу я отчаянно проплакала весь вечер из-за того, какие недобрые вещи говорят обо мне люди... Я распростилась со всеми моими «респектабельными друзьями» во всей округе...» Но в том же письме Гаскелл, наперекор всем своим судьям, критикам и клеветникам, продолжает все же настаивать на своей правоте. «Я могла бы завтра же написать все это снова до последней буковки», – восклицает она, подразумевая свой крамольный роман.

В третий раз немало тревог и осложнений доставила писательнице ее биографическая книга «Жизнь Шарлотты Бронте» (1857), которую она сочла своим долгом написать по просьбе отца этой безвременно умершей романистки. Теперь, по прошествии целого столетия, рассказ Гаскелл о трагической судьбе Шарлотты Бронте и ее сестер может показаться даже слишком сдержанным и осторожным. Новейшие биографы смогли обрисовать более резкими штрихами беспросветное одиночество этих трех талантливых натур, томившихся, как в заточении, в отцовском пасторском

доме в йоркширской глуши, рвавшихся к деятельности, творчеству, любви и сошедших одна за другой в могилу, едва их первые книги успели получить признание. Но Гаскелл писала в ту пору, когда еще были живы многие участники жизненной драмы сестер Бронте; и, несмотря на всю ее деликатность, ее биография вызвала целую бурю негодования. По выражению одной из подруг умершей Шарлотты Бронте, Гаскелл «разворошила осиное гнездо». На автора посыпались обвинения в клевете. С особенной запальчивостью выступил сын директора той «благотворительной» школы (описанной Шарлоттой в «Джен Эйр»), где учились сестры Бронте и где детей истязали и морили голодом под ханжеской видимостью филантропии. Сочла себя оскорбленной и нелестно охарактеризованная в книге дама, в доме которой служил гувернером брат Шарлотты Бронте. Эти лица печатно угрожали привлечь Гаскелл к суду. Но этим дело не ограничилось. Протесты и жалобы множились. Овдовевший муж Шарлотты, пастор Никольс, предъявил длинный список бытовых подробностей и семейных анекдотов, которые требовал изъять из книги. Негодовали критики, уличенные автором биографии в их несправедливости к Шарлотте Бронте; сочли себя обиженными и ее приятельницы, и даже слуги пастора Бронте. «Жалуются все, кто упомянут в этой злополучной книге», – писала Гаскелл. Чтобы избежать грозивших ей судебных процессов, писательнице пришлось изъять из обращения второе издание «Жизни Шарлотты Бронте» и выпустить третье издание с купюрами. Может быть, с досадой восклицала Гаскелл в письме к своему издателю, в предисловии к новому изданию. следовало бы «выразить мое глубокое сожаление по поводу того, что я предложила публике столь дорого стоящий предмет потребления, – а именно правду». Гаскелл не могла не почувствовать, что ожесточение, вызванное ее книгой, объяснялось тем, что ханжеским, консервативным кругам английского общества был ненавистен непокорный, бунтарский дух творчества Шарлотты Бронте и ее биографа. Недаром обвинение в «духовной гордыне» было особенно громогласно предъявлено им обеим в полемике, вызванной «Жизнью Шарлотты Бронте».

В 1861-1865 годах, в связи с гражданской войной Севера и Юга в США, поставки американского хлопка в Англию сильно сократились, и в Манчестере снова свирепствовала безработица. В эти последние годы жизни Гаскелл отдавала много сил организации помощи голодающим. Ее здоровье было рано подорвано. На портрете 1864 года, когда ей было не более пятидесяти четырех лет, она выглядит совсем старухой. Она умерла скоропостижно в 1865 году, оставив незаконченным свой последний роман

«Жены и дочери», изображающий с тонкой иронией и юмором провинциальные английские нравы первой половины XIX века. В одном из героев романа, талантливом естествоиспытателе Роджере Хэмли, совершающем опасное путешествие в Африку для изучения тамошней природы, узнавали портрет молодого Чарльза Дарвина, с семьей которого Гаскелл была знакома.

Элизабет Гаскелл с гордостью сообщала своему американскому другу Нортону, что ее книги «Руфь» и «Жизнь Шарлоты Бронте» известны читателям в далекой России. Последняя книга особенно заинтересовала молодого Льва Толстого. «Прочтите биографию Currier Bell <sup>[6]</sup>, ужасно интересно по интимному представлению литературных воззрений различных лучших кружков современных английских писателей и их отношений» <sup>[7]</sup>, – советовал он В.П. Боткину в письме от 21 июля 1857 года (то есть сразу же после выхода в свет этой книги).

В 1871 году литературный критик «Отечественных записок» М. Цебрикова, особо остановившись на творчестве Гаскелл в своей статье «Англичанки-романистки», так характеризовала значение «Мэри Бартон» и других ее социальных произведений: «... Сделать рабочий народ героем своих романов, показать, сколько сил таится в нем, сказать слово за его право на человеческое развитие было делом женщины» <sup>[8]</sup>.

*А. Елистратова*

## ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Три года тому назад мне (в связи с обстоятельствами, на которых нет нужды подробно останавливаться) захотелось написать роман. Хотя я и живу в Манчестере, но нежно люблю деревню, а потому моей первой мыслью было избрать для повествования сельскую жизнь, и я уже набросала несколько глав повести, действие которой разворачивалось в Йоркшире в эпоху, удаленную от нас более чем на сто лет, как вдруг мне пришло в голову, что ведь и жизнь тех, с кем я ежедневно сталкиваюсь на шумных улицах Манчестера, наверно, тоже отмечена глубокими чувствами и благородством. Я всегда от души сочувствовала измученным людям, которые, видно, всю жизнь обречены тяжело работать, борясь с нуждой, – людям, являющимся игрушкой обстоятельств в большей мере, чем многие другие. Стоило мне проявить немного сочувствия, немного внимания к тем труженикам, с которыми я была знакома, и двое-трое, наиболее склонные к размышлению, открыли мне свои сердца: я увидела, что они озлоблены на богачей, что, глядя на ровное течение этих внешне счастливых жизней, они испытывают лишь еще большую тревогу перед своим неверным, похожим на лотерею будущим. Не мне судить, достаточно ли основательны их горькие сетования на то, что люди имущие – особенно хозяева, чье богатство они помогли увеличить, – нимало о них не заботятся. Могу лишь сказать, что убеждение, будто их ближние относятся к ним несправедливо и бессердечно, мешает многим бедным невежественным рабочим Манчестера примириться с божьей волей и сеет мстительное чувство в их сердцах.

Чем больше я размышляла над злополучными отношениями, сложившимися между теми, кого, казалось бы, должны тесно связывать общие интересы, а именно: между нанимателями и нанимаемыми, тем больше мне хотелось как-то рассказать о страданиях, которые порой выпадают на долю этой бессловесной массы, – о страданиях, усугубляемых отсутствием сочувствия со стороны счастливых или ошибочной уверенностью, будто это так. Если мнение, что никто, кроме самих страдальцев, не замечает тех несчастий, которые с равномерностью прилива обрушиваются на трудящихся нашего промышленного города, – ошибочно, то это ошибка, чрезвычайно печальная по своим последствиям для всех сторон, а потому необходимо, дабы общество с помощью новых законов, а частные лица с помощью



милосердных дел, пусть даже подобных «лепте вдовицы», [\[9\]](#) как можно скорее побудили рабочих отказаться от столь печального и неправильного представления. Сейчас, мне кажется, они уже не верят, что слезы и жалобы могут чему-нибудь помочь, – губы сжаты, готовые проклинать, кулаки стиснуты и занесены для удара.

Я ничего не смыслю в политической экономии промышленного производства. Я старалась писать правдиво, и если то, что я здесь изложила, совпадает с какой-то системой взглядов или чему-то противоречит, то это совпадение или противоречие чисто случайное.

Могу сказать лишь одно: представление, которое сложилось у меня о состоянии умов рабочих Манчестера и которое я попыталась изобразить в этой повести (законченной около года тому назад), подтверждается теми событиями, которые произошли недавно на континенте [\[10\]](#) и участниками которых были представители именно этого класса.

Октябрь 1848



## ГЛАВА I

## ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Как тяжко без просвета  
Трудиться целый день,  
Когда душистым полднем  
Манит деревьев сень.  
Вот Ричард с Мэри вместе  
Ведут гулять детей  
И будут с ними долго  
Бродить среди полей [\[11\]](#)  
*Манчестерская песня.*

Неподалеку от Манчестера раскинулись луга, известные его обитателям под названием «Покосы», – по ним змеится дорога, ведущая в деревушку, находящуюся в двух милях от города. Несмотря на то что луга эти расположены в низине и что их не украшает ни одна роща (обычная и чрезвычайно привлекательная особенность таких равнин), в них есть какое-то очарование, ощутимое даже для обитателя горных краев, который не может не увидеть и не почувствовать разницы между этими ничем не примечательными, но доподлинно сельскими местами и шумной суетой промышленного города, откуда он вышел всего полчаса тому назад. Там и сям виднеются старые фермы с выбеленными стенами под почерневшими кровлями, окруженные надворными строениями, – они говорят об иных временах и иных занятиях, чем те, которым посвятили себя ныне жители округа. Здесь в положенное время года можно увидеть и сенокос, и пахоту, и прочие таинства сельской жизни, неведомые горожанам и потому особенно ласкающие взор; здесь, оглушенный грохотом машин и наковален, рабочий может дать отдых уху и насладиться чудесными звуками сельской жизни – мычанием коров, призывными кликами доильщиц, кудахтаньем и гоготаньем на старых птичниках. Поэтому вы не удивитесь, узнав, что луга эти являются излюбленным местом отдыха в воскресные дни, как не удивились бы, – если бы могли видеть, а я должным образом описать всю прелесть одного перелаза через изгородь, – и тому, что в таких случаях около него располагается на отдых множество гуляющих. Неподалеку находится глубокий чистый пруд, в темно-зеленых глубинах которого отражаются тенистые деревья, защищающие его от солнца. Лишь в одном месте берег полого спускается к воде – на нем

беспорядочно разбросаны надворные постройки, и среди них виднеется один из тех старинных, почерневших от времени домов с высокой остроконечной крышей, о которых я говорила выше; дом этот фасадом выходит на луг, пересеченный проселком. У крыльца разросся розовый куст, а в садике полно самых разных трав и цветов, посаженных здесь в незапамятные времена, когда садик этот был единственной аптекой на всю округу; с тех пор ничто не стесняло их буйного роста, и розы, лаванда, шалфей, бальзам (для заварки), розмарин, гвоздика, желтофиоль, лук и жасмин привольно произрастают там в самом демократическом соседстве. Дом этот и сад находятся ярдах в ста от упомянутого мною перелаза через изгородь из боярышника и терновника, отделяющую большое пастбище от меньшего, а за этим перелазом, на поросшем травой откосе, можно, говорят, набрести на первоцвет, а порой попадают и душистые лиловые фиалки.

Не знаю, право, был ли то праздник, разрешенный хозяевами или самовольно устроенный рабочими, которых подстрекнула к этому сама природа с ее чудесной весной, только однажды (с той поры прошло лет десять или двенадцать) на лугах этих собралось великое множество народу. Дело было в начале мая, к вечеру, – поэт сказал бы, что в апреле, ибо утром шел проливной дождь и даже теперь среди пушистых белых облачков, которые западный ветер гнал по ярко-синему небу, порой проплывали темные, грозные тучи. Теплый воздух вызвал к жизни молодую зелень, которая прямо на глазах потянулась к свету, и плакучие ивы, что еще утром отражались в воде бурыми островами, покрылись нежным серовато-зеленым пушком, столь гармонирующим с мягкой весенней палитрой.

Девушки – были тут и постарше и помоложе, и двенадцатилетние и двадцатилетние, – громко болтая, веселыми группами расхаживали по лугу. В большинстве своем это были фабричные работницы, и одеты они были как обычно одеваются для гулянья представительницы этого класса: все в платках, которые днем или в хорошую погоду так и остаются платками, а к вечеру или в прохладный день превращаются в своего рода испанскую шаль или шотландский плед и либо небрежно набрасываются на голову, либо довольно живописно закалываются под подбородком.

Нельзя сказать, чтобы девушки были красивы, – скорее все, за исключением одной или двух, были одинаково некрасивы – темные глаза и аккуратно причесанные темные волосы не искупали нездоровый цвет лица и неправильность черт. Могло привлечь лишь умное выражение лиц, нередко, впрочем, отличающее обитателей промышленных городов.

Было тут и немало юнцов, вернее, молодых людей, готовых

побалагурить с кем угодно, а особенно завязать беседу с девушками, которые, однако, сторонились их – не из застенчивости, а скорее из чувства независимости, – и с безразличным видом выслушивали крикливые остроты и трескущие комплименты, которые расточали им парни. То тут, то там попадались степенные, тихие парочки – воркующие влюбленные или муж с женой; последние, как правило, были обременены младенцем, которого в большинстве случаев нес отец, а встречались и такие, которые несли или тащили за собой даже трех или четырех еле ковыляющих крошек, чтобы всем семейством насладиться чудесным майским вечером.

В этот день у многократно упомянутого мною перелеза встретились двое рабочих и сердечно поздоровались друг с другом. Один из них был типичный манчестерец: сын рабочего, он всю свою юность, да и зрелые годы, провел на фабрике. Был он узкоплеч, ниже среднего роста и казался даже хилым; ввалившиеся бледные щеки наводили на мысль, что детство его протекало в плохие времена, полные лишений. Черты его лица, хотя и крупные, отличались правильностью и необычайной серьезностью выражения: в этом человеке чувствовалась глубоко скрытая непреклонная воля, которая могла быть обращена как на добро, так и на зло. Однако сейчас, в ту пору, о которой я пишу, лицо его дышало скорее добротой, чем злобой, и давало основание полагать, что даже посторонний человек может обратиться к нему с просьбой об одолжении, почти не сомневаясь, что она будет выполнена. Сопровождала его жена, которую без преувеличения можно было бы назвать красивой, хотя лицо ее опухло от слез и она то и дело прятала его в передник. Лицо это дышало миловидной свежестью, вскормленной сельскими просторами, но также и деревенским глуповатым простодушием, так невыгодно отличающимся от сметливости уроженцев промышленных городов. Женщина эта была на последних месяцах беременности, чем, возможно, и объяснялась неумность и истеричность ее горя. Знакомый, которого они встретили, был красивее описанного мною человека, но как будто не такой умный; он казался веселее, жизнерадостнее и, несмотря на более зрелый возраст, сохранил гораздо больше юношеского задора. Он бережно нес на руках ребенка, а его жена, хрупкая, болезненная с виду женщина, слегка прихрамывавшая при ходьбе, несла другого младенца того же возраста. Крошечные слабенькие близнецы пошли в мать и выглядели такими же болезненными, как она.

Их отец заговорил первым, и легкое облачко сострадания омрачило его весело улыбающееся лицо.

– Ну, Джон, как дела? – спросил он. И более тихо добавил: – Есть вести от Эстер?

Тем временем жены их поздоровались, как старые подруги, однако нежный жалобный голосок матери близнецов, казалось, вызвал лишь новый приступ рыданий у миссис Бартон.

– Ну, вот что, милые, – сказал Джон Бартон, – довольно вам ходить. Моей Мэри недельки через три уже срок, а вы, миссис Уилсон, и в лучшие-то времена не могли похвалиться особой крепостью, – заметил он так добродушно, что на него нельзя было обидеться. – Давайте присядем вот тут: трава совсем высохла, да и обе вы не такие уж неженки, чтобы простудиться. Стойте-ка, – заботливо добавил он, – расстелите сначала мой платок, а то еще платья испачкаете – вы, женщины, всегда ведь об этом печетесь. А теперь, миссис Уилсон, давайте мне малыша, я уж понесу его, а вы побеседуйте с моей женушкой, да успокойте ее: очень она, бедняжка, из-за Эстер убивается.

Сказано – сделано: женщины уселись на голубые бумажные платки мужей, а те, взяв каждый по ребенку, отправились гулять. Однако едва Бартон повернулся спиной к жене, как лицо его снова помрачнело.

– Значит, вы так ничего и не слышали о бедняжке Эстер! – заметил Уилсон.

– Да, по-моему, и не услышим. Сдается мне, что она сбежала с кем-то. Жена все горюет и думает, что она утопилась, а я говорю ей, что люди не наряжаются, когда идут топиться. А миссис Брэдшоу – хозяйка, у которой она снимала комнату, рассказывает, что, когда последний раз видела Эстер во вторник, та спускалась вниз такая принаряженная, в своем лучшем платье и в перчатках, с новой лентой на чепце, – словом, настоящая леди, какой ей нравилось себя считать.

– Ну, такой красавицы поискать!

– Да, девушка хоть куда, это-то ее и сгубило, – со вздохом заметил Бартон. – Эти букингемпширцы – не нам чета: сам видел, какие красавицы приезжают в Манчестер на работу. Разве у манчестерских девушек увидишь такие свежие розовые щечки и такие темные ресницы, что серые глаза кажутся черными, как, к примеру, у моей женушки или у Эстер? В жизни не видывал двух таких красивых сестер! Да только красота эта – одно горе. Вот Эстер – ведь так зазналась, что никакого с ней сладу не было. Хочешь ей дело посоветовать, а она только злится. Правда, жена больно ее баловала: она ведь намного старше Эстер и была ей как мать, – так о ней заботилась.

– Просто непонятно, почему она ушла от вас, – заметил его приятель.

– Это все работа на фабрике виновата. Когда дела много, девушки прилично зарабатывают и вполне могут на эти деньги жить. Моя Мэри

никогда не будет работать на фабрике – это я твердо решил. А Эстер все деньги на наряды тратила – хотела еще краше быть, и так поздно домой приходила стала, что я под конец не выдержал и отчитал ее. Хозяйка моя твердит, что я грубоват был, но ведь я хотел добра, потому что люблю Эстер, хотя бы из-за Мэри люблю. А сказал я ей тогда вот что. «Эстер, – сказал я, – плохо ты кончишь, коли будешь так жеманничать, ходить в разлетающихся шарфах да гулять в такую пору, когда все честные женщины давно спят. Ты станешь уличной девкой, Эстер, а тогда уж не обессудь, коли я выставлю тебя за дверь и не дам позорить свой дом, хоть ты мне и свояченица». А она мне и говорит: «Не беспокойся, Джон, я сейчас же соберу вещи и уйду, потому что никогда я не позволю, чтоб меня так называли». И раскраснелась же она, как петушиный гребень, глаза огонь мечут. А увидела, что Мэри расплакалась (Мэри-то наша терпеть не может, когда в доме бранятся), подошла к ней, поцеловала, принялась уверять, что не такая, мол, она плохая, как я думаю. Тут мы стали говорить спокойнее, без всякого зла, потому как я ведь все-таки любил эту девчонку, – уж больно она была хороша да нрава веселого. А потом она вдруг и говорит (и в ту пору я подумал, что права она): давайте, мол, я съеду от вас, буду приходиться к вам в гости, и тогда мы ссориться не будем.

– Значит, вы с ней вовсе не поссорились. А люди болтали, будто ты ее из дому вышвырнул и сказал, что никогда больше не станешь с ней разговаривать.

– Люди всегда думают о человеке хуже, чем он есть, – с сердцем сказал Джон Бартон. – Она не раз приходила к нам после того, как от нас съехала. В позапрошлом воскресенье – нет это было в прошлое – она приходила к Мэри пить чай. И все – больше мы ее не видели.

– И она была такая, как всегда? – спросил Уилсон.

– Да как сказать. Я потом не раз думал, что она была вроде бы тише, мягче, застенчивее, как и подобает девушке, не такая шумная и дерзкая, как всегда. Пришла она к нам часа в четыре, когда кончилась дневная служба в церкви, повесила чепец на свой гвоздик – куда всегда его вешала, пока жила с нами. Мэри, помнится, нездоровилось, и она сидела в качалке, а Эстер примостилась на скамеечке у ее ног. Я еще подумал: до чего же она красивая. Эстер то смеялась, то плакала, но так тихо, кротко, словно ребенок – духу у меня не хватило ругать ее, тем более что Мэри уж больно волновалась. Одно только я сказал ей тогда, и довольно резко. Обняла она нашу маленькую Мэри за талию и...

– Перестань ты звать ее «маленькой»: она уже совсем взрослая и хорошенькая, точно ясный день. В мать пошла больше, чем в тебя, –

заметил Уилсон.

– Видишь ли, я зову ее «маленькой» потому, что ее мать ведь тоже Мэри. Так вот, значит, обняла она Мэри и говорит ей таким сладким голоском. «Мэри, – говорит она, – что ты скажешь, если я когда-нибудь пришло за тобой карету, возьму к себе и сделаю из тебя настоящую леди?!» Не вытерпел я, что мою дочку сбивают с толку, да и говорю: «Не дури-ка ты девочке голову, вот что я тебе скажу. Пусть зарабатывает себе на хлеб в поте лица своего, как сказано в писании; лучше есть его без масла, чем быть бездельницей, разъезжать все утро по лавкам да мучить приказчиков, днем бренчать на фортепьянах и ложиться спать, не сделав добра ни одной живой душе, кроме себя».

– Ты всегда терпеть не мог хозяев, – заметил Уилсон, слегка забавляясь запальчивостью своего друга.

– А что они сделали мне хорошего, чтобы я любил их? – спросил Бартон, и глаза его сверкнули. Не удержавшись, он вспылil: – Разве кто-нибудь из них придет ухаживать за мной, когда я болен? А если у меня умирает ребенок (как умирал мой бедненький Том: лежал, шевеля побелевшими губенками, потому что мне нечем было его накормить как следует), разве принесет богач мне вина или бульона, чтобы спасти его? А когда в плохие времена я сижу неделями без работы и наступает зима с лютыми морозами, дует злой восточный ветер, а у меня нет угля для очага, и нечем накрыться, и одежда до того прохудилась, что сквозь дыры проглядывают обтянутые кожей кости, – разве богач поделится со мной своим изобилием, как он должен был бы сделать, если б вера его не была притворством! А когда я буду лежать на смертном одре и Мэри (благослови ее господь!) будет стоять рядом, терзаясь и горя, – а я знаю, что она будет горевать, – тут голос его слегка дрогнул, – разве богатая дама придет и возьмет ее к себе в дом, чтобы она могла спокойно осмотреться и решить, как жить дальше? Нет, только бедняк, слышишь, один бедняк придет на помощь бедняку. И не вздумай рассказывать мне сказки, будто богач не знает о горестях бедняка. Я тебе на это скажу: если не знает, так должен знать. Пока мы в силах работать, мы трудимся на них, как рабы; мы своим потом добываем им богатства, а живем точно в двух разных мирах, совсем как богач и бедняк Лазарь, когда их разделила пропасть [\[12\]](#), хотя я-то знаю, кому из них было тогда лучше, – заключил он со злой усмешкой.

– Что ж, сосед, – сказал Уилсон, – все это, может, и правда, только мне куда интереснее узнать про Эстер. Когда же ты в последний раз слышал о ней?

– Так вот: в то воскресенье распростилась она с нами очень ласково,

поцеловала и жену мою Мэри и дочку Мэри (раз уж мне нельзя больше называть ее «маленькой»), попрощалась за руку со мной, да так весело, что нам и в голову не пришло призадуматься над ее поцелуями и прощаньями. А в среду вечером является к нам сын миссис Брэдшоу с сундучком Эстер и следом за ним – сама миссис Брэдшоу с ключами. Тут мы и узнали, что Эстер сказала ей, будто переезжает к нам обратно, заплатила ей за квартиру до конца недели, потому что не предупредила заранее, и во вторник вечером ушла с узелком (в своем лучшем платье, как я уже говорил тебе), сказав миссис Брэдшоу, что с сундучком она может не торопиться – пусть принесет, когда будет время. Ну, и миссис Брэдшоу, конечно, думала, что найдет Эстер у нас. Только она все это рассказала, хозяйка моя как закричит – и упала без памяти. Мэри побежала за водой, а меня так встревожила моя женушка, что я и думать про Эстер забыл. Назавтра я расспросил всех соседей – и наших и миссис Брэдшоу, но никто не слышал о ней и не видел ее. Я даже к полицейскому ходил – он довольно славный малый, да только раньше я с ним никогда не разговаривал из-за его формы, – попросил его помочь нам: ведь он на таких делах, наверно, собаку съел. Он, видно, других полицейских спросил. Оказалось, что один из них видел девушку, вроде нашей Эстер, во вторник вечером, часов около восьми. Она шла очень быстро с узелком под мышкой, возле церкви села на извозчика – и только ее и видели: номера-то этого извозчика мы не знаем. Жалко мне девчонку, – видно, сбилась она с пути, а только жену мою еще больше жаль. Ведь она любила Эстер, как меня или Мэри, и до сих пор еще не пришла в себя после смерти бедняжки Тома. Ну, ладно, пойдем теперь к нашим женам: может, твоя хозяйка и сумела утешить мою.

И, ускорив шаг, они двинулись обратно. Уилсон выразил сожаление, что они больше не живут рядом, как прежде.

– Правда, наша Элис живет на Барбер-стрит в подвале дома номер четырнадцать, и стоит послать за ней, как она через пять минут будет у вас и посидит с твоей женой, когда ей взгрустнется. Конечно, я брат Элис и, может, не должен такого говорить, но я все же скажу: нет на свете человека, который с большей радостью помогал бы людям и словом и делом, чем она. Элис хоть и целый день простоит над корытом, но если у кого из соседей заболит ребенок, она тут же вызовется посидеть с ним, хоть завтра ей, может, с шести утра опять за работу браться.

– Она сама бедна, Уилсон, и сочувствует беднякам, – был ответ. – Во всяком случае, спасибо за предложение, – добавил Бартон. – Я, может, и побеспокою твою сестру и попрошу посидеть с женой, пока я на работе, а Мэри в школе: я знаю, что она без нас места себе не находит. А вон и



Мэри! – воскликнул он, и глаза его потеплели: в отдалении, среди группы девушек, он заметил свою единственную дочь, хорошенькую девочку-подростка лет тринадцати.

Та, завидев отца, побежала ему навстречу: у этого внешне сурового человека, видно, была добрая душа.

Мужчины миновали последний перелаз, а Мэри задержалась у изгороди, чтобы нарвать распускающегося боярышника. Проходивший мимо рослый парень, воспользовавшись этим, чмокнул ее в щеку.

– На память о старом знакомстве, Мэри!

– Вот и тебе, на память о старом знакомстве! – воскликнула девочка, вся залившись краской больше от досады, чем от стыда, и награждая его пощечиной.

Тон, каким это было сказано, заставил ее отца и его друга обернуться. Оказалось, что обидчик приходится старшим сыном последнему и на семнадцать лет старше своих маленьких братьев-близнецов.

– Вот что, дети, вместо того чтобы целоваться и ссориться, возьмите каждый по малышу, а то у нас с Уилсоном руки порядком устали.

Мэри тотчас подбежала к отцу. Она, как все девочки, любила маленьких детей и, кроме того, знала, какое событие вскоре произойдет в ее семье, а молодой Уилсон, сразу утратив всю свою юношескую грубоватость, нежно заворковал над младшим братиком.

– Двойняшки, да благословит их господь, все же тяжкое испытание для бедняка, – заметил гордившийся ими, но немало измученный заботами отец, звонко целуя малыша, прежде чем передать его на руки брату.

## ГЛАВА II

### ЧАЕПИТИЕ В МАНЧЕСТЕРЕ

Поставь-ка, Полли, чайник,  
Поставь-ка чай для нас!  
Поставь-ка, Полли, чайник,  
И будет чай у нас!

– Вот и мы, женушка. Ты думала, мы потерялись? – весело спросил Уилсон, в то время как подруги поднялись и стали отряхиваться, готовясь двинуться в обратный путь.

Миссис Бартон явно успокоилась, если повеселела, облегчив душу рассказом о своих страхах и предположениях, и одобрительным взглядом поддержала приглашение мужа отправиться с «Покосов» всей компанией к ним домой – попить чайку. Миссис Уилсон стала было возражать – час уже поздний, а с ними малыши, но было видно, что и ей хочется принять приглашение.

– Хватит болтать-то, хозяйка, – добродушно заметил муж. – Сама знаешь, что мы еле укладываем мальчишек спать в одиннадцатом часу. У тебя есть платок – одного мальчонку закутаем в него: ему будет тепло там, как у птицы под крылом. А другого я готов к себе в карман спрятать, чтоб не нарушать компании и не тащиться сейчас такую даль в Энкоутс.

– А потом, я могу дать вам еще один платок, – предложила миссис Бартон.

– Я на все согласен, лишь бы компании не разбивать.

Итак, решение было принято, и все отправились к Бартонам. Путь их пролегал по множеству наполовину застроенных улиц, столь похожих одна на другую, что немудрено было бы перепутать их и заблудиться. Однако друзья наши не сделали ни шагу лишнего: миновали проулок, срезали угол и, наконец, свернули с одной из бесчисленных улочек на мощный дворик, куда выходили задние стены домов; посредине пролежала канава, по которой стекали помои и мыльная вода после стирки.

Женщины, жившие тут, снимали с веревок белье, чепцы, платья, которые висели так низко, что приди наши друзья несколькими минутами

раньше, им пришлось бы сгибаться в три погибели, чтобы влажные вещи не задевали их по лицу, а сейчас хозяйки спешили снять свое добро, ибо вечер, еще не наступивший в открытом поле, уже спустился здесь, в образованном домами колодце, и принес с собой мрак и туман.

Уилсоны и женщины, снимавшие белье, обменялись многочисленными приветствиями, так как друзья Бартонов еще совсем недавно жили тут же.

Двое молодых грубиянов, стоявшие у старой облупившейся двери, воскликнули, когда Мэри Бартон (дочь) проходила мимо:

– Э-э, глянь-ка! Дочка Бартона обзавелась женишком!

Они имели в виду, конечно, молодого Уилсона, и тот исподтишка взглянул на Мэри, желая посмотреть, как она к этому отнеслась. Она как будто страшно рассердилась и, когда он через некоторое время обратился к ней, не ответила ему ни слова.

Миссис Бартон достала из кармана ключ; за порогом царила кромешная тьма, среди которой светилась лишь одна яркая точка, которая могла быть глазом кошки, а могла быть тем, чем она и была, – тлеющим угольком в очаге. Джон Бартон разбил лежавший сверху большой кусок угля, и тотчас запылал огонь, заливая теплым, ярким светом все уголки комнаты. Миссис Бартон зажгла от очага свечу (хотя ее жалкий огонек тонул в красноватом отблеске пламени) и, не без труда установив ее в жестяном подсвечнике, огляделась, думая, что бы еще устроить в честь гостей. Комната была довольно большая и удобная. Справа от входной двери находилось узкое окно с широким подоконником. По обеим его сторонам висели голубые в белую клеточку занавески, которые сейчас были задернуты, чтобы никто не мешал друзьям приятно проводить время. Два пышных куста герани на подоконнике служили дополнительным заслоном от любопытных взглядов. В углу, между окном и очагом, стоял буфет, полный всякой посуды – блюд и тарелок, чашек и блюдец; хранились в нем и более мудреные предметы, которые вряд ли могли пригодиться в этом доме, вроде, например, стеклянных подставок, служивших для того, чтобы ножи и вилки для разрезания жаркого не пачкали скатерть. Однако миссис Бартон явно гордилась своей глиняной и стеклянной посудой, ибо, окинув присутствующих многозначительным взглядом, она распахнула настежь дверцы буфета и оставила их открытыми. Напротив входной двери и окна была лестница и две двери; одна из них (та, что ближе к очагу) вела в чуланчик, предназначенный для мытья посуды и всякой грязной работы и увешанный полками, а потому служивший одновременно кладовой и буфетной. Другая дверь, более низенькая, открывалась прямо в угольную

яму, помещавшуюся под лестницей; от этой двери к очагу тянулась дорожка из яркой клеенки. Комната была положительно забита мебелью (верный признак того, что фабрики работают на полный ход). Под окном стоял комод с тремя вместительными ящиками. Перед очагом – стол, который я могла бы принять за пемброкский [\[13\]](#), не будь он еловым, – я не знаю, делаются ли такие столы из столь скромного материала. На нем красовался прислоненный к стенке ярко-зеленый лаковый поднос, посредине которого обнимались двое влюбленных в алых костюмах. Отсветы пламени весело плясали по лаковой поверхности, и поднос (если отбросить все возражения по части вкуса, с которыми мог бы не согласиться разве ребенок), право же, оживлял яркостью красок эту часть комнаты. Под парю ему была еще малиновая чайница, тоже лакированная. В углу напротив буфета стоял круглый столик на одной ножке, служивший обеденным. Теперь добавьте к этому стены, оклеенные бледными, но с четким рисунком обоями, и вы получите представление о жилище Джона Бартона.

Поднос поставили на стол, женщины сняли платки и чепцы и вручили их Мэри, чтобы она отнесла все это наверх. Зазвенели вынимаемые из буфета чашки и блюдца, потом раздался шепот и позвякивание монет, но мистер и миссис Уилсон из вежливости делали вид, будто ничего не замечают: они знали, что это объясняется соображениями гостеприимства, которое, когда настанет их черед, они сами с удовольствием проявят. А потому они усиленно занимались детьми и не прислушивались к тому, какие поручения давала дочери миссис Бартон.

– Сбегай, милая Мэри, на уголочек и купи у Триппинга свежих яичек на пять пенсов да посмотри, нет ли у него хорошей ветчины – тогда возьми фунтик.

– Два фунта, старушка, не будь скрягой, – вставил супруг.

– Ну ладно, возьми полтора фунта, Мэри. И попроси камберлендской ветчины – ведь Уилсон родом из этих мест, и ему приятно будет отведать лакомства родных краев... Да, Мэри, – окликнула она дочь, которая уже бросилась было выполнять поручение, – купи еще на пенни молока и каравай хлеба – только смотри, чтоб он был мягкий и свежий... и... и... Это все, Мэри.

– Нет, не все, – заявил муж. – Купи еще на шесть пенсов рому, чтобы сдобрить чай: ром ты найдешь у фруктовщика. Да зайди к Элис Уилсон: она живет тут за углом, на Барбер-стрит, в подвале дома номер четырнадцать. (Это было сказано для сведения жены.) Позови ее к нам пить чай: она, конечно, рада будет повидать брата, не говоря уже о Джейн и

близнецах.

– Если она согласится прийти, пусть захватит с собой чашку и блюдце, а то у нас всего полдюжины, и нас как раз шестеро, – заметила миссис Бартон.

– Ну, к чему это: Джем с Мэри вполне могут пить из одной.

Но Мэри в глубине души тотчас решила, что непременно позаботится о том, чтобы Элис принесла с собой чашку и блюдце, так как ни в коем случае не желала делить что-либо с Джемом.

Элис Уилсон только что вернулась домой. Весь день она провела за городом, собирая дикие травы для настоек и лекарств, ибо, хотя Элис была прачкой, она отлично умела ухаживать за больными и обладала значительными познаниями по части лекарственных трав и корней и в погожий денек, за неимением других более полезных занятий, бродила по полям и лугам, пока ее носили ноги. В этот вечер она вернулась, нагруженная крапивой, и, войдя к себе в подвал, зажгла свечу, а затем принялась развешивать пучки крапивы по всей комнате. Жилище ее отличалось образцовой чистотой; в углу стояла скромная постель с клетчатой занавеской в головах, упиравшаяся противоположным концом в выбеленную известкой стену. Кирпичный пол был тщательно выскоблен, хоть и блестел от сырости, так что казалось, будто его совсем недавно мыли и он еще не высох. Поскольку окошко подвала выходило на улицу и мальчишки могли случайно попасть камнем в стекло, его защищали ставни; оно было увешано гирляндами растений, которые произрастают в полях, вдоль изгородей и канав, – мы привыкли считать их сорняками, а на самом деле они могут принести как большой вред, так и большую пользу, и бедняки поэтому часто прибегают к их помощи. Комната была завалена, завешана и затемнена пучками сушившихся трав, издававших не слишком приятный аромат. В одном углу примостился небольшой висячий шкаф, сбитый из старых досок, где Элис держала остальное свое имущество. Вся имевшаяся в ее хозяйстве глиняная посуда уместалась на каминной полке, где стоял, кроме того, подсвечник, а также лежали спички. В нижнем отделении маленького кухонного столика хранился уголь, а наверху – хлеб, миска с овсяной крупой, сковородка, чайник и жестяная кастрюлька, служившая для заварки чая, а также для приготовления протертых супов, которые Элис иногда варила для какого-нибудь больного соседа.

Она устала и озябла во время прогулки и как раз пыталась развести огонь, подбрасывая на отсыревший уголь еще зеленые ветки, когда постучала Мэри.

– Войдите, – сказала Элис, однако тотчас вспомнила, что уже заперла

дверь на ночь, и побежала отодвинуть засов. – Да неужто это Мэри Бартон? – воскликнула она, когда свет свечи упал на лицо девушки. – До чего же ты выросла с тех пор, как я в последний раз видела тебя у моего брата! Проходи, милочка, проходи.

– Мама просила передать вам, – промолвила Мэри, с трудом переводя дух, – чтобы вы приходили к нам чай пить и принесли с собой чашку и блюдецко. У нас в гостях Джордж и Джейн Уилсон вместе с близнецами и с Джемом. Только приходите скорее, пожалуйста.

– Твоя мама очень добра. Премного благодарна за приглашение: непременно приду. Пстой, Мэри, а у мамы есть крапива для весенней настойки? Если нет, то я захвачу.

– По-моему, нет.

И Мэри стремглав помчалась выполнять то, что для девочки тринадцати лет, жаждущей самостоятельности, было самой интересной частью поручения, – помчалась тратить деньги. Справилась она с этим хорошо и толково, ибо домой вернулась, неся в одной руке бутылочку рома и яйца, а в другой – отличную розовую, с белым жирком, ароматную камберлендскую ветчину, завернутую в бумагу.

Она успела вернуться домой и поджарить ветчину, а Элис все еще возилась: выбирала крапиву, тушила свечу, запирала дверь и, наконец, с трудом передвигая ноги, приковыляла к дому Джона Бартон. Каким уютным казалось его жилище после ее жалкого подвала! И дело было не в сравнениях, – просто ей приятно было очутиться в теплой комнате, залитой ярким светом, где так вкусно пахло, уютно урчал на огне чайник и шипела поджаривающаяся ветчина. Сделав старинный реверанс, Элис закрыла дверь и с сердечной теплотой ответила на шумное, удивленное приветствие брата.

Приготовления к пиршеству были закончены, и все сели за стол: миссис Уилсон, расположившись на правах почетной гостьи в качалке, справа от огня, кормила младенца, в то время как ее муж, сидя в другой качалке у противоположного конца стола, тщетно пытался утихомирить второго малыша, кормя его хлебом, смоченным в молоке.

Миссис Бартон, зная, как положено вести себя хозяйке, сидела за столом и заваривала чай, хотя ее тянуло пойти взглянуть, как жарится ветчина, и она то и дело озабоченно поглядывала на Мэри, которая с немалой уверенностью в своих кулинарных способностях разбивала яйца и переворачивала ветчину. Джем стоял, неловко прислонившись к комоду, и весьма сердито отвечал на расспросы тетушки, которая явно принимала его за маленького мальчика, тогда как он считал себя молодым человеком, и

даже не таким уж юным, ибо через два месяца ему должно было исполниться восемнадцать лет. А Бартон сновал между очагом и столом и был бы совсем счастлив, если б ему не казалось, будто лицо его жены время от времени краснеет и морщится от боли.

Наконец гости и хозяйева приступили к делу. Застучали ножи и вилки, чашки и блюда, но голосов слышно не было, так как все проголодались и не хотели тратить времени на разговоры. Нарушила молчание Элис. Подняв чашку, словно бокал, она сказала:

– Выпьем за отсутствующих друзей. Гора с горой не сходится, а друзья – встречаются.

Элис сразу почувствовала, что тост ее неудачен. Все подумали об Эстер, об исчезнувшей Эстер; миссис Бартон опустила вилку, не донеся ее до рта, и залилась горячими слезами. Элис готова была откусить себе язык.

Это было ложкой дегтя, которая испортила вечер, ибо, хотя все слова утешения были сказаны и все догадки были сделаны во время прогулки, каждый стремился сказать что-то еще, чтобы успокоить бедную миссис Бартон, и не хотел говорить ни о чем другом, пока она так плакала и убивалась. А потому Джордж Уилсон, его жена и дети рано отправились домой, выразив (несмотря на неуместный тост) пожелание, чтобы такие вечера повторялись почаще, на что Джон Бартон с готовностью согласился и объявил, что, как только его жена поправится, они непременно снова соберутся.

«Я уж ни за что не приду, чтобы опять не испортить дела», – подумала бедняжка Элис и, подойдя к миссис Бартон, робко дотронулась до ее руки и сказала:

– Вы и представить себе не можете, как я жалею о своих словах.

К удивлению Элис, настолько великому, что от радости на глазах у нее даже выступили слезы, миссис Бартон обняла ее и поцеловала.

– Вы ведь не назло мне так сказали. Ну, а я не сумела сдержаться: очень я тревожусь за Эстер, не знаю, где она, – это меня и гложет. Спокойной ночи, и, пожалуйста, не думайте больше об этом. Да благословит вас бог, Элис.

Не раз потом Элис благословляла Мэри за эти ласковые дружеские слова. Но тогда она сказала лишь:

– Спокойной ночи, Мэри, и да благословит вас бог.

## ГЛАВА III

### ГОРЕ ДЖОНА БАРТОНА

Когда блеснул поутру нам  
Рассвет, от горя сед,  
Ее сомкнувшимся очам  
Предстал иной рассвет.  
Гуд. [\[14\]](#)

Посреди той же ночи соседка Бартонов пробудилась от своего крепкого, заслуженного тяжелым трудом сна, услышав стук. Сначала ей показалось, что стук ей снится, но убедившись в его реальности, она вскочила, открыла окно и спросила, кто там.

– Это я – Джон Бартон, – ответил ей голос, дрожавший от волнения. – У моей хозяйки начались роды. Ради бога, побудьте с ней, пока я сбегаю за доктором, а то ей очень плохо.

Пока женщина торопливо одевалась, забыв закрыть окно, до нее доносились крики, эхом отдававшиеся в маленьком дворике. Через пять минут соседка уже стояла у постели миссис Бартон, сменив перепуганную Мэри; девочка выполняла все, что требовалось, как автомат: в глазах ее не было ни слезинки, смертельно бледное лицо застыло, она не произносила ни слова – лишь зубы ее по временам стучали от волнения.

Крики усилились.

Доктор очень долго не откликался, несмотря на повторные звонки, и еще дольше никак не мог понять, кому это вздумалось вызывать его, а потом попросил Бартона подождать, пока он оденется, чтобы ему не пришлось терять время на розыски улицы и дома. Бартон чуть не топал от нетерпения, дожидаясь у двери появления доктора, а когда тот вышел, зашагал так быстро, что врач вынужден был несколько раз просить его убавить шаг.

– Что, ей так плохо? – спросил он.

– Очень. Так плохо еще никогда не было, – ответил Джон.

Нет, ей уже не было плохо: она обрела вечное успокоение. Крики смолкли навсегда. Джон не стал прислушиваться. Он открыл дверь, запертую на щеколду, и, не задерживаясь, чтобы зажечь свечу и вежливости



ради посветить своему спутнику на ступеньках, которые сам он хорошо знал, через две минуты уже был в комнате, где лежала его мертвая жена, которую он любил всей силой своего мужественного сердца. Доктор, спотыкаясь, поднялся по ступенькам при слабом свете, падавшем из очага, и, увидев испуганное лицо соседки, все понял. Не нарушая царившей в комнате тишины, доктор, по привычке на цыпочках, подошел к хрупкому телу страдальцы, которую теперь уже ничто не могло потревожить. Дочь покойной, опустившись на колени, уткнулась лицом в постель и, закусив конец простыни, старалась заглушить судорожные рыдания. Муж стоял как громом пораженный. Доктор шепотом расспросил соседку, затем подошел к Бартону и сказал:

– Идите-ка вниз. Это большой удар, но вы должны перенести его как мужчина. Ступайте вниз.

Бартон машинально выполнил приказание и, сойдя вниз, опустился на первый попавшийся стул. Надеяться было не на что. Слишком явной была печать смерти на лице жены. И все же, услышав каких-то два-три непонятных звука, он подумал, что, быть может, это лишь обморок, припадок... что угодно, только не смерть! Нет, только не смерть! И он уже снова бросился было к лестнице, но ступеньки ее закрипели под тяжелыми осторожными шагами доктора. Тогда он понял, что произошло там, в комнате наверху.

– Ничто не могло бы ее спасти... Она перенесла какое-то сильное потрясение.

Доктор говорил и говорил, но Бартон не слушал его. Хотя слова эти всплывут со временем в его сознании и он будет над ними размышлять, сейчас он не воспринимал их, они лишь откладывались в его памяти до более подходящих времен. Доктору стало жаль Бартона – он видел, что тот невменяем, и, совсем засыпая, решил, что лучше уйти. Приняв это решение, он попрощался с Бартоном; ответа не последовало, и он вышел, а Бартон продолжал сидеть все в той же позе, неподвижный, точно пень или каменная глыба. Однако он слышал звуки наверху и понимал, что они означают. Он слышал, как открывали разбухший от сырости непослушный ящик, в котором его жена хранила свои вещи. Он видел, как соседка спустилась вниз и принялась искать мыло и воду. Он отлично понимал, что ей нужно и зачем ей это нужно, но ни словом, ни делом не помог ей. Наконец она подошла к нему, стала его утешать (но он был глух к словам участия), что-то говорила про Мэри, только о какой Мэри – его смятенный ум не мог понять.

Бартон попытался осознать случившееся – представить себе, что это

действительно произошло. Но мысль его тотчас перенеслась к другим временам, к совсем иной поре. Он вспомнил, как ухаживал за Мэри; как впервые увидел ее – робкую хорошенькую крестьяночку, не умевшую приспособиться к сложной работе, которой ее обучали на фабрике; как Сделал ей первый подарок – бусы, которые давно лежат в одном из глубоких ящиков комода, предназначенные дочке. Интересно, там ли они сейчас, подумал Бартон и, побуждаемый непонятным любопытством, решил попытаться найти их; огонь к этому времени давно потух, свечи у него не было, и искать надо было на ощупь. В темноте рука Бартона наткнулась на гору чайной посуды, которую он посоветовал Мэри оставить немытой до утра – ведь все так устали за день. Мытье посуды входило в число повседневных мелких обязанностей его жены – обязанностей, которые кажутся такими значительными, когда любимого человека, последний раз их выполнявшего, нет в живых. Бартон начал перебирать в памяти все то, чем изо дня в день занималась его жена, и мысль, что она никогда больше не будет этого делать, отворила родник слез, и он зарыдал. Тем временем бедняжка Мэри машинально помогала соседке убирать покойницу. Когда соседка поцеловала девочку и принялась говорить ей слова утешения, из глаз Мэри выкатилось несколько слезинок, но она сдержалась, не желая давать воли горю, пока не останется одна. Наконец соседка ушла, девочка тихо прикрыла за ней дверь спальни и заплакала так, что кровать, подле которой она стояла на коленях, задрожала, сотрясаемая ее рыданиями. Все снова и снова повторяла Мэри одни и те же слова, тщетно взывая к той, которой уже не было с ними и которая не могла ей ответить:

– Ах, мамочка, мамочка, неужели ты умерла! Ах, мамочка, мамочка!

Внезапно она умолкла: ей вдруг пришло в голову, что своим отчаянием она может причинить еще большее горе отцу. Снизу не доносилось ни звука. Девочка посмотрела на лицо матери, такое изменившееся и вместе с тем такое родное, и, нагнувшись, поцеловала его. Почувствовав под губами холодную застывшую плоть, Мэри содрогнулась, схватила свечу и распахнула дверь. Тут она услышала рыдания отца. Сбежав на цыпочках с лестницы, она опустилась подле него на колени и припала поцелуем к его руке. Сначала он не замечал дочери, весь во власти своего горя. Наконец ее громкие рыдания, ее испуганные призывы (которые она не в силах была сдержать) дошли до его слуха, и он взял себя в руки.

– Ушла она от нас, доченька, и теперь мы с тобой должны быть опорой друг другу, – прошептал он.

– Отец, чем я могу помочь вам? Скажите мне, я все сделаю.

– Знаю, знаю. Главное: не убивайся так, чтоб не заболеть. Оставь меня и ступай спать – будь умницей.

– Оставить вас, отец? Нет, пожалуйста, не просите меня об этом.

– Иди, иди, ложись спать и постарайся заснуть: всяких дел и волнений, моя бедная девочка, у тебя и завтра будет достаточно.

Мэри поднялась с колен, поцеловала отца и грустно побрела наверх, в каморку, где она спала. Она решила, что не стоит раздеваться, потому что ей все равно не заснуть, и легла на постель одетая, но не прошло и десяти минут, как отчаянное горе юности утишил сон.

Приход дочери заставил Бартон очнуться от оцепенения и безудержной скорби. Он обрел способность думать: надо было решить, как устроить похороны, прикинуть, когда приступать к работе – ведь они потратились накануне и могут остаться без денег, если он долго засидится дома. О похоронах он не беспокоился: он состоял членом «похоронной кассы» <sup>[15]</sup>, и, значит, деньги на них будут. Тут Бартону пришли на память слова доктора, и он с горечью подумал о том, что таинственное исчезновение любимой сестры как раз и было тем сильным потрясением, которое привело к гибели его бедную Мэри. Он готов был последними словами клясть Эстер. Она навлекла на них это горе. Ее ветреность, ее легкомыслие были причиной их беды. Раньше он только недоумевал и жалел ее, но теперь сердце его навсегда ожесточилось против нее.

В эту ночь Джон Бартон лишился своего доброго ангела. Сила, побуждавшая его быть мягким и кротким, исчезла, – все соседи заметили, что он стал другим. Теперь он не изредка, а всегда был мрачным и суровым. И невероятно упрямым. Только Мэри могла заставить его уступить. Отца с дочерью связывали таинственные узы, обычно соединяющие тех, кого любил человек, отошедший в мир иной. Молчаливый и резкий со всеми, Бартон окружал Мэри нежной любовью, всячески баловал и позволял ей куда больше, чем обычно позволяет девочкам ее возраста, к какому бы сословию они ни принадлежали. Частично эти поблажки были вынужденными, ибо она вела хозяйство и, естественно, распоряжалась деньгами по своему желанию и усмотрению. А частично поблажки объяснялись попустительством со стороны отца, который, полагаясь на здравый смысл и ум дочери, предоставил ей самой выбирать себе товарок и время для встреч с ними.

Но была одна сторона его жизни, которой Бартон никогда не касался в своих беседах с дочерью, хотя именно эти дела всецело занимали его ум и сердце. Мэри, конечно, знала, что он ходит в разные клубы и вступил в рабочий союз, но девушку в возрасте Мэри (даже когда после смерти

матери прошло два или три года) едва ли могли интересоваться разногласия между нанимателями и нанимаемыми – предмет вечных волнений в промышленных районах, волнений, которые могут на время утихнуть, но вспыхивают с новой силой при любом застое в промышленности, указывая на то, что есть люди, в чьей груди, невзирая на внешнее спокойствие, тлеют угли гнева.

К числу таких людей принадлежал и Джон Бартон. В любые времена ткач-бедняк с изумлением взирает на то, как хозяин переезжает из дома в дом, с каждым разом все более просторный, пока не выстроит себе роскошный дворец или, свернув дела или продав фабрику, не купит себе где-нибудь поместье, тогда как ткач, убежденный, что на самом деле хозяин обязан своим богатством его труду и труду его товарищей, еле сводит концы с концами; ему едва удастся прокормить детей и пережить все беды – снижение заработков, уменьшение рабочего дня, безработицу и тому подобное. Но когда наступает застой и ткач понимает (в какой-то мере), что раз никто не покупает произведенный товар, значит, нет спроса на новый, тогда он готов был бы многое безропотно снести и вытерпеть, если б видел, что и хозяин несет свою долю невзгод, – а он, повторяю, с удивлением и, как он сам выражается, «из себя выведенный», обнаруживает, что в жизни владельцев фабрики, оказывается, не произошло никаких изменений. Обитатели особняков как жили в них, так и живут, в то время как домики прядильщиков и ткачей пустуют, потому что семьи, некогда жившие в них, вынуждены переселиться в тесные комнатухи и в подвалы. По улицам по-прежнему ездят кареты; на концертах по-прежнему полно чистой публики, в дорогие магазины по-прежнему ежедневно приезжают покупатели, в то время как безработный труженик, томясь своим бездельем, наблюдает все это, а сам думает о том, что дома у него сидит терпеливая мученица жена и тщетно плачут дети, которых ему нечем кормить, думает о загубленном здоровье и угасающей жизни тех, кто близок и дорог ему. Контраст слишком велик. Почему он один должен страдать, когда наступают плохие времена?

Я знаю, что на самом деле это не так, я знаю, каково истинное положение вещей, но моя цель – передать чувства и мысли рабочего человека. Правда, стоит наступить хорошим временам, и он с поистине детской беспечностью перестает ворчать и забывает о всякой предусмотрительности и уроках прошлого.

Однако есть среди рабочих люди с сильной волей, которые без единого слова жалобы терпят несправедливость, но никогда не забывают и не прощают тем, кто (по их мнению) причинил им зло.

К таким людям принадлежал Джон Бартон. Родители его всю жизнь бедствовали, мать умерла от лишений. Сам он был хороший работник и степенный человек, а потому не сомневался, что у него всегда будет работа. И он тратил все, что получал, с уверенностью (можно даже сказать непредусмотрительностью) человека, который знает, что всегда может заработать на свои нужды. Поэтому когда его хозяин неожиданно обанкротился и как-то утром, во вторник, всех рабочих распустили по домам, объявив, что мистер Хантер закрывает фабрику, у Бартонна оказалось всего несколько шиллингов в кармане; но он был убежден, что найдет работу в другом месте, и, не заглянув домой, несколько часов ходил с фабрики на фабрику в поисках работы. Но застой в торговле в той или иной степени сказывался на всех фабриках: одни работали неполный день, другие увольняли рабочих, и Бартон неделю за неделей сидел без дела, живя в долг. Как раз в эту пору его сынишка, свет его очей, средоточие его любви, заболел скарлатиной. Родители выходили его, когда наступил кризис, и все-таки жизнь мальчика висела на волоске. Теперь, сказал доктор, необходимо хорошее питание: важно укрепить его силы, так как после скарлатины мальчик очень ослаб. Не совет, а насмешка! В доме в ту пору не хватало самой простой еды, чтобы накормить семью раз в день. Бартон попытался раздобыть что-нибудь в кредит, но в маленьких лавчонках, которые тоже страдали от последствий безработицы, ему ответили отказом. Бартон готов был украсть и украл бы, но ему просто не представилось такой возможности за те несколько дней, которые еще оставались мальчику. Он был сам голоден, почти как дикий зверь, однако тревога за больного сынишку заглушала телесное страдание. Терзаясь этой двойною мукой, Бартон стоял у витрины лавки, где были выставлены всяческие яства: оленьи окорока, стилтонские сыры, глыбы желе и прочие деликатесы, о которых простой прохожий мог только мечтать. И вдруг из лавки вышла миссис Хантер! Она направилась к своей коляске в сопровождении приказчика, несшего за нею гору покупок для званого вечера. Дверца коляски захлопнулась, и миссис Хантер укатила, а Бартон вернулся домой с гневом в сердце и увидел, что его единственный сын умер.

Теперь вы можете представить себе, какую жаждой мщения полна была его душа. А всегда ведь находятся люди, которые посвящают себя тому, чтобы устным или печатным словом поддерживать такие чувства в сердцах тружеников, которые знают, как и когда вызвать к жизни страшную силу, чтобы добиться своей цели, никого не щадя.

Итак, пока Мэри шла своим путем, с каждым днем становясь все более

бойкой и красивой, отец ее председательствовал на профсоюзных собраниях [16], дружил с рабочими делегатами [17], лелея надежду со временем тоже стать делегатом, примкнул к чартистам [18] и готов был пойти на все ради их дела.

Но теперь времена были хорошие, и его ненависть к хозяевам носила скорее теоретический, нежели практический характер. А практически Бартона больше всего занимала сейчас мысль о том, чтобы отдать Мэри в обучение к портнихе, ибо он никогда – и по многим причинам – не хотел, чтобы она стала фабричной работницей.

Однако должна же была Мэри чем-то заниматься. Поскольку о работе на фабрике, как я уже сказала, не могло быть и речи, оставалось две возможности: пойти в услужение или стать портнихой. Против первого Мэри решительно восстала, хотя чего она добилась бы, несмотря на всю силу своей воли, если бы отец возражал, мне трудно сказать. Он сам не хотел расставаться с дочерью, чье присутствие согревало его дом, чей голос нарушал воцарившееся там безмолвие. Кроме того, при своих идеях и отношении к власти имущим он считал работу домашней прислуги настоящим рабством: с одной стороны, изнеженные люди, не знающие меры в прихотях, а с другой – труженица, не имеющая ни отдыха днем, ни покоя ночью. Был ли он прав в своей безудержной и всеобъемлющей ненависти, судите сами. Зато отказ Мэри идти в услужение был вызван, по моему, куда менее серьезными соображениями, чем те, которые руководили ее отцом. Три года независимой жизни (как раз столько лет прошло со смерти ее матери) отучили девушку с кем-либо считаться в распределении своего времени и в выборе подруг; и она вовсе не хотела одеваться так, как ей велит хозяйка, или лишиться дорогой женскому сердцу привилегии – поболтать с веселой соседкой или, проработав день и ночь, все же помочь человеку, попавшему в беду. А кроме того, слова таинственно исчезнувшей тети Эстер оказали на Мэри свое действие, хотя никто об этом не догадывался. Она знала, что хороша собой; рабочие по дороге с фабрики, не стесняясь, говорят прохожим все, что о них думают (что бы это ни было), а потому Мэри довольно скоро стало известно о ее красоте. Но даже если бы слова их были оставлены ею без внимания, всегда нашлись бы молодые люди иного, чем она, звания и положения, готовые отпустить комплимент повстречавшейся им миловидной дочке ткача. Кроме того, всякая шестнадцатилетняя девушка знает о своей красоте, хотя, будь она некрасива, она, возможно, и не подозревала бы этого. Итак, вооруженная сознанием своей прелести, Мэри довольно рано решила, что красота

должна помочь ей стать богатой и знатной (чем больше поносил ее отец богатство и знатность, тем больше она их уважала), стать такою, какою, по ее глубокому убеждению, стала пропавшая без вести тетя Эстер. Но если служанке часто приходится выполнять грязную тяжелую работу и те, кто приходят к хозяйке в дом, знают, что это служанка, то ученица портнихи должна быть всегда прилично одета (во всяком случае, так полагала Мэри), ей не приходится пачкать руки и ходить с красным или грязным от работы лицом. Я правдиво рассказала вам о не очень разумных мыслях и чувствах Мэри, но, прежде чем безоговорочно осуждать ее, вспомните о том, какие нелепые фантазии приходят в голову шестнадцатилетним юношам и девушкам любого сословия, живущим в самых разных условиях. Итак, отец и дочь в конце концов пришли к одному решению: Мэри должна стать портнихой. Честолюбивая девушка заставила отца, несмотря на его сопротивление, обойти лучших портних, чтобы узнать, сколько усидчивости и прилежания требуется от его дочери, чтобы ее взяли в ученицы. Но всюду за обучение взималась большая плата. Бедняга, он мог бы догадаться об этом и не трата целого рабочего дня. Бартон немало бы возмутился, если б узнал, что, сопровождая его Мэри, вопрос мог бы решиться иначе, ибо, при ее красоте, девушку могли бы взять манекенщицей. Попытал он счастья и у портних похуже, но всюду требовались деньги, а денег у него не было. Вечером, понурый и сердитый, он вернулся домой, объявив, что только даром потратил время и что вообще портнихи чересчур много работают и изучать это ремесло нет смысла. Сообразив, что его рассердила неудача, Мэри на завтра сама отправилась на поиски, так как отец не мог терять еще один рабочий день, и к вечеру (поскольку опыт предшествующего дня значительно снизил ее притязания) нанялась ученицей (хотя это не подтверждалось никакими документами или соглашениями) к некоей мисс Симмондс, модистке и портнихе, чья мастерская находилась на приличной улочке, ответвлявшейся от Ардуик-Грин, о чем оповещали золотые буквы по черному полю в раме из пятнистого клена, выставленной в окне приемной; мастериц мисс Симмондс величали «барышнями», и Мэри предстояло работать на нее два года без вознаграждения – она ведь будет учиться, а потом – за обед, чай и небольшое жалованье раз в квартал (потому что так благороднее, чем раз в неделю), совсем небольшое жалованье, которое свелось бы к сущему пустяку, если б разделить его по неделям. Летом Мэри должна была являться к шести и первые два года приносить с собой обед на день; зимой же она могла приходить после завтрака. Домой ее будут отпускать в зависимости от того, сколько работы у мисс Симмондс.

Мэри была довольна тем, как она устроилась; видя это, отец ее, хоть и поворчал, тоже успокоился. Тем не менее Мэри, хорошо изучившая его характер, принялась к нему ластиться и строить такие веселые планы на будущее, что оба легли спать с легким, если не счастливым, сердцем.



## ГЛАВА IV

### *ИСТОРИЯ СТАРУШКИ ЭЛИС*

Живи, не зная зависти и зла,  
Стремясь остаться чуждым всем грехам,  
И, как фиалка, что в тиши цвела,  
Верни в свой час смиренно небесам,  
Что получил от них когда-то сам.  
*Эллиот.* [\[19\]](#)

Прошел еще год. Казалось, волны времени давно уже смыли все следы пребывания на земле бедной Мэри Бартон. Но муж по-прежнему вспоминал о ней в тиши бессонных ночей, хотя горе его стало более спокойным; да и Мэри порой, очнувшись от крепкого после тяжелого трудового дня сна, но еще не сбросив с себя дремоты, казалось, видела мать, которая, совсем как в былые дни, стояла у ее постели и, прикрыв рукой свечу, с несказанной нежностью смотрела на свое спящее дитя. Мэри протирала глаза и, окончательно проснувшись, понимая, что это был только сон, снова опускала голову на подушку; тем не менее в минуты волнений и трудностей она взывала к матери о помощи и думала: «Если б мама была жива, она помогла бы мне». Мэри забывала при этом, что горю взрослого труднее помочь, чем горю ребенка, даже таким всемогущим средством, как материнская любовь; не сознавала она и того, что и умом и силою духа намного превосходила оплакиваемую ею мать. Тетушка Эстер так и не появлялась после своего таинственного исчезновения, – людям постепенно надоело строить догадки о ее судьбе, и они стали забывать ее. Бартон деятельно участвовал в работе своего союза и продолжал посещать клуб, даже стал ходить туда чаще, поскольку Мэри возвращалась домой в самое неопределенное время, а когда работы бывало очень много, оставалась в мастерской на всю ночь. Ближайшим другом Бартона был по-прежнему Джордж Уилсон, хотя они придерживались разных взглядов. Но их связывала старая дружба, и воспоминания о днях минувших придавали неизъяснимое очарование их встречам. Наш старый знакомец Джем Уилсон из нескладного юнца превратился в сильного, хорошо сложенного молодого человека с неглупым лицом, которое можно было бы назвать

даже красивым, если бы оно не было кое-где помечено оспой. Джем работал на большом заводе, принадлежавшем фирме, которая поставляла станки и машины во владения царя и султана. Отец и мать без устали расхваливали Джема, но Мэри Бартон в ответ лишь вскидывала свою хорошенькую головку, прекрасно понимая, что этими похвалами преследуется одна цель – показать ей, какой из Джема выйдет хороший муж, и побудить ее ответить на его любовь, о которой он никогда не осмеливался заговорить и которую выдавали только его красноречивые взгляды.

Однажды днем, в начале зимы, когда люди запаслись теплыми прочными вещами и, следовательно, дела у мисс Симмондс было не так много, Мэри встретила Элис Уилсон, возвращавшуюся из дома одного торговца, где она работала полдня. Мэри и Элис и раньше нравились друг другу, а теперь Элис питала особую нежность к этой девушке, оставшейся без матери, – дочери той, чей прощальный поцелуй она не раз с благодарностью вспоминала, ворочаясь в постели без сна. Не удивительно поэтому, что чистенькая старушка и цветущая молодая работница сердечно поздоровались, и Элис отважилась пригласить Мэри зайти к ней вечером выпить чаю.

– Тебе, конечно, может показаться скучным провести вечер со старухой, но надо мной живет славное молодое существо: она работает белошвейкой и немножко портнихой, вроде тебя, Мэри. Это внучка старика Джоба Лега, прядильщика, очень хорошая девушка. Приходи, Мэри: мне ужасно хочется вас познакомить. Она хорошенькая, вроде тебя.

Вначале Мэри со страхом решила, что вторым гостем старушки будет ее племянник, но Элис, хоть и очень любила Джема, была слишком деликатна, чтобы навязывать его общество той, кому оно было нежелательно, и Мэри, поняв из дальнейших слов Элис, что опасения ее необоснованны, с радостью приняла приглашение. Элис засуетилась: она ведь не часто принимала гостей и теперь совсем перепугалась при мысли, что окажется недостаточно гостеприимной хозяйкой.

Она поспешила домой и принялась раздувать не желавший разгораться огонь с помощью ручных мехов, занятых для этой цели у соседки. Элис никогда ими не пользовалась, терпеливо дожидаясь, пока угли сами не вспыхнут. Затем она надела деревянные башмаки и, взяв чайник, отправилась на соседний двор за водой. На обратном пути она заняла чашку, а блюдо, которые при случае служили ей вместо тарелок, у нее и у самой было достаточно. Пол-унции чая и четверть фунта масла поглотили почти весь ее утренний заработок, но ведь она не каждый день принимала

гостей. Сама она обычно пользовалась заваркой из трав, если какая-нибудь добросердечная хозяйка, у которой она работала, не давала ей щепотки чаю. Два имевшиеся у нее стула были освобождены для гостей и обтерты; затем Элис приладила старую доску к двум ящикам из-под свечей, поставленным на торец (сиденье, конечно, ненадежное, но она давно к нему приноровилась, да и вообще оно было сделано больше для приличия, чем для удобства); маленький, совсем крохотный круглый столик был придвинут к самому огню, который к этому времени уже весело пылал; на стареньком простом и дешевом подносе были поставлены черный чайничек, две чашки с красными разводами по белому полю и одна с обычным китайским рисунком, все на непарных блюдцах (и еще на одном блюдце горделиво красовался кусок масла), – словом, приготовления к встрече гостей были закончены, и Элис с удовлетворением оглядела комнату, не вполне, однако, уверенная, все ли она сделала, чтобы придать своей каморке больше уюта. Наконец она взяла один из стульев, стоявших на обычном месте у стола, пододвинула его к висячему шкафчику, о котором я упоминала, когда в первый раз описывала ее подвал, взобралась на стул и, достав старый сосновый ящик, вынула оттуда несколько овсяных хлебцев, какие пекут на севере. Держа в руке тонкие лепешки, которые, казалось, вот-вот переломятся, она осторожно спустилась со стула и положила их прямо на стол, уверенная, что ее гостям доставит удовольствие это лакомство ее детства. Потом Элис вынула большой кусок обыкновенного четырехфунтового карая и присела на один из упомянутых выше стульев с камышовым сиденьем – не для вида, а чтобы как следует отдохнуть. Чайник уже кипел, чай ждал своей участи в бумажном кулечке, – оставалось только зажечь свечу. Словом, все было готово.

Стучат! Оказалось, что это Маргарет, молоденькая работница, которая жила наверху: она слышала, как внизу сначала ходили, а потом все успокоилось, и решила, что пора отправляться в гости. Это была миловидная девушка с изможденным, болезненно-бледным лицом. Одежда ее отличалась скромностью и крайней простотой: платье из какой-то темной ткани прикрывала старенькая шаль, пришпиленная сзади и с двух сторон под грудь. Старушка сердечно поздоровалась с девушкой и усадила ее на стул, с которого только что встала, а сама примостилась на доске: ей хотелось внушить Маргарет, что это место ей больше нравится и она поэтому, а не по каким-либо другим соображениям, выбрала его.

– Понять не могу, почему так задержалась Мэри Бартон. Опаздывает, точно какая-нибудь важная дама, – заметила Элис, поскольку Мэри все не

шла.

А дело было в том, что Мэри прихорашивалась – да, прихорашивалась, собираясь к бедной старушке Элис, и никак не могла решить, что же ей надеть. Впрочем, наряжалась она вовсе не для Элис, – они ведь были давно знакомы. Просто Мэри любила производить на людей хорошее впечатление, и – надо отдать ей должное – ее старания часто увенчивались успехом, а тут ей предстояло новое знакомство. Итак, она надела хорошенькое новое платье из тонкой шерстяной материи голубого цвета, пришила к нему белый полотняный воротничок и белые манжеты и отправилась пленять тихую кроткую Маргарет. Ей это, конечно, удалось. Элис, никогда не придававшая особого значения красоте, не говорила Маргарет о том, какая Мэри хорошенькая, и, когда та вошла, слегка зардевшись от смущения, Маргарет просто глаз не могла от нее отвести, – Мэри даже опустила свои длинные черные ресницы, словно ей неприятно было, что ее так разглядывают, хотя сама приложила столько усилий, чтобы этого добиться. Можете представить себе, как суежилась Элис, заваривая и разливая чай, кладя сахар по вкусу гостей, снова и снова угощая их лепешками и хлебом с маслом! Можете представить себе, с каким удовольствием она смотрела на проголодавшихся девушек, уничтожавших ее лепешки, и слушала, как они расхваливают лакомство, напоминавшее ей родные края!

– Моя мама – господи, упокой ее душу! – с каждой оказией присылала мне эти лепешки! Она знала, какими вкусными они кажутся, когда живешь вдали от дома. Правда, наши лепешки всем нравятся. Когда я жила в услуженье, мои товарки с удовольствием их ели. Давно это было, очень давно.

– Расскажите нам о тех временах, Элис, – попросила Маргарет.

– Да тут и рассказывать-то, милочка, нечего. Семья у нас была большая – столько ртов, что и не прокормишь. Том – это отец Уилла (вы его не знаете: Уилл служит на корабле и сейчас плавает в чужих краях) – поехал в Манчестер и прислал письмо, что работы там хоть отбавляй: и для парней и для девушек. Тогда отец послал сначала Джорджа (Джорджа-то ты хорошо знаешь, Мэри), а потом в Бэртоне, где мы жили, стало мало работы, и отец сказал, что надо мне ехать и постараться найти себе место. Джордж писал, что платят в Манчестере куда больше, чем в Милнторпе или в Ланкастере, а я тогда, милочки, была молодая и глупая: мне казалось, что очень это интересно – уехать так далеко от дому. И вот в один прекрасный день приносит нам мясник письмо от Джорджа; он сообщал, что есть у него на примете место для меня. Ну, я, конечно, так и загорелась, да и отец

был вроде рад этому известию, мама же почти ничего не говорила – она все больше молчала. Я потом часто думала: наверно, огорчилась она, что мне так не терпелось уехать, да простит мне господь! Но она уложила мои вещи, да и кое-какие свои, которые могли мне стодиться, вон в ту картонную коробку, что стоит наверху; коробка эта теперь ни на что не годна – ей, наверно, уже лет восемьдесят, потому как она была у мамы, когда мама была еще девушкой, в ней она и пожитки свои привезла, когда они с отцом поженились, – но я лучше без огня жить буду, а коробки этой не разломаю и не сожгу. Мама тогда ни слезинки не проронила, хотя казалось, вот-вот заплачет, но долго стояла на дороге и, прикрыв глаза рукой, все смотрела мне вслед – такой я ее и запомнила, потому что больше ни разу не видела.

Элис знала, что ей уж недолго ждать встречи с матерью, да и огорчения и беды молодости забываются задолго до наступления старости, однако сейчас она так опечалилась, что и девушки расстроились, скорбя о бедной, давно умершей женщине.

– Неужели вы так никогда и не видели ее больше, Элис? И ни разу при ее жизни не были дома? – спросила Мэри.

– Нет, да и после ни разу. Хотя часто собиралась поехать. Я и сейчас собираюсь и надеюсь побывать на родине, прежде чем господь приберет меня. Когда я жила в услуженье, я все думала: вот поднакоплю денег и съезжу на недельку, но то одно мешало, то другое. Сначала заболели корью дети моей хозяйки – как раз перед той неделей, на которую я отпросилась, и я не могла их оставить, потому что стоило мне отойти, как они принимались плакать и звать меня. Потом заболела сама хозяйка, и мне уж совсем нельзя было уехать. Понимаете: у них была лавка, а хозяин-то пил, так что на нас с хозяйкой лежали все заботы – и за детьми смотреть, и в лавке торговать, да еще готовить и стирать в придачу.

Мэри порадовалась, что не пошла в услуженье, и сказала об этом.

– Эх, милочка, ты еще понятия не имеешь, как приятно помогать другим! Я жила там очень счастливо, почти так же счастливо, как дома. Ну, ладно, решила я, поеду на будущий год не спеша, да и хозяйка сказала, что даст мне тогда две недели отпуска. И вот я всю зиму потихоньку шила – хотелось мне подарить маме лоскутное одеяло своей работы. Но тут умер мой хозяин, хозяйка уехала из Манчестера, и пришлось мне искать другое место.

– А почему же, – перебила ее Мэри, – вы тогда не поехали домой? Ведь это было бы так удобно.

– Нет, я так не считала. Одно дело, если б я поехала домой на недельку

в гости, может, даже с деньгами, чтоб отцу помочь, и совсем другое, если б я приехала, чтобы стать ему обузой. А потом – где бы я там место себе нашла? Словом, я решила остаться, а пожалуй, надо было поехать, потому как я увидела бы маму тогда. – И бедная женщина растерянно посмотрела на девушек.

– Вы, конечно, поступили так потому, что считали это правильным, – мягко заметила Маргарет.

– Верно, милочка, верно, – согласилась Элис, оживляясь и поднимая поникшую голову. – Так оно и было, а уж господь распорядился по-своему. Но я все равно очень убивалась и горевала, когда весной – одеяло у меня тогда уже было выстегано и подкладка поставлена – пришел ко мне как-то вечером Джордж и сказал, что мама умерла. Сколько я потом ночей проплакала – днем-то времени не было. Хозяйка у меня тогда была уж больно строгая, – слышать не хотела, чтобы я на похороны поехала, да я все равно опоздала бы, потому как даже Джордж, который в ту же ночь выехал дилижансом, и тот опоздал. Письмо, видно, где-то задержалось в дороге или что-то с ним случилось (почта ведь ходила тогда не то что нынче), и, когда Джордж приехал, маму уже похоронили, а отец поговаривал о том, чтоб куда-нибудь переехать, потому как не мог он оставаться в нашем домике, когда мамы не стало.

– А красивое это было место, где вы жили? – спросила Мэри.

– Красивое, милочка?! Да я в жизни лучше не видала. Там есть горы, которые, кажется, уходят прямо в небо. Может, они туда и не доходят, но все равно – очень это красиво. Я всегда считала, что это и есть золотые горы небесные, про которые пела мама, когда я была маленькая:

Золотые там горы небесные,  
До вершины которых тебе не дойти.

В песне этой пелось что-то насчет корабля и возлюбленного, который недостоин любви. А совсем рядом с нашим домиком были скалы. Ах, милочки, да разве вы, в Манчестере, знаете, что такое скалы! Это такие серые каменные глыбы с дом величиной, сплошь поросшие мхом самых разных цветов: одни – желтым, другие – бурым, а под ними лиловатый вереск до колен, и пахнет от него так сладко и нежно, а вокруг гудят пчелы. Мама часто посылала нас с Салли рвать вереск для веников. Вот приятное было занятие! Приходили мы домой к вечеру до того нагруженные, что нас и не видно: вереск-то – он ведь легкий! Мама сажала нас под большущий старый боярышник (мы устраивались там среди корней, вылезавших из

земли) и заставляла отбирать и связывать в пучки вереск. Кажется, словно это вчера было, а ведь сколько времени с тех пор прошло! Бедная моя сестрица Салли уже больше сорока лет в могиле лежит. А я часто думаю: стоит ли еще там тот боярышник и ходят ли девушки за вереском, как мы это делали много-много лет назад. Душа болит – так хотелось бы мне снова повидать родные места. Может, будущим летом я и съезжу туда, если приведет господь дожить до будущего лета.

– Неужто вы так ни разу там и не были за все эти годы? – спросила Мэри.

– Что поделаешь, милочка: то одному я нужна была, то другому, да и без денег куда же я поеду, а ведь я, случалось, очень бедствовала. Том, бедняжка, был изрядный бездельник, и ему вечно приходилось помогать, да и от его жены (бездельники всегда женятся намного раньше степенных людей) толку было мало. Она все болела, а у него все что-то не ладилось, так что и рукам моим дело находилось, да и деньгам тоже, коли уж на то пошло. Умерли они в один год, оставив сынишку Уилла (вообще-то детей у них было семеро, да только шестерых господь прибрал), про которого я вам рассказывала. Взяла я его к себе, ушла из-за него с места; и хороший же был он мальчик – вылитый отец с виду, только куда серьезнее. Серьезный-то он был серьезный, а вот ничего я не могла с ним поделать: захотел стать моряком. Я все перепробовала, чтобы показать ему, какая несладкая у матросов жизнь. «В море человека мотает хуже, чем собаку, – говорила я ему. – Твоя родная мать рассказывала, что, когда плыла она к нам с острова Мэн <sup>[20]</sup> (а она была родом оттуда), она бы за спасителя своего посчитала того, кто бросил бы ее в воду». Я даже послала Уилла в Ранкорн по Герцогскому каналу, чтобы он моря попробовал <sup>[21]</sup>, и думала, что он вернется белый как полотно, весь измотанный рвотой. Но парень мой проехал до Ливерпуля, увидел там настоящие корабли и вернулся, твердо решив стать моряком. Он сказал, что его ни разу не мучило и море ему нипочем. Тогда я сказала ему: что ж, поступай как знаешь. Он сказал спасибо и расцеловал меня, потому как очень я была на него сердита. А теперь он уехал в Южную Америку – по ту сторону солнца, как мне сказали <sup>[22]</sup>.

Мэри искоса взглянула на Маргарет, желая узнать ее мнение о познаниях Элис в географии, но Маргарет сидела с таким спокойным и серьезным видом, что Мэри усомнилась, знает ли что-нибудь она сама. Правда, и познания Мэри в этой области не отличались такой уж глубиной, но она, по крайней мере, видела глобус и знала, где найти на карте

Францию и все континенты.

Кончив свой долгий рассказ, Элис умолкла и погрузилась в раздумье; молчали и девушки, полагая, что она углубилась в воспоминания о родном доме и о своем детстве, и не желая ей мешать. Но она вдруг вспомнила об обязанностях хозяйки и усилием воли заставила себя вернуться к настоящему.

– Послушай, Маргарет, ты должна спеть Мэри. Сама я в музыке ничего не смыслю, но люди говорят, что Маргарет удивительно хорошо поет. Я знаю только, что всегда плачу, как она запоем про Олдхемского ткача. Спой нам, Маргарет, будь умницей.

Слегка улыбнувшись, словно ее забавлял выбор Элис, Маргарет запела.

А читатель знает эту песню? Думаю, что нет, если, конечно, он не родился и не вырос в Ланкашире, потому что «Олдхемский ткач» – ланкаширская песня. И уж лучше я приведу ее здесь.

## ОЛДХЕМСКИЙ ТКАЧ

### I

Я ткач, каких много, бедней меня нет,  
Мне нечего есть, я разут и раздет,  
Заплатанней в мире не сыщешь штанов,  
Все пальцы глядят из худых башмаков.  
Доли тягостней нет,  
Чем явиться на свет,  
Чтобы биться как рыба об лед.

### II

Мне Дикки не раз и не два говорил,  
Что, меньше болтая, я лучше бы жил.  
Язык прикусил я, но все ж – не совру -  
От голода скоро, наверно, помру.  
Старый Дикки, брюхан,  
Вечно сыт, вечно пьян,  
Никогда за станком он не ткал.

### III



Все туже затягивал я ремешок,  
Все думал: «Ну, вот и последний денек».  
Забывши о вкусе картошки и круп,  
Из свежей крапивы варили мы суп.  
И, поверьте, не лгу,  
Отыскать я могу  
Сколько хочешь таких же, как мы.

#### IV

Натравил старый Билли судейских на нас  
Забрать за долги и кровать и матрас,  
Да промаху тут старый лавочник дал -  
Вечор все пожитки хозяин забрал.  
Ничего в доме нет,  
Лишь один табурет,  
На котором мы с Марджит сидим.

#### V

Судейские смотрят – две крысы на вид.  
«Зазря мы явились, – один говорит,-  
Одна паутина висит по углам».  
«Входите, – сказал я, – мы рады гостям».  
Но судейский в ответ  
Сразу хватъ табурет,  
И мы с Марджит слетели на пол.

#### VI

Ну, Марджит, благую избрали мы часть -  
Ведь ниже теперь нам уже не упасть!  
И, значит, с любой переменной теперь  
Не горе, а радость войдет в нашу дверь!  
Нет ни мяса у нас,  
Нет ни дров про запас,  
Эх, была ни была – все одно!

## VII

А Марджит в ответ: будь у ней что одеть,  
Пошла б она в Лондон, довольно терпеть!  
А если бы нам и король не помог,  
Она б, замолчав, умерла, видит бог!  
Нету злобы у ней  
Против знатных людей,  
Но она хочет правду найти.

Поется эта песня на очень монотонный мотив, и очень многое зависит от того, сколько чувства и выразительности в нее вкладывается. При чтении она может показаться даже смешной, но этот смех сродни грусти, и для тех, кто знал горе, она исполнена глубокой печали. Маргарет не только была знакома с нуждой, но и обладала сострадательным сердцем, а кроме того, у нее был низкий голос редкой красоты, который чарует без всяких фиоритур. Элис тихонько плакала, облегчая душу слезами. А Маргарет пела с серьезным, задумчивым лицом, неподвижно глядя в одну точку, и, казалось, все больше проникалась сознанием той беды, про которую говорилось в песне и от которой, возможно, в ту самую минуту мучаются и гибнут люди где-то совсем рядом с этим сравнительно уютным жильем.

Дивный голос ее внезапно зазвучал во всей своей могучей силе, словно из глубины ее сердца рвалась молитва о всех обездоленных: «Боже, помяни царя Давида...» <sup>[23]</sup> Мэри затаила дыхание, боясь пропустить хотя бы ноту, хотя бы один из этих чистых, совершенных, исполненных мольбы звуков. Куда больший знаток музыки, чем Мэри, и тот с не меньшим восхищением слушал бы Маргарет, поражаясь высокому искусству, с каким эта скромная молодая швея пользовалась своим великолепным гибким голосом. Сама Дебора Трэвис, которая некогда работала на фабрике в Олдхеме, а потом под именем миссис Найвет стала любимицей публики, могла бы признать в ней равную себе.

Маргарет умолкла, и Элис со слезами святого сострадания стала благодарить ее. К великому удивлению Мэри, во все глаза глядевшей на девушку, та, как только кончила петь, снова приняла свой скромный, смиренный вид, и трудно было догадаться о сокрытой в ней силе.

В тишине, наступившей после того, как Элис в нескольких словах выразила свою признательность, вдруг послышался приятный, хоть и немного дребезжащий мужской голос, напевавший два последних куплета песни Маргарет.

– Это дедушка! – воскликнула она. – Мне пора! А он-то говорил, что вернется домой не раньше девяти.

– Что ж, не стану тебя задерживать, потому что мне завтра вставать в четыре – у миссис Симпсон большая стирка, но я буду рада вам в любое время, милочки, и я надеюсь, что вы подружитесь.

Когда девушки поднимались по лестнице, ведущей из подвала, Маргарет предложила:

– Не зайдете ли вы к нам познакомиться с дедушкой? Мне бы очень хотелось вас познакомить.

И Мэри согласилась.

## ГЛАВА V

### **ФАБРИКА В ОГНЕ. ДЖЕМ УИЛСОН ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ**

Он был учен и мог издалека  
Определить любого мотылька;  
Он все травинки знал наперечет  
И о любой мог полный дать отчет.  
*Элиот.*

Есть в Манчестере такие люди, о существовании которых не подозревают многие жители города, хотя имена их можно было бы поставить в один ряд со славными именами, признанными наукой, – впрочем, этому последнему вряд ли поверит большинство их сограждан. Я говорю, в Манчестере, однако таких людей можно найти во всех промышленных районах Ланкашира. В окрестностях Олдхема есть ткачи, обычные ткачи, работающие вручную, которые, пробрасывая челнок между петлями основы, порой заглядывают в «Principia» Ньютона [\[24\]](#), лежащую на станке, а в часы, отведенные для еды и для сна, уже не отрываются от нее. Многие простые рабочие, ничем не примечательные с виду и не умеющие даже правильно говорить, интересуются математическими проблемами и с головой погружаются в их изучение. Поэтому не так уж удивительно, что более доступные отрасли естественной науки находят горячих и преданных сторонников из этой категории людей. Среди них есть ботаники, знакомые как с классификацией Линнея [\[25\]](#), так и с естественной системой, которые знают названия всех растений и места, где они растут, в пределах одного дня ходьбы от их дома; которые, когда то или иное растение должно расцвести, урывают день или два от работы и, завязав в носовой платок скромную еду, отправляются на поиски – с единственной целью принести домой какой-нибудь невзрачный сорняк. Есть и энтомологи [\[26\]](#), гоняющиеся с самодельным сачком за каким-нибудь крылатым насекомым или исследующие с помощью нехитрой драги илистые пруды. Все это практичные бережливые труженики, которые, однако, с восторгом подлинных ученых могут часами разглядывать каждый новый экземпляр. И не только наиболее обычные и известные разделы

энтомологии и ботаники привлекают этих людей, так страстно жаждущих знания. Быть может, благодаря тому, что ежегодный праздник Манчестера – неделя троицы – часто падает на май или на июнь, рабочие этого города и смогли так тщательно и всесторонне изучить малоизвестные, но красивые семейства Ephemeridae и Phryganeidae [\[27\]](#). Если читатель заглянет в предисловие к «Жизнеописанию сэра Дж. Смита» (у меня нет его под рукой, иначе я просто привела бы соответствующее место), он обнаружит там один небольшой факт, подтверждающий мои слова. Будучи в гостях у мистера Роско в Ливерпуле, сэр Смит спросил его, где можно найти одно чрезвычайно редкое растение, которое, говорят, произрастает в Ланкашире. Мистер Роско понятия не имел об этом растении, но назвал одного манчестерского ткача, который, по его мнению, мог дать необходимые сведения. Сэр Дж. Смит сел в дилижанс и отправился в Манчестер. Прибыв в город, он спросил носильщика, который нес его багаж, не знает ли он такого-то.

– Конечно, знаю, – ответил тот. – У нас с ним общая страстишка.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что и носильщик и его друг ткач – оба весьма знающие ботаники и могут дать сэру Дж. Смигу те сведения, которые ему нужны.

Вот что интересует и занимает кое-кого из незаметных тружеников Манчестера, непризнанных ученых.

Дедушка Маргарет как раз принадлежал к числу таких людей. Это был маленький жилистый старичок, ходивший вприпрыжку, словно его дергали за веревочку, как игрушечного паяца; редкие и мягкие каштановые с проседью волосы прикрывали его голову на затылке и с боков, оставляя открытым лоб, казавшийся непомерно большим в сравнении с лицом, ставшим к тому же значительно меньше, чем прежде, из-за полного отсутствия зубов. Глаза его так и светились умом: они были остры и наблюдательны, словно у сказочного колдуна. Да и жилище его походило на обитель колдуна. На стенах вместо картин висели грубо сколоченные деревянные ящички с наколотыми насекомыми; на небольшом столе

грудой лежали какие-то непонятные книги, а подле них стоял ящичек с таинственными инструментами, одним из которых как раз и орудовал Джоб Лег, когда вошла его внучка.

При ее появлении он поднял очки на лоб и кратко, но приветливо поздоровался с Мэри. Маргарет же он встретил так, как встречает нежная мать своего первенца – ласково погладил ее по голове и, когда заговорил с ней, то даже голос его зазвучал иначе.

Мэри с удивлением разглядывала странные предметы, каких она

никогда не видела у себя дома и которые ее даже немного напугали.

– Ваш дедушка – знахарь? – спросила она шепотом у своей новой приятельницы.

– Нет, – ответила Маргарет так же тихо, – но не вы первая принимаете его за знахаря. Просто он любит заниматься такими вещами, о которых многие и не слышали даже.

– А вы тоже что-нибудь в них смыслите?

– Да, немного. Я постаралась кое-чему научиться, чтобы разбираться в том, что так любит дедушка.

– А это что за твари? – спросила Мэри, глядя на непонятные существа, развешанные по комнате в самодельных застекленных ящичках.

Но научные названия, которыми забросал ее Джоб Лег, привели ее в растерянность: они говорили ей не больше, чем стук града по крыше, и лишь ошеломяли ее. Заметив это, Маргарет поспешила прийти ей на помощь.

– Взгляните, Мэри, на этого противного скорпиона. Он так меня напугал, что, как вспомню, до сих пор дрожь пробирает. Однажды на троицу дедушка поехал в Ливерпуль побродить по докам: авось удастся найти у матросов какую-нибудь диковину – они ведь часто привозят из жарких стран всякие чудеса. И вот видит он, стоит матрос с бутылочкой в руке – вроде бы из-под лекарства. Дедушка и спрашивает: «Что это у тебя там?» Матрос поднес бутылочку к глазам дедушки. Видит дедушка – редчайшая разновидность скорпиона, какие не часто встречаются даже в Вест-Индии, откуда прибыл моряк. Дедушка его и спрашивает: «Как же тебе удалось поймать такого красавца? Ведь его едва ли так просто возьмешь!» И моряк рассказал, что нашел его замешком с рисом, когда разгружали корабль, и подумал, что, должно быть, тварь погибла от холода, потому как на вид скорпион был цел и невредим. Ну, и поскольку матросу не хотелось расставаться ради скорпиона хоть с каплей спиртного и лишая себя грога, он просто сунул его в бутылку, зная, что найдутся люди, которые купят его находку. Ну, и дедушка, конечно, предложил ему шиллинг.

– Два шиллинга, – поправил ее Джоб Лег, – и это еще очень дешево.

– Ну вот, пришел дедушка домой довольный-предовольный и вытащил из кармана бутылочку. Но скорпион-то там был согнут пополам, и дедушка решил, что мне не видно, какой он большой. Вот он и вытряхнул его оттуда прямо перед очагом, а огонь был жаркий – я тогда гладила. Бросила я гладить и наклонилась над скорпионом, чтоб лучше его рассмотреть, а

дедушка взял книжку и стал читать про то, какие эти скорпионы ядовитые и злые – укус их часто бывает смертелен, а люди, укушенные ими, распухают и начинают кричать от боли. Я внимательно слушала, но почему-то все смотрела на скорпиона, хотя, конечно, вовсе и не следила за ним. Вдруг он дернулся. Не успела я рта раскрыть, как он дернулся еще раз и бросился на меня, точно пес, сорвавшийся с цепи.

– А вы что? – спросила Мэри.

– Я? Я сначала вскочила на стул, потом на комод, прямо на белье, которое гладила. Кричу дедушке, чтобы он лез ко мне, а он как будто не слышит.

– Если б я влез к тебе, кто бы скорпиона стал ловить, а?

– Словом, я кричу дедушке, чтобы он раздавил его, хотела даже сама бросить в него утюгом, но дедушка не велел его трогать. Я ничего не могла понять: дедушка скачет по всей комнате – значит, вроде бы его боится, а мне прикончить его не дает. Наконец подбежал дедушка к чайнику, приподнял крышку и заглянул внутрь. Зачем это он делает, подумала я. Не станет же он чай пить, когда скорпион бежит на свободе по комнате. Но тут дедушка взял большие щипцы, надел очки на нос, схватил тварь за ногу и кинул ее в кипяток.

– И скорпион сдох? – спросила Мэри.

– Еще бы. Только он у нас варился дольше, чем хотелось бы дедушке. Но уж очень я боялась, что он снова оживет. Я сбегала в трактир за джином, дедушка налил его в бутылку, потом мы слили воду из чайника, вытащили скорпиона и засунули его в бутылку. Там он у нас сидит вот уже год.

– А от чего же он вдруг воскрес? – спросила Мэри.

– Видите ли, он тогда еще не умер по-настоящему, а только спал – заснул от холода, а у нашего доброго огонька отогрелся и ожил.

– Как хорошо, что мой отец не интересуется такими тварями, – заметила Мэри.

– Правда? Ну, а я часто радуюсь, что дедушка так обожает свои книжки, своих тварей и свои растения. Любо смотреть, как он радуется, разбирая их дома, и с какой охотой отправляется в свободный день за новыми экземплярами. Взгляните на него: он уже снова засел за книги и будет корпеть над ними, счастливый как король, пока я не позову его спать. Правда, он тогда совсем со мной не разговаривает, но что поделаешь, – главное, что это занимает его и радует. Зато как нападет на него желание поговорить, так только слушай раскрывши рот. Милый дедушка! Вы представить себе не можете, Мэри, как мы с ним счастливы!

Мэри подумала было, что милый дедушка все это слышит, ибо Маргарет говорила не понижая голоса, но она ошиблась: он был всецело занят решением какой-то проблемы. Он даже не слышал, как Мэри пожелала ему доброй ночи, и она ушла с убеждением, что таких странных людей ей еще не приходилось видеть. Маргарет – такая скромная, такая невзрачная, пока не запоет, такая молчаливая вне дома и такая веселая и приятная дома, и дедушка – такой непохожий на известных Мэри людей. Маргарет сказала, что он не знахарь, но Мэри не была уверена, что это так.

Желая разрешить свои сомнения, она поделилась ими с отцом, который, заинтересовавшись ее рассказом, пожелал сам познакомиться с этими людьми. Случай всегда подвернется, если его искать, и к концу зимы Мэри уже считала Маргарет своей задушевной подругой. Когда Мэри вечерами бывала дома, Маргарет брала с собой работу и приходила к подруге посидеть, а Джоб Лег, сунув в карман книгу и трубку, заходил к соседям за внучкой, а заодно и поболтать с Бартоном, если тот оказывался дома; если же Бартон был еще в клубе, а девушкам не хотелось расставаться, старик охотно доставал трубку и погружался в чтение книги. Словом, он был готов на все, лишь бы доставить удовольствие своей милой Маргарет.

Не знаю, право, какие черты сходства или различия (ибо различие соединяет людей не меньше, чем сходство) так нравились девушкам друг в друге. Огромное очарование Маргарет заключалось в ее здравомыслии, а люди, сами того не замечая, всегда высоко это ценят. Ведь так приятно иметь друга, который может разрешить трудный вопрос, рассудить, как лучше поступить в том или ином случае, который настолько убежден в правильности и разумности задуманного шага, что успех предприятия кажется обеспеченным и препоны, стоящие на пути, не представляются такими уж страшными. Люди восторгаются талантом и высказывают свои восторги вслух, а здравый смысл хоть и ценят, но ничего о нем не говорят и часто даже сами не сознают его значения.

Мэри и Маргарет все больше привязывались друг к другу, и Мэри поверяла подруге свои мысли и чувства, как не поверяла их доселе никому. Многие ее слабости также стали известны Маргарет, но не все. Одно заветное чувство она упорно скрывала от всех. У Мэри был поклонник – не возлюбленный, но человек, который пленил ее воображение. Это был красивый и любезный молодой щеголь, но... она его не любила. Однако Мэри каждый день жила надеждой встретить его на улице, краснела, когда при ней произносили его имя, и в мыслях видела его своим будущим мужем, а главное – себя его женой. Ах, бедная Мэри! Страшное горе



готовила тебе твоя слабость.

Были у нее и другие поклонники. Двое-трое из них готовы были ухаживать за ней всерьез, если бы она так не задирала нос, говорили они. Джем Уилсон ничего не говорил, а просто любил ее – и чем дальше, тем сильнее; он не терял надежды, ибо не мог отказаться от Мэри – это означало бы отказаться от жизни. О будущем он старался не думать, а сейчас ему было вполне достаточно видеть ее, дотронуться до края ее одежды. Не могла же такая любовь не вызвать со временем ответной.

Он не оставлял надежды, но холодность Мэри могла обескуражить кого угодно; она приводила в отчаяние и Джема, хотя он долгое время не желал признаваться в этом даже себе.

Однажды вечером он зашел к Бартонам, охотно взявшись выполнить поручение отца, и, открыв дверь, увидел Маргарет, дремавшую у огня. Она зашла поговорить с Мэри, но, утомленная бессонной ночью, которую провела за работой, заснула под действием живительного тепла.

Джем вспомнил старинную поговорку насчет пары перчаток и, тихонько подойдя к Маргарет, дружески поцеловал ее в лоб.

Она тотчас проснулась и, прекрасно поняв, что произошло, воскликнула:

– Как тебе не стыдно, Джем! А что Мэри скажет?

На шутку и отвечают шуткой:

– Что ж, она скажет: дело мастера боится.

И оба рассмеялись. Но слова Маргарет запомнились Джему. А в самом деле, как бы отнеслась к этому Мэри? Обиделась бы? Ну хоть немножко? Вопрос этот терзал его днем и ночью, но в глубине души Джем чувствовал, что Мэри глубоко безразличен любой его поступок. И все же он продолжал любить ее, и чем дальше – тем сильнее.

Отец Мэри прекрасно понимал, какие чувства питает Джем Уилсон к его дочери, но никому не говорил об этом, считая, что Мэри еще слишком молода для замужества, а потом ему не хотелось думать о разлуке с нею пусть даже в далеком будущем. Тем не менее он с радостью принимал у себя Джема как сына своего приятеля, не касаясь причин, побуждавших юношу бывать у них; порой он даже допускал мысль, что будет не так уж плохо, если Мэри со временем выйдет замуж за Джема Уилсона, – парень он серьезный, работающий, свое дело знает, и сын он хороший, и не размазня, хоть в присутствии Мэри и не спускает с нее глаз и так волнуется, что его «огонек», как выражался Джон Бартон, совсем угасает.

Был конец февраля, и на дворе вот уже несколько недель стоял лютый холод. Пронизывающий восточный ветер уже давно начисто вымел улицы,

но когда он налетал, поднималась пыль – колючая, точно кусочки льда, и била в лицо людям с такой силой, что начинала болеть кожа. Дома, небо, люди – все выглядело так, точно по ним прошли гигантской кистью, обмакнутой в китайскую тушь. Чем бы ни объяснялся такой мрак в природе, закопченными лицам людей, во всяком случае, можно было найти объяснение: пресная вода ц? нилась теперь чуть ли не на вес золота; несчастные прачки тщетно долбили проруби в толстом сером льду, который сковал все окрестные пруды и канавы. Люди предрекали, что холода простоят еще долго, что весна, будет поздняя, что поэтому шить на весну ничего не надо, да и на лето тоже, так как оно будет коротким и неустойчивым. Словом, пока дул суровый восточный ветер, всяким дурным предсказаниям не было конца.

Однажды вечером, когда сумерки только что начали сгущаться, Мэри вышла от мисс Симмондс и, прикрыв платком рот, пригнув голову, чтобы уберечься от встречного ветра, побежала домой. Не удивительно, что она заметила Маргарет, только когда столкнулась с ней в воротах своего дома.

– Боже мой, да никак это Маргарет?! Куда ты идешь?

– Да к тебе же (при условии, конечно, что ты меня примешь). Мне нужно за сегодняшний вечер кончить одну работу: приготовить траур к завтрашним похоронам, а' дедушка отправился искать свои мхи и придет домой очень поздно.

– Вот и чудесно! Я помогу тебе, если ты не успеешь управиться. Тебе еще много осталось сделать?

– Да. Заказ я получила только вчера в полдень, а надо одеть мать и трех девиц. На одни примерки и выбор материи сколько времени ушло (того куска, который они сначала отобрали, оказалось маловато)-вот теперь мне и приходится нагонять. Я ведь еще ни за одну юбку не бралась. Решила, что это я могу сделать и при свечах. А рукава... Да еще отделка на лифах: заказчица-то большая привередница. Я чуть не рассмеялась, когда они сначала так убивались, так плакали – в самом деле горевали, конечно, а в зеркало поглядывали: тут не так да здесь не то. Горе горем, а платье должно сидеть хорошо.

– Что ж, Маргарет, ты ведь знаешь, что я всегда рада тебе помочь, и сегодня охотно помогу, хоть я и порядком устала: вечером у мисс Симмондс было много работы.

Пока шел этот разговор, Мэри разворошила угли и зажгла свечу; Маргарет присела с работой у одного конца стола, а ее подруга наскоро выпила чаю на другом конце. Затем поднос с посудой был переставлен на комод. Мэри обмахнула свой край стола передником, который всегда

носила дома, взяла два куска материи и принялась их сшивать.

– Кому это ты шьешь? Может, ты и говорила мне, но я уже забыла.

– Да миссис Огден, у которой зеленная лавка на Оксфорд-роуд. Муженек ее умер от запоя, и хоть она немало слез пролила из-за него, пока он был жив, сейчас, когда он умер, очень она по нем убивается.

– А много он ей оставил? – спросила Мэри, рассматривая ткань платья.

– Какой красивый и мягкий бомбазин!

– Нет, боюсь, что немного, а у нее, кроме трех старших дочерей, есть ведь еще и малыши.

– Мне кажется, что барышни вроде них могли бы и сами сшить себе платья, – заметила Мэри.

– А они, наверное, и шьют себе сами. Только сейчас они очень заняты приготовлениями к похоронам: хотят, чтобы было поторжественнее. Одна из малышек сказала мне, что приглашено на поминки двадцать человек. Девчушке, видно, очень нравится вся эта суета, да и бедной миссис Огден, наверно, легче за работой. Мне пришлось дожидаться ее на кухне – там так пахло ветчиной и жареной птицей, что можно подумать, к свадьбе готовятся, а не к похоронам. Говорят, эти похороны обойдутся миссис Огден фунтов в шестьдесят.

– Ты ведь, кажется, сказала, что у нее нет денег, – заметила Мэри.

– Я только знаю, что она в нескольких лавках просила в долг: говорила, что муж отбирал у нее все до последнего фартинга и пропивал. А в том, что она такие похороны устраивает, гробовщики виноваты: они сказали ей, что так полагается, что надо отдать дань уважения покойному, что все так делают, – словом, совсем сбили с толку бедняжку. Да, видно, и на душе у нее беспокойно (мы ведь всегда корим себя, когда человека уже нет в живых). Сколько она, наверно, горьких слов ему говорила, сколько по мелочам обижала покойника. Вот она и решила зато устроить ему хорошие похороны, хоть и ей и детям придется потом не один год во всем себе отказывать, чтобы расплатиться с долгами, если они вообще когда-нибудь расплатятся.

– Да и этот траур обойдется им недешево, – заметила Мэри. – Я часто удивляюсь: зачем люди носят траур. Это и некрасиво, и никому не идет, а денег стоит уйму, да еще в такое время, когда деньги бывают очень нужны. А потом, если верить писанию, не надо жалеть о хорошем человеке, когда он обретает вечный покой; а если умирает плохой человек, то надо только радоваться. Право, не понимаю, кому нужен траур.

– А я, кажется, знаю, зачем нам ниспослан этот обычай (Элис всегда говорит «ниспослан», и, по-моему, она права). Он приносит немалую

пользу, хоть и обходится дорого, так как он заставляет что-то делать людей, сломленных горем и способных, казалось бы, только плакать. Вот, к примеру, рассказывала же я тебе, как убивалась миссис Огден и ее дочки: может, покойник и был для них добрым мужем и отцом, когда не пил. А как они повеселели, когда я пришла! Я нарочно во всем с ними советовалась, спрашивала их мнение, чтобы заставить их говорить и отвлечься. Я даже оставила им журнал (хотя и двухмесячной давности).

– Я не думаю, что все люди так оплакивают своих покойников. Вот Элис вела бы себя иначе.

– Таких, как Элис, одна на тысячу. Я не думаю даже, что она очень уж стала бы убиваться, как бы тяжело ей ни было. Она сказала бы, что это ниспослано свыше, и постаралась бы увидеть в этом какую-то благую цель. Она считает, что все беды ниспосылаются ко благу. Я не говорила тебе, Мэри, что она сказала мне как-то, увидев, что я очень расстроена?

– Нет, но, пожалуйста, скажи. Только сначала мне хотелось бы знать, чем ты была так расстроена?

– Этого я тебе сейчас не могу сказать. Может, скажу когда-нибудь позже.

– Когда же?

– Может, даже сегодня вечером, если будет настроение, а может, и никогда. Это так страшно, что иной раз я боюсь об этом даже подумать, а иной раз не могу думать ни о чем другом. Ну и вот, как-то раз мучилась яэтим страхом, и вдруг заходит ко мне Элис и видит, что я плачу. Я ей тоже не стала ничего рассказывать, как сейчас тебе, Мэри. А она и говорит мне: «Вот что, душенька, как тебе взгрустнется или станет тяжело, вспомни, что смятенную душу покидает бог». И знаешь, Мэри, с тех пор только я начну роптать, как вспомню про слова Элис и сразу сдержусь.

Некоторое время слышен был лишь однообразный скрип иглы, проходящей сквозь ткань.

– А тебе заплатят за этот траур? – спросила наконец Мэри.

– Скорей всего, что нет. Я и сама над этим задумывалась и настроила себя так, что не заплатят. Пусть, решила я, это будет моим подарком и хоть немного порадует их. Не думаю, чтобы они могли мне заплатить, но без траура обойтись они тоже не могут, иначе у них на душе беспокойно будет. А для меня в трауре одна беда: очень глаза болят, когда я шью черное.

Маргарет со вздохом опустила работу на колени и прикрыла глаза рукой. Затем притворно-весело добавила:

– Тебе не придется долго ждать, Мэри, чтобы я открыла тебе свою тайну: она уже рвется у меня с языка. Знаешь, Мэри, мне иногда кажется,

что я слепну. А что тогда будет с дедушкой и со мной? О господи боже, помоги мне!

И она разрыдалась, а Мэри, опустившись подле нее на колени, принялась утешать и успокаивать ее, однако по неопытности Мэри старалась опровергнуть страхи Маргарет, тогда как следовало помочь ей признать свое несчастье и вступить с ним в борьбу.

– Нет, – сказала Маргарет и твердо посмотрела на Мэри полными слез глазами, – я знаю, что это так. Я уже давно почувствовала, что один глаз у меня стал плохо видеть – задолго до того, как поняла, к чему это может привести. А осенью я пошла к доктору, и он сказал мне прямо, без обиняков, что мне надо сидеть в темной комнате сложа руки, иначе мне не сохранить зрения. Ну, а разве я могу, Мэри, это себе позволить? Во-первых, дедушка сразу бы понял, что со мной творится что-то неладное, – как он будет горевать, когда узнает! Поэтому чем дольше не говорить ему, тем лучше. А потом, Мэри, ведь порой нам очень туго приходится, и мой заработок тогда бывает большим подспорьем. Дедушка то тут урвет денек от работы, то там – либо займется своей ботаникой, либо отправится на поиски редких насекомых- и заплатит четыре-пять шиллингов за какой-нибудь экземпляр ему ничего не стоит. Милый дедушка! Как мне тяжело думать, что он лишится такого удовольствия! Тогда я пошла еще к одному доктору: может, он скажет что-то другое. Он сказал мне: «Ничего страшного, просто глаз немного устал», – и дал пузырек примочки, но я израсходовала уже три пузырька (каждый два шиллинга стоит), а глазу все хуже: болеть он у меня перестал, но видеть я ничего не вижу. Вот, к примеру, ты, Мэри,- продолжала она, закрыв один глаз, – кажешься мне сейчас большой черной тенью, окруженной огненной, расплывающейся линией.

– А другим глазом ты хорошо видишь?

– Да почти так же хорошо, как раньше. Только вот когда я долго шью, в том месте, куда я смотрю, появляется яркое, как солнце, пятно. Все вокруг я вижу ясно, а вот то место, куда глядеть надо, не вижу. Я снова была у обоих докторов, и теперь оба говорят одно и то же: должно быть, скоро я совсем ослепну. За простое шитье ведь очень мало платят, а нынешней зимой столько шили траура, что я соблазнилась и брала любые заказы, какие могла получить, и теперь расплачиваюсь за это.

– И все-таки ты продолжаешь их брать. Если б кто другой так поступал, ты сказала бы, что это глупо.

– Правильно, Мэри! Но что я могу поделать? Нужно же как-то жить. А потом, мне кажется, что я все равно ослепну. Да и дедушке я не смею об

этом сказать, – уж очень он огорчится, иначе я б давно работу бросила.

Маргарет раскачивалась из стороны в сторону, стараясь взять себя в руки.

– Ах, Мэри, – сказала она, – я так хочу хорошенько запомнить лицо дедушки: подолгу гляжу на него, когда он на меня не смотрит, а потом закрываю глаза и проверяю, могу ли я представить себе его милое лицо. Правда, есть у меня, Мэри, одно маленькое утешение. Ты, наверно, слыхала о старике Джейкобе Баттеруорсе, ткаче, который хорошо поет? Так вот, я его немножко знаю. Пошла я к нему и попросила, чтоб он поучил меня петь. Он сказал, что у меня на редкость красивый голос, и теперь я раз в неделю хожу к нему учиться. Он когда-то был хорошим певцом. Руководил хорами на праздниках и не раз получал похвалы от лондонских господ; одна иностранная певица – госпожа Каталани [\[28\]](#) – даже пожала ему руку на глазах у всех прихожан, а в церкви было полным-полно народу. Так вот он говорит, что я куда больше могу заработать пением, только я не очень этому верю. Все-таки что ни говори, а грустно быть слепой.

И Маргарет, сказав, что глаза у нее теперь отдохнули, снова взялась за шитье. Некоторое время девушки молча работали.

Внезапно по булыжнику дворика раздались шаги; мимо занавешенного окна пробежало несколько человек.

– Что-то случилось, – заметила Мэри.

Она открыла дверь и, остановив первого бежавшего мимо человека, спросила, в чем дело.

– Да ты что, девушка, не видишь зарева? Фабрика Карсона горит, как свеча.

И, не договорив, человек побежал дальше.

– Маргарет, скорее надевай шляпку: бежим к фабрике Карсона. Там пожар, а говорят, когда фабрика горит, это очень красиво. Я еще ни разу не видела.

– По-моему, это должно быть очень страшно. А потом – у меня ведь еще столько работы.

Но Мэри обняла подругу, принялась ее уговаривать, обещала помочь: если надо, она всю ночь шить будет – ей это доставит даже удовольствие.

На самом же деле тайна Маргарет тяжелым камнем лежала у Мэри на сердце, она не знала, чем утешить подругу, и ей хотелось отвлечь Маргарет от ее мыслей, но, помимо этих отнюдь не эгоистических намерений, было еще и желание посмотреть на горящую фабрику, в чем она чистосердечно призналась.

Так что через две минуты девушки были готовы. На пороге они

столкнулись с Джоном Бартоном и сказали ему, куда спешат.

– Фабрика Карсона! Судя по зареву, так оно и есть: где-то горит фабрика, и ярко горит, потому что воды сейчас не достать ни капли. Но Карсоны плакать не будут: фабрика-то застрахована и машины у них – одно старье.

Они даже радуются, наверно. И, уж конечно, не поблагодарят того, кто станет тушить пожар.

И Бартон отступил, пропуская девушек, которым не терпелось скорее увидеть пожар. Они плохо знали дорогу, но красное зарево указывало им путь к фабрике. Девушки бежали пригнувшись, стараясь по возможности защититься от страшного восточного ветра, дувшего им в лицо.

Фабрика Карсона выходила окнами на север и юг. Вдоль нее тянулась одна из самых старых улиц Манчестера. Вообще вся эта часть города была сравнительно старая – здесь в свое время строились первые прядильные фабрики, и вокруг них вилось такое множество густо заселенных тупичков и переулков, что пожар мог превратиться в настоящее бедствие. На фабрику вела лестница в западном конце здания, выходившая на широкую грязную улицу, где размещались, главным образом, трактиры, лавки ростовщиков, склады старьевщиков, грязные лавчонки, в которых торговали съестными припасами. Другой, восточный, конец фабрики упирался в очень узкий проулок, не больше двадцати футов ширины, плохо замощенный и совсем без фонарей. На другой стороне проулка, как раз напротив фабрики, стоял дом, выходивший фасадом на главную улицу, которая им и оканчивалась; судя по размерам, по красивой каменной облицовке и украшениям на фронтоне, дом этот в свое время, должно быть, принадлежал какому-нибудь богатому джентльмену, но сейчас сквозь ярко освещенные большие окна отчетливо виден был пышно убранный зал с расписанными стенами, с нишами между колонн, украшенный лепкой и позолотой, заполненный жалким сбродом. Теперь это было питейное заведение.

Мэри чуть ли не пожалела, что пришла, – таким страшным (как и предсказывала Маргарет) было зрелище, на которое глазела собравшаяся толпа. Как только гудение и треск пламени хотя бы на секунду стихали, воздух наполнялся многоголосым гулом. Нетрудно было заметить, что все чем-то взволнованы.

– Что они говорят? – спросила Маргарет у соседа, разобрав в общем шуме несколько слов, произнесенных более громко.

– Неужели на фабрике кто-то есть?! – воскликнула Мэри, когда все это море задранных вверх лиц разом повернулось к восточному концу здания, выходившему на

Данхем-стрит, узкий проулок, о котором упоминалось выше.

Над западным концом здания, куда ветер гнал бушующее пламя, уже вздымалась башня победоносного огня. Он высовывал свои адские языки из каждого оконного проема, с любовной яростью лизал черные стены; но вот налетал сильный порыв ветра, пламя клонилось в сторону или сникало совсем и тотчас вздымалось еще выше, бушевало и ревело с новой силой. Часть крыши рухнула со страшным треском, однако люди, не обращая на это внимания, толпились у Данхем-стрит, стараясь протиснуться в узкий проулок, ибо что значило грозное великолепие пламени, что значили рушащиеся балки и обваливающиеся стены в сравнении с человеческими жизнями?

Там, где всепожирающей силе огня противостояла еще более могучая сила – ветер, но где, однако, из каждого отверстия вырывались клубы черного дыма, – там, у одного из окон четвертого этажа, или, вернее, у двери, где была поставлена лебедка, поднимавшая тюки сырья, на секунду появлялись, когда ветер отгонял в сторону густые клубы дыма, фигуры двух отчаянно жестикулировавших мужчин. Они почему-то задержались после ухода остальных рабочих и, поскольку ветер отклонял пламя в противоположную сторону, довольно долго (если можно назвать долгим этот кошмар, когда за какие-нибудь полчаса произошло столько ужасов) не замечали и не слышали ничего, а тем временем огонь охватил старую деревянную лестницу на другом конце здания. Возможно, они полностью осознали свое бедственное положение, лишь когда услышали топот бегущих внизу людей.

– Где же пожарные? – спросила Маргарет у соседа.

– Наверно, едут. Ведь огонь-то мы заметили всего каких-нибудь десять минут назад, да только ветер сильный и все уж больно сухое.

– Неужели никто не пошел за лестницей? – воскликнула Мэри, глядя на рабочих, которые хоть и неслышно, но явственно молили о помощи стоявшую внизу толпу.

– А как же: сын Уилсона с каким-то человеком еще пять минут назад стрелой помчались за ней. Но каменщики, кровельщики и прочие давно кончили работу и заперли свои сараи.

Так, значит, этот человек, чей силуэт, как только ветер разгонял дым, отчетливо вырисовывался в проеме двери на фоне разгоравшегося зарева – Уилсон, Джордж Уилсон? Мэри похолодела от страха. Она знала, что Джордж работает у Карсона, но сначала не подумала о том, что пожар может угрожать чьей-либо жизни, а потом вообще утратила способность соображать, ошеломленная жарой, ревом пламени, слепящим светом, гулом



взволнованной толпы.

– Пойдем домой, Маргарет! Я не могу больше.

– Как же мы отсюда выберемся? Ведь со всех сторон народ! Бедная Мэри! Наверное, тебе больше не захочется смотреть на пожары. Ах! Слышишь?

Толпа, которая теснилась возле этой части здания и заполняла Данхем-стрит, притихла, и теперь можно было расслышать грохот колес пожарной машины и стук лошадиных копыт.

– Слава богу! – вырвалось у соседа Маргарет. – Наконец-то приехали пожарные.

Снова задержка: насосы замерзли и вода не шла.

Внезапно в толпе началась давка: передние отступали, тесня задних, и девушек так сдавили, что им стало нехорошо. Потом передние перестали нажимать, и дышать стало легче.

– Это пропускали младшего Уилсона и пожарного с лестницей, – пояснил девушкам стоявший рядом с Маргарет высокий мужчина, которому было все видно.

– Ах, пожалуйста, расскажите нам, что там происходит! – попросила Мэри.

– Лестницу прислонили к стене трактира. Один из рабочих в окне фабрики исчез: наверное, дурно стало от дыма. Пол-то ведь там еще держится. О господи! – вырвалось у него, когда он перевел взгляд ниже. – Лестница не достает! Ну, теперь им крышка, беднягам. Огонь уже добрался до этого конца, и, пока добудут воды или другую лестницу, они там наверняка погибнут. Господи, смилуйся над ними!

Среди наступившей тишины послышались женские всхлипывания. И снова толпа подалась вперед, как в первый раз. Мэри вцепилась в руку Маргарет с такой силой, что, наверно, оставила на ней синяк: она была бырада потерять сознание, лишь бы не терзаться, не испытывать больше этой муки. Прошла минута, другая.

– Лестницу втащили в трактир. Сейчас с ней не пробраться обратно на склад.

Вдруг раздался такой крик, что и мертвые бы проснулись. Высоко наверху, из слухового окна питейного заведения, как раз напротив дверного проема, откуда выглядывали рабочие, показался конец лестницы и рывками пополз вперед. Те, кто стоял ближе к фабрике и поэтому лучше видел слуховое окно, поспешили сообщить, что лестницу держат несколько человек и направляют ее прямо к проему. Рама слухового окна была снята с петель еще до того, как толпа заметила, что происходит.

Наконец – ах, какими долгими показались эти две минуты мучительно бившимся сердцам! – лестница была перекинута, и над узкой улочкой на головокружительной высоте повис воздушный мост.

Все глаза с тревогой были устремлены на этот мост, – люди, казалось, перестали дышать. Рабочих уже не было видно, но тут налетел сильнейший порыв ветра и отогнал подступавшее пламя.

Теперь и Мэри с Маргарет увидели лестницу, которая покачивалась как раз над ними, колеблемая ветром. Те, кто стоял под ней, подались назад. В слуховом окне показались каски – пожарные крепко держали лестницу, а по ней, не глядя по сторонам, уверенно и быстро побежал какой-то человек. Толпа молчала, пока он пробирался по прогибавшемуся под ним шаткому мосту, но как только он очутился в сравнительной безопасности – на фабрике, – раздались приветственные крики, сразу, впрочем, умолкшие, поскольку еще не ясно было, чем все это кончится, да и храбреца, рисковавшего жизнью, эти крики могли лишить хладнокровия.

– Вот он! – вырвалось у многих, когда он снова показался в дверном проеме и остановился на секунду, – видимо, чтобы глотнуть свежего воздуха, прежде чем двинуться в путь. На плечах его лежало безжизненное тело.

– Это Джем Уилсон с отцом, – шепнула Маргарет, но Мэри уже сама все поняла.

У тех, кто стоял внизу, перехватило дух от тревоги и страха. Ведь Джем больше не мог поддерживать равновесие, ибо руки у него были заняты, – теперь все зависело от его хладнокровия и точности глазомера.

А глаза Джема, судя по наклону головы, были неподвижно устремлены в одну точку; лестница прогнулась под двойной тяжестью, но Джем ни разу не повернул головы, не смея взглянуть вниз. Казалось, прошла вечность, пока он достиг другого конца. Наконец слуховое окно совсем рядом, с плеч Джема снимают ношу, и отец и сын исчезают из виду.

Теперь зрители могли дать волю своим чувствам, и, перекрывая рев пламени, громче завываний ветра зазвучали рукоплескания, знаменовавшие успешное окончание смелого предприятия. Внезапно раздался чей-то пронзительный голос:

– А старик-то жив? Пришел в себя?

– Да, – ответил один из пожарных сразу притихшей толпе. – Начал оживать, после того как ему смочили виски холодной водой.

Он втянул в окно голову, и толпа снова взволнованно загудела, закричала, заколыхалась, как море, и почти тотчас умолкла. Прошло гораздо меньше времени, чем то, какое потребовалось мне, чтобы описать

эту паузу, и все тот же смельчак снова появился на лестнице, видимо намереваясь спасти и второго рабочего, оставшегося на горящей фабрике.

Он пробежал по лестнице все так же быстро и решительно, но теперь те, кто стоял внизу, успокоенные успешным завершением его первой попытки, уже не так волновались: они переговаривались, сообщали о том, как ведет себя огонь на другом конце фабрики, рассказывали, что предпринимают пожарные, чтобы добыть воду, и все время плотная толпа, колыхаясь, покачивалась из стороны в сторону. Прежней тишины не было и в помине. Не знаю, по этой ли причине, или из-за воспоминания о минувшей опасности, или оттого, что Джем Уилсон на секунду взглянул вниз, прежде чем пуститься со своей ношей (щуплым человечком) в обратный путь, но только шел он теперь менее твердо, менее уверенно; вот он вытянул ногу, отыскивая очередную перекладину, зашатался и остановился на полпути. Толпа снова умолкла; настала страшная минута тишины: никто не смел слова вымолвить, даже приободрить Джема. От ужаса многие побледнели и зажмурились, чтобы не видеть падения, которое казалось им неизбежным. Смельчак покачивался – сначала слегка, как бы для сохранения равновесия, но он явно терял самообладание и даже способность соображать; каким-то чудом животный инстинкт самосохранения не одержал в нем верх над великодушием и не заставил его сбросить с плеч безжизненное тело, которое он нес, а может быть, именно этот инстинкт подсказал, что внезапная потеря столь большой тяжести грозит ему самому неминуемой гибелью.

– Помогите: ей дурно! – закричала Маргарет.

Но никто даже не обернулся. Все смотрели вверх. В эту минуту один из пожарных кинул, как аркан, веревку с петлей на конце, и так удачно, что голова и плечи обоих мужчин прошли в петлю, и она обвилась вокруг их туловищ. Правда, веревка была весьма слабым подспорьем, тем не менее она помогла Джему удержать равновесие, сердце у него забилося ровнее, голова перестала кружиться. И Джем пошел дальше. Его не тащили и не дергали. Веревку медленно втягивали в слуховое окно, и так же медленно сделал Джем четыре или пять шагов, отделявших его от спасения. Наконец он добрался до окна, и оба очутились в безопасности. От радости толпа на улице чуть ли не пустилась в пляс, люди так вопили, так кричали «ура», что казалось, у них лопнут голосовые связки; потом интерес к событию вдруг погас, и с непостоянством, свойственным большим сборищам, люди, теснясь, толкаясь и ругаясь, устремились с Данхем-стрит туда, где еще бушевал огонь и мощный рев пламени, подобно адскому аккомпанементу, вторил крикам, визгу, брани метнувшейся к нему толпы.

Народ схлынул, и Маргарет осталась одна с бесчувственной Мэри; она была очень бледна и чуть не падала под тяжестью тела подруги, которую крепко обхватила за талию и держала на весу, не без основания опасаясь, как бы девушку не затоптали в давке.

Теперь же Маргарет осторожно опустила Мэри на холодные плиты тротуара, и перемена положения, а также холод, который стал сразу ощутимее, когда рассеялась толпа, быстро привели Мэри в чувство.

Она открыла глаза – взгляд у нее был растерянный, удивленный. Где она? Она лежала на какой-то непонятной, холодной и жесткой постели: над головой мрачно нависало хмурое небо. Мэри закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться, вспомнить.

Затем снова открыла их и посмотрела вверх. Гибельный мост исчез, в дверном проеме фабрики никого не было видно.

– Они спаслись, – сказала Маргарет.

– Все? Все спаслись, Маргарет? – спросила Мэри.

– Вон пожарный – спроси его: он тебе расскажет больше, чем я. Но я знаю, что все спаслись.

Пожарный торопливо подтвердил слова Маргарет.

– Зачем вы позволили Джиму Уилсону второй раз пойти на фабрику? – спросила Маргарет.

– Позволили? Да разве его удержишь! Только отец его заговорил (а ведь он скоро пришел в себя), Джим тут же исчез – успел только крикнуть, что он лучше нас знает, где найти другого рабочего. Да любой из нас бы пошел, – никто не может сказать, что манчестерские пожарные боятся опасности, – только вот не успели...

Не договорив, он повернулся и побежал к горящему зданию, а девушки, не проронив больше ни слова и не обсуждая случившегося, направились домой. По дороге их нагнал старший Уилсон – бледный, с мутным взглядом, весь выпачканный в саже, однако чувствовал он себя, видимо, не хуже обычного. Минуты две он шел с ними рядом, объясняя, почему он задержался на фабрике, затем поспешно простился: надо идти домой – сообщить жене, что он цел и невредим; однако, сделав несколько шагов, он вернулся и, подойдя к Мэри, взволнованным шепотом, которого не могла не слышать Маргарет, сказал:

– Мэри, если мой сынок встретится тебе сегодня вечером, скажи ему два-три ласковых слова ради меня. Пожалуйста. Ну, будь так добра.

Мэри не промолвила ни слова, только опустила голову, и он ушел.

Дома девушки застали Джона Бартона; он сидел и молча курил трубку; ему, видимо, не хотелось их расспрашивать, но очень хотелось послушать

их рассказ. Маргарет подробно описала все происшедшее; Джон Бартон слушал ее с возрастающим волнением и интересом, – забавно было наблюдать, как меняется его настроение. Сначала он все реже попыхивал трубкой, потом совсем перестал, а немного спустя вынул ее изо рта и зажал в руке. Затем он вскочил. И с каждой новой подробностью все ближе подходил к рассказчице.

Когда она умолкла, Бартон поклялся (что было совсем на него не похоже), что, если Джем Уилсон захочет взять Мэри в жены, он хоть завтра отдаст ему дочь, пусть даже у Джема не будет гроша за душой.

Маргарет засмеялась, но Мэри, уже вполне оправившаяся после волнения этого вечера, надула губки и рассердилась.

Девушки снова взялись за прерванную работу, но пальцы не слушаются, когда сердце переполнено чувствами, и как ни прискорбно, однако из-за пожара две младшие мисс Огден так горевали об утрате своего почтенного батюшки, что не Смогли выйти к друзьям, явившимся выразить свое сочувствие и утешить вдову, как не смогли показаться и на похоронах.

## ГЛАВА VI

### НИЩЕТА И СМЕРТЬ

Сумеет ли понять богач,  
Что чувствует бедняк,  
Кому судьба как злой палач,  
Как беспощадный враг?  
С утра до ночи в снег и в дождь  
Бродил ли он хоть раз,  
Надеясь заработать грош -  
Встречая лишь отказ?  
А после шел ли он домой,  
Свою судьбу кляня,  
В сырой подвал, где нет зимой  
Ни пищи, ни огня?  
Где лишь детей голодный плач -  
Не спится им никак...  
Нет, не понять тебе, богач,  
Что чувствует бедняк!  
*Манчестерская песня.*

Джон Бартон был не очень далек от истины, полагая, что господа Карсоны будут не слишком опечалены пожаром на фабрике. Они удачно застраховали свое имущество; к тому же машины у них были старые и не могли соперничать с теми, какие применялись теперь. А главное, в делах наступил застой: хлопчатобумажные ткани не находили покупателей, товары накапливались и горами лежали на складах. Владельцы не закрывали фабрик только потому, что надо было держать машины и людей наготове до наступления лучших времен. Теперь же, после пожара, по мнению господ Карсонов, как раз было удобно заняться переоборудованием фабрики на деньги, полученные по страховому полису, и установить на ней новейшие машины. Однако спешить они не собирались. Ведь из их кармана каждую неделю уже не утекали средства на жалованье рабочим, — трата совершенно излишняя при нынешнем состоянии рынка. У компаньонов впервые за многие годы появилось

свободное время, и они обещали женам и дочерям всякого рода увеселительные поездки, как только установится сносная погода. А до чего же славно было не торопясь посидеть за завтраком, почитать газету или журнал; или поближе познакомиться с собственными милыми, воспитанными дочерьми, на чье образование они не пожалели денег, но, находясь целыми днями в конторе среди образчиков тканей и счетов, лишь очень редко могли наслаждаться их талантами. Какие счастливые вечера проводили теперь компаньоны в кругу своих семей, когда у них появилось время вкушать радости домашнего очага. Однако у этой медали была и обратная сторона. В иные дома пожар на карсоновской фабрике принес мрак и отчаянье. Это были дома тех, кто не может не работать и кому не на кого рассчитывать, – дома тех, для кого досуг является проклятьем. Там вместо музыки звучал голодный плач, ибо проходила неделя за неделей, а работы все не было и, значит, не было денег, чтобы купить хлеба детям, которые плачут и требуют его, еще не привыкнув терпеливо переносить страдание. В этих домах не засиживались за завтраком, ибо завтрака не было, зато подолгу лежали в постели, чтобы согреться и не дрожать от холода в студеные мартовские дни, чтобы как-нибудь усмирить волка, терзающего их нутро. Нередко медяки, на которые можно было бы купить немножко овсяной муки или картофеля, шли на приобретение опиума, чтобы одурманить голодных малюток, заставить их забыться тяжелым, беспокойным сном. Это был подвиг материнского милосердия. В такую пору все хорошее и все дурное в человеке проявляется с особою силой. Поэтому были среди этих людей отчаявшиеся отцы, были озлобленные матери (что ж тут удивительного, бог мой!), были отбившиеся от рук дети, – в эту годину отчаянья и тяжких испытаний рвались самые тесные узы родства. Была вера, о глубине которой богачи даже не подозревают; была «крепкая как смерть любовь» [\[29\]](#); было у этих грубых, неотесанных людей такое самопожертвование, какое можно сравнить разве что с великодушием сэра Филиппа Сиднея [\[30\]](#). Здесь, на земле, нас порой удивляет порочность бедняков, но когда откроются тайны всех сердец, нас куда больше удивит их добродетель. Я твердо верю в это.

Холодная хмурая весна (весна только по названию) затягивалась, и в торговле поэтому продолжался застой, и вот другие фабрики стали сначала сокращать часы работы и увольнять рабочих, а потом закрылись совсем.

Бартон работал неполный день; Уилсон, работавший на фабрике Карсона, разумеется, вообще сидел без дела. Но его сын работал на машиностроительном заводе и, отличаясь старательностью, зарабатывал

достаточно, чтобы при некоторой экономии могло хватить на всю семью. Однако Уилсона очень мучила мысль, что сыну приходится так долго кормить его. Он ходил унылый и подавленный. Бартон же был мрачен и зол на все человечество, а на богачей особенно. Однажды вечером, когда рождественски холодная погода казалась особенно холодной, так как на дворе в шесть часов вечера было еще светло, когда во все щели и отверстия задувал ледяной ветер, Бартон сидел в угрюмом раздумье у еле тлевшего в очаге огня, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги Мэри, и в глубине души надеясь, что ее приход хоть немного приободрит его. Дверь отворилась, и в комнату вошел Уилсон, еле переводя дух от быстрой ходьбы.

– Нет ли у тебя немного денег, Бартон? – спросил он.

– Откуда же? Да и у кого они сейчас есть, хотелось бы мне знать. А зачем тебе деньги?

– Они не мне нужны, хоть у меня их тоже нет. Но ты знаешь Бена Дейвенпорта, который работал у Карсона? Он болен – лежит в лихорадке, а дома ни единого полена, ни единой картофелины.

– Я же сказал тебе, что у меня нет денег, – повторил Бартон.

Ответ этот явно огорчил Уилсона. Бартон попытался внушить себе, что это его не касается, но, при всей своей суровости, не смог. Некоторое время спустя он встал и подошел к буфету (которым так гордилась когда-то его жена). Там лежали остатки обеда, которые он приберег себе на ужин. Хлеб и кусок вареной грудинки с жирком. Бартон завернул все это в носовой платок, положил сверток в шляпу и сказал:

– Ну, пойдём.

– Куда? Разве ты работаешь вечером?

– Да нет же! Конечно нет. Я говорю: пошли, навестим человека, про которого ты рассказывал.

Оба надели шляпы и отправились в путь. По дороге Уилсон сообщил, что Дейвенпорт – хороший малый, хоть и чересчур привержен методизму [31]; что дети у него еще слишком малы, чтобы работать, но не настолько малы, чтобы не понимать, что им холодно и голодно; и что семье жилось все хуже и хуже, – одну вещь закладывали следом за другой, и вот теперь они перебрались в подвал на Берри-стрит, за Стор-стрит. Бартон бурчал что-то малоприятное по адресу довольно большей части человечества. Так они дошли до Берри-стрит. Это был немощеный проулок; посредине его проходила сточная канава, так что во всех ямах и выбоинах, которыми эта улица изобилвала, стояли грязные лужи. Старинный эдинбургский окрик: «Gardez l'eau!» [32] был бы здесь весьма уместен. Двери, мимо которых



проходили Бартон и Уилсон, то и дело открывались, и хозяйки выливали в канаву всевозможные помои, которые стекали в ближайшую выбоину и гнили там, наполняя воздух зловонием. Для перехода через улицу были насыпаны кучки золы, но прохожий, хоть немного заботящийся о чистоте, старательно их обходил. Наши приятели не отличались чрезмерной разборчивостью, но и они тщательно выбирали дорогу, пока наконец не очутились у ступенек, ведущих к небольшой площадке, расположенной на такой глубине, что голова человека, стоящего на ней, находилась на фут ниже уровня улицы, и такой узкой, что он мог, не делая ни одного шага, дотронуться до окошка подвала и до его грязной сырой стены. Но из этого колодца надо было спуститься еще на ступеньку, чтобы попасть в подвал, где жила целая семья. Внутри царил мрак. Большинство стекол в оконных переплетах было разбито, и дыры заткнуты тряпьем, так что свет даже днем не проникал сюда. Познакомившись с описанием улицы, читатель не удивится, что воздух в подвале, где жили Дейвенпорты, отличался крайним зловонием, и наши приятели едва не задохнулись, переступив порог. Однако это было им не внове, а потому они быстро оправились и, привыкнув к темноте, разглядели трех или четырех детишек, возившихся на сыром – нет, просто на мокром – кирпичном полу, мокром от проникавшей с улицы вонючей жижи; пустой очаг был черен и холоден; жена хозяина сидела на постели мужа и тоскливо всхлипывала.

– Видите, хозяйюшка, вот я и вернулся. А ну, детишки, перестаньте шуметь и не просите у матери хлеба: мой знакомый принес вам кое-что.

В сумеречном свете, который для человека непривычного показался бы кромешной тьмой, детишки сгрудились вокруг Бартона и чуть не вырвали у него из рук еду. Довольно большая краюха исчезла в одно мгновение.

– Надо как-то им помочь, – сказал Бартон Уилсону. – Ты побудь здесь, а я вернусь через полчаса.

И он зашагал, заспешил, побежал домой. В неизменный носовой платок было поспешно сложено то небольшое, что у него осталось в буфете. Мэри получает чай у мисс Симмондс и, значит, голодна не будет. Затем Бартон поднялся наверх, достал свой парадный сюртук и единственный яркий, красный с желтым, шелковый шейный платок, – иными словами, все свои ценности, брильянты и столовое серебро, – и отправился к ростовщику. Он заложил свое добро за пять шиллингов и, нигде не останавливаясь и не задерживаясь, вышел на Лондонскую дорогу, откуда было пять минут ходу до Берри-стрит; тут он зашагал медленнее, чтобы не пропустить нужные ему лавки. Он купил мяса, каравай хлеба, свечей, жареного картофеля и на небольшом складе, где торговали в розницу, два

мешка угля. У него оставалось еще немного денег, – он вовсе не собирался приберечь их для себя, а просто не знал, на что лучше потратить. Пища, свет и тепло – вот главное, ну а все остальное может и подождать. Когда Бартон появился в подвале со своими покупками, глаза Уилсона наполнились слезами. Ему были понятны движения души Бартона, и он еще больше затосковал по работе, чтобы и он мог оказывать людям помощь из своего кармана, а не думать всякий раз о том, что он тратит деньги сына. Но хотя у него не было «ни серебра, ни золота» [\[33\]](#), он готов был помочь и словом и делом, что гораздо дороже. Не отставал от него в этом и Джон Бартон. Так называемая «лихорадка» (как это всегда бывает в Манчестере) на самом деле была тифом – следствием нищеты, грязи, телесных и душевных мук. Болезнь эта опасная, коварная и очень заразная. Но бедняки относятся к заразе со своеобразным фатализмом – и хорошо, что это так, ибо в их тесных жилищах больного невозможно изолировать. Уилсон спросил Бартона, не боится ли он заразиться, но тот лишь рассмеялся в ответ.

Приятеля, превратившись в грубоватых, но заботливых сиделок, разожгли огонь в очаге, и дым клубами повалил в комнату, словно не желал подниматься по сырой, давно бездействовавшей трубе. Но даже дым казался чистым и приятным по сравнению с тяжелым, душным воздухом подвала. Дети снова принялись просить хлеба, но на этот раз Бартон сначала дал кусок бедной, беспомощной, потерявшей всякую надежду женщине, которая продолжала неподвижно сидеть подле мужа, прислушиваясь к его жалобному бессвязному бормотанью. Она взяла хлеб, лишь когда его вложили ей в руку, откусила кусочек, но проглотить не смогла. Она уже не чувствовала голода. Внезапно тело ее безжизненно поникло, и она с глухим стуком упала на пол. Приятеля озадаченно переглянулись.

– Видно, очень она изголодалась, – заметил Бартон. – Говорят, голодным нельзя давать много есть, но ведь она и не съела ничего.

– Вот что я сейчас сделаю, – сказал Уилсон. – Я возьму к себе на ночь этих двух мальчишек постарше, – они только и знают, что драться, – и принесу из дому чаю. Женщинам чай и вообще питье всегда помогает.

И вот Бартон остался наедине с малышом, который, поев, стал плакать и звать маму, с женщиной, по-прежнему лежавшей в глубоком обмороке, так что казалось, перед ним – покойница, и с больным, который то что-то бормотал, то в тревоге принимался кричать и звать кого-то. Бартон перенес женщину поближе к огню и стал растирать ей руки. Затем оглядел комнату, ища, что бы подложить ей под голову, но не обнаружил ничего, кроме

нескольких кирпичей. Он все же подобрал их и старательно накрыл своей курткой. Затем он пододвинул ноги женщины поближе к огню, от которого уже слегка потянуло теплом. Теперь оставалось лишь найти воду, но бедная женщина была слишком слаба, чтобы ходить за водой к далекому насосу, а потому воды в доме не оказалось. Тогда Бартон схватил малыша и, выбежав из подвала, попросил жильцов, занимавших комнату над Дейвенпортами, одолжить ему их единственную кастрюлю и дать немного воды. Вернувшись в подвал, он, будучи, как большинство рабочих, мастером на все руки, принялся варить кашу, а как только она сварилась, отыскал старую железную ложку (хотя все мелочи были проданы оптом, ее сохранили, чтобы кормить малыша) и с ее помощью умудрился влить немного жидкой каши сквозь стиснутые зубы женщины. Она бессознательно раскрыла рот и мало-помалу пришла в себя. Привстав, она окинула взглядом комнату, вспомнила все и снова в отчаянии опустилась на пол. Малыш подполз к ней и вытер ручонками крупные слезы, покотившиеся из ее глаз, ибо теперь у нее достало сил хотя бы плакать. Но пора было заняться и больным. Он лежал на соломе, настолько мокрой и гнилой, что любой пес предпочел бы ей кирпичный пол; солому прикрывал кусок мешковины, на которой и лежало тощее, как скелет, тело; сверху на больного навалили всю одежду, без которой мать или дети могли в этот холод обойтись, и ему было бы тепло под ней, как под одеялом, если бы он не двигался, но он беспокойно метался, то и дело сбрасывая с себя тряпье, и дрожал от озноба, хотя тело его горело огнем. Порой он приподнимался, обезумевший, нагой, словно пророк, вестник гибели, сошедший со страшной картины, изображающей чуму, но почти тотчас падал в изнеможении. Бартон понял, что надо неослабно следить за ним, иначе он может разбиться, ударившись о кирпичный пол. Поэтому Бартон несказанно обрадовался, когда появился Уилсон, держа обеими руками кувшин с горячим чаем для бедной женщины; однако при виде питья в ее муже проснулся животный инстинкт, и он схватил кувшин, чего никогда не сделал бы, если бы его рассудок не был омрачен лихорадкой.

Прятели посоветовались. То, что оба должны провести ночь, ухаживая за больными, разумелось и без слов. Но нельзя ли позвать врача? По-видимому, нет. Завтра надо будет попросить, чтобы больного поместили в лазарет, а пока единственный сведущий человек, к которому можно обратиться за помощью и советом, это аптекарь. И Бартон (поскольку деньгами располагал он) отправился разыскивать аптеку на Лондонской дороге.

Какое красивое зрелище являет собою улица с освещенными окнами

лавок! Так ярко горит газ, такими заманчивыми при вечернем освещении кажутся выставленные в них товары, а окна аптеки и вовсе приводятна память заколдованный сад Аладина или кувшин Прекрасной Розамунды из сказок, которые рассказывали нам в детстве. Правда, у Бартона это не вызывало подобных ассоциаций, но контраст между этими лавками, полными товаров, хорошо освещенными, и мрачным темным подвалом бил в глаза, и ему было горько от того, что такие контрасты существуют. Они представляют собой непонятную жизненную загадку не только для него одного. Бартон думал о том, найдется ли в этой спешащей толпе еще хоть один человек, который шел бы из такого же печального дома, как он. Все люди вокруг казались ему веселыми, и он был зол за это на них. Но ему, как и вам, не дано было знать участь тех, кто в течение дня проходит мимо вас по улице. Откуда вам догадаться об их трагических увлечениях, о тех муках, о тех искушениях, которые терзают их, быть может, и сейчас, с которыми они борются, перед которыми отступают? Вот вас толкнула локтем девушка, весело смеющаяся, хотя ее душа жаждет покоя смерти и думает она о холодной реке как последнем даре божьего милосердия. А в следующую минуту вам встретится преступник, замышляющий убийство, о котором вы с содроганием прочтете завтра в газетах. Вы можете наткнуться на человека совсем скромного и незаметного, самого последнего на земле, который на небесах будет, однако, ближе всего к богу. Благие дела... Злые дела... Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, куда спешат эти тысячи людей, которых вы ежедневно встречаете на улице? Бартон шел по благому делу, но в сердце его таились зло, горечь и ненависть к счастливым, которых он в эту минуту отождествлял с себялюбцами.

Он отыскал аптеку и вошел в нее. Аптекарь (отличавшийся такою мягкостью манер, словно он был весь смазан притиранием собственного изготовления) внимательно выслушал рассказ Бартона о болезни Дейвенпорта; заключил из его слов, что это тиф, чрезвычайно распространенный в округе, и приступил к изготовлению лекарства – спиртового раствора соды или чего-то столь же безобидного и полезного при легкой простуде, но совершенно бессильного облегчить хотя бы на минуту страдания бедняги, страдаемого тифозной горячкой. Он посоветовал сделать то, что они уже сами решили сделать, – утром похлопотать о том, чтобы Дейвенпорта положили в больницу; и Бартон ушел несколько успокоенный, веря в благотворное действие полученного лекарства, ибо люди его сословия если верят в лекарства, то уж верят в любое и считают все снадобья одинаково целительными.

Тем временем оставшийся в подвале Уилсон делал все, что мог. Он успокаивал и без конца накрывал больного; накормил и укачал малыша; ласково поговорил с женщиной, которая продолжала лежать, ослабевшая и измученная. Увидев какую-то дверь, он открыл было ее, но лишь на одно мгновение: она вела в другую часть подвала, выходившую во двор; вместо окна здесь было отверстие, забранное решеткой, куда с улицы стекала навозная жижа из свиного хлева и всякая другая мерзость. Вместо пола там была вонючая грязь. Судя по отсутствию мебели, тут никто никогда не жил, да и никакой человек, не говоря уже о свиньях, не выдержал бы здесь и нескольких дней. Однако за «заднюю комнату» взималась дополнительная плата – она обходилась Дейвенпортам в три лишних пенса. Закрыв дверь, Уилсон обернулся и увидел, что женщина дала ребенку иссохшую сморщенную грудь.

– Неужто ваш малыш еще не отнят от груди? – немало удивившись, спросил он. – Сколько же ему месяцев?

– Да скоро второй годик сравняется, – еле слышно ответила женщина. – Зато он хоть молчит так, когда мне нечего ему дать, и спит себе. Мы ведь во всем себя урезали, только бы детей накормить.

– Неужто городские власти вам ничем не помогли?

– Нет. Ведь хозяин-то мой из Букингемпшира, вот он и боится, как бы его не отправили на родину, ежели он к властям пойдет. Вся наша надежда на лучшие времена. Да только, видно, я их уже не увижу. – И бедняжка снова принялась жалобно, пронзительно всхлипывать.

– Послушайте, съешьте немножко каши, а потом постарайтесь заснуть. Эту ночь мы с Джоном посидим подле вашего хозяина.

– Благослови вас бог.

Она доела кашу и тотчас заснула мертвым сном. Уилсон накрыл ее своей курткой, стараясь двигаться как можно осторожнее, чтобы не потревожить ее, но он мог этого не опасаться, ибо она была крайне изнурена и пала глубоким тяжелым сном. Проснулась она лишь однажды – чтобы укутать ребенка.

Теперь Уилсону и Бартону оставалось только следить за больным, метавшимся в горячке. Он вскакивал, кричал, неистовствовал, обуреваемый какой-то мучительной тревогой. Он ругался и сквернословил, к великому удивлению Уилсона, который знал его как человека набожного и понятия не имел о том, что бред может развязать любой язык. Наконец, обессилив, Дейвенпорт заснул, а Бартон и Уилсон подсели к огню и стали шепотом беседовать. Они устроились прямо на полу, так как стульев не было, а столом служила старая, перевернутая вверх дном лохань. Приятели задули

свечу и разговаривали при неверном свете, падавшем из очага.

– Ты давно его знаешь? – спросил Бартон.

– Да года три будет. С тех пор, как он поступил на фабрику к Карсону. Он всегда был такой степенный, вежливый, хотя и методист, как я тебе говорил. Жаль, что не могу я показать тебе письмо, которое он прислал своей хозяйке недели две назад: он ведь уходил из города искать работу. Очень оно помогло мне, это письмо. Я ведь тоже роптал: как-никак, а мне тяжело сидеть на шее у Джема и есть хлеб, купленный на деньги, которые он заработал своим потом и кровью, в то время как я сам должен был бы их всех кормить. А хоть я и ничего не зарабатываю, есть-то все равно хочется. Так вот, значит, роптал я. Вдруг она, – и он указал глазами на спящую женщину, – приносит мне письмо от Бена, потому как сама-то она читать не умеет. Ну, словно я писание почитал: ни единой жалобы; мол, бог – наш отец, и мы должны терпеливо сносить испытания, которые он нам посылает.

– Тогда выходит, что бог – он и хозяевам тоже отец? Не хотел бы я иметь таких братцев.

– Эх, Джон, не надо так говорить: уж конечно, немало найдется хозяев не хуже, а лучше нас.

– Если ты так считаешь, тогда объясни мне вот что. Почему же они богатые, а мы – бедные? Мне бы очень хотелось это знать. Разве они поступают с нами так, как хотели бы, чтобы мы поступали с ними? [\[34\]](#)

Но Уилсон не был речистым спорщиком, как выразился бы он сам. Поэтому Бартон, видя, что возражений скорее всего не последует, продолжал:

– Ты скажешь (многие так говорят), что у них есть капиталы, а у нас – нет. А я тебе скажу, что наш капитал – это наш труд, и мы должны иметь с него проценты. Они-то ведь и сейчас получают проценты со своего капитала, иначе не могли бы они так жить, в то время как наш капитал лежит втуне. А многие из них начинали без гроша в кармане – хотя бы Карсоны, или Данкомы, или Менги и многие другие. Когда они явились в Манчестер, единственным их достоянием была рубаха на плечах, а теперь у них десятки тысяч фунтов, добытые нашим трудом. Да самая земля здесь, которая стоила шестьдесят фунтов двадцать лет назад, нынче стоит шестьсот – и тоже благодаря нашему труду. А теперь посмотри на себя, или на меня, или на беднягу Дейвенпорта – разве мы стали лучше жить? Они нас так скрутили, что уж дальше некуда, а все чтоб накопить побольше денег да построить себе большие дома, а мы – мыдохнем с голоду, – во всяком случае, многие из нас. Ты это считаешь правильным?

– Видишь ли, Бартон, я, конечно, не могу назвать это правильным. Но мистер Карсон разговаривал со мной после пожара, и вот что он сказал: «Мне придется сократить свои расходы и во всем экономить, пока дела не поправятся». Так что хозяева в плохие времена тоже страдают.

– А у них когда-нибудь дети умирали с голоду? – спросил Бартон тихим глухим голосом. – Не скажу, – продолжал он, – чтобы мне было так уж плохо. Да я жаловаться и не стал бы. Но когда я вижу, что люди умирают с голоду, вот как Дейвенпорт, не могу я этого вынести. У меня, кроме Мэри, никого нет, а она сама себя кормит. И все же нам придется, видно, отказаться от домашнего обеда, – только меня это не мучает.

За такими разговорами прошла ночь – долгая, тягостная ночь бдения. Насколько они могли судить, Дейвенпорт находился все в том же состоянии, хотя симптомы болезни за это время не раз менялись. Жена его продолжала спать – она пробуждалась лишь от плача ребенка, хотя более громкие звуки были бессильны ее разбудить. Приятели решили подождать того часа, когда, по их понятиям, мистер Карсон должен встать, а тогда Уилсон пойдет к нему и попросит устроить Дейвенпорта в больницу. Наконец серый рассвет проник и в темный подвал; Дейвенпорт спал, и Бартон до возвращения Уилсона остался с ним. А Уилсон, выйдя на свежий воздух, показавшийся ему чистым и живительным даже на этой заваленной отбросами улице, направился к дому мистера Карсона.

Уилсону предстояло пройти около двух миль, так как мистер Карсон жил почти за городом. Улицы были еще тихи и пустынные. Время приближалось к восьми, но торговцы только еще неторопливо снимали ставни: в такие тяжелые времена обитатели этих кварталов успевали делать свои покупки в течение дня. Навстречу Уилсону попались две-три жалкие нищенки, а вообще народу на улицах было мало. Мистер Карсон жил в хороше, богато обставленном доме. Впрочем, своим убранством дом был обязан не только деньгам, но и вкусу, и многие вещи отличались изяществом и красотой. Проходя мимо открытого горничной окна, Уилсон увидел картины и позолоченную мебель; ему захотелось остановиться и посмотреть, но он тотчас решил, что это могут счесть дерзостью, и торопливо направился к черному ходу. Слуги были заняты приготовлением завтрака, но все же достаточно вежливо, хотя и небрежно, предложили ему подождать, пообещав скоро доложить о нем мистеру Карсону. Его впустили на кухню, увешанную до блеска начищенными кастрюлями; в плите пылал веселый огонь, а на стенах висели всякие хитрые приспособления, и Уилсон от нечего делать принялся гадать, для чего они нужны. Тем временем слуги деловито сутились в кухне; явился кучер и в ожидании

распоряжений сел рядом с Уилсоном. Повариха готовила бифштексы, судомойка поджаривала хлеб и варила яйца. На огне кипел кофе.

Смесь этих запахов была столь аппетитна, что Уилсону захотелось есть, – ведь он со вчерашнего обеда крошки в рот не брал. Если бы слуги догадались об этом, они охотно угостили бы его хлебом и мясом, но ведь они ничем не отличались от прочих смертных, а все мы вспоминаем о голоде, лишь когда сами испытываем его. Итак, Уилсон с трудом преодолевал тошноту, вызванную пустотою в желудке, а слуги тем временем сплетничали о хозяевах.

– Что-то ты вчера лег поздно, Томас!

– Еще бы: чуть не заснул, пока дождался. Велели подавать в двенадцать. Я и подъехал, к двенадцати. А понадобился только в два.

– И все это время дожидался на улице? – спросила горничная, которая, покончив со своими делами, зашла на кухню поболтать.

– Да что я, дурак, что ли? Зачем же мне простужаться и лошадей губить на таком холоде! Конечно нет. Я завернул к «Орлу с распростертыми крыльями», лошадей поставил в конюшню, а сам зашел в залу и пропустил у огня стаканчик-другой. Они там на кучерах неплохо наживаются. Нас было пятеро, и мы немало кварт эля и джина выпили, чтобы согреться.

– Господи помилуй, Томас, этак ты совсем сопьешься!

– Если и сопьюсь, так известно, кто будет виноват. Уж конечно, не я, а хозяйка. Кто же станет сидеть на козлах и голодать, дожидаясь людей, которые сами не знают, чего хотят.

В эту минуту в кухню вошла старшая горничная, она же камеристка, с приказаниями от хозяйки.

– Томас, поезжай к рыбнику и скажи, что хозяйка не может заплатить ему за лососину, которую она заказала на вторник, больше чем по полкроны за фунт. Говорит, что дорого – при таком-то застое в делах. Да, Томас, к трем часам подашь карету: хозяйка поедет на лекцию. Знаешь, на выставку.

– Ну, знаю, знаю.

– И держи ухо востро. Хозяйка сегодня встала чернее тучи. У нее мигрень.

– Жаль, что нет больше здесь мисс Дженкинс. Господи, до чего же они с хозяйкой ссорились, у кого сильнее голова болит. Из-за этого мисс Дженкинс и уехала: не пожелала расстаться со своими головными болями, а хозяйка разве могла стерпеть, чтобы у кого-то еще, кроме нее, болела голова.

– Хозяйка будет завтракать у себя, кухарка: она просила подать



холодную куропатку, которая осталась со вчерашнего дня, и налить ей в кофе побольше сливок. Потом там, кажется, есть сдобная булочка, так она просит как следует намазать ее маслом.

Передав все приказания, горничная вышла из кухни, чтобы быть под рукой, когда молодые барышни, которые вчера поздно вернулись из гостей, соблаговолят позвонить.

Тем временем мистер Карсон и его сын сидели в роскошно обставленной библиотеке за столом, на котором стоял обильный завтрак. Оба читали: отец – газету, сын – журнал, неторопливо смакуя отлично приготовленную еду. Отец – представительный пожилой мужчина, не привыкший, как вы, возможно, догадались, ни в чем себе отказывать. Сын – настоящий красавец, знающий себе цену. Одет он был щеголевато и к лицу и по манере держаться гораздо больше походил на джентльмена, чем отец. Он был единственный сын, сестры гордились им, отец с матерью гордились им, и, не желая перечить родным, он гордился собой.

Дверь распахнулась, и в комнату вбежала Эми, младшая дочь, очаровательная девушка шестнадцати лет, улыбающаяся, с румяными щечками, похожая на розовый бутон. Она была еще слишком юна, чтобы ездить на званые вечера, чему отец ее только радовался, ибо Эми милыми шутками, веселыми песенками и шалостями скрасила ему вчера вечер, а сейчас, не устав, как Софи и Элен, явилась составить ему компанию за завтраком.

Он был очень рад, когда она подкралась к нему сзади и, закрыв ему глаза руками, расцеловала его красное, с загрубевшей кожей, лицо. После некоторого притворного сопротивления он отдал ей газету, но она потребовала, чтобы и Гарри отложил журнал.

– Я у вас сегодня единственная дама, папа, так что извольте заниматься мной.

– По-моему, дружок, здесь все делается так, как ты хочешь, даже когда ты не единственная дама.

– Да, папочка, ты правда очень хороший и послушный, а вот Гарри, гадкий, никогда не делает того, о чем я его прошу. Правда, Гарри?

– Ума не приложу, в чем ты можешь обвинить меня, Эми. Я-то рассчитывал, что ты похвалишь меня. Разве не я привез тебе из города духи, которых ты не могла достать у Хью, а, неблагодарный котенок?

– Неужели? Ах, милый Гарри, ты такой же хороший, как эти духи, и почти такой же хороший, как папочка! И все же, когда ты ездил к Бигленду, ты забыл купить у него розы – те новые розы, которые, говорят, он вывел.

– Нет, Эми, не забыл. Я спросил у него про эти розы, и он сказал, что у

него есть одна роза sans reproche <sup>[35]</sup>. Только знаешь, маленькая мисс транжирка, что совсем крохотная розочка стоит полгинеи?

– Ну и что же? Папа мне, конечно, даст эти полгинеи, правда, папочка? Он знает, что его дочурка жить не может без цветов и без духов.

Мистер Карсон попытался было отказать своей любимице, но она так ластилась к нему, так просила: ей нужна эта роза, она не может обойтись без нее. Без цветов не стоит жить.

– Но в таком случае, Эми,-заметил брат, – почему бы тебе не удовольствоваться пионами и одуванчиками?

– Ах ты несчастный! Да разве это цветы! К тому же ты не меньший транжира, чем я. Кто отдал полкроны за букет ландышей у Йетса месяц тому назад и ни за что не хотел подарить их своей бедной сестренке, хотя она на коленях просила его об этом? Ну-ка, отвечайте, любезный братец.

– Силой от меня ничего не добьешься, – с улыбкой заявил ее брат, но глаза его смотрели сердито, и он покраснел, а потом побледнел от досады и смущения.

– Извините, сэр, – прервал их разговор вошедший слуга, – тут один рабочий хочет вас видеть. Его фамилия Уилсон.

– Я сейчас выйду к нему. Впрочем, нет, проведите его сюда.

Эми, пританцовывая, убежала в зимний сад, примыкавший к библиотеке, и ее уже не было в комнате, когда туда ввели бледного, изможденного, небритого и даже не успевшего умыться ткача. Он остановился у двери, приглаживая, по старой деревенской привычке, волосы и исподтишка поглядывая на окружающее великолепие.

– В чем дело, Уилсон, что тебе надо?

– Да видите ли, сэр, заболел Дейвенпорт: у него лихорадка, и я пришел узнать, не могли бы вы поместить его в больницу?

– Дейвенпорт... Дейвенпорт... Это кто же? Что-то не припоминаю такой фамилии.

– Он работает у вас на фабрике, сэр, уже больше трех лет.

– Очень может быть. Не могу же я знать фамилии всех, кто у меня работает, – это дело мастера. Так он, значит, болен?

– Да, сэр. И ему очень плохо. Его надо бы отправить в больницу.

– Я не уверен в том, что там есть места, но я с удовольствием дам записку, чтобы врач зашел к нему домой.

С этими словами он встал, отпер какой-то ящик, минуту подумал и дал Уилсону обещанную записку.

Тем временем младший мистер Карсон, дочитав журнал, стал прислушиваться к разговору. Он доел завтрак, поднялся из-за стола, вынул

из кармана пять шиллингов и, проходя мимо Уилсона, вручил ему монету – для «бедняги». Торопливо выйдя из комнаты, он велел подать лошадь, весело вскочил в седло и умчался вскачь. Он боялся опоздать и не увидеть прелестной Мэри Бартон, которую он неизменно подстерегал на пути к мисс Симмондс, чтобы обменяться с ней взглядом и улыбкой. Однако на этот раз его ждало разочарование. Уилсон же ушел от Карсонов, не зная, радоваться ему или огорчаться. И отец и сын так хорошо с ним разговаривали, – может, они пожалеют Дейвенпорта и что-то сделают для него и его семьи. А кроме того, кухарка, отослав господам завтрак и передохнув, вспомнила, как бледен был Уилсон, и, когда он вышел из библиотеки, сунула ему в руку хлеба с мясом, а ведь на сытый желудок всем нам жизнь представляется в более радужном свете.

Когда Уилсон добрался до Берри-стрит, он почти убедил себя, что несет хорошие вести, и сердце у него радовалось. Но радость погасла, как только он открыл дверь в подвал и увидел, что Бартон и жена Дейвенпорта стоят, склонившись над больным, испуганные и опечаленные.

– Погляди-ка, – позвал его Бартон. – Правда, когда ты уходил, он был совсем другой?

Уилсон взглянул на больного. Щеки у него ввалились, нос заострился, кожа на скулах натянулась. Застывшее лицо приобрело страшный землистый оттенок, какой бывает у покойников. Однако глаза были открыты, они жили, хотя и их уже затягивала пелена смерти.

– Как только ты ушел, он проснулся, начал что-то бормотать и стонать, но скоро опять заснул. И только когда он позвал жену, мы заметили, что он снова проснулся. Вот она подошла к нему, а он молчит.

По-видимому, он просто не мог говорить, ибо силы быстро покидали его. Все трое молча стояли рядом – даже жена сдерживала рыдания, хотя сердце у нее разрывалось от боли. Она не отнимала ребенка от груди, чтобы он не плакал и лежал смирно. Все смотрели на того, кому осталось жить лишь несколько быстротечных минут. Наконец со страшным усилием он приподнял руки и сложил ладони в молитвенном жесте. Губы его зашевелились, и все трое нагнулись, чтобы уловить слова, которые он скорее прохрипел, чем произнес:

– О господи, спасибо тебе за то, что тяжкое бремя жизни снято с меня.

– Бен! Бен! – запричитала жена. – А как же я? Что же ты обо мне не подумаешь? Бен! Бен! Скажи хоть слово, чтобы мне легче было жить!

Но больше он ничего не мог сказать. Теперь он заговорит, лишь когда прозвучит труба архангела, а дотоле ни единого слова не сойдет с его уст. Однако он все слышал, все понимал, и рука его зашарила по одеялу, ибо

затуманенный взор уже отказывался ему служить. Друзья поняли его желание и поднесли его руку к голове жены, которая стояла, поникнув, закрыв в отчаянье лицо руками. Ладонь умирающего с нежной лаской опустилась на волосы жены. Душа его уже отлетела, и лицо стало вдохновенно-прекрасным. Несказанный покой разлился по нему. Рука на голове жены стала тяжелой, точно камень. Ни горе, ни печаль больше не существовали для него. Они благоговейно убрали покойника – Уилсон принес для этого свою вторую рубашку. Жена Дейвенпорта, отупев от горя, по-прежнему полулежала, уткнувшись головой в тряпье.

Раздался стук в дверь, и Бартон пошел открыть. Это оказалась Мэри, узнавшая от соседки, где искать отца; Мэри вышла пораньше из дому, чтобы повидать его до работы, но прежде ей надо было выполнить кое-какие поручения мисс Симмондс, и она не могла раньше прийти.

– Заходи, доченька! – сказал отец. – Постарайся хоть немного утешить бедную женщину. Видишь, она стоит там на коленях, бедняжка.

Мэри не знала, что говорить и как утешать, – она просто опустилась на колени рядом с ней, обняла ее за плечи и так горько расплакалась, что в душе вдовы открылся родник слез, и ей стало немного легче.

Горя желанием утешить бедную осиротевшую женщину, Мэри забыла обо всем – и о возможном свидании со своим блестящим поклонником Гарри Карсоном, и о поручениях мисс Симмондс, и о ее неминуемом гневе. Никогда еще ее милое личико не казалось таким ангельским, никогда ее звонкий голосок не звучал так певуче, как сейчас, когда она нашептывала миссис Дейвенпорт слова утешения:

– Не плачьте так, дорогая миссис Дейвенпорт, прошу вас, не надо так горевать. Он ушел туда, где уже ни одна забота не коснется его. Да, я понимаю, как вам, должно быть, одиноко. Но подумайте о детях. Мы все поможем вам прокормить их. Подумайте о том, как он огорчился бы, если бы видел, что вы так страдаете. Не плачьте так, пожалуйста, не надо.

Но утешения эти кончились тем, что Мэри сама разрыдалась с не меньшей горестью, чем бедная вдова.

Решено было, что Дейвенпорта похоронят за счет города. Он платил взносы в «похоронную кассу», пока мог, – пропущено было всего несколько недель, но из-за этого была потеряна вся накопившаяся сумма. А почему бы миссис Дейвенпорт не пойти с малышом пока к Мэри? Девушка так и просияла, когда эта мысль пришла ей в голову, и принялась уговаривать вдову. Но та не хотела покидать останки нежно любимого страдальца. Друзьям пришлось удовольствоваться тем, что позволяли им сделать их скромные средства, да попросить соседку время от времени

заглядывать к вдове. Итак, ее оставили наедине с покойником; те, кого ждала работа, пошли на работу, а тот, у кого ее не было, занялся устройством похорон.

В тот день мисс Симмондс часто бранила Мэри за рассеянность. Впрочем, мисс Симмондс была рассержена тем, что Мэри опоздала и к тому же не принесла муслина и шелка, без которых нельзя была закончить платье, обещанное к этому вечеру. Но Мэри и в самом деле думала не о работе: она прикидывала, нельзя ли как-нибудь отпарить, перевернуть и удлинить старое черное платье (которое было у нее выходным, когда умерла ее мать) и превратить его в приличное траурное одеяние для вдовы. Вечером, придя домой (а отпустили ее очень поздно в наказание за утреннюю небрежность), Мэри тотчас взялась за дело и работала так усердно, с таким радостным сердцем, что порою принималась даже весело напевать, но, спохватившись, тотчас умолкала, ибо считала, что веселые песенки не совместимы с трауром, который она шьет.

Итак, в день похорон на миссис Дейвенпорт было приличное черное платье, и это до некоторой степени утешало бедную женщину. Бартон с Уилсоном шли за гробом рядом с нею и двумя старшими мальчиками. Похороны были самые простые, без вереницы экипажей и всего того, что может оскорбить тонкие души, – словом, куда более соответствующие, как мне кажется, своему назначению, чем пышные, украшенные перьями катафалки, чем вся эта нелепая помпа, которой окружают похороны «приличные» люди. Но не было и «стука костей по мостовой» <sup>[36]</sup>, нищих похорон. Скромно и тихо провожала мужа в могилу женщина, решившая терпеливо нести свое горе. О том, что хоронят неимущего бедняка, говорило только одно обстоятельство, но оно больше касалось живых и счастливых, нежели мертвых и горюющих о них. На кладбище гроб поставили подле высокого красивого памятника (на самом деле это была деревянная подделка под мраморные надгробия богачей). Через две-три минуты памятник без труда сдвинули с места, и под ним оказалась общая могила, куда неимущих кладут друг на друга, пока до края могилы не останется одного-двух футов, а тогда могила заравнивается, земля утаптывается, и деревянное сооружение на тот же срок устанавливается над новой ямой. Но этого не знали те, кто сейчас предал земле своего мертвеца.

## ГЛАВА VII

### ОТКАЗ ДЖЕМУ УИЛСОНУ

Безмерный клад надежды и любви  
Таится в этих домиках-копилках,  
Но сколь жесток, сколь беспросветен крах,  
Когда приходит смерть-заимодавец  
Забрать все то, что ты считал своим!  
*«Близнецы».*

Тиф, этот алчный вампир, не щадит тех, кто не боится его или пытается отнять у него добычу. Дети вернулись к вдове. Соседи, как истинные добрые самаритяне <sup>[37]</sup>, заплатили те жалкие гроши, которые она должна была за квартиру, и собрали для нее еще несколько шиллингов. Вдова решила перебраться из этого подвала в какой-нибудь другой, где ничто не будет напоминать ей о пережитых страданиях и недолгих былых радостях. Попечительский совет <sup>[38]</sup> оказался совсем не таким грозным, как она думала, и, расследовав все обстоятельства, вместо того чтобы отправить ее, как она опасалась, в Стоук-Клейпол, букингемпширский приход, откуда был родом ее муж, постановил оплачивать ей квартиру. Таким образом, теперь ей нужно было думать только о том, чтобы прокормить четыре рта, – она сказала бы три, ибо считала себя и грудного ребенка одним целым.

Это была женщина сильная духом, и теперь, немного восстановив за последние две недели свои телесные силы, она уже так не отчаивалась. Она взялась присматривать за детьми; они приходили к ней на целый день с едой, которую она им разогревала, ни единой крошкой не обделяя беспомощных созданий. А вечером, когда матери забирали детишек, она садилась за нехитрое шитье – «шов, отворот, рукав» <sup>[39]</sup> – и все думала, как бы обмануть инспектора на фабрике и заставить его поверить, что ее большому, сильному голодному Бену больше тринадцати лет. <sup>[40]</sup> Словом, жизнь ее как-то наладилась, и она потихоньку существовала, как вдруг до нее дошел печальный слух о том, что близнецы Уилсонов заболели.

Особым здоровьем они никогда не отличались. Подобно большинству

близнецов, они как бы разделили одну жизнь на двоих. И не только одну жизнь, но и одну силу, а в данном случае, пожалуй, и один ум, ибо это были беспомощные и почти слабоумные малыши, которые, однако, были бесконечно дороги родительскому сердцу, равно как и своему сильному, энергичному, мужественному старшему брату. Они поздно научились ходить, поздно заговорили, вообще запаздывали во всем; их приходилось нянчить и опекать даже тогда, когда другие бегают по улице, теряются и попадают в полицейские участки за много миль от дома.

И все же какая бы нужда ни стучалась в дверь Уилсонов, она еще ни разу не выгоняла любви к безобидным дурачкам. Не случилось этого и сейчас, хотя жалованья Джема Уилсона и того, что иногда удавалось приработать матери, едва хватало, чтобы прокормить всю семью.

Однако когда близнецы, несколько дней куксившиеся и почти не притрагивавшиеся к еде, одновременно слегли и оба тяжело заболели, каждое из трех любящих сердец – хотя ни один из трех не признался в этом другим – почувствовало, что дети едва ли выживут, но прошла почти неделя, прежде чем известие об их болезни достигло того двора, где раньше жили Уилсоны и где по сей день обитали Бартоны.

Элис узнала о болезни своих маленьких племянников немного раньше; она заперла свой подвал и отправилась к брату в Энкоутс, но, так как она частенько по несколько дней пропадала из дому, помогая людям, которых неожиданно постигло горе или болезнь, ее отсутствие не удивило никого из соседей.

Лишь через несколько дней после того, как близнецы слегли, Маргарет встретила Джема Уилсона и узнала от него о том, что произошло. В тот же вечер она зашла к Мэри и рассказала ей об этом; Мэри с грустью выслушала эти печальные вести, с которыми так не вязались сладостные, нежные слова любви, нашептываемые ей по пути домой. И она принялась корить себя за то, что, увлекшись золотыми видениями будущего, редко заходила в воскресенье или в другое свободное время к миссис Уилсон, которая была подругой ее матери. И теперь она так заторопилась исправить свой промах, что задержалась только для того, чтобы попросить соседку передать отцу, куда она пошла, и побежала к погруженному в скорбь дому.

Лишь взявшись за щеколду уилсоновской двери, она остановилась, чтобы дать успокоиться сердцу, и прислушалась – внутри царил тишина. Она тихонько открыла дверь: в старой качалке сидела миссис Уилсон, держа на коленях одного из больных мальчиков, и без остановки или передышки всхлипывала, но очень тихо, точно боясь потревожить уже хрипевшего ребенка; у нее за спиной старушка Элис горько плакала над

вторым малышом: он уже умер, и она обряжала его на доске, положенной на старую кушетку в углу. Над тем из близнецов, который еще дышал, склонился отец, тщетно пытаясь обнаружить хоть каплю надежды там, где ее уже не могло быть. Мэри, неслышно ступая, тихонько подошла к Элис.

– Ах, бедненький! Рано господь призвал его к себе, Мэри!

Мэри не могла говорить, да и не знала, что сказать, – она не ждала такого несчастья. Наконец она спросила шепотом:

– А другой, как вы думаете, выживет?

Элис покачала головой и взглядом ответила: «Нет». Затем она приподняла маленькое тельце, намереваясь перенести мертвого малыша на его постельку в спальне родителей. Но отец, который, казалось, был всецело поглощен еще живущим, видел и слышал все, что происходило возле маленького трупа; он подошел к Элис и, с нежностью приняв на руки своего мертвого сына вместе с его жестким ложем, осторожно понес его наверх, словно боясь разбудить.

Дыхание второго мальчика становилось все более хриплым и прерывистым.

– Надо взять его у матери. Она привораживает его и не дает умереть.

– Привораживает? – недоуменно переспросила Мэри.

– Разве ты не знаешь, что значит «привораживать»? Человек не может умереть на руках у того, кто очень хочет, чтобы он остался на земле. Душа того, который держит, не дает другой душе отлететь, и той приходится вести тяжкую борьбу, чтобы обрести вечный покой. Надо взять его у матери, не то смерть бедненького будет тяжелой.

Элис подошла к матери и попросила отдать ей умирающее дитя. Но мать не хотела с ним расставаться; она смотрела на Элис умоляющими, полными слез глазами: нет, она вовсе его не привораживает, взволнованным шепотом сказала она, ей так хотелось бы избавить его от мучений. Элис и Мэри стояли подле нее, глядя на бедного ребенка, чьи страдания, казалось, все возрастали. Наконец мать прерывающимся голосом сказала:

– Может, и в самом деле тебе лучше взять его, Элис. Видно, душа моя все же не хочет его отдавать: не могу, не могу я смириться с тем, что два моих мальчика уйдут от меня в один и тот же день. Вот я и хотела бы его удержать, но больше он не будет страдать из-за меня.

Она нагнулась и нежно – ах, с какой страстной нежностью! – поцеловала ребенка, а затем передала его Элис, которая бережно взяла малыша. Скоро силы его иссякли, он перестал сопротивляться, и его короткая жизнь оборвалась.



Не сдерживаясь больше, мать громко зарыдала и запричитала. На ее крики сверху прибежал отец, спеша утешить ее, хотя у самого от горя разрывалось сердце. Снова Элис принялась обряжать маленького покойника; Мэри с благоговейным страхом помогала ей. Затем отец с матерью отнесли его наверх и положили на кровать, где уже спал вечным сном его братик.

Тем временем Мэри с Элис подошли поближе к огню и некоторое время молча стояли возле него, погруженные в тихую скорбь. Нарушила молчание Элис.

– Какое горе ждет бедного Джема, когда он вернется домой, – сказала она.

– А где он? – спросила Мэри.

– Работает сверхурочно у себя на заводе. Они получили большой заказ из какой-то далекой страны, ну и Джему, сама понимаешь, приходится работать, хотя сердце у него разрывается из-за бедных малышей.

Они снова помолчали, и снова Элис заговорила первой:

– Мне иной раз думается, что бог не любит, когда люди загадывают наперед. Вот только я что-нибудь твердо задумаю, он ниспосылает испытание, и планы мои идут прахом, точно он напоминает, что судьбы наши в его руках. Перед рождеством я уже совсем было собралась навсегда уехать в родные края – ты ведь знаешь, как давно я этого хочу. И вот на Мартынов день <sup>[41]</sup> приехала в Манчестер одна девушка из-под Бэртона поступать на место; немного погодя, в свободное воскресенье, явилась она ко мне и говорит, что одна моя родственница просила ее найти меня и сказать, как бы ей хотелось, чтобы я пожила с ними и заодно присмотрела за детьми, а то у них хозяйство больно большое и родственница моя еле с коровами управляется. Всю-то зиму я почти не спала, все думала: даст бог, летом попрощаюсь с Джорджем и его женой и уеду наконец к себе на родину. И не чаяла я, что господь преградит мне путь за то, что не отдала я судьбу свою в руки его, который вел меня доселе по путям жизни. А теперь Джордж остался без работы – таким унылым я его еще никогда не видела; разве я могу бросить его, когда он так нуждается в утешении, особенно теперь, после такого тяжкого удара? И думается мне: перст господен ясно указал, где мое место, и уж если Джордж и Джейн говорят: «Да будет воля его», – то как же я могу роптать.

И, произнеся это, она принялась убирать комнату, стараясь уничтожить следы болезни; она разожгла огонь и поставила греть воду, чтобы напоить горячим чаем невестку, чьи стоны и рыдания время от времени доносились сверху.

Мэри помогала ей в ее хлопотах, как вдруг дверь тихонько отворилась и на пороге появился Джем, весь перепачканный после ночной работы и даже не снявший грязного фартука, – словом, в другое время он едва ли отважился бы показаться Мэри в таком виде. Но сейчас он почти не взглянул на нее, а подошел прямо к Элис и осведомился о здоровье малышей. В обед им было немного лучше, и весь этот день и вечер Джема на работе не оставляла надежда, что началось выздоровление. Во время получасового перерыва он сбегал купить два апельсина, и теперь они оттягивали карман его куртки.

Тетка сокрушенно покачала головой, и слезы градом полились из ее глаз, но Джем не желал понимать ее.

– Оба они умерли, – промолвила она наконец.

– Умерли!

– Да, бедняжки. Часа в два им стало хуже. Джо умер первый – тихо, как ягненок, а Уилл уж больно тяжело умирал.

– Оба!

– Да, дружок, оба. Видно, господь решил уберечь их от какой-то горшей беды, иначе он бы не прибрал их. Это уж точно.

Джем подошел к буфету и осторожно извлек из кармана купленные апельсины. Долго стоял он так; потом его могучее тело затряслось от рыданий. Элис и Мэри испугались – женщин ведь всегда пугает вид мужского горя. И они заплакали вместе с ним. Печаль Джема так тронула Мэри, что сердце ее смягчилось, и, тихонько направившись в угол, где он стоял спиной к ним, она ласково положила руку ему на плечо и сказала:

– Ах, Джем, не надо так горевать: я просто не могу этого видеть!

Сердце Джема вдруг исполнилось странной радости: только Мэри была дана такая власть утешить его. Он молчал, словно боясь словом или жестом разрушить очарование счастливой минуты, когда нежная рука девушки касалась его, а ее мелодичный голос нашептывал ему на ухо ласковые слова. Да, это было нехорошо, Джем почти ненавидел себя за это, – ведь в дом его вошли смерть и горе, – и все же он был счастлив, он был на вершине блаженства от того, что Мэри так говорила с ним.

– Не надо, Джем, прошу тебя: не надо, – снова прошептала она, объясняя его молчание только горем.

Джем не выдержал. Он взял ее руку в свои сильные, но дрожавшие сейчас пальцы и сказал таким тоном, от которого ее настроение сразу изменилось:

– Мэри, я почти ненавижу себя – ведь братья мои лежат мертвые, а отец с матерью в такой горе, и все же я готов отдать за эту минуту всю

прожитую мною жизнь. И ты знаешь, Мэри (тут она попыталась высвободить руку из его пальцев), почему мне так хорошо.

Да, она знала – в этом он не ошибался. Но когда Джем повернулся, чтобы прочесть ответ на дорогом лице, он увидел неподдельную растерянность, граничащую с досадой, и страх, который он принял за отвращение.

Он выпустил ее руку, и Мэри поспешно вернулась к Элис.

«Какой я дурак, какой негодяй! Да как я мог, когда в доме такая беда, говорить ей о любви. Не удивительно, что она и смотреть не хочет на такого бездушного себялюбца».

Отчасти чтобы избавить ее от своего присутствия, отчасти следуя велению сердца, отчасти, пожалуй, из желания поскорее искупить свою вину, разделив горе родителей, Джем вскоре отправился наверх, в комнату, где царила смерть.

Мэри машинально помогала Элис, хлопотавшей всю эту долгую ночь напролет, но Джема она больше не видела. Он так и не спустился сверху до зари, когда Мэри решила, что теперь можно безбоязненно идти домой по тихим пустынным улицам и немного поспать перед работой. Она попросила Элис передать ее соболезнования Джорджу и Джейн Уилсон, помедлила, не зная, можно ли оставить ласковую весточку Джему, но передумала и вышла на улицу, залитую ярким солнечным светом, столь не похожим на сумрак комнаты, которую посетила смерть.

Ее сомкнувшимся очам

Предстал иной рассвет. [\[42\]](#)

Мэри прилегла на постель не раздеваясь и, то ли от этого, то ли от того, что через слуховое окно в комнату проникал яркий свет, то ли от чрезмерного возбуждения, долго не могла заснуть. Она думала о Джеме, о том, как он держался с ней, о его словах. Нельзя сказать, чтобы они явились для нее неожиданностью: она давно знала о его чувствах, но все же предпочла бы, чтобы он был менее прямолинеен.

«Как неприятно, – думала она, – что он так неверно меня понимает: стоит мне сказать обычное доброе слово, и глаза его начинают сиять, а щеки заливают румянец. До чего же мне тяжело! Ведь отец и Джордж Уилсон – старые друзья, а мы с Джемом знаем друг друга с детства. Меня так и тянет утешить его, когда он чем-то огорчен. А сегодня – ну, зачем мне понадобилось подходить к нему, когда говорить с ним должна была бы тетка. Ведь он несколько мне не нравится, и все же, если я не слежу за

собой, я разговариваю с ним так ласково! Нет, не умею я, видно, вести себя как надо: то сдерживаюсь и бываю холодна с ним как лед, а если говорю как обычно, получается уж очень нежно. А ведь я почти помолвлена с другим, и этот другой куда красивее Джема. Правда, лицо Джема мне нравится гораздо больше, а раз нравится, то уж тут ничего не поделаешь. Ну да ничего: когда я стану миссис Гарри Карсон, я, наверное, сумею сделать для Джема что-нибудь хорошее. Только скажет ли он мне за это спасибо? Ведь иной раз он бывает совсем бешеный, и, может, ему будет вовсе не по душе моя доброта, если я буду женой другого. Но нечего мучить себя – хватит о нем думать».

И, повернувшись на бок, она заснула, и приснилось ей то, что она часто видела в мечтах: как она после венчания возвращается из церкви в собственной карете, под звон колоколов, заезжает за отцом, который не может прийти в себя от удивления, и навсегда увозит его из старого, мрачного, населенного рабочим людом двора в роскошный дом, где у него будут газеты, журналы, трубки и он каждый день будет за обедом есть мясо, – целый день сможет есть мясо, если захочет.

Вот какие мысли поддерживали склонность Мэри к молодому мистеру Карсону, который, в отличие от простых тружеников, мог свободно распоряжаться своим временем и почти не пропускал дня, чтобы не встретиться с хорошенькой мастерицей; он увидел ее впервые в какой-то лавке, когда сопровождал делавших покупки сестер, и с тех пор не успокоился, пока во время своих ежедневных прогулок весьма непринужденно, хоть и почтительно, не завязал с ней беседы. Он сам себе признавался, что совсем потерял голову, и весь день бродил точно неприкаянный, дожидаясь случая – ас некоторых пор и не просто случая – увидеть ее. В ней трезвый ум и практическая сметка очаровательно сочетались с простодушными, нелепыми и романтическими представлениями, почерпнутыми из светских романов, которыми зачитывались мастерицы мисс Симмондс.

К тому же Мэри была честолобива, и ее благосклонное отношение к мистеру Карсону в немалой степени объяснялось тем, что он был джентельменом, и притом богатым. В ее сердце бродила закваска, зароненная много лет тому назад тетей Эстер; немалую роль играла тут, возможно, и неприязнь, которую отец ее питал к богатым и знатным. Так уж противоречиво устроен человек, и все мы, начиная с Евы, грешным делом, считаем запретный плод самым сладким. Потому-то и Мэри предавалась мечтам, с наслаждением предвкушая, как она станет знатной дамой и будет вести праздную и приятную жизнь, составляющую удел

знатных дам.

Когда мисс Симмондс бранила Мэри, девушка утешалась мыслью о том, что когда-нибудь она подкатит к мастерской в собственной карете, чтобы заказать себе платье у вспыльчивой, но доброй портнихи. Мэри доставляло удовольствие слышать восторженные отзывы о старших дочерях Карсона, признанных красавицах, вызывавших всеобщее восхищение, где бы они ни появлялись, – на балах или на улице, на лошади или пешком, и представлять себе, как она будет ездить и гулять с ними, их любящая и любимая сестра. Но самые лучшие, самые святыя ее мечты, которые в какой-то мере искупали ее тщеславие, были связаны с отцом – с любимым отцом, отягченным заботами, всегда мрачным и печальным. Она окружит его всеми мыслимыми удобствами (жить он, конечно, будет с ними), и, вынужденный признать, что богатство – вещь очень приятная, он благословит свою дочь, хоть она и стала знатной дамой! А она сторицей воздаст всем, кто был добр к ней, когда она жила бедно.

Вот какие воздушные замки строила Мэри, вот какие видения Альнашара [\[43\]](#) проносились перед ней, вот за что впоследствии предстояло ей расплачиваться горькими слезами.

А пока ее слова – и не столько слова, сколько интонации ее голоса – звучали в памяти Джема Уилсона. По телу его пробегала дрожь, стоило ему вспомнить, как ее рука лежала на его плече. И к его глубокому горю, вызванному утратой братьев, постоянно примешивалась мысль о ней.

## ГЛАВА VIII

### **ПЕРВОЕ ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ МАРГАРЕТ В КАЧЕСТВЕ ПЕВИЦЫ**

Будь мягок, помня о тяжелой ноше,  
Что на плечи взвалила им судьба.  
Не разрушай насмешкой их мечты.  
Порой суровый опыт жизни учит  
Тому, чего по книгам не постичь;  
Будь мягок даже к явным заблуждениям,  
Пусть их проступки прозвучат как зов:  
«Дай света нам в пути, что так суров!»  
«Раздумья любви».

Как-то в воскресенье, недели через три после скорбной ночи, Джем Уилсон вышел из дому, сказав, что собирается зайти к Джону Бартону. Одет он был в свое лучшее платье; тщательно вымытое лицо его так и блестело. Дома он раз десять принимался расчесывать перед маленьким зеркальцем свои черные волосы и воткнул в петлицу нарцисс (в Ланкашире его поэтично называют «Милая Нэнси») в надежде, что Мэри заметит цветок и тогда можно будет ей его подарить.

На беду Джема, заранее радовавшегося предстоящей встрече, Мэри увидела его за несколько минут до того, как он вошел в их дом. Она сидела у буфета, приоткрыв ставню, чтобы можно было, оторвавшись от лежавшей перед ней Библии, рассматривать прохожих. Она видела, как Джем встретил приятеля, как тот сочувственно смотрел на него, с каким соболезнованием тряс ему руку, и успела придать лицу нужное выражение и подготовить нужный тон. Джем, войдя в комнату, казалось, видел только ее отца, который сидел с трубкой у очага и читал старый номер «Северной звезды», который он взял на время в соседнем трактире.

Потом Джем повернулся к Мэри, — со свойственным влюбленным безошибочным чутьем, он знал, что она тут. Но она не могла подать ему руки, ибо в эту минуту принялась усиленно охорашиваться и одергивать платье — нарочно, не мог не подумать Джем. Поздоровалась она с ним спокойно и дружелюбно, хотя и несколько сухо; к великому своему

сожалению, она почувствовала, что краснеет, а Джем, заметив это, принялся гадать, чем объясняется ее румянец – страхом, досадой или любовью.

Боюсь, она была слишком лукава. Делая вид, будто всецело поглощена чтением и не прислушивается к разговору, Мэри на самом деле слышала все – вплоть до глубоких вздохов Джема, которые разрывали ей сердце. Наконец она взяла Библию, словно беседа отца с Джемом мешала ей, и отправилась наверх, в свою комнатку. За все это время она едва ли хоть словом обмолвилась с Джемом, едва ли взглянула на него и даже не заметила прелестного нарцисса, а ведь достаточно было ей сказать слово одобрения, и цветок был бы вручен ей! Впрочем, Джем не знал, – и хорошо, что он избежал хоть этой боли, – какой роскошный букет ранних весенних роз стоял в белом кувшине в жалкой спальне Мэри, украшая комнату и наполняя ее своим ароматом. То был дар ее богатого поклонника. Итак, расплачиваясь за свою хитрость, Джем вынужден был теперь сидеть с Джоном Бартоном, слушать его разглагольствования и стараться не ответить невпопад.

– Правильно пишут в «Северной звезде» [\[44\]](#), ничего не скажешь. Хорошо тут написано насчет сокращения рабочего дня.

– А плата останется та же? – спросил Джем.

– Ну, конечно, иначе какой же от этого прок? А хозяевам это вполне по карману – они не разорятся. Я тебе когда-нибудь говорил, что мне сказал один человек в больнице много лет назад?

– Нет, – рассеянно ответил Джем.

– Так вот: попал я однажды в больницу. Времена были плохие, голодные, заболел я лихорадкой, а в больнице, пока человек болен, к нему хорошо относятся, хоть потом могут из него все жилы вытянуть. Так вот, когда лихорадка у меня прошла, но слабость была такая, что я еле на ногах держался, они и говорят мне: «Если ты умеешь писать, можешь побыть здесь еще недельку – помоги нашему хирургу навести порядок в бумагах, а уж мы позаботимся, чтобы ты не чувствовал недостатка ни в мясе, ни в питье. Ты за эту неделю совсем станешь на ноги». Ну, я, конечно, сразу согласился. И стал я писать да переписывать. Писать-то я умел, но уж больно чудные слова там встречались – я таких никогда не видывал, так что мне приходилось вертеть головой, точно петуху, когда он клюет зерно: в бумагу посмотрю, потом на свою запись, потом снова в бумагу. Но одна запись очень меня заинтересовала, и решил я: спрошу-ка у хирурга, чтобы он объяснил. На цифры память у меня слаба, но я слово в слово запомнил вот что: *большая часть несчастных случаев происходит в последние два*

*часа работы*, когда человек устает и становится невнимательным. Хирург сказал мне тогда, что это истинная правда и что он хочет, чтобы люди знали об этом.

А Джем тем временем раздумывал, что означает поведение Мэри, но, когда Бартон умолк, все же сообразил, что собеседник ждет от него какого-нибудь замечания, и сказал наугад:

– Это правильно.

– Да уж, конечно, правильно. Слишком они нас угнетают, а скоро будет и того хуже. Печатники собираются бастовать: они создали крепкий союз, теперь с ними не просто справиться. Да только много произойдет такого, чего никто не ждет. Помяни мое слово, Джем.

Джем и не думал в этом сомневаться, но не проявил ни малейшего любопытства. Тогда Джон Бартон решил намекнуть яснее.

– Скоро уже из рабочих не будут больше вытягивать все жилы. Всякому человеческому терпению приходит конец. И если хозяева не могут ничем нам помочь, – а они говорят, что не могут, – мы пойдем к кому-нибудь повыше.

Но Джема и это не заинтересовало. Он потерял надежду на то, что Мэри по собственной воле выйдет к нему, и теперь хотел лишь поскорее уйти, чтобы никто не мешал ему мечтать о ней. А потому, пробормотав какое-то нечленораздельное извинение, он поспешно простился с Джоном, и тот снова остался наедине со своей трубкой и политикой.

Уже третий год застой в промышленности все возрастал, а цены на съестные припасы непрерывно повышались. Это несоответствие между заработком рабочих и стоимостью их питания влекло за собой болезни и смерть гораздо чаще, чем это можно себе представить. Целые семьи постепенно вымирали от голода. Не хватало только Данте, чтобы описать их страдания. Но и его перо бессильно было бы поведать страшную правду, – он мог бы дать лишь некоторое представление о той неимоверной нищете, которая стала уделом десятков тысяч людей в страшные 1839, 1840 и 1841 годы. Даже филантропы, специально занимавшиеся изучением этого вопроса, вынуждены были признать, что они не могут установить истинных причин бедствия, – все было настолько сложно и запутанно, что понять что-либо не представлялось возможным. Не удивительно, что в эту пору лишений отношения между рабочими и высшими сословиями крайне обострились. Нужда и страдания навели многих тружеников на мысль, что и законодатели, и судьи, и хозяева, и даже священники являются их угнетателями и врагами, что они сговорились держать их в рабстве и подчинении. Наиболее печальным и устойчивым последствием этих лет



застоя в торговле была именно вражда между различными классами общества. Невозможно описать или хотя бы вкратце обрисовать бедственное положение, в котором находилось тогда большинство городских жителей, а потому я и не стану этого делать; и все же я убеждена, что об этом не было известно даже в той слабой степени, в какой способны это передать слова, – ведь мы живем в христианской стране, и те, кому выпал более счастливый жребий, несомненно, поспешили бы на помощь страдальцам, зная всю правду. А эти несчастные в большинстве случаев сначала плакали, потом начинали проклинать. Их злоба искала выхода в крайних политических взглядах. Но когда слышишь, как я слышала, о страданиях и лишениях бедняков, о существовании лавок, где чай, сахар, масло и даже муку продают по четвертушкам, иначе люди не в состоянии их купить; когда слышишь о том, как родители по полтора месяца просиживают ночи напролет у очага, чтобы предоставить единственную кровать и единственное одеяло в распоряжение своей многочисленной семьи, а иные неделями спят на холодных плитах очага, потому что им нечем развести огонь и нечего на нем варить (и происходит это в середине зимы), а иные голодают по нескольку дней без всякой надежды на лучшее будущее, да при этом живут, или, вернее, прозябают, на тесных чердаках или в сырых подвалах и, измученные нуждой и отчаянием, преждевременно сходят в могилу, – когда слышишь обо всем этом и в подтверждение видишь изможденные озлобленные лица, видишь семьи, где царит отчаянье, разве можно удивляться тому, что многие в пору лишений и горя говорят и действуют слишком поспешно и жестоко?

И вот среди рабочих стала распространяться идея, в начале принадлежавшая чартистам, но взлелеянная бесчисленными тружениками, словно любимое дитя. Они не могли поверить, что правительство знает об их страданиях: они предпочитали думать, что законодатели понятия не имеют об истинном положении дел в стране, уподобляясь людям, которые вздумали бы внушать правила хорошего тона детям, не потрудившись узнать, что дети эти уже несколько дней сидят голодными. Кроме того, несчастные слышали, будто бы парламент вообще не считает их положение тяжелым; это казалось им странным и необъяснимым, но мысль, что они могут рассказать о всей глубине своего бедствия, а тогда будут найдены меры, чтобы положить ему конец, приносила утешение их страждущим сердцам и умеряла нараставший гнев.

Итак, была составлена петиция, которую в ясные весенние дни 1839 года подписали тысячи людей [\[45\]](#); они просили парламент выслушать очевидцев, которые могли бы поведать о беспримерном обнищании

населения промышленных районов. Ноттингем, Шеффилд, Глазго, Манчестер и многие другие города спешно назначили делегатов, которые должны были вручить петицию и могли рассказать не только о том, что они видели и слышали, но и о том, в каких страшных условиях живут они сами. То были измученные, изможденные, отчаявшиеся люди, хорошо знавшие, что такое голод.

Джон Бартон стал таким делегатом. И ему было бы стыдно признаться, как приятно это ему. Он испытывал и детский восторг, что увидит Лондон, – правда, восторг этот занимал в его чувствах лишь скромное, очень скромное место. Он испытывал и тщеславную гордость при мысли, что ему придется говорить со всей этой знатью, – это чувство занимало уже большее место; и, наконец, он испытывал чистую и светлую радость оттого, что оказался в числе избранных, которые должны рассказать о страданиях народа и принести людям великое облегчение, навсегда избавив их от забот и нужды. Он возлагал большие, хоть и смутные, надежды на результаты своей поездки. В эту петицию, повествующую о горе народном, были вложены все надежды многих, находившихся на грани отчаяния, людей.

Накануне того дня, когда манчестерские делегаты должны были отправиться в Лондон, у Бартона состоялся, можно сказать, настоящий прием – собрались все соседи. Джоб Лег спозаранку уселся со своей трубкой у очага; он больше молчал, зато много курил и полагал, что оказывает немалую помощь Мэри, передвигая утюги, которые она повесила над огнем. А Мэри, совсем как жена Щеголя Тиббса <sup>[46]</sup>, «стирала две единственные рубашки» отца в чулане за кухней: ей хотелось, чтобы он получше выглядел в Лондоне. (Сюртук они выкупили, но шелковым шейным платком пришлось пожертвовать.) Дверь из комнаты в чулан была, по обыкновению, открыта, и Мэри здоровалась с входившими соседями и знакомыми.

– Ну как, Джон, едешь в Лондон? – спросил один из них.

– Да, видно, надо ехать, – отвечал Джон таким тоном, словно ехал лишь по необходимости.

– Так вот: расскажи ты им там в парламенте все как следует. И не церемонься с ними, Джон, слышишь? Скажи им прямо, что мы думаем, а мы думаем, что наголодались уж, хватит. Зачем же они тогда там сидят, коли не могут дать нам то, о чем мы просим со дня нашего рождения.

– Да, да, я им все скажу – и не только это, а гораздо больше, когда придет мой черед. Но ты же знаешь: до меня будет выступать много народу.

– Ну и что же, ты-то тоже выступишь. Послушай, друг, скажи им, чтоб

они велели хозяевам сломать машины [47]. Как появились прядильные машины, пришел конец хорошим временам.

– Машины совсем разорили бедняков, – хором вставило несколько человек.

– А вот я бы хотел, – сказал какой-то человек в лохмотьях, который, дрожа от озноба, сидел на корточках у самого огня, – чтобы ты попросил их принять закон о сокращении рабочего дня. Человек больно быстро изнашивается, когда столько работает. Почему на фабрике люди должны работать больше, чем в других местах? Ты спроси их об этом, Бартон, ладно?

Появление миссис Дейвенпорт, бедной вдовы, которой Бартон в свое время так помог, избавило его от необходимости отвечать. Миссис Дейвенпорт явно голодала, и жилось ей, видно, нелегко, но одета она была вполне прилично. В руках она держала завернутый в газету пакетик, который был вручен Мэри; девушка развернула его и намыленными пальцами осторожно вынула лежавший внутри воротничок.

– Только посмотрите, отец, – воскликнула она, – каким щеголем вы будете ходить в Лондоне! Миссис Дейвенпорт принесла вам воротничок – совсем новый, скроенный по последней моде. Спасибо вам за заботу о моем отце.

– Ах, Мэри, – тихо промолвила миссис Дейвенпорт, – ведь это такая малость в сравнении с тем, что он сделал для меня и для моей семьи! Дай-ка, Мэри, я тебе помогу – ведь у тебя столько хлопот с этой поездкой.

– Ну, так помогите мне выжать это, а уж дальше я сама справлюсь.

Миссис Дейвенпорт ничего не оставалось, как прислушиваться к общему разговору, и вскоре она сама приняла в нем участие:

– Раз уж ты, Джон Бартон, берешься передать парламенту наши пожелания, скажи ты им, пожалуйста, какое для нас горе этот их закон, не разрешающий детям, хоть здоровым, хоть слабым, работать на фабрике. Взять, к примеру, нашего Бена. Ведь на него каши не напасешься – столько он ест, а в школу его послать у меня нет денег. Вот он и слоняется целыми днями по улицам, – только есть больше хочет да набирается всяких дурных привычек. А инспектор не пускает его работать на фабрику, потому что ему лет еще мало. А ведь он в два раза сильнее этого заморыша – сына Сэнки, у которого так ноги от работы болят, что бедняга даже плачет, хоть годами он и вышел.

– Есть у меня один план, о котором я хочу рассказать Джону Бартону, – неторопливо, важным тоном заявил один из присутствующих, – а уж он пусть изложит его высокому собранию. Мать моя родом из Оксфордшира.

Она была младшей прачкой в доме сэра Фрэнсиса Дэшвуда и, когда мы были маленькие, немало рассказывала нам о том, в какой роскоши они жили: сэр Фрэнсис, например, два раза на день менял рубашку. Ну, а в парламенте у нас заседают такие, как он, и многие, наверно, транжирят деньги не хуже него. Вот ты и скажи им, Джон, что они окажут ланкаширским ткачам большую услугу, коли будут носить коленкоровые рубашки. Как у нас тогда пошли бы дела: ведь сколько им рубашек-то нужно!

Тут в разговор вмешался Джоб Лег. Он вынул трубку изо рта и, обращаясь к последнему из говоривших, сказал:

– Вот что я скажу тебе, Билл, только ты на меня за это не сердись: в парламенте сидит всего несколько сот человек, у которых столько рубашек, как ты говоришь, а у тысяч и тысяч бедных ткачей на все про все одна-единственная рубашка, и, когда она снашивается, они не знают, где взять другую, хоть и ткут по несколько миль коленкора в день. А сколько миль этого коленкора лежит на складах! Ведь у нас потому и работа стоит, что никто его не покупает. Послушай моего совета, Джон Бартон, и проси, чтоб парламент не ограничивал торговли, тогда рабочие станут прилично зарабатывать и покупать по две или даже по три рубашки в год, и в делах не будет застоя.

И, снова взяв в рот трубку, он усиленно запыхтел, как бы стремясь наверстать упущенное время.

– Боюсь, соседи, – сказал Джон Бартон, – что не удастся мне передать им все, что вы тут наговорили. Я просто расскажу о нашем бедственном положении, в которое они не верят. Когда они услышат о том, что у нас дети рождаются на сыром каменном полу и что в доме порой нет тряпицы, чтобы прикрыть их, или куска хлеба для роженицы; когда они услышат о том, что люди мрут прямо на улице или забиваются от нужды в подвалы и ждут там смерти как избавления; когда они услышат про мор, болезни и голод, они, конечно, придумают что-нибудь поумнее нашего, чтобы помочь нам. Но если удастся, я, конечно, постараюсь рассказать им все, что вы тут наговорили. Словом, сделаю, что смогу, и вот увидите: когда парламент обо всем узнает, настанут лучшие времена.

Некоторые с сомнением покачали головой, но остальные приободрились. Гости стали потихоньку расходиться, и наконец Джон Бартон остался наедине с дочерью.

– Ты заметила, какой у Джейн Уилсон больной вид? – спросил отец, когда со всеми делами тяжелого трудового дня было покончено и они сели ужинать перед очагом, в котором пылал огонь, заливавший красноватым

светом темную комнату.

– Нет, что-то не заметила. Но ведь она все никак не оправится после смерти близнецов, да и вообще она женщина не из крепких.

– Такой она стала после несчастного случая. А прежде, помнится, была кровь с молоком – другой такой в Манчестере и не сыщешь.

– О каком несчастном случае вы говорите?

– Да на фабрике ее колесом задело. Случилось это до того, как на колеса стали надевать кожухи. Она как раз замуж собиралась, и многие думали, что Джордж увильнет от свадьбы, но я-то знал, что не такой он человек. И вот как только она поправилась, они чуть ли не первым делом повенчались. У бедняжки в лице ни кровинки не было, когда она шла по проходу, прихрамывая, опираясь на руку Джорджа, а он вел ее заботливо, точно мать больное дитя, и старался шагать помедленнее, чтоб она не торопилась, хотя немало нашлось зубоскалов, которые насмехались над ним и над ней. В церковь она вошла белая как полотно, а пока до алтаря дошла, стала совсем пунцовой. И все-таки счастливый получился у них брак, а мне Джордж всю жизнь был как брат. Но если что случится с Джейн, это его доконает. А мне она сегодня что-то не понравилась.

И он пошел спать, раздумывая о том, какое горе, вероятно, ждет его друга, но к его страхам примешивались мысли о предстоящей поездке и надежды на будущее. Утром Мэри проводила отца и долго смотрела ему вслед, прикрыв глаза рукой от косых лучей яркого утреннего солнца, затем вошла в дом, чтобы прибраться, прежде чем идти на работу. Она думала о том, понравится ей или не понравится быть утром и вечером одной; некоторое время, как только били часы, она вспоминала об отце и спрашивала себя: где-то он сейчас; она приняла несколько благих решений, но постепенно день со своими заботами и делами всецело завладел ее мыслями, оттеснив на задний план воспоминания об отсутствующем.

Среди решений, принятых Мэри, было твердое намерение до возвращения отца не видеться с мистером Гарри Карсоном, сколько бы он ни упрашивал ее и ни уговаривал. Как-то странно была у нее устроена совесть: казалось, приняв такое решение, Мэри признавала, что ей вообще не следует видеться с мистером Карсоном, однако она сумела убедить себя, что в ее поведении нет ничего дурного. Ведь свидания с мистером Карсоном – хотя отец не знает о них, и если бы узнал, то, конечно, не одобрил бы – в конце концов принесут ему лишь счастье и благополучие. Но сейчас, в его отсутствие, она не должна делать ничего такого, что могло бы вызвать его порицание, – нет, ни за что, даже если все это, в сущности, делается ради него.

Среди мастериц мисс Симмондс была одна молодая особа, которая с самого начала знала о тайном романе Мэри, так как мистер Карсон выбрал ее своей поверенной. Ему необходима была посредница, которая могла бы передавать письма и поручения и в его отсутствие отстаивать его интересы. Роль его адвоката охотно взяла на себя девушка по имени Салли Лидбитер. Она и сама не прочь была бы развлечения ради завязать любовную интрижку (особенно – тайную); однако ее готовность помогать мистеру Карсону объяснялась не только этим, но и полусовершенами, которыми он иногда ее вознаграждал.

Салли Лидбитер была необычайно вульгарна; разговаривать она умела только о любви да о кавалерах и считала, что длинный список вздыхателей только украшает девушку. Жаль, конечно, что при таких взглядах сама Салли была некрасивая, рыжая и веснушчатая девушка и уж никак не могла претендовать на роль героини романа. Однако отсутствие красоты она восполняла бойкостью и острословием, которые человек образованный назвал бы пикантностью. Если ей в голову приходила остроумная шутка, она забывала о скромности и уважении к приличиям. Она оказывала на своих товарок самое дурное влияние. Даже доброта ее служила ко злу. Ведь нельзя возненавидеть отзывчивую подругу! Как можно сторониться девушки, которая всегда готова выгородить тебя, чьи пальцы охотно выполняют за тебя работу и покроют твои промахи, чей язык в любую минуту может солгать за тебя. У евреев или у магометан (не помню, у кого из них) существует поверье, будто в нашем теле есть маленькая косточка – один из позвонков, которая не подвержена разрушению и не превращается в прах, а лежит целая и невредимая в земле до Судного дня. Это – зерно души. Точно так же в самых падших людях заложено зерно добра, которое рано или поздно восторжествует над злом, – одно-единственное хорошее качество, глубоко запрятанное и не подверженное влиянию всего скверного и порочного, что окружает его.

Таким зерном души у Салли была любовь к старенькой, прикованной к постели матери. Ради нее Салли готова была на любое самопожертвование; с ней она была не только доброй, но и нежной. По вечерам, чтобы развлечь мать, целый день пролежавшую в одиночестве, Салли, невзирая порой на страшную усталость, принималась весело рассказывать о событиях, происшедших за день, и с поразительной точностью изображала людей, страдающих забавными недостатками, которые подметил ее острый глаз. Надо сказать, что мать Салли отличалась таким же легкомыслием, как и ее дочь, а потому у девушки не было нужды скрывать, почему мистер Карсон дает ей столько денег. Мать только посмеивалась, с удовольствием

выслушивая рассказы дочери, да надеялась на то, что ухаживание это кончится нескоро.

Поэтому ни ей, ни ее дочери, не говоря уже о Гарри Карсоне, не пришлось по душе решение Мэри не видаться с ним, пока не вернется ее отец.

Однажды вечером (в начале лета, когда вечера уже стали долгими и светлыми) Салли по просьбе мистера Карсона явилась в условленное место, чтобы взять у него письмо для Мэри, в котором он просил девушку встретиться с ним; Салли должна была не только вручить письмо, но и уговорить подругу. Расставшись с мистером Карсоном, она решила, поскольку время было еще не позднее, сразу зайти к Мэри и передать ей просьбу и письмо.

Она застала Мэри в большом горе. Девушка только что узнала о внезапной смерти Джорджа Уилсона – отца Джема, старинного друга их семьи и лучшего друга ее отца, и ей вспомнилось то, о чем он просил ее. В противоположность детям богачей, которых оберегают от подобных зрелищ, она привыкла наблюдать смерть и слышать о ней, и все же слишком часто за последние три-четыре месяца пришлось Мэри с ней сталкиваться. Ужасно было видеть, как один за другим уходят из жизни друзья. А ее отец перед отъездом еще так боялся за Джейн Уилсон! И вот слабая женщина осталась жить, а сильного мужчину смерть не пощадила. Но по крайней мере он не познал страшного горя, которого так опасался ее отец.

Вот какие мысли владели Мэри. Однако она не могла пойти утешить горюющих жену и сына, даже если бы в ее силах было принести утешение: ведь она решила избегать Джема, а теперь она, конечно, не могла бы держаться с ним холодно и отчужденно.

В эту минуту горя Салли Лидбитер была последним человеком, которого ей хотелось бы видеть. Тем не менее она поднялась ей навстречу, отняв руки от распухшего от слез лица.

– Ага, завтра же скажу мистеру Карсону, как ты по нему убиваешься. Да и он по тебе тоже, можешь не сомневаться.

– Ну уж из-за него я не стала бы плакать! – заметила Мэри, презрительно вскинув хорошенькую головку.

– Не скрывайте, мисс: из-за него и плачете! Уже сколько дней ты так вздыхаешь за работой, точно у тебя душа с телом расстаётся. Только дурочка может быть такой упрямой и прятаться от человека, который, уж конечно, любит тебя больше жизни, да и ты ведь его тоже любишь! Знаешь, как говорят маленькие дети: «А ну, Мэри, покажи, как ты его любишь?» –

«Вот та-ак!» – И она широко расставила руки.

– Глупости все это, – надув губки, заявила Мэри. – Мне частенько кажется, что вовсе я его и не люблю.

– Значит, так ему и сказать в следующий раз, как я его увижу? – спросила Салли.

– Как хочешь, – ответила Мэри. – Мне это все равно, да и вообще сейчас меня ничто не интересует. – И она снова расплакалась.

Но Салли вовсе не хотелось передавать подобные слова. Она поняла, что избрала неправильный путь, что сердце Мэри переполнено каким-то горем и она не оценит ни письмо, ни то, что Салли поручено передать ей на словах. А потому Салли благоразумно воздержалась от передачи вверенного ей послания и уже гораздо более участливым тоном спросила:

– Ну скажи же мне, Мэри, о чем ты так убиваешься? Ты ведь знаешь, что я просто не могу видеть тебя в слезах.

– Джордж Уилсон неожиданно умер сегодня, – промолвила Мэри и, взглянув на Салли, уткнулась лицом в передник и зарыдала пуще прежнего.

– О господи! Так и в писании сказано: «Ибо всякая плоть – как трава», сегодня есть, а завтра ее нет. Но ведь он был уже старый – пожил и хватит. На свете осталось немало людей получше него. Скажи, пожалуйста, а эта старая ханжа, его сестрица, еще жива?

– Я не понимаю, о ком ты говоришь, – отрезала Мэри, которая прекрасно поняла, о ком идет речь, но вовсе не желала, чтобы об ее милой простодушной Элис так говорили.

– Послушай, Мэри, нечего разыгрывать из себя простушку. Я спрашиваю, жива ли мисс Элис Уилсон, если тебе так больше нравится. Я что-то давненько ее не видела.

– Да и понятно: она отсюда переехала. Когда умерли близнецы, Элис решила перебраться к невестке, чтобы немного помочь ей. Бедняжка так горевала, что Элис подумала: может, Джейн Уилсон с ней легче станет – хоть будет кому излить наболевшее сердце. Вот она и уехала к ним из своего подвала.

– Ну что ж, бог ей в помощь. Не люблю я ее, а особенно не люблю за то, что они сделали из моей душечки Мэри настоящую методистку.

– Да она вовсе не методистка. Она ходит в англиканскую церковь.

– Ах, Мэри, не придирайся к словам. Ты же отлично понимаешь, о чем я говорю. Ну-ка, посмотри: от кого это письмо? – спросила она, доставая письмо от Генри Карсона.

– Не знаю и не интересуюсь, – сказала Мэри, краснея.

– Да полно, будто я не знаю, что ты знаешь и очень интересуешься.



– Ну хорошо, давай его сюда, – нетерпеливо сказала

Мэри, ибо при нынешнем ее настроении ей хотелось только, чтобы гостья поскорее ушла.

Салли нехотя вручила послание. Но вид Мэри доставил ей немалое удовольствие: девушка улыбалась и краснела, читая письмо, – значит, автор его, видимо, ей не безразличен.

– Скажи ему, что я не могу прийти, – сказала Мэри, оторвав наконец глаза от письма. – Я решила не видаться с ним, пока нет отца, и не буду.

– Но, Мэри, он так ждет этого свидания. Ты бы, конечно, сжалилась над ним, если б увидела, как он расстроен от того, что ты его избегаешь. А потом, когда твой отец дома, ты ведь все равно не говоришь ему, что идешь на свидание. Что ж тут худого, если ты и теперь пойдешь?

– Ты знаешь мой ответ, Салли: не пойду, и все.

– Тогда я скажу ему, чтоб он сам зашел к тебе как-нибудь вечером, вместо того чтобы посылать меня. Может, ему удастся тебя уговорить.

– Да если он посмеет явиться сюда в отсутствие отца, я позову соседей и попрошу вышвырнуть его вон, – вспылила Мэри. – Так что лучше не давай ему такого совета.

– Господи помилуй! Можно подумать, что ты – первая на свете девушка, у которой есть вздыхатель. Неужели ты не слышала, как ведут себя другие девушки в таких случаях? И вовсе не стыдятся.

– Тише, Салли. Слышишь, Маргарет Дженкинс идет.

В следующую минуту Маргарет уже была в комнате. Мэри попросила Джоба Лега разрешить Маргарет ночевать это время у нее. Даже при неверном свете, падавшем из очага, заметно было, что Маргарет двигается ощупью, точно слепая.

– Ну, Мэри, мне пора, – сказала Салли. – Так это твое последнее слово?

– Да, да. Спокойной ночи. – И Мэри с радостью закрыла дверь за нежеланной гостьей – во всяком случае, нежеланной сейчас. – Ах, Маргарет, ты слышала печальную новость о Джордже Уилсоне?

– Да, слышала. Бедные люди, сколько они за последнее время выстрадали! Я, правда, не считаю, что внезапная смерть это так уж плохо: умирающему не так тяжело и страшно. Зато это очень тяжело для тех, кто остается в живых. Бедный Джордж! Он казался таким здоровым.

– Маргарет, – сказала вдруг Мэри, все это время внимательно смотревшая на подругу, – ты сегодня, по-моему, совсем ничего не видишь. Это от слез? Ты плакала? Глаза у тебя красные и совсем распухли.

– Да, дорогая, только я не от горя плакала. Ты знаешь, где я была вчера

вечером?

– Нет. А где?

– Взгляни-ка. – И она показала блестящий золотой софит.

Мэри от удивления широко раскрыла свои большие серые глаза.

– Я сейчас тебе все расскажу. Видишь ли, один джентльмен читает в клубе Общества механиков [48] лекции по музыке, и ему нужны певцы. Так вот: вчера вечером одна из его певиц заболела, она не могла рта раскрыть. Прислали за мной – Джейкоб Баттеруорт замолвил за меня словечко. Меня спросили, не соглашусь ли я для них спеть. Можешь представить себе, как мне было страшно, но я подумала: сейчас или никогда, и сказала, что попробую. Мы прорепетировали с лектором, а потом организаторы концерта велели, чтобы я оделась поприличнее и пришла к семи.

– Что же ты надела? – спросила Мэри. – Почему ты не взяла мое розовое клетчатое платье?

– Я хотела, да только ты еще не вернулась домой. Вот я и надела свое шерстяное платье, которое перелицевала прошлой зимой, и белый платок, причесалась поглаже, – словом, получилось неплохо. И, как я уже сказала тебе, пошла туда к семи часам. Зрение у меня совсем ослабело, и вот я не могла разобрать, но бумажку все-таки перед собой держала – просто чтоб занять чем-то руки. Я стояла прямо против слушателей, точно собиралась играть с ними в мяч, а они так и плясали у меня перед глазами. Ну, ты понимаешь, как я робела, но пела я не первая; а когда зазвучала музыка, мне сразу стало легче, словно я услышала голос друга. Короче говоря, когда все кончилось, лектор поблагодарил меня, а организаторы сказали, что ни разу еще новой певице так не аплодировали (публика так хлопала и так топала, когда я ушла со сцены, что я даже подумала, – сколько же пар башмаков они изнашивают в неделю, не говоря уже о том, как, наверно, у них болят руки). Теперь я буду снова петь в четверг. Вчера мне заплатили софит, а потом я буду получать по полсофита за каждый вечер, когда в клубе будет лекция.

– Ах, Маргарет, как я этому рада!

– Но ты еще не все знаешь. Теперь, когда мне открылась возможность зарабатывать себе на хлеб и никому не быть в тягость, хотя богу и угодно сделать меня слепой, я решила рассказать все бабушке. Вчера я рассказала ему только про свое пение и про софит, чтобы не расстраивать его на ночь, а сегодня утром рассказала все остальное.

– Ну, а он?

– Он ведь много говорить не любит, но похоже, что он ни о чем не догадывался.

– Странно. Я, например, после того, как ты сказала мне, что плохо видишь, все время это замечаю.

– То-то и оно! А если бы я не сказала и ты каждый день видела бы меня, ты не заметила бы во мне никаких перемен.

– Так что же все-таки сказал дедушка?

– Видишь ли, Мэри, – с легкой улыбкой ответила Маргарет, – мне даже не хочется тебе об этом рассказывать, потому что надо знать дедушку, а иначе поведение его может показаться странным. Он очень удивился и сказал: «А, чтоб тебя черт побрал!» Потом он снова уставился в свою книжку и молча слушал, пока я все ему не выложила: как я боялась и в каком горе я была; как я теперь с этим смирилась, потому что это воля божия; как я надеюсь, что смогу зарабатывать себе на хлеб пением. Говорю я ему все это и вдруг вижу – крупные слезы каплют на книжку, но я, конечно, и виду не подала, что заметила их. Милый дедушка! Он весь день потом тихонько отставлял все, что оказывалось у меня на пути, чтобы я не споткнулась, и подкладывал мне под руку то, что, казалось ему, может мне понадобиться. Он думал, что я этого не вижу и не чувствую. Он считает меня, наверно, совсем слепой... какой я скоро и буду.

И Маргарет вздохнула, хотя говорила до этого бодро и весело.

Хотя Мэри заметила этот вздох, она решила не обращать на него внимания и с тактом, свойственным людям, которые относятся с подлинным сочувствием к ближнему, принялась расспрашивать подругу об ее дебюте и вскоре поняла, что успех был даже больший, чем ей показалось сначала.

– А знаешь, Маргарет, – наконец воскликнула она, – ведь ты можешь стать такой же знаменитой, как та важная лондонская дама, которая, помнишь, подъехала к концертному залу в собственной карете!

– Очень может быть, – с улыбкой заметила Маргарет. – А когда эти времена настанут, можешь не сомневаться, Мэри, я при случае всегда буду тебя подвозить. И, может, сделаю тебя своей горничной, если ты будешь примерно вести себя! Мило, верно? Я даже напеваю себе начало одной моей песенки:

В шелка себя обрядишь ты,  
Простишься с нищетой. [\[49\]](#)

– Ну, зачем же ты остановилась? Впрочем, спой лучше что-нибудь новенькое: мне почему-то не нравится это место, где говорится о Дональде.

– С удовольствием спою, хоть я немножко и устала. Перед тем как

прийти к тебе, я добрых два часа разучивала песню, которую должна петь в четверг. Лектор сказал, что эта песня как раз для меня и я с ней вполне справлюсь. Мне будет очень неприятно, если я не оправдаю его надежд: он был так добр ко мне и так меня подбадривал. Ах, Мэри, жаль, что таких людей немного встречается. Как было бы хорошо, если бы люди меньше бранились и ссорились! Жить было бы намного легче. А потом другие певцы сказали мне, что эту песню он почти наверняка сам сочинил, потому как уж больно он волнуется и так боится, что я ее недостаточно выразительно спою. Поэтому мне особенно хочется ему угодить. Он сказал, что первый куплет надо спеть «с чувством, но весело». Не знаю, удастся ли это, но я попробую.

Слово, как всевластно ты!  
Нет на свете красоты,  
Счастья, музыки, стихов  
Без звучанья вещих слов.  
Все в тебе – любовь, мечты,  
Слово, как всевластно ты!

Потом в музыке идет минор, и напев становится грустный-грустный. Вот это, по-моему, должно получиться у меня лучше.

Слово, как всевластно ты!  
Смерти зов из темноты  
В легком вздохе ты несешь,  
Ты надеждам – острый нож,  
Подсекаешь все цветы,  
Слово, как всевластно ты!

Маргарет спела эту песенку с большим чувством и умением. Какой-то рабочий, слушавший под окном, заметил:

– Хорошо она ее выткала!

Да, если Маргарет споет ее в клубе хотя бы наполовину так задушевно, как в этот вечер, лектор, даже если он из тех, кому трудно угодить, вынужден будет признать, что его ожидания более чем оправдались.

О том, какое впечатление произвела эта песенка на Мэри, красноречивее всех слов говорило ее лицо. Мэри, чувствуя, что сейчас расплечется, сделала над собой усилие и, улыбнувшись, сказала:

– Ну, теперь я не сомневаюсь, что карета у тебя будет. Так ляжем спать, чтобы она нам приснилась.

## ГЛАВА IX

### ЧЕГО ДОСТИГ В ЛОНДОНЕ БАРТОН

Для нас нигде ни в чем отказа нет,  
Для них всегда на всем лежит запрет.  
Для нас хоромы пышно вознеслись,  
Для нас просторы улиц, площадей,  
Для нас прохлада парковых аллей,  
А им – сырой подвал, жилище крыс,  
Чердак, где дует изо всех щелей.  
Но не ищите в этом виноватых:  
Бог поделил людей на бедных и богатых!  
Миссис Нортон [\[50\]](#), «Дитя островов».

Весь следующим вечер шел дождь – теплый, мелкий, после которого быстро распускаются цветы. Но Манчестер, где – увы! – нет цветов, дождь несколько не украсил: улицы были мокрые и грязные, крыши – мокрые и грязные, люди – мокрые и грязные. Впрочем, большинство его жителей сидело дома, и на маленьких мощеных двориках царила необычная тишина.

Мэри только что вернулась домой и как раз собиралась переодеться, когда услышала, что кто-то возится с дверным засовом. Возня эта продолжалась довольно долго, так что Мэри успела одеться и, подойдя к двери, распахнула ее. Перед нею стоял... Не может быть... Но, конечно, это был он – ее отец!

Он насквозь промок и, видимо, устал с дороги. В ответ на радостное и удивленное приветствие Мэри он, не говоря ни слова, шагнул мимо нее в комнату и, как был в мокрой одежде, сел возле очага. Но Мэри, конечно, не могла этого допустить. Она сбегала наверх, принесла его рабочую одежду и, пока он переодевался у огня, кинулась в чуланчик, чтобы из скудных припасов приготовить ему что-нибудь поесть. Все это время она, не переставая, весело болтала, хотя сердце у нее словно камнем придавило, когда она увидела угрюмое лицо отца.

Дело в том, что, проводя весь день у мисс Симмондс, где говорили, главным образом, о модах, нарядах и балах, для которых заказаны те или

иные туалеты, даиногда шепотом пересказывали друг другу любовные истории и обсуждали поклонников, Мэри ничего не слышала о том, что происходит в стране. Она не знала, что парламент отказался выслушать рабочих, хотя те, пустив в ход все свое безыскусственное грубоватое красноречие, умоляли позволить им поведать о беде, которая, как Всадник на коне бледном [\[51\]](#), топчет народ, косит жизни и всюду оставляет горе.

Бартон поел и немного пришел в себя, но отец и дочь еще некоторое время сидели молча: Мэри хотелось, чтобы он рассказал ей о том, что его гнетет, но спросить она не смела. И это было очень мудро с ее стороны, потому что человеку, у которого на душе тяжело, легче на свой лад и в свое время поведать близким о своем горе.

Мэри, совсем как в детстве, села на скамеечке у ног отца и нежно взяла его за руку; настроение его постепенно передалось и ей, и, сама не зная почему, она вдруг опечалилась и вздохнула.

– Эх, Мэри, придется, видно, нам обратиться к богу, раз люди не хотят нас слушать – не хотят слушать сейчас, когда мы плачем кровавыми слезами.

Мэри, хоть и не знала еще подробностей, тотчас поняла, почему отец огорчен. И с молчаливым участием пожала ему руку. Она не могла придумать, что ему сказать, и, боясь ошибиться, молчала. Но когда прошло полчаса и отец продолжал сидеть все в той же позе, уставившись отсутствующим взглядом в огонь и лишь время от времени горько вздыхая, а кругом царил тишина, нарушаемая лишь этими вздохами, монотонным тиканьем часов да стуком капель, падающих с крыши, Мэри не выдержала. Надо любой ценой заставить отца очнуться. Пусть даже с помощью дурных вестей.

– А знаете, отец, Джордж Уилсон умер. – Она почувствовала, как Бартон вдруг судорожно стиснул ее руку. – Упал вчера утром на улице и умер. Вот беда-то!

В глазах Мэри стояли слезы, и она, конечно, разрыдалась бы, заметив страдание на лице отца. Но, посмотрев на него, она увидела все тот же застывший взгляд, все то же отчаяние – и никаких следов горя об умершем друге.

– И хорошо, что умер, – ему так легче, – тихо промолвил он.

Это уж было выше человеческих сил. Мэри поднялась, сказав, что идет предупредить Маргарет, чтобы та не приходила ночевать, хотя на самом деле она решила попросить Джоба Лега зайти и попытаться развлечь ее отца.

Подойдя к жилищу подруги, Мэри остановилась. Маргарет пела, и

голос ее в ночной тиши казался поистине ангельским:

«Утешайте, утешайте народ мой, говорит бог ваш». <sup>[52]</sup>

Слова древнего еврейского пророка были словно бальзам для сердца Мэри. Она стояла и слушала, не в силах прервать певицу, и в этих звуках черпала утешение. Но вот певица умолкла, в комнате начался разговор; Мэри вошла и рассказала о том, что привело ее к ним.

В ответ на ее просьбу дедушка и внучка тотчас поднялись.

– Просто он устал, Мэри, – сказал старик Джоб. – Уже завтра он станет совсем другим.

Невозможно передать, какое облегчение дарят участливый взгляд или ласковый тон наболевшей измученной душе. Через какой-нибудь час Джон Бартон уже разговаривал совсем как прежде, хотя рассказывал он, конечно, о крушении надежд, дорогих и его сердцу, и сердцам тысяч обездоленных людей.

– Да, Лондон красивое место, – сказал он, – и люди там до того красиво одеты – я про таких только в книжках читал. Живут они сейчас хорошо, в свое удовольствие, чтобы было за что на том свете расплачиваться!

Снова притча о Лазаре и богаче! Но вспоминает ли о ней богач так же часто, как бедняк?

– Отец, расскажите нам, пожалуйста, про Лондон, все расскажите, – попросила Мэри, снова усевшаяся на скамеечке у ног отца.

– Да как же я могу рассказать о нем все, когда я и одной десятой его не видел. Мне говорили, что он раз в шесть больше Манчестера. Так вот шестая его часть – роскошные дворцы, три шестых – хорошие дома, а остальное – такие грязные трущобы, каких даже у нас в Манчестере нет.

– А вы видели королеву?

– Наверно, нет, хотя был такой день, когда мне казалось, что я видел ее раз пять. Понимаешь, – продолжал он, поворачиваясь к Джобу Легу, – это был день, когда мы должны были идти в парламент. Жили мы почти все в гостинице в Холборне <sup>[53]</sup>, и приняли нас там очень хорошо. В то утро, когда мы должны были вручать петицию, нам подали такой завтрак, каким не погнушалась бы сама королева. Видно, нас хотели подбодрить. Тут тебе и бараньи почки, и колбаса, и жареная ветчина, и бифштексы с луком, – словом, не завтрак, а целый обед. Только многие из наших почти ничего проглотить не могли. Кусок застревал у них в горле – ведь дома остались жены и дети, которым, может, нечего есть. Ну вот, позавтракали мы и стали строиться в процессию – попарно, на что тоже ушло немало времени.



Наконец построились. Петицию в несколько ярдов длиной несли те, кто шел впереди. Вид у всех был такой серьезный, и все – тощие, бледные, заморенные!

– Ну и ты тоже не больно жирен.

– Так-то оно так, да только по сравнению со многими я еще кажусь толстым и румяным. Словом, двинулись мы в путь и прошли по множеству улиц, похожих на нашу Динсгейт. Идти нам приходилось очень медленно, потому что на улицах полным-полно карет и колясок. Я все думал, что, может, потом идти станет легче, но чем шире улицы, тем больше было на них карет; а на Оксфорд-стрит нам и вовсе пришлось остановиться. Немного погодя мы все же через нее перебрались, и на какие же красивые улицы мы вышли! Только не умеют у них в Лондоне дома строить. Для хорошего степенного строителя там бы немало дела нашлось. А так уж больно много домов, которые и на жилье-то не похожи. Иные того и гляди повалятся. И вот чтобы этого не случилось, к ним пристроили спереди этакие дурацкие столбы. А на иных стоят каменные мужчины и женщины – мы думали, что в этих домах живут портные, потому что мужчин этих и женщин не мешало бы одеть. Я точно ребенок – до того глазел вокруг, что забыл, зачем мы и пришли-то туда. А время уже подошло к обеду, потому что солнце стояло как раз у нас над головой. Мы насквозь пропылились и устали – ведь не столько шли, сколько стояли. Наконец мы вышли на такую роскошную улицу, какой еще не попадалось нанащем пути, и вела эта улица прямо к королевскому дворцу. Вот тут-то мне и показалось, будто я видел королеву. Ты ведь видел, Джоб, катафалки, разукрашенные перьями?

Джоб кивнул.

– Так вот, у гробовщиков недурные заработки в Лондоне. Ведь все дамы, каких мы видели в каретах, берут у них напрокат перья, потому как у каждой на голове перо. Нам сказали, что у королевы прием. Все кареты катили прямо к ее дому – в иных сидели господа, разодетые точно клоуны в цирке, а в иных – полнешенько дам. А кареты какие – загляденье! А иным господам не хватило места в каретах – так они сзади висят, с букетами в руках, чтоб не чувствовать дурного запаха, и с тростями, чтоб отгонять народ, а то ведь живо их шелковые чулки грязью забрызгают. Удивительно мне было глядеть на них: наняли бы извозчика и ехали бы в карете, вместо того чтобы висеть сзади, точно мальчишки-почтальоны на дилижансах, да только, видно, не хотелось им с женами расставаться, будто Дерби с Джоанной. <sup>[54]</sup> Кучера у них приземистые, коренастые, в париках – в таких деревенские священники ходят. И столько этих карет ехало, что мы все стояли и ждали без конца. Лошади у них разжиревшие, бежать быстро не

могут. Шерсть на них так и блестит – сразу видно, что сытые. Мы было пытались пробежать между ними, да полиция не пустила. Два-три полицейских даже ударили нас дубинками – кучера захохотали, а офицеры, которые стояли тут же, повтыкали себе в глаза стекляшки да так и остались с ними – шуты, да и только. Один полицейский ударил меня.

«Чего это ты дерешься?» – спросил я его.

«А вы лошадей пугаете, – говорит он. – Мы тут для того и стоим, чтоб следить за порядком: надо, чтобы эти дамы и господа могли спокойно ехать к королеве на прием».

«А почему же мы не можем спокойно пройти по нашим делам, – ведь для нас это вопрос жизни и смерти? – спросил я его. – Да не только для нас, а для многих детишек, которые мрут с голоду в Ланкашире. Чье же, по-твоему, дело важнее в глазах божьих – наше или же этих знатных дам и господ, о которых ты так заботишься?»

Да зря я все это говорил, потому что на мои слова он только рассмеялся.

Джон умолк. Джоб подождал, не заговорит ли он снова, а потом сказал:

– Но ведь это еще не все. Расскажи-ка, что случилось, когда вы пришли в парламент.

Джон еще немного помолчал и ответил:

– Уволь, сосед. Не хочется мне рассказывать об этом. Ни я, да и никто из нас не забудет и не простит того, что произошло, но не могу я рассказывать о том, как с нами обошлись, вот так – среди других лондонских новостей. Пока я жив, я буду хранить в сердце память о том, как нас прогнали, и, пока жив, буду проклинать тех, кто так жестоко отказался выслушать нас, но говорить об этом я не буду.

Никто не осмелился продолжать расспросы, и несколько минут все сидели молча.

Однако старик Джоб понимал, что кто-то должен заговорить, иначе все их усилия развеять мрачное настроение Джона Бартона пропадут даром. Немного погодя ему пришла в голову тема для разговора – достаточно близкая к тому, о чем они говорили, чтобы не оскорбить чувства Бартона, и в то же время достаточно далекая, чтобы отвлечь его от мрачных дум.

– Я когда-нибудь говорил тебе, – спросил он, обращаясь к Мэри, – что я тоже был однажды в Лондоне?

– Неужели? – сказала она удивленно и с уважением посмотрела на Джоба.

– Так вот, представь себе, что я там был, и Пегги тоже, хоть она,

бедняжка, ничего об этом не помнит! Вы ведь знаете, что у меня была одна только дочка – мать Маргарет. Очень я ее любил, и вот в один прекрасный день подошла она ко мне (только сзади, чтобы я не видел, как она краснеет), принялась ласкать меня, по щекам гладить и говорит, что они с Фрэнком Дженнингсом (это был наш сосед – столяр) хотят пожениться. Не хватило у меня духу сказать ей нет, хотя сердце так и заныло при мысли, что ее не будет больше со мной. Но ведь она была у меня единственная, и не хотелось мне огорчать ее, говорить ей, что я чувствую. Я постарался вспомнить те времена, когда сам я был молод и влюблен в ее мать, как мы уехали от наших отца и матери и зажили вдвоем. Очень я рад теперь, что сдержался и не стал ее расстраивать, говорить ей о том, как мне тяжело будет с ней расстаться, с моей радостью.

– Но ведь вы же сказали, – заметила Мэри, – что молодой человек был ваш сосед.

– Да, конечно, и не только он, а и отец его. Но работы тогда в Манчестере было мало, и дядя Фрэнк прислал ему из Лондона письмо о том, сколько там работы да сколько там платят, вот он и решил поехать туда, и Маргарет с ним. Э-эх, у меня и сейчас сердце ноет, как вспомню те дни. Оба они были такие счастливые – один только я горевал втихомолку. Поженились они и пробыли со мной несколько дней, а потом уехали. Я после частенько вспоминал, как вела себя Маргарет в те дни: видно, сердце-то у нее тоже болело, и хотелось ей сказать мне об этом, но я по себе знаю, что в таких случаях лучше молчать, а потому так она и не узнала, что я чувствовал. Но я-то, конечно, понимал, почему она то и дело подходила ко мне, – поцелует, подержит за руку, приласкается, как ребенок. Словом, наконец они уехали. Ты ведь читала, Маргарет, те два письма?

– Ну, конечно, – ответила его внучка.

– Только эти два письма я и получил от моей бедной доченьки. Она писала, что очень счастлива, и, наверно, так оно и было. А родителям Фрэнк написал, что он на хорошей работе. Второе свое письмо бедняжка заканчивала словами: «До свидания, дедушка!» Слово «дедушка» было подчеркнуто, и по этому, да и по другим намекам я понял, что она, видно, ждет ребенка. Я им ничего не ответил, но начал копить деньги, решив съездить на троицу повидать ее и новорожденного. Но перед самой троицей приходит ко мне Дженнингс, очень расстроенный, и говорит: «Я получил известие, что наш Фрэнк и ваша Маргарет оба заболели тифом». Я так и опешил: недаром у меня было предчувствие, что случится плохое. Старик Дженнингс, оказывается, получил письмо от хозяйки, у которой жили Фрэнк с Маргарет, такое складное письмо. Хозяйка в нем

спрашивала, нет ли у них друзей, которые могли бы приехать поухаживать за ними. Маргарет заболела первая. Фрэнк ухаживал за ней, как родная мать, пока сам не заразился. А Маргарет-то уже на сносях! Короче говоря, мы со стариком Дженнингсом в тот же вечер сели в дилижанс. Так, Мэри, я и попал в Лондон.

– А как же чувствовала себя ваша дочь, когда вы приехали? – с волнением спросила Мэри.

– Она, бедняжка, уже отмучилась, так же как и Фрэнк. Я понял это сразу, как увидел лицо хозяйки, когда она открыла нам дверь, – совсем оно от слез распухло. Мы спросили: «Где они?» – и по ее лицу я сразу догадался, что обоих нет в живых, а Дженнингс, видно, этого не понял. И когда она провела нас в комнату, где стояла кровать, а на ней под простыней лежали два неподвижных тела, Дженнингс закричал, словно женщина. А ведь у него были другие дети. У меня же – никого. На кровати лежало мое единственное сокровище. Она умерла, и теперь мне уже не от кого было ждать ласки и любви. Не помню точно, что я делал. Знаю только, что не кричал и не плакал, хотя сердце мне точно придавило тяжелым камнем.

Дженнингс не мог оставаться в комнате, и хозяйка увела его вниз. Я же рад был, что могу побыть один. Стало темнеть, а я все сидел подле покойников. Наконец хозяйка снова пришла и говорит: «Пойдемте со мной». Я встал и вышел вслед за ней на свет, но на лестнице у меня так закружилась голова, что пришлось ухватиться за перила. Она провела меня в комнату, где на диване крепко спал Дженнингс, повязав голову носовым платком вместо ночного колпака. Хозяйка сказала, что он все плакал, пока не заснул. На столе стоял чай – душа у хозяйки была, видно, добрая. Но она сказала мне: «Пойдемте со мной», – и взяла меня за руку. Обошли мы вокруг стола. У очага стояла корзина из-под белья, накрытая шалью. «Поднимите-ка шаль», – сказала хозяйка. Я поднял уголок и увидел крошечного младенца, который спал в корзине. Сердце у меня так и подпрыгнуло, а из глаз впервые за этот день полились слезы. «Это ее?» – спросил я, хотя прекрасно знал, что это так. «Да, – сказала хозяйка. – Ей стало немножко лучше – тут и родился младенец. Но вскоре бедному молодому человеку стало хуже, он умер, а через несколько часов после него умерла и она».

Бедная крошка! Но, глядя на младенца, я подумал, что это душа моей доченьки вернулась ко мне, чтобы меня утешить. Я даже ревновал, когда Дженнингс подходил к ребенку. Мне почему-то казалось, что это больше моя плоть и кровь, чем его, и я очень боялся как бы он не потребовал ребенка себе. А он и не помышлял об этом: у него и так было полно детей,

и, как я узнал потом, он только и хотел, чтобы я взял ребенка. Ну вот, похоронили мы Маргарет и ее мужа на большом, тесном, унылом кладбище в Лондоне. Очень мне не хотелось оставлять их там: ведь когда они воскреснут, подумал я, тяжело им будет вдали от Манчестера и всех старых друзей, но сделать ничего нельзя было. А господь ведь и там хранит их могилы. Похороны стоили кучу денег, да только нам с Дженнингсом хотелось сделать все по-хорошему. А после этого нам еще надо было везти домой малышку. Денег у нас осталось немного, но погода стояла отличная, и мы решили доехать на дилижансе до Бирмингема, а там добраться до дому пешком. Было солнечное майское утро. Мы отъехали от Лондона на милю или на две, и с вершины высокого холма я в последний раз оглянулся на огромный город, где я оставил спать вечным сном свое любимое дитя. Ну, да будет воля божия! Она взшла на небо раньше меня, но с божьей помощью и я туда попаду, хотя, может, и не так скоро.

Прежде чем тронуться в путь, мы накормили младенца, дилижанс покачивало, и малышка, умница, спала крепким сном. Но в обеденное время, когда дилижанс остановился, она тут же проснулась и принялась плакать. Мы спросили хлеба и молока, и Дженнингс стал кормить ее. Но она так широко раскрыла рот, что молоко потекло во все стороны.

«Потряси-ка ее, Дженнингс, – сказал я. – Воронку ведь всегда трясут, когда она полна и вода льется через край. А рот ребенка все равно что широкая часть воронки, горлышко же – все равно что узкая ее часть».

Дженнингс потряс малышку, но она только пуще заплакала.

«Дай-ка я попробую», – предложил я, решив про себя, что Дженнингс не умеет с ней обращаться.

Но со мной дело пошло ничуть не лучше. Тряся малютку, мы влили ей в рот добрых четверть пинты, но куда больше молока пролилось мимо, так что все пеленки и белье, надетое на девочку хозяйкой, стало мокрым. Словом, только мы сами сели за стол и успели от силы двараза поднести ложку ко рту, вошел почтальон, а с ним этакий смазливый парень, помахивая полотенцем.

«Дилижанс готов к отправке!» – сказал первый.

«Полкроны за обед!» – сказал второй.

Мы подумали, что это многовато, – ведь к обеду-то мы не притронулись, но – хотите верьте, хотите нет – оказалось, что полкроны требуют с каждого из нас, да впридачу еще шиллинг за хлеб с молоком, которые и вовсе никому не пошли на пользу, а только выпачкали все белье ребенку. Мы стали было спорить, говорить, что это несправедливо, но нам сказали, что так уж положено. Что же мы, два старика, могли против этого

поделать? Ну, бедная крошка кричала не переставая, пока мы не добрались до Бирмингема, а прибыли мы туда уже к ночи. Сердце у меня изболелось за малышку. Она так и старалась ухватить нас за рукав или за щеку своими губешками, когда мы нагибались над ней, чтобы ее утешить. Бедняжка искала маму, а мама ее лежала, навеки застывшая, в могиле.

«Она у нас помрет от голода, – сказал я, – если с ужином случится то же, что и с обедом. Попросим какую-нибудь женщину покормить ее – все женщины умеют ходить за детьми».

Сказано – сделано: попросили мы об этом служанку в гостинице, и она сразу согласилась, а мы хорошенько поужинали и захотели спать – совсем нас разморило от тепла и долгой поездки на свежем воздухе. Служанка сказала, что она бы с радостью взяла девочку на ночь к себе, да только хозяйка будет ругаться, но малышка лежала у нее на руках так тихо, так славно улыбалась, что мы подумали – она и с нами будет спать спокойно.

«Вот видишь, Дженнингс, – сказал я ему, – как быстро женщина может утихомирить ребенка. Правильно я тебе говорил».

Дженнингс выслушал меня с очень серьезным видом: выражение лица у него всегда было глубокомысленное, хотя ничего особенно умного я никогда от него не слышал. Наконец он и говорит:

«Скажите, а нет ли у вас, девушка, лишнего ночного чепца?»

«Хозяйка всегда держит ночные колпаки для джентльменов на случай, если кому не захочется распаковывать вещи», – говорит она ему.

«Да мне нужен не ночной колпак, а один из ваших ночных чепцов. Вы, видно, понравились малышке, и если я надену ваш ночной чепец, может, в темноте она и не разберется».

Служанка прыснула и пошла за чепцом, а я расхохотался во все горло над старым бородачом, который полагал, что может сойти за женщину, если наденет женский чепец. Но он мне не дал долго над собой потешаться, так как мне пришлось держать младенца, пока он укладывался в постель. Ну и ночь же это была! Малышка снова принялась кричать во все горло. Мы по очереди брали ее, садились на постель и укачивали. Очень мне было жалко бедную крошку, которая все искала ротиком грудь, и все же я не мог не улыбаться при мысли о том, как два старых чудака – один даже в женском чепчике – полночи просидели, тщетно пытаясь уговорить младенца, который не желал угомоняться. К утру бедняжка заснула, устав от плача, но даже и во сне она так жалобно всхлипывала, так тяжело вздыхала, что раза два я даже подумал, не лучше ли было бы ей лежать на груди у матери, забывшись вечным сном. Дженнингс тоже уснул, а я принялся подсчитывать оставшиеся у нас деньги. Их оказалось совсем немного – уж

больно дорого обошелся накануне нам обед. Да я еще не знал, во сколько нам обойдется этот ночлег, ужин и завтрак. От цифр меня с детства всегда клонило ко сну. Я и тут мгновенно заснул и проснулся от стука в дверь: служанка предлагала перепеленать ребенка, пока не проснулась хозяйка. Но мы и не подумали распеленать дитя на ночь, а сейчас она так крепко спала и мы так радовались наступившему покою и тишине, что решили не будить ее, а то снова начнет кричать.

Ну вот... Э-э, а Мэри так внимательно слушала, что уснула! Видно, утомил вас мой рассказ, так я сейчас кончу, Денег у нас, после того как мы расплатились по счету, почти совсем не осталось, и мы решили добираться до дому пешком – нам сказали, что это всего шестьдесят миль, – и останавливаться в пути только затем, чтобы подкрепиться. Значит, вышли мы из Бирмингема (такого же прокопченного города, как и Манчестер, только совсем чужого) и шли весь день, неся по очереди младенца. Перед нашим уходом служанка как следует накормила малютку, день был погожий, встречавшиеся нам люди говорили уже почти по-нашему, и на душе у нас стало веселее при мысли, что скоро мы будем дома (хотя я-то возвращался в осиротевший дом). Обедать мы не останавливались, но к вечеру хорошенько подкрепились в трактире и, как сумели, покормили малышку, правда, нельзя сказать, чтобы очень хорошо. Кроме того, служанка посоветовала нам давать девочке сосать хлебную корку. Эта ночь – то ли от того, что мы устали, то ли от чего другого – далась нам очень нелегко. Девочка за день выспалась и так кричала и плакала, что сердце разрывалось на части. Дженнингс и говорит:

«Нечего нам было разыгрывать из себя господ и ехать в дилижансе».

«Ну, зачем зря говорить. Если бы мы не сели в дилижанс, нам пришлось бы больше идти, а мы оба с тобой не такие уж хорошие ходоки».

Помолчали мы немного. Но он был из тех людей, которые всегда хнычут из-за того, что нельзя исправить. Слышу – кашлянул он, словно горло прочищает, ну, думаю, опять начнет ворчать. А он и говорит:

«Ты уж извини меня, сосед, но, думается мне, было бы куда лучше, если бы мой сын держался от твоей дочери подальше».

Ну, это меня так взорвало и обидело, что, если б на руках у меня не было ее дочки, я бы его тут же ударил. Наконец я не выдержал и сказал:

«Лучше уж скажи, что не надо было богу создавать нашу землю – тогда не было бы нас на свете и не страдали бы мы так, как сейчас».

Ну, он сказал, что это богохульство, а по-моему, роптать на то, что угодно было богу послать нам, еще худшее богохульство. Только ничего этого я ему не сказал, а сдержался ради младенца, потому как это был

ребенок не только моей покойной дочери, но и его покойного сына.

Всему приходит конец – пришел конец и этой ночи. Но ноги у нас болели, мы устали, а малышка, гляжу, стала слабеть: у меня душа разрывалась от ее жалобного писка! Я бы правую руку отдал, лишь бы она кричала во все горло, как накануне. Но мы были голодны, и бедная сиротка, конечно, тоже! Только никаких трактиров по пути нам не попадалось. Часов около шести (нам-то казалось, что это было много позже) мы поравнялись с хижинкой, в открытую дверь которой видна была женщина, хлопотавшая внутри.

«Хозяюшка, нельзя ли нам у вас передохнуть?» – спросил я.

«Заходите», – сказала она и вытерла передником и без того чистый стул.

Комната была светлая, веселенькая, и мы рады были возможности присесть, хотя мне и казалось, что ноги у меня ни за что не согнутся в коленях. Как она заметила девочку, так сразу взяла ее на руки и принялась целовать.

«Хозяюшка, – сказал я ей, – мы не нищие, и если вы дадите нам чего-нибудь позавтракать, мы честно с вами расплатимся, а если вы вымоете и перепеленаете эту бедную крошку да сумеете ее чем-нибудь накормить, чтобы она не умерла с голоду, я буду молиться за вас до конца дней своих».

Она ничего мне на это не сказала, только отдала младенца обратно, но не успели мы опомниться, как сковородка уже стояла на огне, а хлеб с сыром на столе. Когда она повернулась к нам, лицо у нее было красное, а губы – плотно сжаты. Как же мы были рады этому завтраку! Да вознаградит господь эту женщину за ее доброту! Накормила она и малютку – да так бережно и ласково, так нежно обращалась с крошкой, точно родная мать. Глядя на них, казалось, что они давно знают друг друга, может, встречались на небе, откуда, говорят, слетают наши души. Малютка с такой любовью смотрела на эту незнакомую женщину и словно бы ворковала. Потом хозяйка осторожно раздела крошку (бедненькая, ей это давно требовалось!), вымыла ее, и, как все на ней было грязное, а то, что успела сшить для нее мать, было отправлено из Лондона багажом, она завернула совсем голенькую в передник, достала ключ, болтавшийся на черной ленточке у нее на груди, и отперла ящик комода. Стыдно, конечно, подглядывать, но я невольно увидел, что там лежат всякие детские вещи, пересыпанные лавандой, и еще сломанная погремушка и игрушечный кнутик. И я понял, что происходит в сердце этой женщины. Она вынула из ящика пеленки и рубашечку, заперла его и принялась одевать малютку. Тут сверху спустился ее муж, здоровенный детина. Вид у него был заспанный,



хотя было не так уж рано. Он слышал все, что говорилось внизу, но человек он был неприветливый. Мы как раз кончили завтракать, и Дженнингс внимательно смотрел на женщину, укачивавшую ребенка.

«Теперь я знаю, как надо делать, – наконец сказал он. – Два раза тряхнуть, потом качнуть, снова два раза тряхнуть, снова качнуть. Я теперь и сам могу укачать ее».

Хозяин довольно сердито кивнул нам, прошел к двери и, засунув руки в карманы, посвистывая и глядя вдаль, остановился на пороге. Через некоторое время он повернулся и грубо так говорит:

«Послушай, жена, будет мне сегодня завтрак или нет?»

Она с нежностью поцеловала ребенка и, многозначительно посмотрев на меня, молча передала мне девочку. Мне очень не хотелось двигаться, но я понял, что лучше нам уйти. Толкнул я посильнее локтем Дженнингса (потому как он уже успел заснуть) и говорю:

«Хозяюшка, сколько мы вам должны?»

А сам вытащил деньги и позвякиваю ими, чтоб она не догадалась, как их у нас мало. Посмотрела она на мужа, – тот молчит, но слушает во все уши. Увидела она, что он ничего не говорит, помолчала, подумала и проговорила нерешительно – должно быть, из страха перед ним:

«Шесть пенсов не много будет?»

Это было совсем не похоже на то, что мы заплатили в трактире, а ведь мы тут изрядно подкрепились до того, как хозяин спустился вниз. Поэтому я и спросил:

«А сколько же, хозяйюшка, мы должны оставить вам за хлеб и молоко для девочки?» (Я хотел было добавить: «И за ваши заботы о ней», – но язык у меня не повернулся, потому как по всему видно было, что делать ей это было приятно.)

«Нет, нет, – проговорила она, а сама взглянула на спину мужа, – тот и вовсе наострил уши, – мы ничего не возьмем за еду ребенка, даже если б ваша девочка съела в два раза больше».

Тут муж посмотрел на нее, да так грозно! Она поняла, что означает этот взгляд, подошла к мужу и положила руку ему на плечо. Он чуть было не стряхнул ее руку, да только она совсем тихо сказала:

«В память о бедном маленьком Джонни, Ричард!»

Он не шевельнулся и не сказал ни слова, а она поглядела ему в лицо, а потом отвернулась – с таким тяжелым вздохом. Когда я подошел к ней расплатиться, она поцеловала заснувшую малышку. Чтобы муж потом ее не попрекал, я сунул под хлеб еще один шестипенсовик, и мы ушли. Оглянулся я и разглядел, что женщина исподтишка вытирает глаза краем

передника, а сама уже готовит завтрак мужу. Больше я ее не видал. Но на небесах я ее узнаю.

Старик помолчал, вспоминая то далекое майское утро, когда он нес свою внучку вдоль нескончаемых изгородей, под цветущими платанами.

– Да больше и рассказывать-то нечего, милочка, – сказал он, когда Маргарет спросила, что было дальше. – Вечером мы добрались до Манчестера, и я узнал, что Дженнингс с радостью готов отдать мне малютку. Принес я ее домой, и с тех пор она всегда была моей отрадой.

Несколько минут все молчали – каждый думал о своем. Затем все вдруг сразу посмотрели на Мэри. Она сидела на своей скамеечке, положив голову отцу на колени, и спала крепко, как ребенок. Ее полуоткрытые губы, алые как ягоды остролиста, красиво выделялись на чистом, бледном лице, на котором в минуты душевного волнения, словно гвоздика, расцветал румянец. На нежных щеках лежала тень от черных ресниц, но еще большую тень отбрасывали на них пышные золотистые волосы, служившие сейчас девушке подушкой. Отец, с гордостью любуясь ею, расправил один из локонов, словно хотел показать окружающим длину и шелковистость ее волос. Это легкое прикосновение разбудило Мэри, и, как большинство людей в подобных обстоятельствах, она заявила, широко раскрыв глаза:

– А я вовсе не сплю. Я и не думала спать.

Даже отец ее не удержался от улыбки, а Джоб Лег и Маргарет громко рассмеялись.

– Не надо смущаться, – заметил Джоб, – что ж тут страшного, если ты заснула, устав слушать старика, которому вздумалось вспоминать прошлое. Ничего в этом нет удивительного. А вот сейчас постарайся не спать: я хочу прочесть твоему отцу одни стихи, которые написал ткач, вроде нас. Тот, кому удалось соткать такие стихи, большой молодец – это уж точно.

И, надев на нос очки, старик откинул назад голову, скрестил ноги, откашлялся и стал читать стихотворение Сэмюэла Бэмфорда [\[55\]](#), которое он где-то достал.

Помилуй бог несчастных бедняков,  
Что зимним утром тянутся уныло  
На улицу из сумрачных углов,  
Где их от непогоды ночь укрыла.  
Над девушкою сжался ты, что там  
Стоит, как заблудившийся ягненок.  
Как холодно ее рукам, ногам,  
Бедняжка, ведь совсем еще ребенок.

Застывшая печаль в ее глазах,  
Не тает снег на черных волосах,  
Лохмотьями едва прикрыта грудь.  
Молю, господь, суровым к ней не будь!  
Помилуй бедняков!

Вон из ворот несется детский плач.  
Младенца рваной шалью мать укрыла,  
Чтоб зимний холод, нищеты палач,  
Не свел его безвременно в могилу.  
Как хочется согреть ребенка ей  
Дыханьем губ, что посинели жутко!  
Пронизывает холод до костей  
И мать, и бесприютного малютку.  
Как слезно молит материнский взор,  
Какие в нем отчаянье, укор,  
Когда проходят с хлебом перед ней.  
О боже, помоги, несчастной, ей!  
Помилуй бедняков!

Вот юноша бредет. Весь вид его  
О голоде твердит и злой кручине.  
Вокруг себя не видя ничего,  
Он видит лишь съестное на витрине.  
Его босым, израненным ногам  
Как будто нипочем ни снег, ни холод.  
Он все идет, куда, не зная сам,-  
Сейчас его терзает только голод.  
Как жадно корку хлеба он жует!  
Голодного голодный лишь поймет.  
Где заработок бедному найти?  
О боже, помоги ему в пути!  
Помилуй бедняков!

Я встретился с почтенным стариком,  
Невзгодами согбенным и годами.  
Рубашки нет под старым сюртуком,  
И шляпа нависает над глазами.  
Порой он смотрит пристально кругом,  
Как будто тщась сквозь мрак и непогоду  
Друзей увидеть, за его столом  
Любивших пировать в былые годы.

Но тех унес неумолимый рок,  
А тем он, разорившись, стал далек,-  
Они его теперь не узнают.  
Господь, даруй несчастному приют!  
Помилуй бедняков!  
Помилуй бог несчастных бедняков,  
Ютящихся в подобиях жилища  
Среди покрытых вереском холмов,  
Дрожащих без огня, одежды, пищи.  
Как мало знает мир об их беде,  
О тех, кто уповает лишь на небо,  
Сгибаясь в изнурительном труде  
С утра до ночи ради корки хлеба.  
Ужели без надежды, день за днем  
К могиле им идти таким путем?  
Ужели только голод, только гнет  
И только горе в будущем их ждет?  
Нет, бог, восстав, поможет беднякам!

– Аминь! – торжественно и печально произнес Джон Бартон. – Мэри, доченька, не могла бы ты записать для меня эти стихи... если, конечно, Джоб не возражает.

– Ну, что ты! Чем больше народу их услышит и прочтет, тем лучше.

Мэри взяла бумажку со стихотворением и на другой день переписала прекрасные стихи Бэмфорда на чистый листок «валентинки» [\[56\]](#), окаймленный узором из сердец, пронзенных стрелами («валентинки», которую, как она полагала, прислал Джем Уилсон).

## ГЛАВА X

### ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОЙ ДОЧЕРИ

И сердце нежное, как женская слеза,  
От беспрестанных бед окаменело.  
*Эллиот.*

Так не позволяй же запятнать  
Ее девичью честь!  
Поверь мне, лучше смерть принять,  
Чем гнет позора несть.  
*«Отверженная».*

Отчаяние черной тучей нависло над людьми. Время от времени мертвый штиль страдания прорезали порывы штормового ветра, как бы предсказывавшие скорое окончание мрачных времен. В годину бедствий или тяжких испытаний мы часто ищем утешения, повторяя старинные поговорки, заключающие в себе жизненный опыт наших предков, но сейчас такие пословицы, как «Самой длинной дороге приходит конец», «Не все ненастье, будет и ведро» и тому подобные, звучали фальшиво и казались пустым острословием, – так долго и мучительно тянулись черные дни. Нужда бедняков становилась все злее; и хотя в то время умирало относительно немного народу, это доказывало только, что даже самые тяжкие страдания не сразу убивают человека. Однако нельзя забывать и того, что мы замечаем потерю лишь тех, кто работает на своей скромной ниве, а смерти стариков, больных и детей мир не видит, хотя многим сердцам она наносит такие раны, которые не способны залечить и годы. Не забудьте того, что если здорового человека могут свести в могилу лишь непомерные страдания, то не так уж много нужно, чтобы превратить его в измученного и бессильного калеку, бредущего по жизни с отчаявшимся сердцем и истерзанным болезнью телом.

Уже предыдущие годы казались народу тяжелыми, а бремя нужды – непосильным, однако этот год оказался еще тяжелее. Если раньше беда наказывала их бичом, то теперь она наказывала их скорпионами. [\[57\]](#)

И Бартону, конечно, этот год принес его долю телесных страданий. До

своей бесполезной поездки в Лондон он работал неполный день. Но в расчете на то, что, благодаря вмешательству парламента, положение в промышленности быстро изменится к лучшему, он ушел с фабрики, и теперь, когда он пожелал туда вернуться, ему сказали, что на фабрике каждую неделю увольняют все новых рабочих, а из слов своих товарищей он понял, что чартистскому делегату и одному из руководителей союза нечего и рассчитывать на получение места. Однако он старался не отчаиваться. Он знал, что сумеет безропотно голодать: он научился этому в детстве, когда увидел, как мать спрятала свой единственный кусок хлеба, чтобы потом разделить его между детьми, и тогда, будучи старшим, он последовал ее примеру и благородно солгал, сказав, что не голоден, что больше кусочка проглотить не может, и отдал свою долю плакавшим от голода малышам. Ну, а Мэри получала еду два раза в день у мисс Симмондс. Правда, портниха, на делах которой тоже стали сказываться плохие времена, перестала давать ученицам чай и сама подавала им пример воздержания, откладывая свой ужин до тех пор, пока работа не будет закончена, даже если порой приходилось ждать допоздна.

Но ведь надо платить за квартиру! На это уходило полкроны в неделю – почти весь заработок Мэри. Конечно, им двоим столько места не требовалось. Настало время благодарить судьбу за то, что дорогим умершим не пришлось дожить до этого. Сельский труженик обычно очень привязывается к своему жилищу, тогда как у горожан это чувство гораздо слабее, если вообще не отсутствует. Однако и среди них встречаются исключения, и таким исключением был Бартон. Он переехал в этот дом в те тяжелые времена, когда заболел и умер маленький Том. Он решил тогда, что хлопоты, связанные с переездом, отвлекут его бедную жену от горя, и, в надежде хоть немного развлечь ее и вывести из оцепенения, он принимал деятельное участие во всех мелочах. Поэтому он знал здесь каждый гвоздик, вбитый по ее просьбе. Только один из них с тех пор исчез. Этот гвоздь, на который вешала свою шляпку Эстер, Бартон после смерти жены в мстительном гневе сам выдернул из стены и выбросил на улицу. Тяжело было расставаться с домом, где словно бы витала тень его жены и жили воспоминания о прошлых счастливых днях. Но он умел заставить себя покориться, даже если порой это бывало ненужно, жестоко. Он решил предупредить хозяина дома о своем намерении подыскать более дешевое пристанище и сообщил о предстоящем переезде Мэри. Бедная Мэри! Она ведь тоже любила этот дом. К тому же для нее это значило лишиться родного очага, ибо нескоро могло ее сердце привязаться к новому месту.

Но это испытание миновало их. Домовладелец в тот самый

понедельник, когда Бартон собирался предупредить его о выезде, по собственному почину снизил квартирную плату на три пенса в неделю, и это побудило Бартона на некоторое время отложить выполнение своего намерения.

Однако их жилище постепенно пустело, мало-помалу лишаясь украшавших его мелочей. Некоторые полопались, а два-три пенса, нужные на их починку, уходили на покупку еды, без которой нельзя обойтись. А иные Мэри самой пришлось снести к ростовщику. Красивый чайный поднос и чайница, столь долго и бережно хранимые, были принесены в жертву, чтобы купить хлеба отцу. Он не просил есть, он не жаловался, но Мэри догадывалась о том, как он голоден, по его запавшим глазам, по дикому животному блеску, появившемуся в них. Потом этим же путем проследовали одеяла, ибо на дворе стояло лето и без них можно было обойтись. Мэри полагала, что вырученных денег хватит, чтобы дотянуть до лучших времен. Но все деньги очень скоро ушли, и Мэри снова принялась обзирать комнату – не осталось ли еще какой-нибудь ненужной вещи, которую можно было бы продать.

Отец ее молча смотрел на все это. Голодал ли он или пировал (после продажи очередной вещи) за столом, на котором стоял хлеб с сыром, – ко всему он относился с мрачным безразличием, от которого сердце Мэри обливалось кровью. Она часто думала, что не мешало бы ему обратиться за помощью в попечительский совет, и часто недоумевала, почему союз ничего не сделает для него. Однажды, когда, проголодав весь день, он сидел у огня грязный, небритый, исхудалый, Мэри спросила его, почему он не обратится за помощью к городским властям. Он повернулся к ней и с мрачным бешенством крикнул:

– Да не нужны мне их деньги, дочка! Будь они прокляты со своей благотворительностью и деньгами! Я хочу работать. Это мое право. Я хочу работать!

Он решил про себя, что все стерпит. Он и терпел, но не кротко – этого от него нельзя было требовать. Настоящая кротость пробуждается в человеке под влиянием доброго к нему отношения. А Бартон в своей жизни редко видел доброту. И, несмотря на все, он решительно отказывался от помощи, которую мог ему оказать союз. Большой помощи ждать, конечно, нельзя было, но в союзе благоразумно полагали, что лучше поддержать ценного, деятельного члена, чем помогать людям менее полезным, хоть и обремененным семьей. Однако не так смотрел на это Джон Бартон. Он считал, что главное право на помощь – это нужда.

– Дайте пособие Тому Дэрбишайру, – сказал он. – Том имеет на него

больше права, чем я, потому что он больше нуждается, – у него семеро ребят.

А ведь Том Дэрбишайр, вечно всем недовольный ворчун, очень не любил Джона Бартон и всегда был готов сделать ему неприятность. Бартон знал это, но подобные соображения не влияли на него, раз дело шло о голодных детях.

Мэри рано приходила на работу, но ее товарки не слышали больше ее веселого смеха. Она шила и размышляла о наступивших тяжелых временах, но постепенно перед ее мысленным взором возникали картины будущего, – при этом она гораздо больше мечтала об ожидающем ее богатстве, великолепии и роскоши, чем о возлюбленном, с которым она будет их делить. И все же она гордилась тем, что в нее влюбился человек, занимающий, по сравнению с нею, столь высокое положение, и ощущала тайное удовольствие от сознания, что тот, на кого заглядываются столь многие, готов, по его словам, отдать что угодно за одну ее ласковую улыбку. Ее любовь к нему была мыльным пузырем, возникшим из пены тщеславия, но она казалась настоящей. Тем временем Салли Лидбитер внимательно следила за теми переменами, которые вызвала в Мэри тяжелая пора. Она заметила, что Мэри начала ценить деньги, как «основу жизни», а многих девушек даже и без помощи любви, которая, по мнению Салли, пылала в душе Мэри, можно было прельстить и соблазнить золотом. Поэтому Салли, описывая нужду, в которой живет Мэри, всячески уговаривала молодого мистера Карсона действовать более решительно. Но он бессознательно опасался задеть гордость Мэри и боялся даже намекнуть на то, что знает, какую многие терпят нужду. Он считал, что пока следует удовольствоваться мимолетными встречами, прогулками в летних сумерках и правом нашептывать ей на ушко сладкие слова, слушая которые, она краснела, улыбалась и становилась еще прелестнее. Нет, он решил быть осторожным и действовать наверняка, ибо считал, что так или иначе Мэри должна принадлежать ему. Он не сомневался в том, что рано или поздно Мэри не устоит перед его чарами, так как понимал, что красив, и был уверен, что неотразим.

Если бы он знал, что представляет собой жилище Мэри, то, возможно, не усмотрел бы в ее готовности все дольше задерживаться с ним на улице, чтобы подышать теплым летним воздухом, обнадеживающего признака. А дело в том, что по вечерам отец Мэри почти никогда не оставался дома, и девушке приходилось сидеть одной в их комнате, выглядевшей так безрадостно теперь, когда у них не стало денег, чтобы покупать мыло и щетки, графит и белую глину. Комната была теперь грязной и неудобной,



так как, разумеется, ее уже не скрашивало присутствие бессловесного доброго друга – огня. Маргарет – ее без конца приглашали петь на концертах – тоже теперь редко сидела дома. А Элис... Ах, как Мэри жалела, что Элис рассталась со своим подвалом и переехала жить к невестке в Энкоутс. К тому же Мэри чувствовала себя виноватой перед вдовой: после смерти Джорджа Уилсона она так и не собралась ее навестить из боязни встретить Джема – а вдруг он подумает, что ей хочется возобновить их прежние дружеские отношения. Теперь же ей было так совестно, что и вовсе не хватало духа пойти туда.

Но даже когда отец бывал дома, Мэри не становилось легче; наоборот: это было, пожалуй, еще хуже. Он редко прерывал молчание – даже реже, чем раньше, а если и говорил что-нибудь, то так сердито и зло, как никогда прежде с ней не разговаривал. Она тоже была вспыльчива и отвечала ему далеко не кротко. Дело дошло до того, что однажды он даже побил ее. Если бы в эту минуту Салли Лидбитер или мистер Карсон оказались поблизости, Мэри ушла бы из дому навсегда. Но ушел отец, хлопнув дверью, и Мэри долго сидела одна, с горестным сожалением вспоминая прошлое; она корила себя за вспыльчивость и считала, что отец не любит ее, – словом, в голове у нее теснились одни лишь горькие мысли. Кому она нужна? Мистеру Карсону? Пожалуй, но сейчас это нимало не утешало ее. Мама умерла! Отец последнее время все сердится, стал такой злой (он ее ударил – очень больно, и на нежной белой коже остался багровый след). Но внезапно гнев ее утих: она вспомнила со стыдом, как вызывающе смотрела на отца и говорила с ним, а ведь ему последнее время столько пришлось вынести. А какой он был добрый и любящий до этих дней испытания! Она стала вспоминать о всех мелочах, в которых сказывалась его любовь к ней. Да как же после этого она могла так вести себя с ним!

Когда он вернулся домой, только стыд помешал ей тут же излить свое раскаяние в словах. Лицо ее казалось угрюмым от отчаянных стараний справиться с подступавшими к горлу рыданиями; и отец не знал, как ему с ней заговорить. Наконец он поборол гордость и сказал:

– Мэри, я виноват, что ударил тебя. Правда, ты немножкохватила через край, а я уже не тот, каким был прежде. Но я поступил нехорошо и постараюсь никогда больше тебя не трогать.

Он раскрыл дочери объятия, и, обливаясь слезами, она стала просить у него прощения. Больше он ни разу ее не ударил.

Однако сердился он часто. Впрочем, Мэри легче было сносить это, чем его молчание, когда он, как обычно, садился у очага и курил или жевал опиум. О, как Мэри ненавидела этот запах! В сумерках, перед самым

наступлением короткой летней ночи, она теперь с ужасом поглядывала на окно, которое отец не разрешал занавешивать и где нередко ей представляли видения, преследовавшие ее потом и во сне. Незнакомые бледные лица с глазами, горящими мрачным огнем, неожиданно появлялись за стеклом, всматриваясь в царившую в комнате полутьму, чтобы узнать, дома ли ее отец. А то в приоткрывшуюся дверь просовывалась рука невидимого человека и манила отца. Он всегда выходил на зов. А раза два, когда Мэри уже лежала в постели, она слышала внизу мужские голоса, переговаривавшиеся взволнованным шепотом.

Все это были члены союза, доведенные до отчаяния нуждой, готовые на все, – побужденные к этому нуждой.

В эти мрачные дни как-то вечером, когда Мэри сидела, погруженная в свои невеселые думы, отец, вдруг спросил ее, когда она была в последний раз у Джейн Уилсон. По его тону Мэри поняла, что он побывал там, хотя тогда ничего ей об этом не сказал. Теперь же он грубо потребовал, чтобы она отправилась к Уилсонам на следующий же день, и выбранил за то, что она до сих пор не была там. Приказание отца дало Мэри необходимый толчок, и на другой день, избрав такое время, когда Джема не могло быть дома, она отправилась в Энкоутс.

Хорошо знакомый дом изменился даже внешне: дверь была закрыта, тогда как раньше она всегда бывала распахнута. Цветы на окнах – предмет особой гордости и забот Джорджа Уилсона – поникли и завяли. Долгое время их никто не поливал, а теперь, когда вдова спохватилась, она стала поливать их чересчур обильно, так как не умела за ними ухаживать. Открыв дверь, Мэри увидела Элис, которая не суежилась, по своему обыкновению, а сидела подле очага и вязала. В комнате было жарко, хотя огонь казался тусклым и серым в ярких лучах летнего солнца. Миссис Уилсон убирала посуду и, не переставая, говорила очень громким и плаксивым голосом – о чем, Мэри сначала не поняла. Зато она сразу поняла, что ее долгое отсутствие не прошло незамеченным. Печальное лицо миссис Уилсон стало хмурым, она поджала губы, и Мэри догадалась, что ей предстоит услышать.

– Батюшки, да никак это Мэри? – начала миссис Уилсон. – Вот уж кого не ждала! Мы думали, ты совсем нас забыла. Джем не раз говорил, что, наверно, и не узнает тебя, если встретит на улице.

Бедная Джейн Уилсон перенесла не одно тяжкое горе, и это, как ни грустно, изменило ее характер к худшему. Ей хотелось дать понять Мэри, как она оскорблена ее поведением, и, чтобы сильнее уязвить девушку, она вкладывала некоторые свои колкости в уста Джема.

Мэри чувствовала себя виноватой, и, поскольку не могла привести в свое оправдание никакой серьезной причины, она некоторое время стояла молча, потупившись, а затем обратилась к тетушке Элис, но та от удивления и радости при виде девушки выронила клубок шерсти и сейчас спешила распутать нитки, пока котенок, уже обмотавший их вокруг каждого стула и дважды – вокруг стола, окончательно их не запутал.

– Если ты хочешь, чтобы она тебя слышала, говори громче: последние недели она стала совсем глухой. Я бы тебя предупредила, да только забыла, что ты ее так давно не видела.

– Да, милочка, я последнее время стала очень плохо слышать, – сказала Элис, от зорких глаз которой не укрылось, о чем говорит невестка. – Видно, не долго мне уже осталось ждать конца.

– Не говорите так! – закричала ее невестка. – Хватит нам концов и смертей, нечего еще накликать. – И, закрыв лицо передником, она опустила на стул и заплакала.

– Джордж был такой хороший муж, – немного успокоившись, сказала она и, отняв от лица передник, посмотрела на девушку заплаканными глазами. – Никто не знает, что я потеряла, потому что никто не знал его так, как я.

Участие, с каким Мэри слушала миссис Уилсон, смягчило бедную женщину, и она принялась изливать свое наболевшее сердце.

– О господи, господи! Никто не знает, что я потеряла. Когда не стало моих бедных мальчиков, я думала, что горше испытания бог мне ниспослать не может. Ведь у меня и в мыслях не было, что я могу потерять Джорджа: я просто не представляла себе, как я без него останусь. Но вот живу, а он... – И она снова залилась слезами.

– Ты слышала, Мэри, – через некоторое время заговорила она, – что я была калеккой, когда он женился на мне? А ведь он был такой красавец! Куда до него Джемму!

Да, Мэри слышала об этом. Но бедная женщина вновь переживала ушедшие дни и принялась рассказывать, то и дело прерывая свое повествование слезами, вздохами и покачивая головой.

– И за что он меня выбрал – сама не знаю. До этого случая я еще была недурна, а потом – смотреть не на что. А уж как заглядывалась на него Бесси Уиттер – она теперь замужем за мистером Карсоном. Очень она была красивая, хоть я и не замечала ее красоты. Ну, а Карсон был тогда ей почти ровня – не то что теперь, когда до них обоих рукой не достанешь.

Мэри отчаянно покраснела и очень хотела бы это скрыть, а кроме того, она очень хотела, чтобы миссис Уилсон побольше рассказала об отце и

матери ее поклонника, но она не смела расспрашивать, мысли же миссис Уилсон, естественно, вновь обратились к мужу и к первым дням их супружества.

– Веришь ли, Мэри, и хозяйка-то я была плохая, а он все-таки на мне женился. Я почти с пяти лет пошла работать на фабрику и понятия не имела о том, как надо убирать комнаты или готовить, не говоря уж о стирке и всем прочем. На другой день после того, как мы поженились, он позавтракал и, собираясь на работу, говорит мне: «Дженни, сготовь-ка на обед холодное мясо с картофелем- это ведь королевская еда». Очень мне хотелось угодить ему – одному богу известно, как хотелось. Но я понятия не имела, как варят картошку. Знала только, что ее варят и еще чистят. Прибралась я, как могла, потом посмотрела на эти самые часы, – и она показала на часы, висевшие на стене, – увидела, что уже девять часов. Ну, решила я, картошке хватит времени, чтобы как следует свариться. Мигом поставила я ее на огонь (только перед этим долго с ней возилась, пока не очистила) и принялась распаковывать свои сундучки. В двадцать минут первого приходит он домой, а я уже мясо на стол поставила и пошла на кухню за картошкой. Но вода-то, Мэри, вся выкипела, от картошки только уголь остался, и по всему дому несет горелым. Джордж мне ни слова не сказал, стал только еще нежнее и ласковее, а я, Мэри, весь день проплакала. Никогда я этого не забуду, никогда. Много у меня было потом разных оплошностей, но ни одна так меня не расстраивала.

– А моему отцу не нравится, когда девушки работают на фабрике, – заметила Мэри.

– Да, я знаю, и он прав. А уж замужним-то женщинам и вовсе там делать нечего. Это уж точно. Я могу насчитать тебе (тут она принялась загибать пальцы) девять мужчин, которые не выходят из трактира, потому что их жены работают на фабрике. Нечего сказать, умницы: решили, что детей можно отдать выкармливать, дом пусть зарастает грязью, очаг – ржавеет. Ты сами посуди, приятно в таком доме мужу сидеть, а? Ну, и он, конечно, очень скоро находит дорожку в трактир, где чисто и светло и огонь весело пылает, словно его привечая.

Элис, подошедшая поближе, чтобы лучше слышать, разобрала почти все ее слова, и нетрудно было догадаться, что они с невесткой не раз уже обсуждали эту тему, так как она поспешила добавить:

– Вот если бы наш Джем мог рассказать королеве о том, что значит для замужних женщин работа на фабрике! Уж больно хорошо он об этом говорит! Его жене на фабрике работать не придется, ни там, ни в каком другом месте.

– Лучше бы принца Альберта [58] спросить, как ему понравилось бы, если бы он вернулся домой усталый и измученный, а жена-то его и не встречает! А потом и она вернулась бы такая усталая, что слова сказать не может. А понравилось бы ему, если б ее никогда не было дома и некому было бы прибраться и разжечь огонь в камине? Я уж не говорю о том, что есть ему пришлось бы кое-как, все невкусное. Ручаюсь, что хоть он и принц, а если бы его хозяйка так его привечала, он бы тоже отправился в трактир или в другое такое же место. А раз так, почему бы ему не издать закон, который запретил бы работать на фабриках женам бедняков?

Мэри попробовала было возразить, что королева и принц Альберт законов не издают, но в ответ услышала только возражение:

– И не выдумывай! Что же, по-твоему, не королева издает законы? А разве она не обязана почитать принца Альберта? А если он скажет, что женщины не должны работать, то и она так скажет, и все тут.

– До чего наш Джем старается, – заметила вдруг Элис, не расслышавшая последнего заявления невестки и все еще занятая мыслями о племяннике и его разнообразных талантах. – Он изобрел какой-то барабан или рычаг – не помню точно, но только хозяин назначил его мастером, и это в такую-то пору, когда всех других он увольняет. Но хозяин сказал, что он без Джема обойтись никак не может. Он теперь получает хорошее жалованье. Я уж говорила ему, что пора подумать о женитьбе. Надо только, чтобы он подыскал себе милую женушку- он ее вполне заслуживает.

Мэри отчаянно покраснела и рассердилась, хотя в глубине души почему-то ей было приятно, что Джема хвалят. Однако мать Джема увидела только этот рассерженный взгляд и обиделась. Нельзя сказать, чтобы ей так уж не терпелось женить сына. Его присутствие в доме напоминало ей о счастливых днях, и она уже сейчас немного ревновала его к будущей жене, какой бы та ни оказалась, и все же ее оскорбляло, что есть девушка, которая не считает себя польщенной вниманием Джема, а о его чувствах к Мэри она, конечно, знала. Она всегда считала, что Мэри недостаточно хороша для Джема, а сейчас к тому же не могла простить девушке, что та долго не заходила к ней. Итак, она решила немного присочинить, чтобы Мэри не вообразила, будто Джем мечтает, чтобы она стала его «милой женушкой», как выразилась тетушка Элис.

– Да, он, наверно, у нас скоро женится. – И, понизив голос, словно говоря по секрету, а на самом деле не желая, чтобы в разговор вмешалась простодушная Элис, она добавила: – Я думаю, скоро Молли Гибсон (дочка хозяина продовольственной лавки за углом) узнает тайну, которая, по-

моему, придется ей по душе. Она уже давно поглядывает на нашего Джема, но он считал, что отец не отдаст ее за простого рабочего, а теперь наш Джем ничуть не хуже его. Прежде я думала, что он равнодушен к тебе, Мэри, но, по-моему, вы друг другу не пара, а потому хорошо, что все так получилось.

Усилием воли Мэри подавила досаду и сумела даже выразить надежду, что Джем будет счастлив с Молли Гибсон. Ведь она такая хорошенькая.

– Да уж, и хозяйка отличная. Я сейчас схожу наверх и покажу тебе, какое лоскутное одеяло она подарила мне в прошлую субботу.

Мэри обрадовалась тому, что миссис Уилсон вышла из комнаты. Слова ее были неприятны девушке и, быть может, особенно потому, что она не очень им верила. А кроме того, Мэри хотелось поговорить с Элис, но миссис Уилсон, видимо, считала, что ей, как вдове хозяина дома, должно принадлежать все внимание.

– Милая Элис, – обратилась Мэри к старушке, как только они остались вдвоем, – я ужасно огорчена тем, что вы не слышите. И это случилось так внезапно!

– Да, милочка, это тяжелое испытание, не буду отрицать. Я только прошу у бога дать мне силы понять, для чего оно мне ниспослано. Однажды я чуть не возроптала. Пошла я погожим днем за таволгой, чтобы приготовить Джейн питье от кашля. Поля показались мне такими притихшими, мрачными. Сначала я никак не могла понять, что же случилось, а потом вдруг сообразила: пения птиц не слышно, вот чего, и я теперь никогда уж не услышу их звонких голосов. Тут я не сдержалась и всплакнула. И все-таки я не должна жаловаться на судьбу. Я ведь помогаю Джейн – хотя бы тем, что ей есть кого поругать, бедняжке! Она о своих бедах не думает, пока ворчит. И потом – раз у меня есть глаза, я могу обойтись и без слуха: я по губам догадываюсь, что люди говорят.

Но тут появилось великолепное, красное с желтым, лоскутное одеяло, и Джейн Уилсон не отстала от Мэри, пока та не расхвалила его все – и окантовку, и середину, и стежку, и с лица, и с изнанки! И Мэри не жалела похвал, особенно потому, что никакого особенного восторга рукоделие у нее не вызывало. Впрочем, она тут же заторопилась и ушла, чтобы избежать встречи с Джемом. Но когда она отошла подальше от улицы, где жили Уилсоны, она замедлила шаг и принялась размышлять. Неужели Джем и в самом деле нравится Молли Гибсон? Ну что ж, пусть нравится, раз все считают, что он слишком хорош для нее, Мэри. Что ж, быть может, кто-то другой, поинтересней и познатнее Джема, со временем докажет ему, что она достаточно хороша, чтобы стать миссис Генри Карсон. И Мэри под

влиянием гнева, или, как она это называла, «гордости», стала еще больше поощрять ухаживания мистера Карсона.

Несколько недель спустя союз, к которому принадлежал Джон Бартон, устроил собрание. Утром того дня, на который оно было назначено, Бартон долго лежал в постели. Ну, к чему торопиться вставать? Он поколебался, раздумывая, купить ли ему еды или опиума, и выбрал опиум, так как теперь уже не мог без него обойтись. И он знал, что только опиум может разогнать черную тоску, которая охватывала его, если он долго оставался без этого снадобья. Только большой кусок опиума приводил его в нормальное состояние. Собрание профсоюза было назначено на восемь часов. На нем были прочитаны письма со всех концов страны, описывавшие подробности бедствия. Тягостное уныние и гнев овладели присутствующими, и с неменьшим унынием и гневом расходились они около одиннадцати часов, а наиболее ожесточенные были к тому же возмущены тем, что собрание не приняло предложенных ими отчаянных планов.

Да и погода, встретившая их, когда они вышли на улицу из освещенной газовыми рожками комнаты, не могла исправить их настроение. Лил дождь, и даже фонари светили как-то тускло сквозь мокрые стекла, освещая лишь крошечное пространство вокруг. На улицах не было ни души, лишь то тут, то там маячила фигура промокшего полицейского в клеенчатом плаще. Бартон простился с товарищами и зашагал домой. Миновав две или три улицы, он услышал за собою шаги, но даже не потрудился обернуться и посмотреть, кто это. Немного спустя тот, кто шел за ним, ускорил шаг и легонько дотронулся до его рукава. Он обернулся и, несмотря на мрак, царивший на плохо освещенной улице, понял, что перед ним стоит женщина вполне определенной профессии. На это указывал ее полинялый наряд, отнюдь не пригодный для разыгравшейся непогоды: тюлевый чепец, некогда розовый, а теперь грязно-белый, мокрое муслиновое платье, до колен забрызганное грязью. Женщину тряс озноб, хотя грудь ее и плечи были закутаны в пеструю барежевую шаль.

– Мне нужно поговорить с вами, – прошептала она.

Бартон выругался и велел ей убираться прочь.

– Право же, нужно. Не гоните меня, пожалуйста. Я так запыхалась, что не могу сразу сказать все. – Она приложила руку к груди и с явным трудом перевела дух.

– Да говорят тебе, что я не имею дела с такими... – и Бартон закончил фразу оскорбительным словом. – Стой-ка! – вдруг спохватился он, словно

ее голос пробудил в нем какое-то воспоминание.

Схватив женщину за руку, которую он только что брезгливо стряхнул со своего плеча, Бартон, несмотря на ее сопротивление, потащил ее к фонарю. Он откинул оборку чепца и, как женщина ни отворачивалась, разглядел в тусклом свете большие, неестественно блестящие серые глаза, прелестный рот, приоткрывшийся словно в беззвучной мольбе о прощении, – перед ним стояла пропавшая Эстер, виновница смерти его жены. В ней еще можно было узнать прежнюю хорошенькую и беззаботную девушку, но как осунулось ее теперь накрашенное лицо, как изменилось его выражение! Однако больше всего Бартона возмутило ее платье, хотя бедная женщина выбрала для этого свидания самый скромный свой наряд.

– Так это, значит, ты? Ты! – восклицал Джон Бартон, стискивая зубы и огчаянно тряся ее. – Давно я высматриваю тебя на улицах да на перекрестках. Я ведь знал, что рано или поздно я тебя увижу в каком-нибудь таком месте. Может, ты помнишь, что я однажды сказал об уличных девках – ты еще тогда так обозлилась? Но нет, ты, конечно, не такая! Кому может прийти такое в голову, глядя на твое пышное длиннохвостое платье и красивые румяные щечки! – Тут он остановился, чтобы передохнуть.

– Не брани меня, Джон, сжался. Выслушай меня ради Мэри!

Она имела в виду его дочь, ему же это имя напомнило только о жене и лишь добавило масла в огонь. И, несмотря на ее помертвевшие щеки, на которых особенно четко обрисовывались сейчас яркие пятна краски, несмотря на все ее мольбы, он, распаляясь гневом, продолжал:

– И ты осмеливаешься упоминать при мне это имя? И ты рассчитываешь, что память о ней заставит меня простить тебя! Да знаешь ли ты, что это ты убила ее, как Каин убил Авеля? <sup>[59]</sup> Она любила тебя, как родное дитя, и верила тебе, как родному ребенку. После того как ты ушла, она места не могла себе найти от стыда, и меньше чем через месяц ее не стало. В Судный день она укажет на тебя, как на свою убийцу, а если она этого не сделает, то сделаю я.

И, отшвырнув от себя дрожащую, изнемогающую, еле держащуюся на ногах Эстер, он зашагал прочь. Вскрикнув, она упала у фонарного столба, да так и осталась лежать там, не в силах подняться. В конце их разговора к ним приблизился полицейский и, заметив, как Эстер зашаталась и упала, заключил, что она пьяна, после чего отвел ее, почти терявшую сознание от слабости, в полицейский участок. Ночью инспектор, дежуривший в этой обители порока и нищеты, был разбужен душераздирающими рыданиями и стонами, которые он счел пьяным бредом. Однако прислушавшись он внимательнее, он разобрал бы следующие слова, которые повторялись в



разных сочетаниях, но с неизменной тревогой: «Что же мне теперь делать? Он не стал меня слушать! Он не стал меня слушать, а ведь я хотела предупредить его! Что же мне теперь делать, чтобы спасти дитя Мэри? Что делать? Как уберечь ее от моей участи? Чтоб не стала она такой, как я, – жалкой, всеми презираемой! Она слушает его совсем так, как я когда-то слушала, и любит его, как я когда-то любила, и кончит так же, как кончила я. Как же мне спасти ее? Сколько ни предупреждай ее, сколько ни предостерегай, все равно она не станет слушать, как не слушала я. А где то любящее сердце, которое станет следить за ней и оберегать ее от бед? Господи, упаси ее от беды! Но к чему такой грешнице молиться за нее! Разве моя молитва будет услышана? Нет, от этого ей только хуже может быть. Как же мне спасти ее? Он не захотел меня слушать!»

Так прошла ночь. На следующее утро Эстер предстала перед судьей. За бродяжничество и непристойное поведение ее приговорили к месячному заключению. А чего только не могло произойти за этот месяц!

## ГЛАВА XI

### НАМЕРЕНИЯ МИСТЕРА КАРСОНА ПРОЯСНЯЮТСЯ

О Мэри, ты прекрасней, всех!  
Поверь, ты все в моей судьбе.  
Прости единственный мой грех -  
Мою любовь, любовь к тебе.

Бернс.

Я признаюсь, что мне достаток мил,  
Но денег звон меня бы не пленил.  
Я не из тех, кто может полюбить,  
Чтоб лишь знатней или богаче быть,  
Кто может с нелюбимым под венец  
Пойти за полный золота ларец.  
Уизер, «Фиделла». [\[60\]](#)

Бартон вернулся домой после встречи с Эстер взволнованный и недовольный собой. Он сказал ей лишь то, что многие годы собирался сказать, если встретит ее такой, какой, по его глубокому убеждению, она только и могла стать. Он был уверен, что ничего другого она не заслужила, и, однако, жалел сейчас о сказанном. Ее умоляющий взгляд преследовал его всю ночь, и в тяжелом беспокойном сне он снова и снова видел Эстер, беспомощно распростертую под фонарем. Он вскакивал, пытаясь отогнать видение. Теперь, когда было уже слишком поздно, в нем заговорила совесть, укоряя его в жестокосердии. Все, что он сказал, было правильно, думал он, но напоследок нужно было бы добавить несколько добрых слов. А вдруг его покойная жена знает о том, что произошло нынче вечером? Только не это! Ведь она так любила Эстер, что небеса омрачились бы для нее, если бы она видела, как унизили и оттолкнули ее любимую сестру. Бартон вспомнил, с каким смирением держалась Эстер, как она молчаливо признала всю глубину своего падения, и подумал, что вера могла бы заставить ее свернуть со стези порока. Он понимал, что нет такой силы на земле, которая могла бы это сделать, а вот религия, мнилось его

затуманенному мозгу, пожалуй, может ее спасти. Да, но где найти Эстер? Разве в дебрях большого города легко разыскать человека, такого маленького и никому не нужного?

И вот вечер за вечером принялся обходить Бартон те улицы, где он слышал тогда за собою шаги, он заглядывал под каждый легкомысленный или причудливый чепец в надежде снова встретить Эстер и заговорить с нею на этот раз совсем иначе. Но каждый вечер он возвращался ни с чем и наконец, отчаявшись, отказался от своих поисков. А отказавшись, попытался возродить в своей душе былую злобу против Эстер, чтобы спастись от укоров совести.

Нередко, глядя на Мэри, он жалел, что она так похожа на свою тетку, ибо внешнее сходство позволяло предполагать и схожесть судеб. Постепенно мысль эта воспламенила его легко возбудимый мозг, и он стал тревожно и подозрительно следить за поведением дочери. А она настолько привыкла к полной свободе, когда никто не требовал у нее отчета в ее действиях, что приняла эту перемену в штыки. Как раз сейчас, когда, уступая желаниям мистера Карсона, она стала встречаться с ним чаще, ей было особенно трудно отвечать на расспросы отца, желавшего знать, когда она ушла с работы, да пошла ли прямо домой и тому подобное. Лгать она не умела, но способна была кое-что скрыть, если ее прямо об этом не спрашивали. А потому она стала искать спасения в молчании, делая вид, будто возмущена расспросами отца. Нельзя сказать, чтобы это улучшало отношения между отцом и дочерью, хотя они по-прежнему горячо любили друг друга и каждый твердо верил, что поступает так лишь ради покоя и счастья другого.

Теперь отец был бы рад поскорее выдать Мэри замуж. Тогда исчез бы этот страшный, суеверный страх, порожденный ее сходством с Эстер. Он чувствовал, что уже не может натянуть однажды ослабленные вожжи. А муж сумеет это сделать. Вот если бы Джем Уилсон женился на ней! Он человек серьезный, способный! Но, видно, Мэри чем-то обидела его, потому что он редко теперь заходит к ним. И Бартон решил спросить об этом дочь.

— Скажи мне, Мэри, что у тебя случилось с Джемом Уилсоном? Ведь вы одно время очень дружили.

— Говорят, он собирается жениться на Молли Гибсон, а ухаживанье всегда отнимает много времени, — самым безразличным тоном объяснила Мэри.

— Тогда, значит, ты плохо разыграла свои карты, — сердито буркнул отец. — Он одно время был без ума от тебя, это я точно знаю. Куда больше,

чем ты того заслуживаешь.

– Ну, это еще как сказать! – дерзко возразила Мэри, вспомнив, как накануне утром мистер Карсон вздыхал, клялся и божился, что она самая хорошенькая, самая очаровательная, самая несравненная и так далее и тому подобное. А позже, когда он ехал верхом с одной из своих красоток сестер, разве он не указал на нее сестре, очевидно сказав о ней что-то лестное, а потом, пропустив сестру вперед, разве не остановился и не послал ей воздушный поцелуй?! Ну, что ей после этого Джем!

Но Джон Бартон был не в настроении терпеливо сносить дерзости дочери и так принялся распекать ее за Джема Уилсона, что она до крови закусила губу, чтобы сдержать рвавшиеся с языка злые слова. Наконец отец ушел из дому, и Мэри могла дать волю накипевшим слезам.

Случилось так, что именно в этот день Джем после долгих и тревожных раздумий решил «поставить все на карту, все выиграть или проиграть». <sup>[61]</sup> Теперь он мог содержать жену. Правда, им придется жить с его матерью и теткой, но у бедняков это случается довольно часто, а тут, как полагал Джем, это и вовсе не могло служить препятствием к браку, ибо семьи их дружили и раньше. И мать его и тетя будут рады жить с Мэри под одной кровлей. А уже одно это могло служить залогом будущего счастья.

Весь день Джем был рассеян и занят мыслями о предстоящем объяснении. Он даже улыбнулся, заметив, с каким тщанием моется и одевается, готовясь к встрече с Мэри. Как будто тот или иной жилет может решить его судьбу, когда дело идет о том, важнее чего невозможно придумать. Просто он из трусости, из страха перед девушкой так долго задерживается у маленького зеркала. Он старался не думать об этом так много и именно поэтому думал.

Бедный Джем! Неподходящую ты выбрал минуту для своего посещения!

– Войдите, – сказала Мэри, услышав стук в дверь.

Глубоко опечаленная разговором с отцом, она сидела и шила кому-то траур, стремясь в свободное время заработать лишние несколько пенсов.

Джем вошел еще более смущенно и робко, чем всегда. А ведь он, как и надеялся, застал Мэри одну. Она не предложила ему присесть, и он, постояв с минуту, сам сел подле нее.

– Отец дома, Мэри? – спросил он, чтобы как-то начать разговор, так как она, видимо, решила хранить молчание и продолжала шить.

– Нет. Он, кажется, пошел на собрание своего союза.

Снова молчание. Жди не жди, а начинать надо, подумал Джем. Все равно окольным путем ему не подвести разговор к нужной теме – слишком

он волнуется, и мысли так и скачут. Лучше уж сказать все сразу, без обиняков.

– Мэри! – произнес он таким необычным тоном, что она на секунду подняла глаза и тотчас опустила их, поняв по выражению его лица, что сейчас произойдет.

Сердце Мэри заколотилось так сильно, что она с трудом усидела на месте. Но в одном она была твердо уверена: что бы он ни сказал, она за него не пойдет. Она им всем покажет, кто готов назвать ее своей. Она еще не успокоилась после ссоры с отцом. И все же опустила глаза под устремленным на нее страстным взглядом.

– Дорогая Мэри (о том, как ты мне дорога, я и сказать не могу)! Ничего нового ты не услышишь. Все это ты давно уже видишь и давно знаешь, потому как с самого детства я люблю тебя больше отца и матери и всего на свете. Ты всегда в моих мыслях – о чем бы я ни думал днем и ни мечтал ночью. Я долго не мог заговорить с тобой об этом, потому что у меня не было возможности содержать жену и я не хотел связывать тебя обещанием. Но все это время я жил в страхе, что кто-то другой может отнять тебя у меня. А теперь, Мэри, я стал мастером... Мэри, дорогая, послушай...

Тут Мэри, не в силах совладать с волнением, встала и отвернулась от него. Джем тоже встал и подошел к ней; он попытался было взять ее за руку, но она не позволила. Она собиралась с силами, чтобы раз и навсегда отказать ему.

– Теперь, Мэри, я могу предложить тебе надежный кров и сердце, полное такой преданности и любви, какие только может питать человек. Мы, конечно, никогда не будем богатыми, но если любящее сердце и сильные руки могут защитить тебя от горя и нужды, мое сердце и мои руки сделают это. Я не умею говорить так, как мне бы хотелось, потому что для моей любви нет слов. Радость моя, скажи, что ты мне веришь и что ты будешь моей женой.

Она ответила не сразу – подготовленные слова не шли у нее с языка.

– Мэри, говорят, что молчание – знак согласия. Это правда? -тихо спросил он.

Она должна сделать над собой усилие – сейчас или никогда.

– Нет, это не так. – Голос ее звучал спокойно, хотя она дрожала с головы до ног. – Я всегда буду твоим другом, Джем, но никогда не буду твоей женой.

– Не будешь моей женой, – грустно повторил он. – Мэри, прошу тебя, подумай! Ты не сможешь быть моим другом, если не согласишься стать

моей женой. Я, во всяком случае, никогда не смогу удовольствоваться одной твоей дружбой. Подумай немножко! Если ты скажешь нет, ты сделаешь меня глубоко несчастным, навсегда лишишь надежды. Я ведь не со вчерашнего дня люблю тебя. Всем, что люди считают во мне хорошим, я обязан этой любви. Я не знаю, что со мной станет, если ты отвернешься от меня. А потом, Мэри, подумай, как обрадуется твой отец! Ты, конечно, можешь решить, что я очень возомнил о себе, но отец твой не раз говорил мне, как бы он хотел, чтобы мы поженились!

Джем считал это могучим доводом в свою пользу, однако при том настроении, в каком находилась сейчас Мэри, все вышло как раз наоборот: ей пришла в голову нелепая и глупая мысль, что отец, горя желанием поскорее выдать ее замуж за Джема, говорил об этом с молодым человеком и даже упрашивал его.

– Я же сказала тебе, Джем, что это невозможно. Раз и навсегда говорю тебе: я никогда не выйду за тебя замуж.

– Значит, пришел конец всем моим надеждам и опасениям! Можно даже сказать: конец жизни, потому что теперь мне не для чего больше жить! – волнение Джема все возрастало, он дошел почти до исступления. – Может, Мэри, я стану пьяницей, может, вором, может, убийцей. Но запомни: когда все будут плохо отзываться обо мне, ты не смей меня осуждать, потому что я стану таким из-за твоего жестокосердия. Неужели ты не можешь даже сказать, что постарайся полюбить меня, Мэри?! – внезапно воскликнул он, перейдя от угроз и отчаяния к страстной мольбе, и, крепко взяв ее за руку, чтобы она не могла вырваться, попытался заглянуть ей в лицо.

Она молчала, но на этот раз от глубокого волнения. Однако он не в силах был дольше ждать – снова надеяться, а потом снова быть отринутым... Уж лучше ожесточиться и познать всю глубину отчаяния! А потому, прежде чем Мэри нашлась, что ответить, Джем выпустил ее руку и выбежал из дома.

– Джем, Джем! – слабым, прерывающимся голосом крикнула она ему вслед.

Но было уже поздно. Он летел как на крыльях, оставляя позади одну улицу за другой, спеша найти убежище в лугах, где он мог, никем не замеченный, предаться своему отчаянию.

Всего лишь десять минут назад вошел он в дом, где сидела Мэри и спокойно шила, а теперь, припав к комоду, она закрыла лицо руками и безутешно рыдала. Она не могла бы сказать (если бы вы спросили ее и она нашла бы в себе силы ответить), что повергло ее в такое отчаяние. Все

произошло слишком неожиданно, и у нее еще не было времени ни разобраться в случившемся, ни подумать. Она только чувствовала, что сама погубила свою жизнь, и будущее представлялось ей унылым и безнадежным. Постепенно горе измучило ее настолько, что у нее не осталось сил даже плакать. Она села на стул – в голове у нее теснились самые разные мысли. Всего какой-нибудь час назад еще ничего не было сказано, и ее судьба была в ее руках. Но ведь она уже давно решила, что, если придется, она будет говорить с Джемом именно так.

Казалось, в душе ее спорили двое, и этот печальный, исполненный отчаяния спор шел между той, какою она была, и той, какою стала. Той, какою она была день или даже час тому назад, и той, какою стала теперь. Каждому из нас довелось испытать, как порою несколько минут в длинной череде месяцев и лет, именуемой жизнью, вдруг по-новому осветят прошедшее и будущее, заставят увидеть всю суетность или преступность наших деяний и так изменят нашу точку зрения, что мы с отвращением взираем на то, чего прежде желали. Несколько минут могут изменить весь образ жизни человека, поставить перед ним совсем другие цели и совсем по-иному направить его стремления.

Но вернемся к Мэри. Мы знаем, что она намеревалась выйти замуж за мистера Карсона, и то, что произошло час тому назад, было лишь первым шагом на пути к осуществлению этого плана. Однако случившееся раскрыло ей тайну ее сердца, и она убедилась, что Джем ей дороже всего на свете. Но Джем был бедный механик, которому надо было содержать мать и тетку. К тому же мать его достаточно ясно дала понять Мэри, что не желает видеть ее своей невесткой. С мистером Карсоном, человеком богатым, преуспевающим, веселым, ее ждет (так думала Мэри) жизнь знатной дамы, куда нет доступа нужде. Но что значила вся эта мишура теперь, когда перед Мэри вдруг открылась сокровенная тайна ее души? Она чуть ли не возненавидела мистера Карсона за то, что ему удалось прельстить ее такой суетной приманкой. Она вдруг поняла, что все веселье и вся роскошь, все радости и все удовольствия покажутся ей пустыми и ничемными, если их не будет делить с ней Джем, – да, тот самый Джем, которого она только что так решительно отвергла. Пусть он беден – она еще больше любит его за это. Пусть его мать считает ее недостойной своего сына – Мэри с горечью признала сейчас, что она права. До сих пор она, точно слепая, шла на ощупь к пропасти, но за истекший час она поняла грозящую ей опасность и решительно, навсегда повернулась к пропасти спиной.

Теперь Мэри ясно сознавала, чего ей не следует делать, и это до какой-

то степени утешало ее – больше она уже не поддастся искушению. Но как загладить то зло, которое она причинила Джему и себе, отвергнув его любовь? Мэри совсем истерзалась, придумывая всевозможные планы и тотчас отбрасывая их.

На соседней церкви часы пробили двенадцать, и Мэри очнулась от своих мыслей. Она знала, что отец может вернуться в любую минуту, а ей вовсе не хотелось встречаться с ним. Поэтому она поспешно собрала свою работу и ушла к себе в спальню.

Она потушила свечу, чтобы отец не увидел света в щели под дверью, и, сев на постель, стала думать. Но сколько она ни обдумывала случившееся, приняла она лишь одно решение – немедленно и бесповоротно порвать с мистером Карсоном. Девическая застенчивость (а настоящая любовь всегда застенчива) заставляла ее отказываться от любого плана, который мог бы показать Джему, что она сожалеет о своем решении и что только теперь она поняла, как он ей дорог. И она пришла к необычайно мудрому выводу – ничего не предпринимать, а терпеливо ждать развития событий. Если Джем будет знать, что она по-прежнему одинока и не выходит замуж, то он, конечно, снова попытает счастья. Неужели он примирится с первым же отказом? Ей казалось, что на его месте она бы на этом не успокоилась. Она поступила очень нехорошо, но она постарается искупить это, исправиться и будет скромно и терпеливо ждать, пока он по ее поступкам не поймет, что она изменилась и раскаивается. Даже если ей придется ждать годы, она не станет сокрушаться, а примет это как наказание за свое неразумное кокетство и за неправильное истолкование собственных чувств. И, решив, что все кончится счастливо, хоть, может быть, и не так скоро, как ей хотелось бы, Мэри заснула, когда на фабриках в первый раз зазвонил колокол. Она легла не раздеваясь, и сон не освежил ее. Она проснулась, дрожа от озноба и в таком мрачном настроении, что сначала не могла понять, откуда у нее это уныние.

Вспомнив события предшествующего вечера и принятые ею решения, она еще раз утвердилась в них. Но утром терпеливое ожидание показалось ей делом гораздо более трудным, чем накануне.

Она поспешно спустилась вниз и, горя искренним желанием исправиться, постаралась приготовить хоть и не очень обильный, но вкусный завтрак отцу, а когда он, явно чем-то раздраженный, вошел в комнату, она с кротостью раскаивающейся грешницы сносила все его вспышки, пока своим смирением не утишила его гнева.

Мэри неприятно было даже думать о том, что в мастерской ей придется встречаться с Салли Лидбитер, но тут уж ничего нельзя было



поделать, и она постаралась внутренне подготовиться к этой встрече и сразу дать Салли понять, что, решив порвать с мистером Карсоном, она считает порванными и связывавшие их узы дружбы.

Однако Салли была не из тех, от кого можно так легко отделаться. Она очень скоро догадалась о намерениях Мэри, но объяснила их лишь непостоянством, свойственным девушкам; придет время, и Мэри будет еще благодарна ей за то, что она чуть ли не силой заставила ее встречаться и поддерживать отношения с богатым поклонником.

Поэтому, когда прошло два дня, а Мэри продолжала подчеркнуто избегать ее, и к тому же мистер Карсон пожаловался, что Мэри не пришла на обещанное свидание и что на улице, торопливо возвращаясь домой, она не хочет говорить с ним (не задерживать же ему ее силой!), Салли решила сломить упрямство Мэри к ее же благу.

На третий день, сидя за работой, Салли сделала вид, будто ее не трогает холодность Мэри и она примирилась с тем, что они больше не подруги. Она довольно рано сложила шитье и ушла домой, сославшись на то, что ее больная мать чувствует себя сегодня хуже обычного. Другие девушки вскоре последовали ее примеру. Мэри, выходящая от мисс Симмондс последней, на секунду остановилась на пороге, посмотрела направо и налево и, убедившись, что путь свободен, поспешила домой, надеясь, что ей удастся избежать встречи с тем, кого она начинала все больше бояться. На сей раз она никого не встретила и благополучно добралась до дому, который, как она и предполагала, оказался пуст: она знала, что в этот вечер в клубе собрание, которое отец, конечно, не пропустит. Она опустилась на стул, чтобы передохнуть и утишить биение сердца, колотившегося больше от волнения, чем от усталости, хоть она и шла очень быстро. Затем она встала, чтобы снять шляпку, и увидела за окном Салли Лидбитер, которая неторопливо прошла мимо и заглянула в темную комнату, желая, видимо, удостовериться, вернулась ли Мэри. Через секунду Салли опять прошла мимо окна – на этот раз в обратном направлении – постучала в дверь и, не дождавшись приглашения, вошла.

– Мэри, душечка, – сказала она, отлично понимая, что уж Мэри-то никак не назвала бы ее сейчас душечкой, – у мисс Симмондс так трудно толком поговорить, что я решила зайти к тебе.

– Помнится, ты говорила, что твоя мать расхворалась и что ты спешишь к ней, – весьма нелюбезно заметила Мэри.

– Да, но маме сейчас стало лучше, – нимало не смущаясь, сказала Салли. – Отца твоего, видно, нет дома? – спросила она, вглядываясь в темноту, так как Мэри не спешила проявить гостеприимство и зажечь свечу.

– Да, его нет дома, – отрезала Мэри и зажгла наконец свечу, не приглашая, однако, гостью присесть.

– Тем лучше, – заметила Салли. – По правде говоря, Мэри, тут один мой знакомый дожидается на перекрестке. Он очень хочет зайти к тебе, раз уж ты стала такая важная, что не желаешь разговаривать с ним на улице. Сейчас он придет.

– Ах, Салли, не пускай его! – взмолилась Мэри, впервые за этот вечер говоря искренне, и бросилась к двери, чтобы запереть ее на засов, но Салли, рассмеявшись при виде ее отчаяния, схватила девушку за руки. – Ах, Салли, прошу тебя! – тщетно пытаясь вырваться, уговаривала ее Мэри. – Салли, милая, пожалуйста, не пускай его сюда: соседи начнут болтать, а если отец узнает, он ужас как рассердится. Он убьет меня, Салли, право, убьет. А главное – не люблю я мистера Карсона, я его никогда не любила. Отпусти меня, пожалуйста, – снова взмолилась она, услышав приближающиеся шаги. Но человек прошел мимо, и Мэри продолжала: – Салли, милая, пойди, пожалуйста, и скажи ему, что я не люблю его, что я не хочу его больше знать. Сознаюсь: не надо было мне вообще с ним видеться, и мне очень жаль, что я подавала ему надежды, но теперь я хочу, чтобы он перестал обо мне думать. Скажешь ему это, Салли? Если скажешь, я для тебя что хочешь сделаю.

– Ну ладно, – заявила Салли, смягчаясь. – Мы пойдем с тобой туда, где он ждет нас. Вернее, я сказала ему, чтобы он подождал там четверть часа, пока я узнаю, дома ли твой отец. А он сказал, что, если я за это время не вернусь, он придет сюда и, если понадобится, взломает дверь, но тебя увидит.

– Так идем же скорей, идем, – сказала Мэри, чувствуя, что этой встречи ей не избежать и что лучше устроить ее вне дома, куда в любую минуту может вернуться отец.

Она схватила шляпку и в мгновение ока очутилась у ворот, но, не зная, куда повернуть, вынуждена была там остановиться и подождать Салли, которая неторопливо подошла к ней и решительно взяла Мэри под руку, чтобы она, если передумает, не могла убежать. Но Мэри и не собиралась бежать. Она не раз уже говорила себе, что ей, пожалуй, следует в последний раз объяснить с мистером Карсоном, сказать ему, что они больше не должны видеться и что она очень сожалеет, если легкомысленно дала ему основания для несбыточных надежд. Не следует забывать, что по наивности – или неведению – она считала его намерения честными, а он, желая любой ценой (но по возможности подешевле) добиться ее, не рассеивал ее иллюзий. Ну, а Салли Лидбитер только втихомолку

посмеивалась над ними обоими, гадая, чем же все это кончится и удастся ли хитрой Мэри женить его на себе, внушая ему, будто она не сомневается, что он и не помышляет ни о чем другом.

В конце улицы, на которую выходил двор, где жила Мэри, девушки увидели мистера Карсона – он стоял, низко надвинув на лоб шляпу, точно боялся быть узнанным. Заметив их, он повернулся и, ни слова не говоря (хотя они подошли совсем близко), направился к еще не застроенной улице.

Пока они шли, у Мэри было достаточно времени, чтобы испугаться предстоящего разговора, но даже если бы она и захотела изменить свое решение, Салли Лидбитер так крепко держала ее, что ей не удалось бы вырваться без самой настоящей борьбы.

Наконец мистер Карсон остановился в тени деревянного забора, ограждавшего тротуар от строительного мусора. Минуту спустя рядом с мистером Карсоном за этим забором очутились и девушки, только теперь уже Мэри крепко держала Салли, так как по дороге твердо решила сделать Салли – добровольно или же против ее воли – свидетельницей предстоящего разговора. Но Салли была слишком любопытна и потому не думала вырваться.

Мистер Карсон с невиданной дотоле развязностью крепко обнял Мэри за талию, несмотря на ее возмущенный протест.

– Нет, нет, маленькая колдунья! Раз уж я тебя поймал, то теперь не выпущу. Ну-ка, скажи, почему последние дни ты убегаешь от меня, а, прелестная кокетка?

Мэри перестала вырваться и, повернувшись к нему лицом, заговорила спокойно и решительно:

– Мистер Карсон! Я хочу объясниться с вами раз и навсегда. После нашей последней встречи в понедельник вечером я решила больше не видеться и не разговаривать с вами. Я знаю, я поступала дурно, давая вам основания думать, будто вы мне нравитесь, но, видно, я и сама толком не понимала своих чувств, и я нижайше прошу у вас прощения, сэр, за то, что вскружила вам голову.

На секунду он удивился, но почти тотчас на помощь ему пришло тщеславие, и он постарался убедить себя, что она только шутит. Ведь он молод, любезен, богат, красив! Нет, это, конечно, лишь женское кокетство.

– Ах ты прелестный бесенок! Надо же придумать такое: «Нижайше прошу у вас прощения, сэр, за то, что вскружила вам голову». Как будто ты не знаешь, что я с утра до вечера думаю о тебе. Но ты хочешь, чтобы я снова и снова повторял тебе это, да?

– Нет, сэр, право, не хочу. Мне было бы куда приятнее, если б вы

сказали, что никогда и не вспомните обо мне, чем слушать такие речи. Ведь я не шучу: сегодня вечером я разговариваю с вами в последний раз.

– Вечером, но не днем же, плутовка! Ну, что, Мэри, правильно я тебя понял? – добавил он, так как Мэри, пораженная его упорным желанием принимать ее слова за шутку, совсем растерялась и не сразу нашла, что ответить.

– Я хочу сказать, сэр, – наконец сказала она резко, – что никогда больше не стану с вами разговаривать после нынешнего вечера.

– Почему же вдруг такая перемена, Мэри? – уже серьезно спросил он и с тревогой добавил: – Разве я чем-нибудь обидел тебя?

– Нет, сэр, – мягко, однако решительно ответила она. – Я не могу вам объяснить, почему я переменилась, но это мое последнее слово. Как я уже говорила, я прошу вас извинить меня, если я дурно поступила с вами. А теперь, сэр, будьте так добры, отпустите меня.

– Нет, не буду. И не отпущу. Ну, что я сделал, Мэри? Скажи! Ты не уйдешь, пока не скажешь мне, чем я тебя обидел. Что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал?

– Ничего, сэр, только... – взволнованно воскликнула она, – только отпустите меня! Своего решения я все равно не изменю, никогда не изменю. Ах, сэр, да отпустите же меня! Если уж вы так хотите знать, почему я не хочу больше видаться с вами, извольте: потому, что я не могу любить вас. Я старалась, но не могу.

Но это наивное и искреннее признание мало помогло ей. Мистер Карсон просто не мог этого понять. Что-то под этим кроется. Он был безумно влюблен в нее. Что же делать, чем ее прельстить? И вдруг ему в голову пришла новая мысль.

– Послушай, Мэри. Нет, я не пущу тебя, пока ты меня не выслушаешь. Я горячо люблю тебя и не поверю, что ты не любишь меня – хотя бы немножко, совсем немножко. Ты не хочешь этого признавать – пусть так. Я только хочу сказать тебе, как я люблю тебя и чем я готов ради тебя пожертвовать. Ты знаешь (хотя, возможно, и не до конца отдаешь себе в этом отчет), что моему отцу и матери едва ли понравится, если я женюсь на тебе. Они так рассердятся, и столько мне придется вынести насмешек, что до сих пор я об этом и не помышлял. Мне казалось, что мы можем быть счастливы и без женитьбы. (Слова эти поразили Мэри до глубины души.) Но сейчас, если хочешь, я завтра же утром – нет, сегодня же вечером – получу разрешение и женюсь на тебе вопреки всему свету, а не откажусь от тебя. Через год-другой отец меня простит, а ты тем временем будешь окружена всей роскошью, какую только можно получить за деньги, и всеми

радостями, какие может измыслить любящий человек, чтобы сделать тебя счастливой. В конце-то концов моя мать тоже была фабричной работницей. (Это было сказано скорее себе, словно он хотел оправдать в своих глазах столь смелый шаг.) Теперь ты видишь, Мэри, что я готов... готов пожертвовать для тебя очень многим. Я предлагаю тебе даже брак, чтобы удовлетворить твое честолюбивое сердце. Неужели и теперь ты не скажешь, что любишь меня немножко, ну, совсем немножечко?

И он привлек ее к себе. Но, к его удивлению, она продолжала сопротивляться. Да, она сопротивлялась, хотя достаточно было ей пожелать – и то, о чем она мечтала многие месяцы, представляя себе, как она станет женой мистера Карсона, стало бы явью. Его речь вызвала в ней лишь одно чувство – чувство огромного облегчения.

Узнав подлинную любовь, она боялась даже думать о том, какую привязанность, какое глубокое чувство могло породить ее легкомысленное кокетство. И она осыпала себя упреками за то горе, которое могла причинить. А сейчас она почувствовала облегчение от того, что привязанность эта оказалась низменной страстью, которая не остановится даже перед тем, чтобы погубить предмет своих вожделений, – почувствовала облегчение от того, что внушенное ею чувство оказалось легкомысленным увлечением себялюбца, ни на минуту не задумывавшегося над тем, какие несчастья он мог навлечь на свою «возлюбленную», как он вероломно ее называл. Из-за такого лукавого и бездушного человека нечего казнить себя. Вот почему Мэри почувствовала облегчение.

– Я очень благодарна вам, сэр, за ваше признание. Вы, наверное, сочтете меня дурочкой, но я все время считала, что вы намерены жениться на мне, и тем не менее не могла вас любить. Я сожалела, однако, что ввела вас в заблуждение, принимая ваши ухаживания. А теперь, сэр, вот что я вам скажу: если бы даже я любила вас раньше, то разлюбила бы после того, как вы сказали, что собирались погубить меня, – ведь так следует понимать вас, если вы до этой минуты не собирались жениться на мне. Я говорила вам, что жалею о своем поведении и нижайше прошу у вас прощения. Но я говорила все это, когда еще не знала вас. А теперь я презираю вас, сэр, за то, что вы хотели погубить бедную девушку. Прощайте.

И, собрав все свои силы, она вырвалась из его объятий. Она летела как стрела, и звук ее удаляющихся шагов эхом отдавался на затихшей улице. Затем раздался смех Салли, – он оскорбил слух мистера Карсона и привел его в величайшее раздражение.

– Что вас так развеселило, Салли? – спросил он.

– Ах, сэр, прошу прощения. Нижайше прошу простить меня, как выражается Мэри, но я просто не могу не смеяться при мысли о том, как она обвела нас вокруг пальца. (Она хотела сказать: «обвела вас вокруг пальца», но вовремя изменила местоимение.)

– А вы-то, Салли, предполагали, что она может убежать?

– Конечно нет. Но раз уж вы собирались жениться на ней, почему же, осмелюсь спросить, вы сообщили ей, что раньше у вас этого и в мыслях не было? Потому-то она так и вспылила!

– Да ведь я не раз давал ей понять, что не намерен жениться на ней. Мне и в голову не приходило, что она может быть такой дурочкой и так превратно истолковать мои слова, хотя она и романтическая фантазерка. Естественно, мне хотелось показать ей, какую жертву я готов принести, через какие предрассудки готов перешагнуть, а она этого, видимо, даже не сознавала. Я не сомневаюсь, что не встречу отказа у лучших невест Манчестера, а я вот готов был жениться на бедной мастерице. Неужели вам и теперь не ясно? Неужели вы не понимаете, на какую жертву я готов был пойти, лишь бы угодить ей? И все оказалось напрасно.

Он подождал немного, но Салли молчала, и он заговорил снова:

– Отец скорее простил бы мне любую интрижку, чем такой неравный брак.

– А мне показалось, будто вы сказали, сэр, что ваша матушка была фабричной работницей, – не без ехидства заметила Салли.

– Да, да, все это так, но тогда и мой отец был немногим лучше простого рабочего. Во всяком случае, между ними не было такой разницы в положении, как между мной и Мэри.

Снова оба помолчали.

– Значит, теперь вы намерены от нее отказаться? Она ведь прямо сказала, что порвала с вами.

– Нет, я не намерен от нее отказаться, что бы вы ни говорили и что бы ни думала она. Я теперь только еще больше люблю ее – даже после этой прелестной вспышки. Она передумает – в этом можно не сомневаться. Таков уж женский нрав. Женщины ведь всерьез не отвергают поклонников, это всегда какой-то расчет. Но я не говорю, что соглашусь помириться с ней на прежних условиях.

И, обменявшись еще двумя-тремя словами, союзники расстались.

## ГЛАВА XII

### ПИТОМЕЦ СТАРУШКИ ЭЛИС

Нет, не любила я, но вот уж нет его,  
И мне не мило в жизни ничего.  
Твердила я себе: «Его словам не верь».  
Ах, если б он заговорил теперь!  
«Не он, – твердила я, – сужден тебе судьбой», –  
И изнемог рассудок бедный мой.  
У.-С. Лендор. [\[62\]](#)

Итак, Мэри была убеждена, что прогнала обоих своих поклонников. Однако те отнеслись к этому по-разному. Тот, что любил ее всем сердцем и всей душой, считал ее решение окончательным. Он не думал (хотя он-то имел полное право так думать), что женщины всерьез не отвергают поклонников. Любовь его была так велика, что он считал себя недостойным Мэри, и подобная мысль, естественно, не приходила ему в голову. Он просто считал, что «он Мэри не по душе», и, хотя не нашел для выражения этого более высокопарных слов, тем не менее он глубоко страдал. Он готов был пойти в солдаты, напиться до бесчувствия, стать преступником, но когда эти безумные мысли овладевали им, на пути к греху, словно ангел с поднятым мечом, вставало воспоминание о матери. Он был единственным сыном вдовы, и от него зависело ее дневное пропитание. А потому он не имел права бессмысленно транжирить свое здоровье и время – тот единственный капитал, которым он располагал для поддержания ее старости. И он продолжал работать, как будто совсем такой же, как раньше, но на сердце у него лежала свинцовая тяжесть.

Ну, а мистер Карсон, как мы видели, упрямо считал отказ Мэри «милым капризом». Когда она приходила в мастерскую, Салли Лидбитер обязательно совала ей в руку страстное послание и так быстро отходила, что Мэри не успевала вернуть ей записку незаметно для остальных. Мэри пришлось даже унести домой несколько таких записок. Но, прочитав одну из них, она уже решила, как поступать дальше. Теперь она не сопротивлялась, когда Салли всовывала ей в руку очередное послание, но не распечатывала их и при случае возвращала обратно, завернув в чистый

лист бумаги. Но куда больше ей досаждали постоянные встречи с упрямым поклонником на пути домой: он давно уже изучил все ее привычки, и теперь избежать его было нелегко. Поздно ли она шла или рано, она никогда не могла быть уверенной, что не встретит его. Пойдет ли она тем путем или этим – он мог неожиданно возникнуть перед ней на каком-нибудь перекрестке, когда она уже поздравляла себя с тем, что на сей раз избежала его. Словом, он едва ли мог придумать более верный способ опротиветь ей.

А Джем Уилсон больше не приходил к ним! Конечно, не для того, чтобы увидаться с ней – на это Мэри и не надеялась, – но чтобы навестить ее отца. Зачем – она сама не знала, просто надеялась, что он придумает какой-то предлог и придет, чтобы узнать, не изменила ли она своего решения. Но он ни разу не зашел. Постепенно Мэри устала ждать, терпение ее истощилось и настроение упало. Преследования одного поклонника и полное пренебрежение со стороны другого угнетали ее. Теперь она уже не могла спокойно просидеть весь вечер за шитьем, а если усилием воли и заставляла себя не вскакивать и не ходить по комнате из угла в угол, то старалась хотя бы занять себя пением, лишь бы не думать. И пела она самые веселые песни, какие только могла вспомнить. «Барбара Аллен» <sup>[63]</sup> и другие печальные баллады хороши для счастливых времен. Ей же сейчас нужно было как-то подбадривать себя, чтобы заглушить горе.

Мучилась она и из-за отца: он очень изменился и выглядел совсем больным. Однако он утверждал, что вполне здоров. Как бы поздно ни засиживалась Мэри, она знала, что не бросит шитья, пока не заработает нескольких пенсов, чтобы отец на другой день мог хотя бы раз как следует поесть (если, конечно, бедные служанки не задержат платы за починку, которую она делала за них). Однако утром, просидев допоздна накануне, она чаще всего успевала лишь забежать к заказчице, сдать работу и получить деньги. Нередко у нее не было времени на то, чтобы купить еды, и она могла только отдать деньги нетерпеливо хватавшему их отцу. Такое нетерпение объяснялось, правда, голодом, но гораздо чаще – жаждой опиума.

А в общем, он страдал от голода меньше дочери. Обед у мисс Симмондс давали в час дня, а потом Мэри нередко постилась до полуночи, когда наконец кончала работу. Но Мэри была молода и не успела еще научиться голодать.

Однажды вечером, когда она сидела за работой, распевая веселую песенку, которую лишь изредка прерывал тяжелый вздох, дверь отворилась, и в комнату ощупью вошла слепая Маргарет. Она последнее время



сопровождала своего лектора в поездке по промышленным городам Йоркшира и Ланкашира, и разлука с подругой была источником дополнительного огорчения для Мэри. Дедушка Маргарет тоже уехал, решив использовать это время для пополнения своих коллекций, и их жилище уже несколько недель было заперто.

– Ах, Маргарет, Маргарет, до чего же я рада тебя видеть! Осторожнее! Вот кресло отца. Садись же!

И Мэри снова и снова принималась целовать подругу.

– Стоило тебе появиться, Маргарет, и сразу все как-то посветлело вокруг. Благослови тебя господь! Да как же ты хорошо выглядишь!

– Доктора всегда советуют больным переменить климат, а у меня этих перемен последнее время было предостаточно.

– Да, ты стала настоящей путешественницей! Расскажи все по порядку, Маргарет. Во-первых, где ты была?

– Ну, милочка, на это нужно слишком много времени. Мне иной раз кажется, что я полсвета объездила. Была и в Болтоне, и в Бэри, и в Олдхэме, и в Галифаксе, и... Кстати, Мэри, догадайся, кого я там видела? Но, может, ты уже знаешь, тогда нечего и гадать.

– Нет, я ничего не знаю. Скажи, Маргарет, а то у меня терпения нет ждать да гадать.

– Так вот: как-то вечером сын хозяйки, у которой я жила, провожал меня туда, где мне предстояло петь, и вдруг слышу – впереди кто-то кашляет. Так кашляет Джем Уилсон, подумала я. Не может быть, чтобы я ошиблась. Потом человек чихнул и снова закашлялся – тут уж я перестала сомневаться. Но все-таки помедлила, прежде чем заговорить: а вдруг это чужой – что он обомне подумает? Я знаю, правда, что если слепой и спросит лишнее, никто его за это не осудит. А потому я и спросила: «Джем Уилсон, это вы?» И, конечно, это был он. Ты знала, Мэри, что он в Галифаксе?

– Нет, – печально и еле слышно ответила Мэри, ибо Галифакс для нее был все равно что другой конец света, недостижимый ни для смиренных, полных раскаяния взглядов, ни для других подобных же знаков любви.

– Ну, он там. Устанавливает по поручению хозяина какую-то машину на одном из тамошних заводов. Он там на хорошем счету – у него под началом четверо или пятеро рабочих. Мы с ним встречались раза два или три, и он все рассказал мне про свое изобретение, которое делает ненужным какой-то там рычаг или что-то еще. Хозяин купил у него это изобретение и взял на него патент, и Джем теперь может жить как настоящий джентльмен на те деньги, которые заплатил ему хозяин. Но ты,

конечно, все это уже слышала, Мэри!

Нет, она ничего не слышала.

– Я-то думала, что это произошло до того, как он уехал из Манчестера, и тогда ты, конечно, все бы знала. Но, может, он договорился обо всем с хозяином уже в Галифаксе. Словом, он получил двести или триста фунтов за свое изобретение. Но что с тобой, Мэри? Почему ты такая грустная? Не поссорилась же ты с Джемом?

Тут Мэри разрыдалась: силы ее были подорваны, она была глубоко несчастна, и ей так хотелось облегчить душу и рассказать о своем горе! Но она не могла заставить себя признаться в том, что собственной глупостью и тщеславием причинила себе столько страданий. Она надеялась, что никто не узнает об этом, – ей страшно было даже подумать о том, что это может произойти.

– Ах, Маргарет, понимаешь, как-то вечером Джем зашел к нам, а я была усталая и злая. О господи, я готова откусить себе язык, как вспомню, что произошло. Он сказал, что любит меня, а мне казалось, что я его не люблю, и я так ему и сказала. И он поверил мне, Маргарет, и ушел -очень сердитый и грустный. А сейчас я готова сделать что угодно... что угодно бы сделала... – Рыдания не дали ей закончить фразу.

Маргарет было очень жаль подругу, но в душе она не сомневалась, что это лишь временная размолвка.

– Скажи, Маргарет, – снова заговорила Мэри, отнимая от глаз передник и с живейшим волнением глядя на подругу, – что мне делать, чтобы вернуть его? Может, написать?

– Нет, – сказала подруга, – этого делать не надо. Мужчины такие чудные: они любят сами ухаживать.

– Но я вовсе не собиралась признаваться ему в любви! – не без возмущения воскликнула Мэри.

– Своим письмом ты дашь ему понять, что раскаиваешься и будешь рада, если он вернется к тебе. По-моему, он должен догадаться об этом сам.

– Но он не станет и пытаться, – вздохнув, объявила Мэри. – Как же он догадается, когда он в Галифаксе?

– Была бы охота, а способ найдется, это уж поверь мне. А тебе, Мэри, он не нужен, если такой охоты у него не появится! Нет, моя дорогая, – продолжала она уже не прежним строгим тоном, каким часто говорят люди благоразумные, а нежным и мягким, который у такого человека звучит особенно чарующе, – ты должна набраться терпения и ждать. Поверь, все кончится хорошо, намного лучше, чем если ты поспешишь.

– Но набраться терпения так трудно! – жалобно заметила Мэри.

– Да, моя дорогая. Терпение, по-моему, самый тяжкий труд, какой только выпадает на долю нас всех. Ждать гораздо труднее, чем делать. Я узнала это из-за моих глаз, а многие узнают, когда им приходится ухаживать за больными. Но это одно из испытаний, которые посылает нам бог. – И, помолчав, добавила: – Ты давно не навещала его матери?

– Давно. Уже несколько недель будет. Когда я была у нее последний раз, она так со мной обошлась, что мне подумалось: не хочет она, чтобы я к ней ходила.

– Ну, а я на твоём месте пошла бы. Джем узнает, что ты была там, и это принесет тебе гораздо больше пользы, чем письмо, которое к тому же – вот увидишь – тебе совсем нелегко будет написать. Ведь очень трудно сделать так, чтобы в нем было сказано и не слишком много и не слишком мало. Но мне пора: дедушка уже дома, и я не хочу заставлять его долго ждать – ведь это наш первый вечер вместе после моего возвращения.

Она поднялась со стула, но медлила с прощанием.

– Мэри, – сказала она немного погодя. – Я хочу сказать тебе еще кое-что, но не знаю, как лучше начать. Видишь ли, мы с дедушкой знаем, что такое плохие времена, и мы знаем, что отец твой сейчас без работы, а я получаю куда больше денег, чем мне надо. Так вот, душенька: я хочу, чтобы ты взяла у меня этот соверен. А вернешь мне, когда настанут лучшие времена.

В глазах Маргарет, когда она произносила это, стояли слезы.

– Милая Маргарет, не так уж сильно мы сейчас нуждаемся. – Но тут Мэри вспомнила об отце, о том, как он плохо выглядит, о том, что он ест всего раз в день. – И все же, дорогая, если это не обременительно для тебя... Я буду день и ночь работать, чтобы расплатиться с тобой... А дедушка не рассердится?

– Ну что ты, Мэри! Он-то это и надумал, а не я. И, пожалуйста, не торопись отдавать, потому что дома денег у нас осталось гораздо больше, чем я даю тебе. Трудно, конечно, быть слепой, зато с деньгами стало намного легче. Да и заработок это приятный – я так люблю петь.

– Жаль, что я этого не умею, – заметила Мэри, глядя на соверен.

– Один человек одним одарен, а другой – другим. Сколько раз, когда я еще видела, я завидовала твоей красоте, Мэри! Мы ведь точно дети – всегда хотим того, чего не имеем. А теперь позволь мне сказать тебе еще одно. Помни: когда у вас будет туго с деньгами, мы очень обидимся, если ты нам не скажешь. Ну, до свидания.

И Маргарет, невзирая на свою слепоту, стремительно выбежала из комнаты, горя желанием поскорее вернуться к деду и стремясь избежать

изъявлений благодарности со стороны Мэри.

Разговор с подругой во многом помог Мэри. Он убедил ее в необходимости запастись терпением и надеждой; убедил в том, что Маргарет питает к ней искреннюю дружбу, и, наконец, хотя в смысле утешения это играло наименьшую роль (столь малую ценность представляют собою золото и серебро в сравнении с любовью, одаривать которой может каждый), она сжимала сейчас в руке сверток. Сколько можно купить на него! Прежде всего она решила теперь же приготовить вкусный ужин отцу и без долгих раздумий отправилась за покупками в надежде, что, быть может, еще не все продуктовые лавки закрыты, несмотря на поздний час.

В тот вечер в жилище Бартонов было необычно светло и тепло. Когда отец с дочерью сели за стол, стоявший на нем ужин показался им даже чересчур обильным. Ведь они так давно не ели досыта.

Недаром ланкаширцы говорят: «Еда делает храбреца». На другой день Мэри выбрала время и, следуя совету Маргарет, отправилась к миссис Уилсон. Она застала ее одну и встретила гораздо более радушный прием, чем в прошлый раз. Впрочем, миссис Уилсон поспешила сообщить, что Элис нет дома.

– Отправилась на почту, да, наверное, зря. Хочет узнать, нет ли ей письма от ее приемного сына Уилла Уилсона, матроса.

– А почему она решила, что ей должно быть письмо? – поинтересовалась Мэри.

– Да, видишь ли, у нас тут сосед ездил в Ливерпуль и сказал, будто туда пришел корабль Уилла. Ну, а в прошлый раз, когда Уилл был в Ливерпуле, он говорил Элис, что непременно приехал бы повидаться с ней, но корабль стоял там всего неделю и у матросов было очень много работы. Поэтому Элис и думает, что уж теперь-то он обязательно приедет, и, как услышит какой шум на улице, прикладывает руку к уху – все думает, может, он. А сегодня вбила себе в голову, что надо ей сходить на почту и спросить, нет ли письма на ее старый адрес – там, неподалеку от вас. Как я ее ни отговаривала – ведь глухая она, да и слепнуть стала: в пяти шагах от себя ничего не видит, – куда там, все равно пошла, бедная старуха.

– А я и не знала, что у нее глаза стали плохи: она, по-моему, хорошо видела, когда жила с нами по соседству.

– Это верно, да только последнее время они у нее совсем ослабли. А что же ты про Джема ничего не спросишь? – заметила миссис Уилсон, которой не терпелось заговорить о том, что ее интересовало больше всего.

– А ведь и в самом деле, – заметила Мэри, залившись краской. – Как

же он поживает?

– Не могу тебе сказать, как он сейчас, потому что он ведь теперь в Галифаксе, но в последнем письме, которое он прислал нам во вторник, он писал, что живет очень хорошо. Об его удаче-то ты хоть слышала?

К великому огорчению миссис Уилсон, Мэри призналась, что слышала о том, сколько хозяин заплатил Джему за его изобретение.

– Ну, что же. А Маргарет сказала тебе, что он с этими деньгами сделал? Да только Джем, наверно, и словом ей об этом не обмолвился. А сам, как получил эти деньги, так первым долгом попросил хозяина помочь ему купить нам с Элис ренту. У Элис рента пожизненная, но она, бедняжка, по-моему, недолго протянет. Больно она последнее время сдала. Так что, Мэри, мы с ней теперь богатые. Говорят, получать мы будем по двадцать фунтов в год. Жалко, что близнецов нет в живых, – господи, упокой их души, – заметила она, и на глазах ее показались слезы. – Они бы и в школу хорошую могли ходить, и еды бы у них было вдоволь. Правда, им на небе, наверно, лучше, но мне так хотелось бы повидать их.

Услышав об этом новом доказательстве доброты Джема, Мэри почувствовала еще большую любовь к нему, но сказать об этом она не могла. Она нежно пожала руку Джейн Уилсон, а затем перевела разговор на Уилла, ее племянника-моряка. Джейн было неприятно такое равнодушие Мэри к Джему и его достоинствам, но достаток сделал ее мягче, и она не обиделась на девушку.

– Да, по-моему, он был в Африке или где-то там еще. Парень он красивый, но волосы у Джема лучше. А у него уж больно они рыжие. Когда он был тут в прошлый раз, он прислал Элис (может, она говорила тебе) пять фунтов, но это, конечно, пустяки в сравнении с рентой.

– Но не всем же удастся сразу получить сотню или две, – заметила Мэри.

– Да уж что правда, то правда. Немного наберется таких, как Джем. А вот и Элис идет! – воскликнула она, услышав шаги, и поспешила открыть дверь невестке.

Элис вошла запыленная, грустная и усталая. Главное, конечно, что грустная, так как ни пыль, ни усталость не были бы замечены ни ею, ни остальными.

– Писем, значит, нет! – заключила миссис Уилсон.

– Нет, ни строчки. Придется подождать еще денек, – может, мальчик даст знать о себе. А ждать – такая мука! – сказала Элис.

Мэри вспомнились слова Маргарет: каждому приходится в свое время чего-то ждать.

– Если бы я только знала, что он жив и не утонул! – воскликнула Элис.  
– А если б знала, что он утонул, стала бы молиться за него, сказала бы: «Господи, да будет воля твоя». А вот ждать – очень тяжело.

– Всем нам тяжело дается терпение, – заметила Мэри. – Я это по себе знаю, но я никогда не думала, что такому хорошему человеку, как вам, Элис, это тоже трудно. И если у меня не хватит терпения, я больше не буду презирать себя, раз и вам это нелегко.

У Мэри и в мыслях не было упрекать Элис, и та понимала это, тем не менее она сказала:

– В таком случае, милочка, прошу прощения у тебя и у господина за то, что поколебала твою веру, показав, как слаба моя. Полжизни мы проводим в ожидании, и уж мне-то, благодетельствованной столькими щедротами, никак не пристало ворчать. Но ничего – я постараюсь наложить узду на язык мой и мысли.

Она произнесла все это смиренно и кротко, точно считала себя очень виноватой.

– Да хватит тебе, Элис, – вмешалась миссис Уилсон, – нельзя так терзать себя из-за того, что кто-то немножко не то сказал. Видишь, я поставила чайник и вмиг приготовлю сейчас вам с Мэри по чашечке чайку.

И она засуетилась по комнате: принесла внушительный каравай хлеба, посадила Мэри делать бутерброды, а сама занялась чайной посудой, позвякивание которой всегда веселит душу.

Как раз когда они садились за стол, послышался стук в дверь, а затем, не дожидаясь разрешения, кто-то поднял щеколду, и мужской голос спросил, здесь ли живет Джордж Уилсон.

Миссис Уилсон принялась печальным голосом объяснять, что Джордж Уилсон действительно жил здесь, но неожиданно упал и умер, как вдруг Элис, движимая инстинктом любящей души (ибо в обычных и повседневных делах из-за слабого зрения и слуха она узнавала обо всем намного позже других), поднялась и заковыляла к двери.

– Дитяtko мое, родное мое дитяtko! – воскликнула она и повисла на шее у Уилла Уилсона.

Можете представить себе, какая тут поднялась радостная суеда: как миссис Уилсон одновременно и смеялась, и говорила, и плакала, если только это возможно, и как Мэри с удивлением и удовольствием смотрела на товарища своих детских игр, превратившегося в смелого, загорелого, кудрявого моряка, с открытым, доброжелательным и приветливым лицом.

Но радость Элис от свидания со своим приемным сыном была совсем необычной. Она молчала, потому что не могла говорить, – лишь слезы

текли по ее морщинистым щекам, затуманивая стекла роговых очков, которые она надела, чтобы лучше разглядеть любимое лицо. Но зрение у нее было слабое, да к тому же глаза все время застилало слезами, и, отказавшись от намерения изучить его лицо с помощью этого чувства, она прибегла к другому. Она провела своими влажными от слез, старческими, дрожавшими от волнения руками по его мужественному лицу, покорно склонившемуся к ней для этого необычного осмотра. Вот теперь душа ее была удовлетворена.

После чая, чувствуя, что им надо многое друг другу сказать и что при таком разговоре мешают даже столь близкие друзья, как она, Мэри собралась уходить. Это вывело Элис из мечтательного состояния, в которое она погрузилась от избытка радости, и она заторопилась проводить гостью до дверей. Выйдя с ней за порог и придерживая рукой щеколду, она положила другую руку на плечо Мэри и сказала – это были чуть ли не первые ее слова со времени приезда племянника:

– Милочка, я никогда не прощу себе, если мои глупые слова повредят тебе. Ты видела, какое счастье послал мне господь. Ах, Мэри, если я оказалась Фомой Неверующим, я не хочу, чтобы это ослабило твою веру. Положись на господа и терпеливо жди, каковы бы ни были твои горести.

## ГЛАВА XIII

### РАССКАЗЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Русалка у моря погожим днем  
Пела песню простую,  
Расчесывая гребнем золотым  
Кудрей волну золотую.  
Коль вправду ты хочешь русалку найти,  
То, забыв про радость и горе,  
Ты должен весь день за солнцем идти  
И кануть с ним вместе в море.  
*У.- С. Лендор.*

Прошло дня четыре или пять после событий, описанных в предыдущей главе, и вот однажды вечером, когда Мэри стояла в задумчивости у окна, она увидела, что во двор вошел Уилл Уилсон и быстро направился к ее двери. Она была рада ему, потому что он всегда был ее другом, хотя из-за схожести их характеров не мог стать более дорогим и близким ее сердцу. Мэри открыла ему дверь, – он радостно с ней поздоровался, и она так же радостно ответила на его приветствие.

– Живо, Мэри! Надевай шляпку и шаль, или как там называется ваш женский такелаж для выхода на улицу. Меня прислали за тобой, а я даром времени не теряю, когда должен выполнять приказание.

– Куда же мы пойдем? – спросила Мэри, а у самой сердце так и подпрыгнуло при мысли о том, кто, возможно, ждет ее.

– Да тут недалеко, – ответил он. – Всего лишь за угол – к Джобу Легу. Тетушка непременно хотела, чтобы я пошел с ней к ее новым друзьям, а потом мы собирались навестить тебя с отцом, но старик Лег, видно, решил устроить настоящий праздник и приглашает вас к себе. Где же твой отец? Мне хотелось повидать его. А потом – его тоже там ждут.

– Он куда-то ушел, но я попрошу соседку сказать ему, что я у Джоба Лега и чтобы он приходил туда, если, конечно, не слишком поздно вернется. – Помедлив немного, она спросила: – А у Джоба будет еще кто-нибудь?

– Нет. Тетя Джейн отказалась пойти из-за какой-то своей причуды. А



Джем... Понять не могу, что вы все с ним сделали: он ходит совсем убитый. Конечно, ему, бедняге, немало пришлось вынести горя! Но давно пора ему оправиться, а не ходить, повесив нос, как девчонка.

– Так, значит, он приехал из Галифакса? – спросила Мэри.

– Тело-то его приехало, а сердце он, видно, потерял там. Да и язык тоже, как говорят детям, если они молчат, воды в рот набравши. Я стараюсь немножко его расшевелить, и, по-моему, он рад мне, но все равно вид у него унылый-преунылый. Как раз вчера он водил меня к себе на завод, и всю дорогу мы молчали, точно два квакера, на которых еще не снизошел святой дух. <sup>[64]</sup> А уж завод этот – вот где недолго с ума сойти! – грохот такой, что оглохнуть можно, и темно, как в яме. Есть там, конечно, одна или две стоящих вещи – мехи, например, или, вернее, буря, которую они называют мехами. Я мог бы простоять возле них целый день, и, если б мне плавать на этом кораблике, я бы только в раздувальщики пошел, если у них такие есть. Но Джема и это не развлекло: он стоял насупившись, как судья, и даже не улыбнулся, когда у меня из рук ветром вырвало шапку. И к еде он почти не притрагивается, что очень огорчает тетю. Да ну же, Мэри! Неужто ты до сих пор не готова?

А Мэри так и не поняла, увидит она Джема у Джоба Лега или нет, но им открыли дверь, и она сразу увидела и почувствовала, что его там нет. Значит, придется протосковать весь вечер – так, во всяком случае, она думала первые пять минут, но вскоре забыла о своем разочаровании, разделив общее веселье встречи старых друзей, тем более приятной, что у всех, кроме нее, была какая-то своя радость. Маргарет, которая не могла сидеть без дела, вязала, повернув лицо к присутствующим. Элис кротко и терпеливо сидела на своем месте, глядя перед собой добрыми затуманенными глазами, пытаясь что-то увидеть и услышать, но не жалуясь, если ей это не удавалось; в глубине души она благословляла бога за ниспосланное ей счастье, ибо радость от сознания, что ее племянник, ее дитя находится с нею, затмевала потерю зрения и слуха.

Джоб с большим успехом изображал из себя одновременно и хозяина и хозяйку, так как, поборов свою обычную рассеянность, он взял на себя многие мелкие заботы Маргарет. Суется по комнате, он беседовал с молодым моряком: ему хотелось узнать как можно больше подробностей о флоре и фауне тех стран, где тот побывал.

– Ну, если вас интересуют всякие гусеницы, мухи и жуки, то нигде их в таком количестве нет, как в Сьерра-Леоне <sup>[65]</sup>. Я бы с радостью с вами поделился теми, что достались на мою долю. Хорошенького понемножку, а

мы их и с чаем пили и чуть ли не ели. Вот уж никогда бы не подумал, что кому-то могут понадобиться эти жирные зеленые твари, а то мог бы привезти вам их тысячи. Вам, наверно, хватило бы тех, что мы вылавливали в тарелке с гороховым супом, а для нас этого частенько многовато было.

– Я бы дорого дал, чтоб иметь хоть несколько штук, – заметил Джоб.

– Я, конечно, знал, что есть у нас люди, которые любят всякие заморские диковинки и чудеса, но уж никогда не думал, что кому-то могут пригодиться эти скользкие мерзкие твари. Вот русалок я высматривал, потому как это в самом деле диковинка.

– Вы могли бы искать их до скончания века, – презрительно пробормотал себе под нос Джоб, однако моряк расслышал его слова.

– В некоторых широтах, капитан, на это не требуется так уж много времени. У нас тут море, конечно, слишком холодное для русалок – ведь женщины здесь не ходят голые до пояса. Но я был в таких краях, где на суше жарко даже в муслине, а вода в море словно парное молоко, и хоть самому мне ни разу не посчастливилось увидеть в тех широтах русалку, я знаю людей, которые их видели.

– Расскажите нам об этом! – вскричала Мэри.

– Фу, какая ерунда! – заметил Джоб-естествоиспытатель.

Оба эти восклицания побудили Уилла продолжить свой рассказ. Откуда человеку, не отходившему от дома более чем на несколько миль, знать о тайнах морских глубин! Как же в таком случае он смеет не верить ему, моряку!

– Так вот, Джек Харрис, третий помощник капитана, в наше последнее плавание много нам рассказывал о них. Однажды попал он в штиль у острова Чатэм (остров этот в Тихом океане находится, в теплых широтах, где и русалкам, и акулам, и прочим чудищам сущее приволье). Ну и вот, взяли ребята баркас и отправились на остров – посмотреть, что он собой представляет. Подъехали они, слышат: кто-то пыхтит, точно поднялся со дна, чтоб набраться воздуха. Никогда не слышали, как дышит водолаз? Нет? Но, уж конечно, слышали, как дышат люди, больные астмой. Вот такой звук они и услышали. Осмотрелись они, видят – сидит на скале русалка и греется на солнышке. Вода ведь всегда теплее становится в непогоду, а поскольку тогда был штиль, ей, наверно, стало холодно, вот она и выплыла погреться.

– На что же она была похожа? – с трудом переводя дух, спросила Мэри.

Джоб взял с каминной доски трубку и нарочито громко запыхтел,

выпуская клубы дыма, как бы желая показать, что вся эта история не представляет никакого интереса.

– Джек говорил, что она была писаная красавица – не хуже восковых дам в окне цирюльника, с той только разницей, Мэри, что волосы у нее были ярко-зеленые, как трава.

– По-моему, это должно быть не очень красиво, – нерешительно заметила Мэри, словно не отваживаясь усомниться хоть в одном достоинстве общепризнанной красавицы.

– Нет, очень красиво, только к этому надо привыкнуть. Когда я вижу землю, мне, например, всегда кажется, что нет ничего прекраснее зеленой травы. Как бы то ни было, у русалки точно были зеленые волосы, и она, видно, гордилась ими – распустила во всю длину и расчесывала, когда ребята увидели ее. Все они решили тогда, что русалка – штука стоящая и что за нее можно взять, пожалуй, не меньше, чем за кита (а они все были китобоями). Есть ведь люди, которые очень ценят русалок, не то что некоторые.

Последнее было сказано в адрес Джоба, на что тот ответил громким пыхтением и звучным сплевыванием.

– Ну так вот, повернули они к ней, решив поймать ее. А она расчесывает свои прекрасные волосы и манит их, а в другой руке держит зеркальце.

– Сколько же у нее было рук? – осведомился Джоб.

– Две, конечно, как у всякой женщины, – возмущенно ответил Уилл.

– А мне показалось, что вы сказали, будто она одной рукой манила моряков, другой расчесывала волосы, а третьей держала зеркальце, – как ни в чем не бывало пояснил Джоб.

– Вот уж ничего подобного. А если даже я так и сказал, значит она делала это по очереди, всякому ясно, кроме, конечно... (тут он буркнул что-то неразборчивое). Так вот, Мэри, – повернувшись к девушке и намеренно обращаясь только к ней, продолжал он, – как увидела она, что они подъехали совсем близко, то ли испугалась охотничьих ружей, которые они прихватили с собой, чтобы пострелять на острове, то ли оказалась этаким шельмой, которая сама не знает, чего хочет (я-то считаю, что так оно и было, потому как она ведь наполовину женщина), но как подошли они к скале, где она сидела, на расстояние двух весел, она прыг в воду – только ее и видели, один рыбий хвост мелькнул и тоже исчез.

– И она им больше не показывалась? – опросила Мэри.

– Так ясно – никогда. Один только раз матрос, стоявший ночью на вахте, говорил, будто видел, как она плавала вокруг корабля. Она протянула

ему свое зеркальце, и он увидел в нем очень ясно свой домик близ Эйбера в Уэльсе (там у него жена живет), а на пороге увидел жену – она стояла, прикрыв глаза рукой, точно вглядывалась в даль, не идет ли он. Но Джек Харрис сказал, что ему нельзя верить, потому как он любит выдумывать, да и вообще какой-то тронутый, вечно по дому скучает.

– Жалко, что ее не поймали, – задумчиво произнесла Мэри.

– Ее-то не поймали, но в руках у них осталась одна ее вещица, – заметил Уилл. – Эту вещицу я не раз своими собственными глазами видел, и какое еще нужно доказательство, что они правду говорили, уж не знаю.

– Что же это была за вещица? – спросила Маргарет, которой почему-то очень захотелось, чтобы дедушка поверил в эту русалку.

– В спешке она забыла на скале свой гребень, и один из матросов увидел его. Ну и вот, они решили, что лучше гребень, чем ничего, подплыли к скале и забрали его. Теперь он у Джека Харриса на борту «Джона Кроппера». Я сам видел, как он им каждое воскресенье утром причесывается.

– Какой же он с виду? – нетерпеливо осведомилась Мэри. Воображение уже рисовало ей коралловый гребень, усыпанный жемчугом.

– Если б с ним не была связана такая необыкновенная история, ты бы ни за что не отличила его от простого частого гребешка.

– Куда уж там, – с усмешкой заметил Джоб Лег.

Моряк закусил губу, чтобы удержаться и не нагрубить старику. Маргарет было очень не по себе: она хорошо знала своего деда и боялась даже подумать о том, какое еще он может отпустить язвительное замечание в адрес молодого матроса.

А Мэри столь живо интересовали чудеса морских глубин, что она даже не заметила, с каким недоверием Джоб Лег отнесся к рассказу Уилсона о русалке. И когда обиженный Уилл умолк, решив за весь вечер не раскрывать больше рта, она поспешно взмолилась:

– Ах, Уилл, расскажи нам, пожалуйста, еще что-нибудь из того, что ты слышал и видел на кораблях.

– Зачем же, Мэри, если люди не верят моим рассказам. Я своими глазами видел такое, от чего некоторые сразу начнут фыркать и плевать, точно я младенец, которого можно этим испугать. Но тебе, Мэри, – и он подчеркнул «тебе», – я расскажу про разные морские чудеса, потому что ты не умничаешь и веришь мне. Я, к примеру, видел летучую рыбу.

Мэри была поражена. Про русалок она слыхала и даже видела их на вывесках гостиниц, но о летающих рыбах ей не приходилось слышать ни разу. Другое дело – Джоб. Он вынул изо рта трубку и, кивнув в знак

согласия, сказал:

– Да, молодой человек, вот теперь вы говорите правду.

– Ах, значит, это, почтеннейший, пришлось вам по вкусу. Вы верите мне, когда я говорю, что видел диковинную полурыбу-полуптицу, и не верите, когда я говорю, что есть такие чудища, как русалки – полурыбы-полуженщины. Мне, к примеру, одно кажется ничуть не диковиннее другого.

– Но вы же сами не видели русалки, – мягко вставила Маргарет.

Однако Уилл Уилсон придерживался девиза: «Любишь меня, люби мою собаку», слегка видоизменив его в «Веришь мне, верь Джеку Харрису», а потому замечание Маргарет отнюдь его не успокоило.

– Это *Exocetus* из семейства *Scombresocidae*, [\[66\]](#) – пояснил Джоб, чрезвычайно заинтересовавшись сообщением моряка.

– Ну вот, конечно! Вы, видно, из тех, кому нужно всякую тварь назвать по-ученому, только тогда он ее признает. Словом, приукрась их, и вы их признаете, а назови попросту, по-человечески – вы о них будто и не слыхали никогда. Я таких, как вы, много видывал, и знай я, что вы за птица, непременно окрестил бы русалку бедного Джека каким-нибудь мудреным именем. «Русаликус Джек Харрисенсис» – вполне бы сошло. А что, капитан, существуют, по-вашему, русаликусы? – осведомился Уилл, пришедший, как это часто случается, в восторг от собственной шутки.

– Может, для кого и существуют, но не для меня! А мне расскажите-ка лучше...

– Что ж, – согласился Уилл, довольный, что наконец-то старик ему поверил. – Было это в последнее наше плавание, и находились мы тогда на расстоянии дня пути от Мадейры, как вдруг один наш моряк...

– Надеюсь, не Джек Харрис, – пробормотал Джоб.

– ...кликнул меня, – продолжал Уилл, не обращая внимания на эту реплику, – и показал мне – как вы ее там называете, а по-моему, летучую рыбу. Она футов на двадцать выпрыгнула из воды и пролетела этак ярдов сто. Так вот, почтеннейший, я одну такую высушил и, если хотите, могу вам ее подарить – вот только, – уже тише добавил он, – поверили бы вы мне насчет русаликуса.

Если б моряк сказал, что отдаст летучую рыбу лишь при условии, что Джоб Лег поверит истории с русалкой, я уверена, что, при всей своей искренности, старик сделал бы вид, будто поверил, – так ему хотелось получить для своей коллекции этот экземпляр. И в порыве искренней благодарности он так крепко пожал обе руки моряка, что совершенно покори́л его, но при этом немало озадачил бедняжку Элис, которая, однако,

радостно улыбнулась, догадавшись, что это – выражение добрых чувств к ее племяннику.

Джобу хотелось выразить свою признательность как-то ощутимее, но он не знал, как лучше это сделать. Он опасался, что молодой человек не оценит должным образом его подарок, если он отдаст ему второй экземпляр любого из имеющихся у него представителей отряда Araneides или даже большого американского Mygale [\[67\]](#) – одного из самых ценных его сокровищ, а он с радостью подарил бы любой из имевшихся у него вторых экземпляров тому, кто собирался дать ему настоящего высушенного Eхосetus. Чем же его порадовать? Надо попросить Маргарет спеть. Не только ведь обожающий ее дед чрезвычайно высокого мнения о ее пении. И вот Маргарет запела одну из своих чудесных старинных песен. Она не знала ничего современного (за что ее слушатели должны были бы быть ей только благодарны) и запела одну из баллад, которые выучила, когда сопровождала лектора в его поездке.

Мэри забавлялась, наблюдая за молодым моряком, который сидел как зачарованный, раскрыв глаза и рот, стараясь не пропустить ни одного звука. Он даже не мигал, словно боялся в этот краткий миг потерять какую-то частицу дивной музыки, наполнявшей комнату. И тут Мэри подумала, что маленькая некрасивая Маргарет, чинная и рассудительная, пожалуй, может покорить сердце веселого и смелого красавца Уилла Уилсона.

Ну, а Джоб довольно быстро переменял мнение о своем госте. Этому, конечно, немало помогла летучая рыба, но еще больше – его нескрываемое восхищение пением Маргарет.

Забавно было наблюдать, как эти двое, которые всего час тому назад обменивались колкостями, сейчас изощрялись в любезностях. Уилл, переведя дух после пения Маргарет (а вернее, испустив долгий глубокий вздох восхищения), тотчас подсел к Джобу и несколько неуверенно спросил:

- А хотите живую мэнскую кошку, капитан?
- Что-что? – спросил Джоб.
- Да не знаю я, как ее по-красивому зовут, – смиренно признался Уилл.
- А мы их называем просто мэнскими кошками. Ну, словом, это такие кошки без хвоста.

Но Джоб, несмотря на все свои познания в естественной истории, ни разу не слышал о таких животных, и Уилл продолжал:

– Видите ли, прежде чем отправиться в плаванье, я хочу съездить к друзьям моей покойной матушки на остров Мэн и, если хотите, буду рад привезти вам тамошнюю кошку. Они такие же диковинные, как летучие

рыбы или... – но следующее слово он поспешил проглотить. – Особенно чудно они выглядят, когда гуляют по крыше на фоне неба. Обыкновенная кошка в таких случаях всегда задирает кверху хвост и балансирует им, точно канатный плясун. А у этих кошек хвоста нет, и поднять-то им нечего. Многим это почему-то очень нравится. Так что, если позволите, я привезу одну такую кошку для мисс. – И он кивнул на Маргарет.

Джоб с радостью согласился, горя желанием взглянуть на бесхвостое творение природы.

– А когда вы отплываете? – поинтересовалась Мэри.

– Да точно сам не знаю. Говорят, мы теперь поплывем в Америку. Один мой товарищ обещал сообщить мне о дне отплытия, когда все будет решено. А я до этого непременно должен съездить на остров Мэн. Когда я прошлый раз был в Англии, я обещал дяде, что в следующий раз съезжу туда. Я в любой день могу поднять флаг, так что, Мэри, пользуйтесь моим присутствием, пока я здесь.

Джоб поинтересовался, бывал ли он раньше в Америке.

– Бывал ли? Конечно, бывал – и в Северной и в Южной! На этот раз мы собираемся в Северную, в «страну янки», как мы ее называем, где живет дядя Сэм.

– Это кто такой? – переспросила Мэри.

– Это просто у моряков такое присловье. А направляемся мы в Бостон, U. S., а это значит Uncle Sam – «дядя Сэм». <sup>[68]</sup>

Мэри ничего не поняла из объяснения Уилла и, отойдя от него, подсела к Элис, которая могла принимать участие в разговоре, лишь когда собеседник обращался непосредственно к ней. Она терпеливо просидела молча большую часть вечера и теперь приветствовала Мэри тихой улыбкой.

– А где же твой отец? – спросила она.

– Должно быть, в своем союзе! Он проводит там почти все вечера.

Элис покачала головой, но было ли это признаком того, что она не расслышала ответа, или того, что она не одобряет услышанное, Мэри так и не поняла. Она сидела и молча смотрела на Элис, с сожалением вспоминая о том, какими ясными и живыми были когда-то эти затуманенные, словно подернутые пленкой глаза. И Элис, словно уловив мысли Мэри, повернулась к ней и сказала:

– Ты меня жалеешь, душенька! Не надо, Мэри. Я счастлива, как дитя. Временами мне даже кажется, что я и в самом деле ребенок, которого господь убаюкивает, готовя к долгому сну. Когда я была няней, хозяйка всегда наказывала мне говорить шепотом и затенять комнату, чтобы малыш мог уснуть. А теперь и мне все звуки кажутся приглушенными и далекими,

а земля наша матушка словно покрыта черной пеленой, и я понимаю, что это отец наш небесный убаюкивает меня. Очень я довольна своей судьбой, поэтому не надо обо мне печалиться. Мне в жизни выпали на долю почти все радости, каких я могла пожелать.

Мэри вспомнила о том, как долго мечтала Элис побывать у себя на родине и сколько раз ей пришлось откладывать исполнение своего желания, которое теперь уже едва ли когда-либо осуществится. А если бы оно и осуществилось, то разве об этом мечтала Элис! Такая поездка была бы насмешкой судьбы над ослепшей и оглохшей старушкой.

Вечер быстро пришел к концу. За скромным веселым ужином последовало шумное оживленное прощание, и Мэри снова очутилась в тишине и одиночестве своего мрачного жилища. Отец еще не вернулся, огонь в очаге потух, на комод лежала нетронутая работа, которую Мэри предполагала за вечер сделать. Однако она не жалела о приятно проведенных часах. По крайней мере, они хоть ненадолго отвлекли ее от тяжелых мыслей о наступивших суровых временах, когда вокруг одно лишь горе да нужда; об отце, чье похудевшее, изменившееся лицо яснее ясного говорило о подорванном здоровье и ожесточившемся сердце, о завтрашнем дне и о многих грядущих днях, которые ей предстоит провести в душной мастерской, где ничто не нарушает однообразия работы и где Салли Лидбитер шепчет ей на ухо то, чего она слушать не хочет, и о том, с каким страхом, стоя на пороге мастерской мисс Симмондс, она, словно затравленный зверек, оглядывает улицу, проверяя, нет ли поблизости ее назойливого поклонника, который с удивительным упорством продолжает подстерегать ее и который в последнее время стал и вовсе ей ненавистен, так как насильно задерживал ее на улице и заставлял себя выслушивать, нимало не заботясь о том, что все это происходит на глазах у прохожих и любой из них может начать рассказывать об этом. А какой это будет ужас, если такая сплетня достигнет ушей ее отца! Но еще страшнее, если она достигнет ушей Джема Уилсона. И все эти беды она навлекла на себя своим легкомысленным кокетством! С каким отвращением вспоминала она теперь о жарком летнем вечере, когда, устав от шитья, она медленно шла домой и впервые позволила себе прислушаться к голосу соблазнителя.

А Джем Уилсон? Ах, Джем, Джем, почему же ты не идешь – ведь Мэри так хотелось бы одарить тебя робким взглядом и словами любви, чтобы искупить свой необдуманный и поспешный отказ. Но ты столь же поспешно счел его окончательным, и теперь вы оба горько из-за него страдаете. Но день проходил за днем, и терпение Мэри ничем не вознаграждалось. Ее тоску лучше всего выразили бы стоны, оглашавшие



уединенную усадьбу:

Но где же он?

Нет сил терпеть.

Где он? Я так устала.

Ах, если б умереть. [\[69\]](#)

## ГЛАВА XIV

### ВСТРЕЧА ДЖЕМА С НЕСЧАСТНОЙ ЭСТЕР

Познай причины, ты, вершащий суд!  
Вот дерево; цветущее недавно,  
Сейчас оно засохло и гниет.  
А почему? Немного дней назад  
Соседний дуб, что сплелся с ним корнями,  
Упал, все корни вывернув наружу.  
Мы вновь землей их бережно закрыли,  
Но деревья красу не сберегли.  
Так, если заглянуть в чужую грудь  
И проследить истоки тайных ран  
Доверчивого, любящего сердца -  
Невольно слезы увлажнят наш взор,  
И мы отменим строгий приговор.  
*«Прогулки по улицам».*

Прошел месяц – медовый месяц новобрачных, радостный месяц обретения сил и здоровья молодой матери, «слепого горя первый срок» [\[70\]](#) овдовевшей или лишившейся ребенка женщины, срок наказания, каторжных работ и одиночного заключения какого-нибудь павшего духом, отчаявшегося бедняка.

«Был болен; в темнице был, и вы пришли ко мне». [\[71\]](#) Будем ли так взысканы вы или я? Но я знаю такого человека. Некий седовласый мастер-литейщик многие годы посещал по воскресеньям несчастных, томившихся в манчестерской тюрьме, причем он не только утешал их и давал советы, но помогал вернуться на путь добродетели и вновь обрести душевный мир, становясь их поручителем перед теми, кто соглашался дать им работу, и никогда не покидал беднягу, однажды обратившегося к нему за помощью.

Срок наказания Эстер окончился. Она получила хороший отзыв в журнале начальника тюрьмы: за день она нащипывала столько пеньки, сколько полагалось, ни разу не была наказана работой на ножной мельнице, не грубила и вела себя тихо. И она снова очутилась на свободе. Дверь

тюрьмы гулко захлопнулась за ней, и ей показалось, будто ее лишили родного дома – ибо какой другой приют могла она найти в этот холодный, унылый день, оказавшись на улице, без крова и без гроша в кармане.

Но она недолго стояла в нерешительности. С упорством безумия она день и ночь думала только об одном – о том, как спасти Мэри (единственную дочь ее покойной сестры, эту крошку, которую она так любила и баловала в те дни, когда сама еще не запятнала себя грехом), как совлечь ее с наклонного пути, ведущего в бездну порока. К кому обратиться, кого просить о помощи? У нее не хватило бы духа снова заговорить с Джоном Бартоном; ей становилось страшно при одном воспоминании о том, как он злобно оттолкнул ее и еще более злобно говорил с ней. Признаться же самой Мэри, кем она стала, Эстер не могла себя заставить – это было бы хуже смерти, хотя порой ей казалось, что это было бы самым грозным, самым убедительным предупреждением. Она должна с кем-то поговорить, обязана. Но с кем? Она боялась обратиться к какой-нибудь своей прежней знакомой, не говоря уже о том, что среди них вряд ли нашлась бы женщина достаточно умная, тактичная и добрая для выполнения подобного поручения.

Кому могла рассказать свою историю всеми отверженная проститутка? Кто захотел бы помочь ей в минуту нужды? Она – как прокаженная, и все сторонятся ее, боясь прослыть нечистыми.

За время своих ночных скитаний ей случалось узнавать привычки и излюбленные места прогулок многих, кто и не подозревал, что за ним следит жалкая пария. Разумеется, ее особенно интересовали времяпрепровождение и спутники тех, кого она знала в те дни, которые некогда казались ей однообразными и тяжелыми трудовыми буднями, а сейчас, в воспоминаниях, представлялись такими счастливыми и безоблачными. Поэтому, как мы уже видели, она знала, где найти Джона Бартона в ту злополучную ночь, когда их встреча лишь вызвала в нем гнев, а ее обрекла на месячное пребывание в тюрьме. Заметила Эстер и то, что Бартон по-прежнему дружен с Уилсонами. Она видела, как он прогуливался и беседовал то с отцом, то с сыном, которые ведь были когда-то и ее друзьями, и она пролила никем не замеченные и не оцененные слезы, когда случайно узнала о внезапной смерти Джорджа Уилсона. И вот ей пришла в голову мысль, что сын Джорджа, товарищ детских игр Мэри, который заменял ей в дни детства старшего брата, наверное, согласится выслушать ее и сумеет найти способ уберечь и спасти Мэри.

Обо всем этом Эстер передумала, пока сидела в тюрьме, и сейчас, когда она вышла оттуда, эта ясная цель спасла ее от безнадёжного

отчаяния, которое неминуемо охватило бы ее после освобождения.

В тот же вечер она пораньше пришла к литейной, где, как она знала, работал Джем. Но он задержался дольше обычного, так как надо было что-то подготовить к завтрашнему дню. Эстер устала и начала терять терпение. Ведь уже много рабочих вышло из двери в длинной глухой кирпичной стене, и Эстер, не обращая внимания на оскорбления и ругательства, пытливо вглядывалась каждому в лицо. Она решила, что Джем, вероятно, ушел домой раньше. «Еще раз пройду по улице, – подумала Эстер, – и уйду».

Но тут как раз появился Джем – на этой улице, застроенной мастерскими и складами, теперь воцарилась тишина, и Эстер отчетливо услышала его шаги. На секунду мужество изменило ей, но она все-таки не отказалась от своего намерения, хотя его выполнение сулило ей много боли. Она дотронулась до его локтя. Как и ожидала Эстер, Джем, увидев, кто пытается его остановить, сделал движение, чтобы стряхнуть с себя ее руку и уйти. Но, предвидя это, Эстер крепко вцепилась в него дрожащими пальцами.

– Ты должен выслушать меня, Джем Уилсон, – чуть ли не повелительно сказала она.

– Отойди. Я не хочу ни слушать тебя, ни отвечать тебе.

И он снова попытался высвободиться.

– Ты должен выслушать меня, – решительно повторила она, – ради Мэри Бартон.

Имя Мэри заключало в себе те же могучие чары, что и «сверкающий взор» старого моряка. И Джем «слушал, как трехлетнее дитя». <sup>[72]</sup>

– Я знаю, что ты не захочешь, чтобы она попала в беду.

Он внимательно посмотрел на нее и воскликнул:

– Да откуда ты знаешь Мэри Бартон и знаешь, что мы с ней знакомы?

На какое-то мгновение Эстер заколебалась: ей было стыдно назвать себя, но, с другой стороны, такое признание прибавило бы веса ее словам. И она сказала:

– Ты помнишь Эстер, свояченицу Джона Бартона? Тетку Мэри? Помнишь «валентинку», которую я послала тебе в феврале, десять лет тому назад?

– Да, я очень хорошо помню Эстер. Но при чем здесь ты? – Он снова вгляделся в ее лицо и вдруг узнал подругу своего детства. Он взял ее руку и сердечно пожал, на мгновение перенесаясь в прошлое. – Боже мой, Эстер! Где же ты была все эти годы? Где ты пряталась, что мы о тебе ничего не слышали?

Джем задал вопрос, не подумав, но Эстер ответила ему со страстной серьезностью:

– Где я была? Что я делала? Зачем ты мучаешь меня такими вопросами? Неужели ты сам не догадываешься? Но позже я расскажу тебе историю моей жизни – для подтверждения того, о чем я буду тебе говорить. Нет, не пытайся убедить меня, что ты не желаешь ее слушать. Ты должен выслушать все, а я должна тебе все рассказать, чтобы ты не дал Мэри стать такой, как я. Подобно тому как я когда-то, она любит человека, который далеко ей не ровня. – Занятая своими мыслями, она не заметила, как учащенно вдруг задышал Джем, как ухватился за стену, с каким живейшим интересом стал слушать ее. – Он был такой красивый, такой добрый! Словом, полк его перевели в Честер (я, кажется, не сказала, что он был офицером?), он и слушать не хотел о разлуке со мной, да и я была рада уехать с ним. Но я ни минуты не думала, что бедняжка Мэри примет это так близко к сердцу! Я ведь собиралась пригласить ее к себе в гости, когда выйду замуж, потому что – заметь! – он обещал жениться на мне. Все они обещают. Три года мы были безмерно счастливы. Наверно, я не должна была чувствовать себя счастливой, но я была счастлива. И была у меня дочка – такая прелестная малютка. Но я не должна вспоминать о ней, – и Эстер в отчаянье сжала руками виски, – или я сойду с ума! Непременно сойду!

– Не надо, не говори мне больше о себе, – сказал Джем, желая успокоить ее.

– Что, уже надоело? Но я все равно расскажу: ты просил, теперь слушай. Я ведь не напрасно вспоминаю свои былые муки. Мне станет легче, когда я о них расскажу. Боже, как я была счастлива! – жалобным, каким-то детским голосом сказала она. – А когда однажды он объявил мне, что его переводят в Ирландию и что я не могу с ним туда поехать, меня как громом поразило. Мы тогда жили в Бристоле.

Джем что-то буркнул себе под нос. Она уловила смысл его слов.

– Пожалуйста, не брани его! – взмолилась она. – Не надо говорить о нем плохо! Я ведь до сих пор люблю его – даже сейчас, хотя я так низко пала. Ты и представить себе не можешь, какой он был добрый! Когда мы расставались, он дал мне пятьдесят фунтов, а я знаю, что ему это было нелегко. Прошу тебя, Джем, не надо! – сказала она, когда он снова возмутился и начал что-то бормотать; и Джем, повинувшись ее просьбе, умолк. – Теперь я понимаю, что я могла бы лучше распорядиться деньгами. Но тогда я не знала им цену. Раньше я легко зарабатывала их на фабрике и потому, что мне не о ком было заботиться, тратила все на еду и на платья.

Пока я жила с ним, он давал мне денег столько, сколько я просила, и мне казалось, что пятидесяти фунтов хватит надолго. Ну вот вернулась я в Честер, где мы были так счастливы, открыла там мелочную торговлю и сняла комнату рядом с лавочкой. И все было бы хорошо, если б – увы! – не заболела моя дочурка. Ухаживать за ней и одновременно торговать я не могла, и дела мои пошли из рук вон плохо. С грехом пополам я распродала свой товар, чтобы иметь деньги ей на еду и на лекарства. Несколько раз писала я ее отцу, прося помочь мне, но, должно быть, его полк опять куда-нибудь перевели, потому что ответа от него я так и не получила. Хозяин дома забрал у меня нераспроданные катушки и тесьму в уплату за аренду лавчонки, человек, которому принадлежала каморка, куда мы вынуждены были переехать, грозился выбросить нас на улицу, если ему не будет вовремя заплачено, а на дворе стояла холодная, суровая зима, и девочка моя была так больна, так больна, а я совсем ослабела от голода... Не могла я видеть ее страданий и не подумала о том, что лучше было бы нам обоим умереть. Ах, как она стонала, как стонала! А ведь имей я деньги, я могла бы ей помочь! И вот однажды вечером, в январе, я вышла на улицу... Как ты думаешь, бог накажет меня за это? – в исступлении, граничащем с безумием, спросила она и вцепилась Джему в плечо, требуя ответа.

Но не успел он найти слова, чтобы выразить охватившую его жалость, Эстер заговорила снова. В голосе ее уже не было исступления, а лишь спокойствие отчаянья:

– Впрочем, не все ли равно! С тех пор я и занимаюсь этим, и между мной и дочкой моей уже легла пропасть, что разделяет рай и ад. – И в порыве горя она снова исступленно воскликнула: – Радость моя, радость моя! Даже после смерти я не увижусь с тобой, моя доченька! Она была у меня такая хорошая – настоящий ангелочек. Как же это говорится в Евангелии – меня мама еще учила этому стиху, когда я сидела у нее на коленях. Давно это было. Он начинается: «Блаженны чистые...»

– «Блаженны чистые сердцем; ибо они бога узрят». [\[73\]](#)

– Да, да! Если бы мама знала, кем я стала, это разбило бы ей сердце... А бедняжке Мэри это разбило сердце. Но ведь я, кажется, хотела поговорить с тобой об ее дочери, Джем... Ты ведь знаешь Мэри Бартон, правда? – спросила она, просто чтобы собраться с мыслями.

Да, Джем, конечно, знал Мэри Бартон. А чем она была для него – об этом свидетельствовало его отчаянно бившееся сердце!

– Что-то надо было для нее сделать, а вот что – не помню! Погоди минутку! Она так похожа на мою доченьку, – заметила она, поднимая на Джема глаза, в которых блеснули непролитые слезы, и ища сочувствия на

его лице.

Джему было бесконечно жаль ее, но как хотелось ему, чтобы она скорее заговорила о Мэри, о поклоннике, который ей не ровня, об услуге, которую он, Джем, может ей оказать. Однако он сдержался и промолчал. Немного погодя Эстер заговорила уже гораздо спокойнее:

– Когда я вернулась в Манчестер (я не могла оставаться в Честере после смерти моей доченьки), я очень скоро отыскала вас всех. Но я и не подозревала, что моей бедной сестры уже нет в живых. Мне это просто в голову не приходило. Много вечеров бродила я около дома, где живет Джон, и старалась разузнать о них из болтовни соседей – сама я никогда ни о чем не спрашивала. Я собирала вместе обрывки того, что мне удалось узнать, шла по пятам за одними, вслушивалась в разговоры других. Много раз, дождавшись, когда полицейский уйдет с поста, я прокрадывалась к окошку и заглядывала в щелку ставен. Я видела знакомую мне комнату и в ней иногда Мэри, а иногда ее отца, засидевшихся допоздна. Так я узнала, что Мэри стала мастерицей у портнихи, и начала беспокоиться за нее: плохо, когда девушка поздним вечером возвращается домой, да еще после многих часов утомительной работы. Она тогда рада бывает любому развлечению. Но я твердо решила, что хоть сама я и грешница, а буду смотреть за Мэри и постараюсь уберечь ее от зла. Так я стала поджидать ее вечерами и, хотя она и не подозревала об этом, провожать до дому. Среди ее подружек есть одна, которая очень мне не нравится, и, я думаю, это она всему причиной. И вот Мэри стала возвращаться домой не одна. Стоило ей выйти из мастерской, как к ней подходил мужчина, и не какой-нибудь, а джентльмен. Я очень за нее беспокоилась: я видела, что она легкомысленна и ей нравится его внимание. Мне же он был очень не по душе; я заметила, что он подолгу шепчется с той шустрой мастерицей, про которую я тебе говорила. Но тут я заболела – у меня началось кровохарканье, и я не могла вмешаться. Поправлялась я медленно – видно, потому, что уж очень тревожилась за Мэри. Вышла я из больницы, вижу: все идет по-прежнему, только Мэри за это время еще больше в него влюбилась. Ах, Джем, отец ее не стал меня слушать, и теперь вся моя надежда на тебя! Ты ведь ей все равно что брат и, может, сумеешь дать ей совет и последить за ней. Да и Джон тебя послушает. Только уж очень он суровый и жестокий.

И она заплакала, вспомнив его злые слова. Но Джем не дал ей плакать.

– Кто этот щеголь, которого любит Мэри? – хриплым голосом строго спросил он. – Назови мне его!

– Это молодой Карсон, сын старика Карсона, у которого работал твой отец.

Наступило молчание, которое нарушила Эстер:

– Ах, Джем, позаботься о Мэри! Убить ее, конечно, преступление, но уж лучше ей умереть, чем жить так, как я. Ты меня слышишь, Джем?

– Да, слышу. Лучше ей умереть. Лучше нам обоим умереть. – Он произнес это, словно размышляя вслух, но тут же спохватился и уже совсем другим тоном сказал: – Можешь не сомневаться, Эстер: я сделаю для Мэри все, что будет в моих силах. Это решено. А теперь выслушай меня. Тебе опостылела жизнь, которую ты ведешь, иначе ты не говорила бы так о ней. Пойдем к нам. Пойдем к моей матери. У нас живет теперь и тетя Элис. Я сделаю все, чтобы они хорошо тебя приняли. А завтра, может, подыщу тебе какое-нибудь место, чтобы ты могла честным трудом зарабатывать себе на хлеб. Пойдем к нам.

Она ответила не сразу, и Джем уже обрадовался, решив, что сумел ее уговорить.

– Да благословит тебя бог, Джем, за твои слова, – сказала она наконец. – Несколько лет назад ты еще мог бы меня спасти, как, я надеюсь, ты спасешь Мэри. Но сейчас слишком поздно... слишком поздно, – с глубоким отчаяньем повторила она.

Однако он не отпускал ее.

– Пойдем к нам, – настаивал он.

– Я же сказала тебе, что не могу. Не могу я снова стать порядочной женщиной, как бы я этого ни хотела. Я только опозорю всех вас. Если уж хочешь знать все до конца, – продолжала она, видя, что он собирается настаивать, – я пью. Такие, как я, все пьют – иначе не выдержишь. Только это и спасает от самоубийства. Если бы мы не пили, мы бы не вынесли воспоминаний о том, кем мы были, в сравнении с тем, кем стали. Я могу голодать и ночевать на улице, но жить без водки не могу. Ты не знаешь, какие страшные ночи я провела в тюрьме, когда все во мне горело без нее, – сказала Эстер и, вздрогнув, испуганно оглянулась, словно боясь увидеть подле себя призрак. – До того страшно смотреть на них, – возбужденно зашептала она. – Всю ночь напролет они бродят вокруг моей постели. Мама с маленькой Энни на руках (не пойму только, как они нашли друг друга) и Мэри, и все смотрят на меня грустными строгими глазами. Ах, Джем, это так ужасно! И они никогда не останавливаются, а проходят за изголовьем, и я все время чувствую на себе их взгляд. И даже если я закроюсь с головой, я все равно вижу их, а главное, – с испугом, свистящим шепотом добавила она, – они видят меня. Не говори мне, что надо перемениться, начать новую жизнь: не могу я жить без водки. Я и сегодня не смогу обойтись без нее: я боюсь.



Охваченный глубокой жалостью, Джем молчал. Неужели он ничем не в силах ей помочь? А она снова заговорила – уже менее возбужденно, но по-прежнему с глубоким волнением:

– Тебе жаль меня! Я это чувствую, хотя ты ничего не говоришь. Но ты ничем не можешь мне помочь. На меня надо махнуть рукой. А вот Мэри ты еще можешь спасти. И должен спасти. Вся ее вина пока в том, что она полюбила человека, который ей не ровня. Джем, ты спасешь ее?

Всем сердцем и душой (хоть выразил он это в нескольких скупых словах) Джем обещал, что сделает все на свете, чтобы спасти Мэри от падения. Эстер благословила его и простилась с ним.

– Постой-ка, – сказал он, когда она уже собралась уходить. – Может, мне понадобится еще раз поговорить с тобой. Я должен знать, где тебя найти. Где ты живешь?

Она рассмеялась каким-то странным смехом.

– И ты думаешь, что у человека, который опустился так низко, как я, есть дом? Дом есть у порядочных, хороших людей. А у нас его нет. Если я тебе понадоблюсь, приходи вечером и поищи меня на углах соседних улиц. И чем ночь будет холоднее, злее, ветренее, тем скорее ты меня найдешь. В такую пору, – жалобно добавила она, – уж больно холодно спать в подъездах да на ступеньках и мочи нет, как хочется выпить.

Она быстро повернулась и пошла своим путем, а Джем – своим. Но не успел он дойти и до конца улицы, как в нем, несмотря на душившую его ревность, заговорила совесть. Он ведь не все сделал, чтобы спасти Эстер. Еще одно усилие, и, быть может, она пошла бы с ним. Ради того, чтобы она уступила, можно было бы сделать и двадцать усилий. Он повернул было назад, но она уже исчезла. Раздираемый нахлынувшими на него чувствами, он на какое-то время перестал терзаться. Но не раз потом горько сожалел о том, что не выполнил своего долга, не постарался как следует ради доброго дела.

Теперь – скорее бы добраться до дому и остаться одному. Мэри любит другого! Как это вынести? Он тяжело пережил ее отказ, но сейчас это горе казалось ему пустяком в сравнении с тем, что он узнал. Вспомнив об этом, он порадовался, что не уступил искушению и не стал пытаться судьбу не только разговором с Мэри, но даже встречей, ибо поведение ее яснее слов сказало бы ему, что ее нежные улыбки, изящные движения, милое кокетство будут радовать взор и сердце другого. И самое нелепое, что, несмотря на это, он должен жить; и не просто жить, а долго жить без Мэри (он знал, что люди живут долго, даже если душу их терзает вечное горе), – жить, сознавая, что она принадлежит другому! Но не надо думать об этом –

он будет терзать себя этой пыткой потом, когда останется один в своей комнате, среди мертвой тишины ночи. А сейчас он должен войти к себе в дом.

Он открыл дверь и вошел. Его встретили привычные лица, привычная обстановка. Как все это было ему ненавистно! Но он жестоко укорил себя за то, что почувствовал эту ненависть. Заботливая любовь его матери вылилась в воркотню: она приготовила ему такой хороший ужин, а он задержался, все остыло и стало невкусным. Элис, чье зрение и слух с каждым днем заметно притуплялись, молча сидела у огня, черпая единственную радость в сознании, что приемный сын с нею, что он перескажет ей все, о чем говорят вокруг, что любящей рукой устранил с ее пути малейшее препятствие. А Уилл, добрая душа, болтал веселее, чем когда-либо. Он заметил, что Джем чем-то удручен, и хотел своими шутками развеселить его – во всяком случае, они заглушали сердитое ворчание миссис Уилсон и в какой-то мере скрашивали унылый вечер. Наконец настало время сна, и Уилл отправился к себе – он снимал по соседству комнатку, – а Джейн и Элис Уилсон хорошенько помешали угли в очаге, заперли двери и ставни и, спотыкаясь и пронзительно переговариваясь, отправились наверх. Джем в свою очередь ушел в чулан, именовавшийся его спальней. Дверь не запиралась, но он навалился правым плечом на тяжелый комод, придвинул его к двери и, сев на кровать, стал думать.

Мэри любит другого! Эта мысль вытесняла все остальные, вызывая неопишуемые муки. Конечно, нет ничего удивительного, что она предпочла Джему человека, который и богаче его, и воспитаннее, и красивее. Но этот джентльмен – почему он, имея возможность выбрать любую знатную девушку, снизошел до возлюбленной бедняка? Почему, невзирая на все великолепие пышного сада, куда ему открыт доступ, предпочел дикую розу – душистую дикую розу Джема?

Его розу! Нет, теперь уже она никогда не будет ему принадлежать! Он навсегда потерял ее.

Тут в нем вспыхнула жажда кровавой мести. Ревность сводила его с ума. Кто-то должен умереть. Пусть лучше Мэри умрет, пусть уснет вечным сном могилы, лишь бы не видеть ее женой другого. Перед его воспаленным взором вставало ее бледное, обрамленное светлыми волосами, нежное лицо, обгаренное кровью. А в неподвижном взоре ее мертвых глаз застыл немой упрек! Кто дал ему право так жестоко поступить с ней? За нею ухаживал красивый, веселый, блестящий молодой человек, и она отдала ему свое сердце. Вот и все! И умереть должен счастливый соперник. Да, умереть, зная, почему он умирает. Джем со злобным восторгом представлял

себе, как тот лежит поверженный, но в сознании, и слушает гневную, обличительную речь своего убийцы. Зачем он пренебрег своим положением и посмел полюбить девушку из низшего сословия! И – самое мучительное – добился взаимности! Но тут заговорила более благородная сторона натуры Джема, и он подумал о том, какое горе он готовит Мэри! Сначала он не желал слушать этот голос, а если и слушал, то лишь со злорадством: он будет упиваться ее рыданиями! Он будет наслаждаться ее отчаянием!

Нет, он лжет, твердо произнес голос совести. Если он причинит ей такое горе, то будет мучиться еще сильнее, чем сейчас, хотя сейчас ему очень трудно.

Однако жить с таким камнем на душе он не в силах. Он убьет себя, а они пусть любят друг друга, и солнце пусть ярко сияет, его же истстрадавшееся, опаленное жгучей болью сердце навеки успокоится.

Но ведь он дал обещание, равносильное торжественной клятве, спасти Мэри от участи Эстер. Неужели он, как трус, будет бежать долга, возлагаемого на него жизнью, и искать спасения в смерти? Кто же тогда станет оберегать Мэри, ее любовь и душевное спокойствие? Не лучше ли помогать ей, хотя она и не любит его, быть ее ангелом-хранителем среди превратностей жизни, но так, чтобы она не знала об этом?

И, черпая бодрость в этих мыслях, он решил, что, с божьей помощью, будет таким ангелом-хранителем Мэри на земле.

Теперь туманы и бури, казалось, рассеялись, хотя путь, лежавший перед Джемом, все еще был полон терниев. И вот, утишив смятение сердца, Джем наконец мог спокойно обдумать, что делать дальше.

Собственная судьба заставила бедняжку Эстер слишком поспешно прийти к выводу, что мистер Карсон вознамерился погубить Мэри, – во всяком случае, Эстер не привела никаких доказательств, которые указывали бы на справедливость ее страхов. Возможно, – а Джем это казалось и вполне вероятным, – что мистер Карсон хочет жениться на ней. Природа, по мнению Джема, наградила Мэри всем, что делает женщину истинной леди: изяществом движений, грацией, умом. Разве манчестерские промышленники могут косо смотреть на людей незнатного происхождения, когда столь многие из них по справедливости гордятся тем, что сами являются творцами своих богатств? А какое счастье, думал Джем, судивший по себе, сложить все свое богатство к ногам любимой. Мать Гарри Карсона была фабричной работницей. Так почему же нужно сомневаться в честности его намерений относительно Мэри?

На первых порах, возможно, возникнут и трудности: нельзя забывать о предубежденности отца Мэри, да и семья мистера Карсона, наверное, не

свободна от предрассудков. Но Джем знал, что может повлиять на Джона Бартона, и решил обратить это влияние на благо Мэри, не думая о себе.

О, почему Эстер выбрала для этой миссии именно его? Вести себя так, как надо, – свыше его сил! Почему она избрала именно его?

Ответ пришел, когда он успокоился и мог прислушаться к голосу разума. Да потому, что у Мэри нет иного друга, способного взять на себя эту обязанность, – обязанность брата; недаром Эстер, памятуя об их долгой дружбе, решила, что он питает к ее племяннице братские чувства. И он будет для Мэри братом.

Следовательно, он должен узнать, с какими намерениями Гарри Карсон добивается ее расположения. Он и спросит его об этом прямо, как положено между мужчинами, не скрывая, если понадобится, своего чувства к Мэри.

И, решив возможно лучше выполнить свой долг, Джем наконец успокоился – бури и штормы остались позади.

За два часа до наступления рассвета он заснул.

## ГЛАВА XV

### *БУРНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ ДВУХ СОПЕРНИКОВ*

Чье сердце может в бездну заглянуть,  
Разверстую меж бедным и богатым,  
И удержаться от печальных дум!  
Чье сердце не сожмется острой болью  
При взгляде на жестокую вражду  
Тех, кто от века богом создан был  
Для дружеского, братского единства!  
Как перебросить через бездну мост,  
Чтоб их связать доверьем и любовью?  
*«Откровения любви».*

Вернемся, однако, к Джону Бартону. Бедняга Джон, он так и не сумел оправиться после своей неудачной поездки в Лондон. Глубокое унижение, которое пришлось ему там вынести (тем более что оно очень мало касалось его лично), оставило неизгладимый след в его душе, ибо ему вообще не свойственна была перемена чувств.

Затем наступили долгие месяцы лишений, когда он постоянно голодал; и хотя он старался убедить себя, что может относиться к нужде со стоическим безразличием и, как подобает мужчине, не обращать на нее внимания, плоть его оказалась слабее духа и телесные страдания начали брать верх над рассудком. Он ожесточился, стал замкнутым и утратил способность спокойно рассуждать. Ум его стал менее гибким, чем в дни юности или во времена относительного счастья. Бартон перестал надеяться. Но трудно жить, когда ты утратил надежду.

Если бы что-либо подобное случилось с человеком, имеющим время над этим подумать и обратиться к врачу, то его состояние было бы названо мономанией – так упорно и неотступно преследовали Бартоня одни и те же мысли. Я где-то читала необычайно сильное описание казни, применявшейся в Италии и достойной изобретательности Борджиа. [\[74\]](#) Предполагаемого или настоящего преступника запирали в роскошной комнате, где было все, чего он мог бы пожелать; и вначале заключение не казалось ему тягостным. Потом он начинал замечать, что расстояние между

стенами комнаты с каждым днем все сокращается, и ему становилось ясно, что его ждет. Расписанные стены сойдутся и медленно раздавят его.

Вот так с каждым днем все теснее смыкался круг болезненных мыслей Джона Бартона. Они заслоняли от него свет небес, веселые звуки земли. Они готовили ему смерть.

Правда, мрачность его мыслей, возможно, объяснялась употреблением опиума. Но прежде чем сурово осудить его за употребление опиума, или, вернее, за злоупотребление им, попробуйте пожить такой беспросветной жизнью, терзаясь каждый день муками голода. Попробуйте не только сами утратить надежду, но и вокруг себя видеть таких же отчаявшихся людей, которые по тем же причинам лишились ее; самый вид, а не жалобы или брань этих еле волочащих ноги людей свидетельствует о том, что они страдают и гибнут под бременем нужды. Неужели вам после этого не захочется забыть о жизни и ее тяготах? А опиум на время дает забвение.

Правда, те, кто его ищет, дорого платят за это забвение. Но может ли необразованный человек взвесить все последствия своих поступков? Несчастные! Они тяжело за это расплачиваются. Дни, полные гнетущей апатии и усталости, когда действительность кажется бледным призраком; ночи, наполненные мучительными снами, которые кажутся реальностью; расшатанное здоровье, телесная слабость, зачатки безумия, и самое страшное – сознание, что ты находишься на грани безумия, – вот цена, которую они платят. Но научил ли кто-нибудь бедняков видеть последствия их поступков?

Навязчивая мысль, владевшая Джоном Бартоном и подготавливавшая его участь на земле, касалась отношений между богатыми и бедными. Почему между ними такое различие, хотя всех их равно сотворил господь? Не его это воля, что интересы их так различны. Тогда чья же?

Так, от одного вопроса к другому он все дальше углублялся в тайны жизни, пока окончательно не запутался; однако среди всех мук и страданий одно чувство в его смятенной душе оставалось ясным и неизменным – ненависть к одному классу и глубокое сочувствие к другому.

Но что толку было в этом сочувствии? Он не получил образования, которое наделило бы его мудростью, а без мудрости даже любовь, при всем ее могуществе, приносит часто лишь вред. Бартон поступал так, как считал наиболее правильным, но суждения его были глубоко ошибочны.

Поступки людей необразованных приводят на память Франкенштейна [75] – чудовище, обладающее многими человеческими качествами, но не наделенное душой и не различающее добро и зло.

Простые люди пробуждаются к жизни – поведение их раздражает нас,

приводит в ужас, ожесточает. Но вот наступает печальная минута нашего торжества, и они смотрят на нас с молчаливым укором. Зачем мы сделали их такими – могучим чудовищем, которому не дано узнать ни покоя, ни счастья?

Джон Бартон стал чартистом, коммунистом, <sup>[76]</sup> – словом, стал одним из тех, кого обычно называют безумцами и мечтателями. Но разве быть мечтателем так уж плохо? Это значит – быть человеком, которому ведомы не только эгоистические, плотские желания, человеком, который желает счастья другим, а не только себе.

При всех своих слабостях, Бартон обладал немалыми талантами, приносившими существенную пользу той группе, к которой он принадлежал. Он обладал грубоватым ланкаширским красноречием, умел выразить чувства, переполнявшие его сердце, и его слова проникали в самую душу людей, страдавших так же, как он, но не умевших рассказать об этом. Он был очень хорошим организатором – качество чрезвычайно ценное, когда дело касается больших сообществ. Но особенно его ценили и верили ему потому, что все с ним соприкасавшиеся чувствовали, насколько бескорыстны его побуждения. Он отстаивал интересы своего класса, своего сословия, а вовсе не собственные права. А ведь даже люди благородные и великие становятся мелкими и ничтожными, когда эгоизм берет в них верх.

Незадолго до описываемого мною времени произошло одно событие, которое вызвало немало разговоров среди рабочих и глубоко взволновало Джона Бартона. Обсуждение этого события и являлось причиной частых его отлучек из дому.

Я не уверена, сумею ли я достаточно точно передать язык хозяев и рабочих, – я просто постараюсь изложить суть дела.

Был найден новый заграничный рынок сбыта, и в связи с этим поступил заказ на грубые ткани. Заказ был большой и позволял обеспечить работой все фабрики, производящие ткань такого рода, но выполнить его надо было срочно и с наименьшими затратами, ибо у хозяев были основания считать, что аналогичный заказ получил и один из промышленных городов на континенте, где нет ни голода, ни налогов на здания и оборудование, и, таким образом, тамошняя ткань может оказаться более дешевой, а их соперники целиком завладеют новым рынком. Фабриканты поэтому стремились покупать хлопок как можно дешевле и по возможности снижать заработную плату. И все же рабочие должны были в конечном счете выиграть. При всем недоверии предпринимателей и рабочих друг к другу, они могли либо вместе выплыть, либо вместе погибнуть. Возможно, я не вполне точно изложила последовательность

событий, но факты были именно таковы.

Однако хозяева не сочли нужным объяснить все эти обстоятельства. Они полагали, что, как хозяева, имеют право назначать собственную цену за ту или иную работу, а при современном застое в торговле и безработице им нетрудно будет поставить на своем.

Обратимся теперь к точке зрения рабочих. Хозяева (о зыбкости благосостояния которых они понятия не имели) как будто преуспевают и живут словно знатные господа, в то время как они голодают и с каждым днем все больше задыхаются от нужды. И вот поступает заказ из-за границы, размеры которого, и без того большие, к тому же значительно преувеличивались. И заказ этот должен быть выполнен срочно. Так почему же хозяева собираются так мало платить им? Какой позор! Они хотят воспользоваться тем, что рабочие голодают, но рабочие скорее умрут с голоду, чем согласятся на такие условия. Довольно и того, что они живут в нищете, хотя трудом их исхудавших рук, их потом создано богатство хозяев, а так помыкать собой они не позволят. Нет, они будут сидеть сложа руки и смеяться в лицо хозяевам, чьи планы они расстроят, пусть даже ценою своей смерти. Призвав на помощь всю свою поистине спартанскую выносливость, они решили показать фабрикантам свою силу и не выходить на работу.

Так взаимное недоверие одного класса к другому, боязнь друг друга приносили вред обоим. Хозяева упорствовали и не открывали, почему они считают разумной и правильной столь низкую плату; не говорили они и того, что сами понесут убытки, лишь бы одержать решительную победу над заграничными соперниками. А рабочие молча угрюмо сидели сложа руки и отказывались выходить на работу за такую плату. В Манчестере началась забастовка.

Естественно, что она повлекла за собой обычные последствия. Многие другие рабочие союзы, связанные с различными отраслями промышленности, и деньгами и добрым словом поддерживали борьбу манчестерских ткачей с их хозяевами. В Манчестер были направлены делегаты из Глазго, Ноттингема и других городов, чтобы поддержать боевой дух забастовщиков. Был создан комитет и избраны ответственные лица – председатель, казначей, секретарь. В числе их оказался и Джон Бартон.

Хозяева тем временем приняли свои меры. Они развесили по городу объявления о том, что на фабриках требуются ткачи. Рабочие вывесили ответные плакаты, где еще более крупными буквами были изложены их претензии. Фабриканты встречались ежедневно, вздыхали, что время бежит



так быстро и для выполнения заграничного заказа его остается все меньше, и поддерживали друг друга в решимости не сдаваться. Если они уступят сейчас, им придется уступать и впредь. И уступкам не будет конца. К наиболее стойким из них принадлежали и Карсоны – отец и сын. Известно, что в религии самыми ревностными фанатиками бывают новообращенные, а самым суровым хозяином, наименее считающимся с интересами своих рабочих, всегда бывает тот, кто вышел из их среды. Вот почему старший мистер Карсон не желал ни уступать, ни даже хотя бы объяснить рабочим положение, к чему склонялись некоторые. Раз хозяин принял решение, для тех, кому он платит, этого должно быть достаточно. А Гарри Карсон даже не задумывался над тем, почему он ведет себя так, а не иначе. Ему нравилось волнение борьбы. Нравилось оказывать сопротивление. Он был храбр, и ему нравилась мысль, что он подвергает себя опасности, на которую ссылались наиболее осторожные фабриканты, пытаясь уговорить сторонников решительных мер.

Тем временем ткачи, жившие на окраинах Ланкашира и в соседних графствах, услышали о том, что в Манчестере нужны рабочие, и, измученные голодом, решили покинуть свои одинокие жилища и отправиться в Манчестер. И вот на рассвете, когда все еще спят, или под прикрытием вечерней темноты в город стали пробираться люди с изможденными от голода лицами, с израненными от долгого пути ногами. Тут-то рабочие союзы и стали действовать вопреки законам. Их решение выходить или не выходить на работу за ту или иную плату можно считать разумным или неразумным или на худой конец ошибочным. Но они не имели права навязывать свою волю другим, укладывая их на свое прокрустово ложе. [77] Они всячески поносили то, что считали тиранией хозяев. Так почему же сами они готовы были угнетать других? Да потому, что, когда люди доходят до исступления, они не понимают, что творят. Так судите их, как судил милосердный и возлюбленный спаситель наш. [78]

Хотя сельских ткачей охраняла полиция, хотя нападение на них грозило тюрьмой и каторгой, если не чем-нибудь худшим, несчастных бедняков, пришедших пешком из Бэрнли, Пэдихема и других мест, чтобы работать по «голодным расценкам», подстерегали в засадах, избивали и полумертвых оставляли валяться у дороги. Полиция разгоняла любое скопление собравшихся без дела людей, но они спокойно расходились только для того, чтобы где-нибудь в полумиле от города собраться вновь.

Естественно, что все это не улучшало отношений между хозяевами и рабочими.

Объединение – это страшная сила. Подобно пару, она может причинить и безграничное добро, и безграничное зло. Но чтобы употребить эту силу на благое дело, ею должна управлять благая воля, над которой не властны ни страсть, ни волнение. А тех, кто руководил рабочими, не отличала спокойная мудрость.

Но довольно обобщений. Вернемся к знакомым нам людям.

Ткачи направили фабрикантам письмо, составленное в почтительных выражениях, однако содержащее категорическое требование принять их «депутацию», которая изложит их условия. Рабочие считали себя достаточно сильными, чтобы предъявлять такие требования. В депутацию был выбран и Джон Бартон.

Хозяева согласились на эту встречу, стремясь положить конец волнениям, хотя между собой не договорились, на какие уступки пойти, да и вообще идти ли на уступки. Кое-кто из стариков, кого жизнь научила состраданию, склонны были к уступкам. Другие, тоже убежденные седины, научились с годами лишь жестокости и упорству и отвечали на доводы более мягкосердечных презрительными насмешками. Люди более молодые все как один настаивали на том, чтобы любые требования рабочих были отвергнуты, раз они посмели забыть о покорности. Возглавлял эту группу Гарри Карсон.

Однако, как у всех энергичных людей, чем больше у него было дел, тем больше он, казалось, обретал досуга. А потому, хотя ему приходилось писать много писем, ходить с визитами и присутствовать в суде при разборе всех дел об избиении штрейкбрехеров, он больше, чем когда-либо, преследовал Мэри. Из-за него жизнь стала ей немила. От уговоров он даже перешел к угрозам: хочет она или не хочет, но она будет принадлежать ему. С поистине оскорбительным равнодушием он, казалось, и не задумывался над тем, что своим поведением может опорочить и скомпрометировать девушку, опозорить ее в глазах всех, кто ее знает.

И на протяжении всего этого времени она так ни разу и не увидела Джема. Она знала, что он вернулся. Иногда ей случалось слышать о нем от его двоюродного брата, который повсюду заводил друзей и знакомых и весело расхаживал по гостям. Но самого Джема она не видела. Что же ей оставалось думать? Что он разлюбил ее? Неужели несколько необдуманных слов, сказанных в минуту раздражения, непоправимо погубили всю ее жизнь? Порой Мэри казалось, что она может смириться даже с этим и черпать радость в собственной неизменной любви. О том, чтобы изменить своему чувству, забыть Джема, она и не помышляла. А порой терпению ее наступал конец, и она с великим трудом сдерживала желание разыскивать

его, чтобы (как мужчина у мужчины или женщина у женщины) вымолить прощения за свои необдуманные слова, взять их обратно, просить его внять любви, переполнявшей ее сердце. Как бы ей хотелось, чтобы Маргарет не давала ей совета набраться терпения и ждать: Мэри казалось, что только слова подруги мешают ей совершить простой шаг, который ей так хочется сделать. Но совет друга лишь тогда имеет над нами власть, когда он отвечает тайному желанию нашей души. Не совет Маргарет, а девичья стыдливость удерживала Мэри от подобной нескромности.

Все это время – все эти десять дней, пока Уилл гостил в Манчестере, – на глазах у Мэри разворачивались события, которые даже сейчас интересовали ее, а раньше- немало позабавили бы и развлекли. Она видела так ясно, словно ей кто-то об этом рассказал, что веселый, беспечный, шумливый моряк по уши влюбился в тихую, чинную и довольно некрасивую Маргарет. Мэри не знала, догадывается ли та об этом, но, понаблюдав повнимательнее, решила, что слепая девушка, пожалуй, чувствует, чей взгляд столь часто бывает прикован к ее бледному лицу, – и недаром в таких случаях по щекам ее разливается нежный, очень красящий ее румянец. Она уже не говорила с прежней стремительностью, теперь она как будто немного смущалась, и это делало ее необычайно привлекательной, словно ее речью руководил не только здравый смысл, а нечто более мягкое, более милое. Глаза ее, смотревшие всегда так кротко, не были обезображены слепотой, а теперь, казалось, обрели новое очарование, поблескивая из-под полуопущенных ресниц. Должно быть, она догадывается, решила Мэри: сердце сердцу говорит.

Любовь не заставляла Уилла краснеть, или смущенно потуплять глаза, или старательно подыскивать слова – она была такой же ясной и открытой, как и он сам. И все же он, видимо, боялся признаться в ней. Его очаровал дивный голос Маргарет – она казалась ему созданием, спустившимся на землю из иных, высших сфер, и он не решался ухаживать за ней. Зато он всячески старался угождать Джобу. Он даже съездил в Ливерпуль и откопал в своем большом сундуке летучую рыбу (которая, кстати, оказалась не очень благоуханным подарком). Он не сразу решил расстаться с детской «сорочкой», которая, с его точки зрения, представляла собой куда большую ценность, чем любой Eхосetus. Но на что она обитателю суши, которому не грозит гибелью морская стихия? Однако тут в ушах его зазвучал голос Маргарет, и Уилл решил пожертвовать «сорочкой» – самым ценным своим достоянием, чтобы доставить удовольствие тому, кого она так любила, – ее бабушке.

Уилл завернул «сорочку» и летучую рыбу в бумагу и в вагоне всю

дорогу сидел на этом пакете, чтобы он не пропал. Какова же была радость моряка, когда он обнаружил, что Джоб ничуть не заинтересовался бесценной «сорочкой» и ее можно будет увезти обратно. Он сидел рядом с Маргарет, пока наконец в нем не заговорила совесть и не стала корить его за то, что он совсем забыл свою любимую тетю Элис. Он попрощался, но почти тут же спохватился, что забыл кое-что сказать Джобу, и, вернувшись, открыл дверь и стоял на пороге, разговаривая со стариком, – Маргарет достаточно было бы сказать одно-единственное слово, и он вошел бы и сел рядом с ней, но она молчала, и ему пришлось наконец уйти и исполнить то, что повелевал ему долг.

Четыре дня тщетно подстерегал Джем Уилсон мистера Гарри Карсона около его дома – тот приходил и уходил в самые неопределенные часы из-за многочисленных встреч и совещаний, которые устраивали фабриканты в связи с забастовкой. На пятый день они неожиданно встретились, когда Джем этого совсем не ждал.

Случилось это между двенадцатью и часом, когда рабочие обедают и на улицах Манчестера, обычно таких шумных, многолюдных, оживленных, почти никого не увидишь, если не считать нескольких дам, занятых покупками, да прогуливающих без дела джентльменов. Джем, вместо того чтобы обедать, выполнял поручение хозяина и, проходя по проулку, а вернее, по дороге (названной из уважения к намерениям будущего подрядчика улицей), встретил Гарри Карсона, – только они двое и шли этим пустынным путем. С одной стороны вдоль дороги тянулся высокий забор, вымазанный смолой и утыканный поверху острыми гвоздями, чтобы отпугнуть всякого, кому взбретет в голову залезть в расположенный за ним сад. Около забора вилась пешеходная тропинка. Проезжая часть дороги была в таком состоянии, что ни одна коляска – да не только коляска, а даже телега – не могла бы проехать там без помощи Геркулеса, которому пришлось бы вытаскивать ее из глубокой, вязкой глины. С другой стороны пролежала глухая кирпичная стена, за которой виднелся пустырь с лесопильней и сараем, где помещалась мастерская столяра.

Сердце Джема отчаянно забилося при виде веселого, красивого молодого человека, легким уверенным шагом приближавшегося к нему. Так вот кого полюбила Мэри! В этом не было, пожалуй, ничего удивительного: он показался бедному кузнецу таким изящным, таким нарядным, что на мгновение Джемму стало больно от этого внешнего превосходства. Потом что-то взбунтовалось в нем, шепнуло, что «равен королю бедняк, лишь был бы честен он». <sup>[79]</sup> После этого его перестала смущать внешность соперника.

Гарри Карсон шел легким шагом, по-мальчишески перепрыгивая через грязь. К его великому изумлению, коренастый смуглый рабочий остановил его, почтительно спросив:

– Могу я поговорить с вами, сэр?

– Конечно, любезный, – сказал Гарри Карсон, удивленно взглянув на незнакомца, и, заметив, что тот колеблется, добавил: – Только поторопитесь – я спешу.

Джем колебался, так как не хотел сразу начинать с того, что волновало его больше всего, но иного выхода не было. Хриплым, дрожащим голосом он сказал:

– Кажется, сэр, вы ухаживаете за молодой особой по имени Мэри Бартон?

Тут Гарри Карсон все понял, но ответил он не сразу.

Неужели этот человек – поклонник Мэри? И (эта мысль опалила его огнем) неужели она его любит и поэтому так упорно отказывает ему, Карсону? Он смерил Джема взглядом с головы до ног: черномазый, грязный рабочий в засаленной бумазейной одежде, коренастый, неуклюжий (с точки зрения учителя танцев). Затем он вспомнил свое отражение, которое видел недавно в зеркале спальни. Не может быть. Ни одна женщина, если, конечно, у нее есть глаза, не выберет одного, когда за ней ухаживает другой. Феб и Сатир. <sup>[80]</sup> Эту цитату он вспомнил, зато забыл о том, что «равен королю бедняк, лишь был бы честен он». А ведь в этом-то и был ключ, который он так искал, пытаясь объяснить себе перемену в Мэри. Если она любит этого человека... Если... Он возненавидел этого мужлана, он готов был ударить его! Но сейчас он все узнает.

– Мэри Бартон? Постойте-ка! Да, именно так зовут эту девушку. Маленькая негодяйка – отъявленная кокетка, но очень хорошенькая. Да, конечно, ее зовут Мэри Бартон.

Джем прикусил губу. Неужели это правда, что Мэри – кокетка? Неужели ветреная девчонка, о которой он говорит, это она? Он не мог поверить подобным словам и все же жалел о том, что их услышал. Но сейчас не надо об этом думать. Если даже она и такая, тем более она нуждается в защите – бедная заблудшая его любовь.

– Она порядочная девушка, сэр, хоть, может, ей немного и вскружила голову ее красота, но она единственное дитя у своего отца, сэр, и...

Он умолк. Ему не хотелось говорить о своих подозрениях, и все же надо было удостовериться, что для них нет оснований. Что же дальше сказать?

– Я-то тут при чем, милейший? Если вы остановили меня только для

того, чтобы сказать, что Мэри Бартон хороша собой, то мы оба зря тратим время, потому что я знаю это и без вас.

И он хотел было продолжать свой путь, но Джем удержал его, положив ему на плечо черную рабочую руку. Высокомерный молодой человек сбросил ее и принялся перчаткой отряхивать рукав светлого пальто, словно счищая сажу. Этот жест возмутил Джема.

– В таком случае, молодой человек, я без обиняков скажу вам то, что хотел сказать. Одна особа, которая знает об этом и собственными глазами все видела, рассказала мне, что вы провожаете эту самую Мэри Бартон до дому и ухаживаете за ней. Эта же особа сказала мне, что, по ее мнению, и Мэри влюблена в вас. Может, это и так, а может, и нет. Но я давний друг Мэри и ее отца, и я хочу только знать, собираетесь ли вы на ней жениться? Хотя вы и говорили тут о ее легкомыслии, но я давно знаю Мэри и уверен, что она будет достойной женой всякому, кто бы он ни был. Я намерен защищать ее, как брат. И если у вас честные намерения, вы не подумаете обо мне худо из-за того, что я вам сейчас сказал, а если... Нет, не стану я говорить, что я сделаю с тем, кто тронет хотя бы волос на ее голове. Он будет жалеть об этом до последнего своего дня – вот и все. Теперь, сэр, вот о чем я хочу вас просить. Если ваши намерения по отношению к Мэри честны и благородны, то и прекрасно, но если нет, то ради ее и вашего блага оставьте ее в покое и никогда больше не заговаривайте с ней.

Голос Джема дрожал от волнения, и он с нетерпением ждал ответа.

А тем временем Гарри Карсон, не слишком задумываясь над тем, почему, собственно, этот человек обратился к нему, пытался из его слов уяснить себе истинное положение вещей. Он понял, что, по мнению Джема, перед ним соперник, которого Мэри любит, и, следовательно, сам он не пользуется ее благосклонностью. Тут мистеру Карсону пришла в голову мысль, что, быть может, Мэри все-таки любит его, несмотря на многократные и упорные отказы видаться с ним, и что она подслала этого парня (кем бы он ей ни приходился), чтобы запугать его, Гарри Карсона, и заставить на ней жениться. Поэтому он решил установить более точно, какое отношение имеет этот человек к Мэри. Либо это ее поклонник, и, судя по всему, отвергнутый (но тогда почему же он так хочет, чтобы он, Карсон, женился на Мэри?); либо это друг, поверенный Мэри, с помощью которого она хочет запугать его. Так мало верят в людское благородство низменные и эгоистические натуры!

– Прежде чем открывать вам мои намерения, любезный, – презрительно сказал мистер Карсон, – мне бы хотелось спросить, какое вы имеете право вмешиваться в наши дела. Ни Мэри, ни я, насколько мне

известно, не просили вас быть посредником. – Он помолчал в ожидании ответа, который показал бы, насколько правильно его последнее предположение. Но Джем молчал, и Карсон, вообразив, что его собираются принудить к браку с Мэри, вспылал гневом. – А потому, милейший, будьте любезны оставить нас в покое и не вмешивайтесь больше в то, что вас не касается. Если бы вы были братом или отцом Мэри, другое дело. А так – вас можно назвать лишь наглецом, который сует нос не в свои дела.

И он снова хотел было пойти, но Джем с решительным видом продолжал загораживать ему дорогу.

– Вы говорите, что, если б я был ее братом или отцом, вы ответили бы мне, – сказал он. – Так вот, ни отец, ни брат не могли бы любить ее так, как я любил ее – да не только любил, а все еще люблю. И если любовь дает право что-то требовать, то никто на свете не имеет на это больше прав, чем я. Теперь скажите мне, сэр: собираетесь вы поступить с Мэри по-честному или нет? Я сказал вам, по какому праву я хочу это знать, и, клянусь, узнаю.

– Вы слишком много себе позволяете, – заметил мистер Карсон, который, выяснив то, что ему хотелось узнать (а именно, что Джем любит Мэри, но она не поощряет его ухаживаний), не хотел больше задерживаться. – Будь то отец, брат или отвергнутый поклонник, – и он подчеркнул слово «отвергнутый», – никто не имеет права становиться между мной и моей подружкой. Я никому этого не позволю. Да черт вас возьми, пропустите вы меня или нет! Не хотите добром пускать, так я заставлю вас силой, – заявил он, видя, что Джем с упорной решимостью продолжает стоять у него на пути.

– А я не уйду, пока вы не дадите слова жениться на Мэри, – заявил сквозь зубы рабочий, и от гнева, который он не в силах был дольше сдерживать, лицо его покрыла смертельная бледность.

– Ах вот как! – с презрительной усмешкой воскликнул Карсон. – Ну, так я тебя заставлю посторониться.

И, размахнувшись, молодой человек сильно ударил рабочего по лицу гибкой тростью. Мгновение спустя он уже лежал, растянувшись в грязи, а Джем стоял над ним, с трудом переводя дух от ярости. Что бы он сделал дальше, ослепленный безудержным гневом, никому неизвестно, так как тут в дело поспешил вмешаться полицейский, который уже некоторое время незаметно для обоих молодых людей наблюдал за ними, предполагая, что такое бурное объяснение добром не кончится. В мгновение ока он скрутил руки Джему, который, растерявшись от неожиданности, не сопротивлялся.

Мистер Карсон тотчас вскочил на ноги, – лицо его пылало от злобы и стыда.

– Отвести его в участок и посадить под замок за нападение на вас, сэр?  
– спросил полицейский.

– Нет, нет, – сказал мистер Карсон. – Это я первый ударил его. Он вовсе не нападал на меня, но, – продолжал он, злобно цедя слова в лицо Джему, которому была ненавистна даже свобода, обретенная – пусть заслуженно, но благодаря вмешательству соперника, – я никогда не прощу и не забуду нанесенного мне оскорбления. И уж поверьте, что Мэри ваше наглое вмешательство пользы не принесет, – задыхаясь от ярости, промолвил он и расхохотался, как бы желая показать свою власть над ней.

– А если вы посмеете хоть чем-то оскорбить ее, я подкараулю вас в таком месте, где полицейских не бывает, – в неменьшем возбуждении выкрикнул Джем. – И тогда пусть нас бог рассудит.

Тут полицейский принялся уговаривать его и предостерегать. Наконец он взял Джема под руку и повел в сторону, противоположную той, куда направился мистер Карсон. Джем угрюмо подчинился, но, пройдя несколько шагов, вырвался.

– Поостерегись, любезный! – крикнул вслед ему полицейский. – Ни одна девушка на свете не заслуживает того, что ты накличешь на себя, если не одумаешься.

Но Джем был уже далеко и не слышал его.



## ГЛАВА XVI

### ВСТРЕЧА ФАБРИКАНТОВ С РАБОЧИМИ

Кто б ни был ты, презрительным не будь.  
Не знаешь ты, как словом, тоном, взглядом  
Ты можешь сердце брата уязвить  
И породить в нем горечь и вражду.  
*«Откровения любви».*

Настал день, назначенный хозяевами для приема депутации рабочих. Встреча должна была состояться в зале гостиницы, и часам к одиннадцати туда начали съезжаться владельцы фабрик, получившие заказ из-за границы.

Разговор, конечно, начался с погоды, хотя мысли всех были заняты другим. Отдав должное всем дождливым и ясным дням, выпавшим на прошлой неделе, они заговорили о том, что свело их вместе. В комнате находилось также около двадцати джентльменов (включая и тех, кто, собственно говоря, не имел права на такое наименование), которых решение главного вопроса прямо не касалось, хотя и представляло для них известный интерес. Они разделились на несколько группок, которые, впрочем, далеко не во всем были между собой согласны. Одни стояли за совсем незначительные уступки – нечто вроде леденца, который дают капризному ребенку ради покоя и мира. Другие решительно и упорно возражали против того, чтобы уступить даже самую малость, ибо это создаст опасный прецедент. Это все равно, что научить рабочих, как они могут стать хозяевами. И после какое бы сумасбродное требование ни пришло им в голову, они будут знать, что достаточно им объявить забастовку – и их требование будет выполнено. К тому же двое или трое из присутствующих только что вернулись из тюрьмы, где судили одного из забастовщиков за зверское нападение на бедного ткача-северянина, согласившегося работать за низкую плату. Они были справедливо возмущены жестокой расправой с беднягой, и их возмущение (как это часто бывает) вылилось в стремление к жестокой мести. Нельзя уступать людям, которые способны так расправляться со своими же товарищами-рабочими,

уж лучше совсем отказаться от выгодного заказа, и пусть рабочие еще больше страдают. Они забывали, что забастовка была следствием голода и нужды и что рабочие – пусть неразумно и необоснованно – считали эти бедствия величайшей несправедливостью. Этим и объяснялась их озлобленность. Но злобой не уничтожишь злобу – это непререкаемая истина. Ее можно на время приглушить, однако в ту минуту, когда вы станете ликовать по поводу своей мнимой победы, смотрите, как бы зло не вернулось вновь с семью другими духами, злейшими себя. [\[81\]](#)

Никому и в голову не пришло отнестись к рабочим, как к братьям и друзьям, и, воззав к их разуму, откровенно и ясно изложить во всех подробностях те обстоятельства, которые вынуждают предпринимателей стать, как им кажется, на наиболее разумный путь – самим пойти на жертвы и просить рабочих так же кое-чем пожертвовать.

Переходя от группы к группе, можно было услышать такие разговоры:

– Бедняги! Боюсь, что они чуть не умирают с голоду. Миссис Олдред каждую неделю варит суп из двух коровьих голов, и люди издалека приходят за этим супом. Если так будет продолжаться и дальше, придется помочь им. Но нельзя, чтобы нас к этому принудили силой!

– Набавить им шиллинг-другой ничего не стоит, а они решат, что добились своего.

– Вот потому-то я и возражаю. Они, конечно, так и подумают, и потом, какие бы неразумные требования у них ни возникли, они начнут бастовать.

– Но, право же, это приносит им куда больший ущерб, чем нам.

– А по-моему, наши интересы нельзя разграничить.

– Этот мерзавец плеснул кислотой бедняге на лодыжки, а вы знаете, как плохо заживают такие раны. От боли он, естественно, не мог шелохнуться, ну и, конечно, оказался во власти негодяя, который принялся бить его по голове и так изуродовал беднягу, что теперь он и на человека не похож. Неизвестно даже, выживет ли он.

– Хотя бы из-за этого я буду твердо стоять на своем и не уступлю, даже если это грозит мне разорением.

– Вот и я ни фартинга не уступлю этим зверям – это не люди, а дикие животные.

(А от кого зависело сделать их иными?)

– Послушайте, Карсон, пойдите и расскажите Данкому об этом новом факте их возмутительного поведения. Он колеблется, но я думаю, что это убедит его.

В эту минуту открылась дверь, лакей доложил, что рабочие ждут внизу, и спросил, угодно ли джентльменам принять их.

Джентльмены ответили согласием и быстро расселись вокруг стола, уподобляясь римским сенаторам, ожидающим появления Бренна и его галлов. [\[82\]](#)

По лестнице загрохотали грубые башмаки, и через минуту в зал вошли пять рабочих, на чьих изможденных лицах читалось волнение. Джона Бартона, спутавшего назначенный час, среди них не было. Будь они шире в плечах, вы назвали бы их худыми, как щепки, а так они выглядели просто заморышами, и бумажейная одежда болталась на их высохших от голода телах. К тому же, выбирая своих депутатов, рабочие больше думали об уме и красноречии, чем о приличной одежде. Судя по ветхим курткам и панталонам, в которые были облачены эти по-своему выдающиеся люди, могло показаться, что избравшие их знакомы с мнением достойного профессора Тейфельсдрека, изложенным в «Sartor Resartus». [\[83\]](#) Давно уже рабочие забыли о такой роскоши, как новая одежда, и их костюмы были все в дырах. Кое-кто из хозяев счел себя оскорбленным тем, что перед их благородным взором предстали такие оборванцы. Но что было до этого рабочим!

По просьбе джентльмена, поспешно выбранного председателем, глава делегатов пронзительным голосом прочел нараспев бумагу, где были изложены точка зрения рабочих на все происходящее, их жалобы и требования, причем последние не отличались умеренностью.

Затем его попросили вместе с остальными делегатами удалиться на несколько минут в соседнюю комнату, чтобы хозяева могли обсудить свой ответ.

Как только рабочие покинули зал, фабриканты начали шепотом совещаться, причем каждый настаивал на своем ранее высказанном мнении. Те, кто стоял за уступки, одержали верх, но большинством всего в один голос. Меньшинство высокомерно и во всеуслышанье выражало свое несогласие с принятым решением даже после того, как делегатов впустили в зал. Их слова и взгляды были подмечены наблюдательными рабочими, а имена запечатлелись в их полных горечи сердцах.

Хозяева не могли согласиться на такое повышение заработной платы, о каком просили рабочие. Они могли дать лишь на шиллинг в неделю больше того, что предлагали раньше. Уполномочены ли делегаты принять такое предложение?

Они были уполномочены принять или отклонить любое предложение, сделанное в этот день хозяевами.

Но, быть может, им следует посоветоваться, прежде чем объявлять о

своим решением. И рабочие снова вышли.

Но ненадолго. Скоро они вернулись и заявили о своем решительном отказе от какого-либо компромисса.

Тут вскочил мистер Гарри Карсон, глава и вдохновитель воинствующей группы хозяев, и, не стесняясь присутствием хмурых рабочих, предложил председателю поставить на голосование резолюцию, которую он и его единомышленники состряпали за время вторичного отсутствия депутации.

Они, во-первых, брали назад только что сделанное предложение и объявляли о прекращении всех переговоров между хозяевами и данным союзом; во-вторых, объявляли, что впредь ни один хозяин не станет нанимать рабочего, пока тот не даст подписки, что он не принадлежит ни к одному из союзов и обязуется не вступать и не записываться ни в одно общество, ставящее своей целью посягательство на права хозяев; и в-третьих, они обязывались защищать и поддерживать рабочих, согласных работать на условиях и за плату, предложенную в самом начале. Люди, угрюмо выслушавшие эту резолюцию, были руководителями союза, и она, естественно, могла вызвать у них только озлобление, но, не довольствуясь чтением ее, Гарри Карсон в самых оскорбительных выражениях принялся описывать поведение рабочих, – с каждым произносимым им словом лица их все больше бледнели, а глаза все яростнее метали молнии. Один из них хотел было что-то сказать, но глава депутации сурово взглянул на него, стиснул ему руку, – и он промолчал. Мистер Карсон сел; тогда один из его друзей тотчас поднялся и поддержал внесенное им предложение. Оно было принято, но далеко не единогласно. Председатель объявил о результатах делегатам (которых снова выдворили из комнаты на то время, пока шло голосование). Они выслушали его мрачно, в глубоком молчании, и, не произнеся ни слова и даже не поклонившись, вышли из комнаты.

Во время этой встречи произошел один как будто незначительный эпизод, о котором не упомянули манчестерские газеты, поместившие отчет об официальной части переговоров.

Когда рабочие, войдя в зал, остановились у двери, мистер Гарри Карсон вынул серебряный карандаш и набросал очень язвительную карикатуру на этих изможденных, оборванных, отчаявшихся людей. Под этой карикатурой он сделал весьма язвительную подпись, воспользовавшись строкой из знаменитого монолога толстого рыцаря в «Генрихе IV». <sup>[84]</sup> Он передал листок одному из своих соседей, который сразу уловил сходство и послал рисунок по кругу, – все заулыбались и закивали. Когда листок с рисунком, на обороте которого было какое-то

письмо, вернулся к своему владельцу, тот разорвал его надвое, скомкал и швырнул в камин, но, тут же забыв о нем, не заметил, что бумага упала, не долетев до всепожирающего пламени.

За всем этим внимательно наблюдал один из рабочих.

Он подождал, пока хозяева уйдут из гостиницы (некоторые из них, выходя, смеялись и шутили), и, когда все ушли, вошел в нее.

– Один из джентльменов бросил там наверху картинку, – сказал он признавшему его лакею, – а у меня есть сынишка, который очень любит картинки. Если позволите, я схожу наверх и подберу ее.

Добродушный лакей проводил его наверх, и, когда рабочий поднял бумажку и развернул ее, он заглянул ему через плечо и, убедившись, что это в самом деле всего лишь «картинка», дал ему унести свой трофей.

В тот же вечер, часов около семи, немало рабочих пришло в зал трактира «Герб ткача», – предназначенный, как писал, открывая свое заведение, хозяин, для «торжественных событий». Но – увы! – в этот вечер ткачи собрались там не для того, чтобы отпраздновать какое-либо торжественное событие. Голодные, озлобленные, отчаявшиеся люди собрались выслушать ответ, который утром дали хозяева их делегатам, после чего, как было указано в оповещении об этом собрании, джентльмен, прибывший из Лондона, будет иметь честь сообщить о том, как складываются отношения между нанимателями и рабочими или (как он предпочел их обозначить) между классом бездельников и классом тружеников. Зал был невелик, но из-за отсутствия мебели казался очень просторным. Газовые рожки без абажуров ослепляли входивших, и худые, грязные рабочие, остановившись на пороге, жмурились от яркого света.

Они расселись на скамьях и стали ждать депутатов. Последние злобно и угрюмо изложили ультиматум хозяев, не добавив ни единого слова, и тем большее впечатление он произвел на этих исстрадавшихся людей.

Затем появился «джентльмен из Лондона» (которому заранее сообщили решение хозяев). По его виду было трудно решить, кто он такой и насколько образован. Выглядел он, во всяком случае, чрезвычайно самоуверенным и несерьезным по сравнению с окружавшими его взволнованными, озлобленными, сосредоточенно хмурившимися людьми. Он мог бы быть и недоучившимся студентом-медиком вроде Боба Сойера, [85] и актером-неудачником, и развязным приказчиком. Впечатление он производил неблагоприятное, хотя вы затруднились бы сказать, почему.

Он слащаво улыбнулся в ответ на их грубоватые приветствия и сел. Затем, окинув взглядом своих слушателей, он спросил, не угодно ли будет присутствующим джентльменам спросить себе пива и трубок, и добавил,

что угощает он.

Подобно тому как человек с образованным вкусом, любящий чтение, жадно набрасывается на книги после долгого воздержания, так эти бедняки, чьи вкусы, предоставленные сами себе, влекли их к табаку, пиву и другим подобным же удовольствиям, просияли, услышав предложение лондонского делегата. Табак и пиво заглушают муки голода, дают возможность забыть о нищете, царящей дома, о безрадостном будущем.

Теперь рабочие были расположены слушать его. Он почувствовал это, встал, вытянул, как заправский оратор, правую руку и, заложив левую за жилет, заговорил искусственным, театральным голосом.

После красноречивого вступления, в котором он смешал деяния старшего и младшего Брутов <sup>[86]</sup> и возвеличил неодолимую мощь «манчестерских миллионов», приезжий спустился с облаков и перешел к делу, и надо сказать, что тут он вполне оправдал доверие тех, кто послал его сюда. Народные массы, когда им предоставлена свобода выбора, умеют отыскать человека, обладающего природным даром, – жаль только, что они обращают так мало внимания на его характер и принципы. Лондонский делегат продиктовал резолюции и предложил меры, которые надлежит принять. Он написал красноречивый призыв для расклейки на стенах. Он посоветовал направить делегатов в другие города, чтобы просить помощи у других союзов. Он открыл подписной лист щедрым пожертвованием от союза, с которым был связан в Лондоне, и – что совсем уж необычно! – выложил эту сумму настоящей звонкой монетой – блестящими золотыми соверенами! Им было на что употребить эти деньги, но прежде чем распределять их между нуждающимися, небольшие суммы были розданы делегатам, которым через день-другой предстояло отправиться в Глазго, Ньюкасл, Ноттингем и другие города. В большинстве своем это были члены депутации, которая утром ходила к хозяевам. Написав несколько писем и сказав еще несколько взволнованных слов, джентльмен из Лондона отбыл, предварительно попрощавшись со всеми за руку. Многие поднялись вслед за ним и поспешно покинули и зал, и самый трактир.

Вновь назначенные делегаты и еще двое или трое присутствующих задержались, чтобы поговорить о возложенной на них миссии и обменяться мнениями на более простом и привычном языке, к которому они не решались прибегать при лондонском ораторе.

– А он человек из редких, – начал один из них, ткнув большим пальцем в сторону двери. – И язык у него хорошо привешен!

– Да, уж он-то знает, о чем говорит. Гляди, как он втолковал нам насчет этого самого Брута. Надо же, убить собственного сына!

– А я бы своего убил, если б он стакнулся с хозяевами. Правда, он мне не сын, а пасынок, но это все едино, – заметил другой.

Но тут все умолкли и посмотрели на члена депутации, возвращавшегося утром в гостиницу за карикатурой на рабочих, которую так удачно набросал Гарри Карсон.

Головы сдвинулись: рабочие разглядывали рисунок, стараясь уловить сходство.

– Это Джон Слейтер! Его всегда узнаешь по большому носу. А этот – да ведь это вылитый я: мне как раз пришлось заколоть жилет булавкой, чтоб не видно было, что на мне нет рубашки. Пакость какая! Ну нет, я этого так не спущу.

– М-да, – заметил Джон Слейтер, признав сходство между своим носом и нарисованным. – Хоть меня и изобразили тут этаким уродом, я бы мог посмеяться над шуткой не хуже любого из них, если б не подыхал с голоду (его глаза наполнились слезами; это был несчастный, исхудалый человек, с изможденным лицом, выражение которого отличалось мягкостью и грустью). И если бы мои ребятишки не голодали. Но в ушах у меня звенит их голодный плач, и я боюсь идти домой, – я давно бы утопился в канале, если б был уверен, что не услышу их крика. Вот почему мне не до смеха. Грустно даже подумать, что есть люди, которые могут устраивать забаву из того, о чем они и понятия не имеют, могут рисовать такие издевательские картинки на тех, у кого душа вся изныла, как у нас.

Тут заговорил Джон Бартон; все повернулись к нему и стали слушать его с большим вниманием.

– А мне не просто грустно. Сердце горит во мне, как подумаю, что есть люди, которые могут потешаться над теми, кто пришел просить, чтобы дрожащая от холода старуха могла согреться у огонька; чтобы бедняжка жена рожала не на сырых каменных плитах, а в постели, укрытая одеялом; чтобы у детишек, настолько ослабевших от голода, что у них нет сил даже громко плакать, была еда. А ведь именно об этом, братья, просим мы, когда просим, чтобы нам больше платили! Не нужны нам лакомства – была бы только сытная еда! Не нужны нам франтовские фраки и жилеты – была бы теплая одежда, а из чего она сделана, нам все равно. Не нужны нам их особняки – была бы крыша над головой, чтобы укрыться от дождя, снега и бури. И не только самим, а вместе с беззащитными существами, которые льнут к нам, когда свищет ветер, и спрашивают глазенками, зачем родили мы их на свет для таких страданий! – Тут его бас понизился до шепота: – Я знавал отца, который собственными руками убил свое дитя, лишь бы не видеть, как оно голодает. А добрее его не сыскать было человека. – И

прежним, обычным тоном он продолжал: – Мы приходим к хозяевам с открытой душой, чтобы просить их о том, о чем я уже говорил. Мы знаем, что у них есть деньги, которые мы для них заработали; мы знаем, что дела у них поправляются и они получили большие заказы, за которые им хорошо заплатят; и мы просим выдать из этих денег причитающуюся нам долю, потому что, говорим мы, если хозяева получают ее, деньги эти уйдут у них на слуг да на лошадей, на еще большую роскошь и на наряды. Ладно, нравится вам быть дураками – дело ваше, но будьте справедливы. Свою долю мы должны получить и получим – мы не позволим себя провести. Нам эти деньги нужны на хлеб насущный, на то, чтобы жить. И не о нашей жизни мы печемся (я, к примеру, знаю, что многие из здесь присутствующих, как и я, были бы рады и счастливы лежать в могиле, лишь бы не видеть этот постылый мир), а о малышах, которые еще не знают, что такое жизнь, и боятся смерти. Так вот, приходим мы к хозяевам и говорим, чего мы хотим и что мы должны получить, прежде чем согласимся на них работать, а они говорят нам: «Нет!» Вроде бы и этого хватит, но нет! Они еще в насмешку рисуют нас уродами! Я бы тоже, вроде бедняги Джона Слейтера, мог посмеяться над тем, как они меня изобразили, но для этого нужно, чтобы на сердце было легко. А сейчас я знаю только, что готов отдать последнюю каплю крови, лишь бы отомстить этому бесчувственному щеголю, который издевается над исстрадавшимися людьми.

Раздались гневные восклицания, но возмущение рабочих еще не вылилось в слова. И Джон продолжал:

– Вы, наверно, удивляетесь, ребята, почему я не пришел сегодня утром. Я скажу вам, где я был. Тюремный священник прислал за мной и попросил, чтобы я навестил Джонаса Хиггинботэма – того самого, которого забрали на прошлой неделе за то, что он плеснул в лицо штрейкбрехеру кислотой. Я, конечно, пошел, только я не думал, что задержусь так надолго. А Джонас, когда я пришел к нему, был точно сумасшедший: говорит, нет ему ни днем, ни ночью покою – все стоит у него перед глазами лицо того бедняги, которого он облил. Такой он был изголодавшийся, больной и ноги стер в кровь, пока добрался до города, а дома, может, думает Джонас, семья ждет от него вестей, а вестей все нет и нет, и вот вдруг узнают, что он умер. Словом, Джонас столько думал об этом, что совсем потерял покой, – ходит по камере из угла в угол, точно дикий зверь в клетке. Наконец придумал он способ, как помочь этому человеку, и попросил священника послать за мной. А сказал он мне вот что: человек этот лежит в больнице и он просит меня взять серебряные часы, которые ему подарила еще мать, продать их,



как смогу дорожке, отнести деньги в больницу (сегодня как раз туда пускают) и просить беднягу штрейкбрехера послать их своим близким в Бэрнли, а кроме того, передать ему, что Джонас смиренно молит простить его. Так я и сделал, как Джонас просил. И клянусь жизнью, никто из нас никогда не стал бы обливать человека кислотой (во всяком случае, штрейкбрехера), если бы он видел то, что увидел сегодня я. Малый этот лежал с забинтованным лицом, так что самого-то страха я не видел, но все тело его дергалось от боли. Он бы искусал себе все руки, чтобы не стонать, да не мог этого сделать, – так болело у него лицо при каждом движении. Он, наверно, ничего не понял, когда я стал рассказывать ему про Джонаса, но когда я зазвенел деньгами, схватил меня за руку. А когда я спросил, как зовут его жену, он как закричит: «Мэри, Мэри, неужто я тебя никогда больше не увижу? Мэри, радость моя, они выжгли мне глаза за то, что я хотел работать для тебя и для нашего маленького. Ох, Мэри, Мэри!» Тут пришла сиделка, сказала, что он бредит и что я только повредил ему своим приходом. И боюсь, что так оно и было, но уж больно не хотелось мне уходить, не узнав, куда посылать деньги... Вот почему я задержался, ребята.

– Ну и узнал ты, где живет его жена? – спросило сразу несколько взволнованных голосов.

– Нет. Он все говорил и говорил с ней, а меня его слова точно ножом по сердцу резали. Я тогда попросил сиделку узнать, кто она и где живет. Вам же я все это рассказал вот почему: во-первых, я кочу, чтобы все вы знали, почему я не пришел сегодня утром; а во-вторых, что я достаточно насмотрелся и не стану больше трогать штрейкбрехеров.

Послышались неодобрительные возгласы, но Джон не обратил на них внимания.

– Нет, я не трус, – сказал он, – и я предан нашему делу до мозга костей. А хочу я сражаться с хозяевами. Кто-то из вас называл меня трусом. Что ж, каждый имеет право думать, что ему угодно, но я много размышлял над этим сегодня и решил, что все мы ведем себя точно трусы, нападая на таких же, как мы, бедняков, на тех, кому никто не поможет и которые вынуждены выбирать между серной кислотой и голодной смертью. Это-то и есть настоящая трусость. Нет, уж если что-то делать, так нападать на хозяев! – И он крикнул еще раз: – Нападать на хозяев!

Немного погодя он снова заговорил, но уже тише, и все затаив дыхание слушали его:

– Хозяева причинили нам все эти беды, хозяева и должны за это расплачиваться. Тот, кто называл меня сейчас трусом, может испытать, трус я

или нет. Пошлите меня отплатить хозяевам и посмотрите, испугаюсь ли я.

– А хозяева-то, пожалуй, струсят, если хоть одного из них избить до полусмерти, – заметил кто-то.

– А то и до смерти, – буркнул кто-то еще.

И вот в словах и во взглядах, говоривших больше, чем слова, возник смертоносный план. Все таинственнее и мрачнее становились их речи – каждый вставал и хриплым шепотом высказывал свое мнение, глаза сверкали, обращенный на соседа взгляд выдавал страх перед собственными мыслями. Сжатые кулаки, стиснутые зубы, побледневшие лица – все говорило о том, как трудно им идти на преступление, свыкнуться с мыслью о нем.

Затем все произнесли одну из тех страшных клятв, какими связывают себя члены рабочего союза во имя какой-то определенной цели. После чего все снова сгрудились у яркого газового рожка, чтобы обсудить дальнейшие шаги. С недоверием, порождаемым чувством вины, каждый подозрительно косился на соседа, каждый боялся предательства. То самое письмо, на обороте которого утром была нарисована карикатура, разорвали на кусочки и один из них пометили. Затем все клочки сложили одинаково и бросили в шляпу. Газ в рожке прикрутили, и каждый вынул из шляпы бумажку. Затем газ выкрутили снова. Каждый отошел подальше от остальных и, ни слова не говоря, с застывшим, ничего не выражающим лицом, развернул свою бумажку.

Затем все так же молча взяли шляпы и разошлись по домам.

Тот, кто вытянул помеченный клочок бумаги, вытянул участь убийцы! И ведь он поклялся поступить согласно вытянутому им жребию! Но никто, кроме бога и собственной совести этого человека, не знал, кому выпал жребий.

## ГЛАВА XVII

### НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БАРТОНА

Как тяжело говорить: «Прости»,-  
На малый даже срок;  
Он столько может принести  
Страданий и тревог!  
*Неизвестный автор.*

События, описанные в предыдущей главе, произошли во вторник. А вечером, в четверг, когда Мэри хлопотала по хозяйству, на пороге неожиданно появился Уилл Уилсон. Вид у него был какой-то странный, – во всяком случае, странно было видеть его невеселым, без обычной сияющей улыбки. В руке он держал сверток. Он вошел и, вопреки обыкновению, тихо сел.

– Что с тобой, Уилл? Ты, видно, чем-то расстроен!

– Да, Мэри! Я пришел проститься с тобой, а мало кому доставляет удовольствие прощаться с теми, кого любишь.

– Проститься? Господи, Уилл, да почему же так неожиданно?

Мэри поставила утюг, выпрямилась и остановилась у очага. Она всегда питала к Уиллу симпатию, а сейчас в душе ее словно забил родник сестринской любви, и она глубоко опечалилась, услышав о его скором отъезде.

– Почему же все-таки ты уезжаешь так неожиданно? – повторила она свой вопрос.

– Да, – задумчиво сказал он, – очень неожиданно. А впрочем, нет, – спохватившись, продолжал он. – Капитан предупреждал меня, что через две недели он будет готов к отплытию. И все же весть эта показалась мне сейчас очень неожиданной – я так полюбил вас всех.

Мэри поняла, к кому в первую очередь относились эти слова.

– Но ведь ты приехал не две недели тому назад. С тех пор как ты постучал в дверь к Джейн Уилсон, а я, если ты помнишь, как раз была там, прошло меньше двух недель. Гораздо меньше!

– Да, конечно. Но понимаешь, я получил сегодня письмо от Джека Харриса. Он пишет, что корабль наш отплывает в следующий вторник, а я

давно обещал дяде (это брат моей матери, который живет в Кэрк-Крайст за Рамсеем, на острове Мэн) навестить его в этот свой приезд. Поэтому я и должен ехать. Мне, конечно, очень жаль, но я не могу обидеть родню покойной матери. Вот я и должен ехать. И не отговаривай меня, – добавил он, явно опасаясь сдаться, если его начнут упрашивать.

– Я и не собираюсь тебя отговаривать, Уилл. По-моему, ты прав. Мне только жаль, что ты уезжаешь. Скучно будет без тебя. Когда ты едешь?

– Сегодня. Я и пришел к тебе проститься.

– Сегодня! И ты едешь в Ливерпуль! В таком случае, почему бы тебе не поехать вместе с отцом? Он ведь едет в Глазго через Ливерпуль.

– Нет, я иду пешком, а твоему отцу это вряд ли по силам.

– Ну, а почему, собственно, ты идешь пешком? Ведь на железной дороге билет стоит всего три шиллинга шесть пенсов.

– Так-то оно так, но видишь ли, Мэри (только смотри никому не говори, что я сейчас тебе скажу), у меня при себе не только трех шиллингов, а и шести пенсов нет. Перед тем как поехать к вам, я оставил своей хозяйке на сохранение кое-какие деньги – как раз хватит съездить на остров и обратно, да и на подарки. А остальное привез сюда. Ну и все у меня разошлось, кроме сущей ерунды, – добавил он, позвякивая несколькими медяками. – И потом, – добавил он, заметив, как огорчилась Мэри, – не надо так расстраиваться из-за того, что мне придется пройти пешком каких-то тридцать миль. Вечер хороший, ясный, я выйду пораньше и буду на месте к отходу пакетбота на Мэн. А куда едет твой отец? Ты, кажется, сказала – в Глазго? Тогда, может, мы сделаем с ним вместе часть пути, потому что, если пакетбот на Мэн уже уйдет, когда я доберусь до Ливерпуля, я сяду на шотландский. А зачем он едет в Глазго? Искать работы? Говорят, что там дела идут не лучше, чем у вас здесь.

– Да, это так, и он это знает, – печально ответила Мэри. – Мне иной раз кажется, что он уже никогда не получит работы и что дела никогда не наладятся. Очень трудно не падать духом. Как бы мне хотелось быть мальчишкой – я б тогда ушла с тобой в море. По крайней мере, хоть не слышала бы дурных вестей, а то кто ни заходит в дом, так сразу начинает рассказывать о каком-нибудь горе или несчастье. Отец едет делегатом от своего союза просить помощи у рабочих Глазго. Он уезжает сегодня вечером.

Мэри вздохнула: она снова подумала о том, что очень грустно оставаться одной.

– Ты говоришь, ни один человек не заходит в дом, чтоб не рассказать о своем горе. Неужели и у Маргарет Дженнингс случилась какая-нибудь

беда? – взволнованно спросил молодой моряк.

– Нет, – слегка улыбнувшись, ответила Мэри. – Она, по-моему, единственный человек, у кого нет забот. Даже ее слепота представляется мне порой благом: она так горевала, когда боялась ослепнуть, но вот теперь это случилось, и она вроде бы успокоилась и кажется счастливой. Да, я думаю, что Маргарет счастлива.

– А мне бы даже хотелось, чтоб это было иначе, – задумчиво произнес Уилл. – Я был бы так рад, если б мог позаботиться о ней, утешить ее в несчастье.

– А почему ты не можешь заботиться о ней, когда она счастлива? – спросила Мэри.

– Право, не знаю. Она настолько лучше меня! А какой у нее голос! Когда я слышу ее пение и думаю о своих самых сокровенных желаниях, мне кажется, что предложить ей стать моей женой – все равно что просить руки ангела.

Несмотря на овладевшее ею уныние, Мэри громко рассмеялась от этого сравнения: уж очень трудно было представить себе (даже обладая фантазией портнихи), где и как можно прикрепить крылья к коричневому шерстяному платью или к ситцевому – голубому с желтым.

Уилл тоже засмеялся, заразившись ее веселостью.

– Что ж, смейся, смейся, Мэри, – заметил он. – Это только показывает, что ты никогда не была влюблена.

Мэри тотчас покраснела как маков цвет, и в ее кротких серых глазах появились слезы. Это она-то не влюблена – она, которую так истерзали сомнения любви! Какой он злой!

А он и не заметил, как она покраснела, как изменилась в лице. Он заметил только, что она молчит, и потому продолжал:

– Я подумал... я думаю, что вернусь из этого плаванья и все ей скажу. Я уже четвертый раз пускаюсь в плаванье на этом судне с этим капитаном. По возвращении он обещал сделать меня вторым помощником – тогда я смогу что-то предложить Маргарет. Ее дедушка и тетя Элис будут жить с ней, чтобы ей не было одиноко, когда я буду уходить в море. Но я говорю так, точно нравлюсь ей и она согласится выйти за меня замуж. Как ты думаешь, Мэри, я хоть немножко ей нравлюсь? – робко спросил он.

У Мэри было вполне определенное мнение на этот счет, но она не считала себя вправе высказывать его.

– Ты должен спросить об этом Маргарет, а не меня, Уилл, – сказала она. – Маргарет никогда при мне не произносила твоего имени. – Лицо Уилла вытянулось. – Но мне думается, это добрый знак, когда дело идет о

такой девушке, как Маргарет. Я не имею права говорить, что я думаю об этом, но будь я на твоём месте, я не уехала бы, не поговорив с ней.

– Нет, не могу я! Я уже пытался. Я зашел к ним проститься, и язык у меня точно прилип к гортани. Ничего я не смог ей сказать из того, что хотел, а предложить ей пожениться, пока я не вернусь из плаванья и не буду вторым помощником, я бы никогда не посмел. Я не смог даже подарить ей эту коробку, – сказал он, разворачивая бумагу и показывая аляповато разукрашенную гармонику. – Мне хотелось купить ей что-нибудь, и я подумал, что ей, пожалуй, больше понравится, если это будет что-нибудь по музыкальной части. Так вот, не могла бы ты, Мэри, передать ей это, после того как я уеду? И если можешь, скажи ей что-нибудь нежное – ну, ты знаешь, что я к ней чувствую. Может, она выслушает тебя, Мэри.

Мэри обещала выполнить все, о чем он ее просил.

– В открытом море я буду думать о ней, стоя ночами на вахте. А вот вспомнит ли она обо мне, когда завоет ветер и разыграется буря? Ты ей часто будешь говорить обо мне, Мэри? И если со мной что-нибудь случится, скажи ей, как она была мне дорога, и попроси ее ради того, кто так горячо ее любил, утешить мою тетюшку Элис. Милая старушка! Вы с Маргарет будете часто навещать ее, правда? Очень она сдала с тех пор, как я приезжал в последний раз. А какая она добрая! Когда я был совсем маленьким и жил у нее, я часто просыпался среди ночи от стука в дверь: то сосед заболел, то у кого-то ребенок никак не заснет, и, как бы она ни устала, она, бывало, вскочит и мигом оденется, не думая о том, что завтра ей, может, предстоит тяжелая стирка. Счастливые были времена! Как я радовался, когда она брала меня с собой в луга собирать травы! Я с тех пор пил чай в Китае, но он и наполовину не так вкусен, как чай из трав, который она заваривала мне по воскресеньям вечером. А сколько она всего знает про растения, про птиц и про их повадки! Она много рассказывала мне о своем детстве, и мы все мечтали, что поедем когда-нибудь, если угодно будет богу (как она любит говорить), в Ланкашир и поселимся в том самом домике, где она родилась, если сумеем нанять его. Да, а вот что получилось из всех наших планов! Она по-прежнему живет в тупичке в Манчестере и едва ли когда-либо увидит снова родные края, а я, матрос, на будущей неделе отправлюсь в Америку. Очень бы мне хотелось, чтобы она до своей смерти все-таки побывала в Бэртоне.

– А может, ее это только расстроит: ведь там все, наверно, очень изменилось, – заметила Мэри, хотя в душе вполне разделяла желание Уилла.

– Да, конечно, может, оно и к лучшему. Одно только меня мучает, и я

часто об этом думаю в открытом море, когда даже самые пустоголовые размышляют о прошлом и будущем, – то, что я столько раз огорчал ее! Да, Мэри, мы часто с болью в сердце вспоминаем свои опрометчивые слова, как подумаем, что, может, уже не увидим того, кому мы их сказали.

Оба задумались. Внезапно Мэри вздрогнула:

– Это отец идет! А рубашка его еще не готова!

Она поспешно схватила утюг и принялась наверстывать упущенное время.

Вошел Джон Бартон. Уилл подумал, что никогда еще не видел такого измученного и встревоженного человека. Он взглянул на Уилла, но не поздоровался с ним.

– Я пришел проститься с вами, – сказал моряк и собирался было произнести еще несколько дружеских слов, но Джон Бартон не дал ему договорить.

– Ну, что ж, прощай, – отрезал он.

По всему видно было, что он хочет избавиться от гостя, и, почувствовав это, Уилл пожал руку Мэри и посмотрел на Джона, не зная, подать ему руку или нет. Но, не заметив ни ответного взгляда, ни движения, он направился к двери и уже с порога сказал:

– Вспомни обо мне во вторник, Мэри. Джек Харрис говорит, что в этот день мы поднимем якорь.

Мэри почувствовала искреннее огорчение, когда дверь за ним закрылась: у нее было такое ощущение, точно вдруг исчез солнечный луч. Но отец!... Что с ним такое? Он был чем-то очень взволнован, но ни слова не говорил (было бы лучше, если бы он хоть что-нибудь сказал!), а только то и дело вскакивал, потом снова садился и мешал ей гладить. Судя по лицу, он был просто не в себе. Может быть, ему не понравилось, что Уилл был здесь, или его рассердило то, что она так замешкалась? Наконец она почувствовала, что не может больше сдерживаться, – его возбуждение передалось и ей. И она решила заговорить с ним:

– Когда вы едете, отец? Я не знаю расписания поездов, потому и спрашиваю.

– А зачем тебе знать? – буркнул он. – Гладь и не суй нос в чужие дела.

– Я просто хотела приготовить вам что-нибудь поесть, – ласково сказала она.

– Как будто ты не знаешь, что я учусь обходиться без пищи, – заметил он.

Мэри посмотрела на него, желая удостовериться, что это шутка. Но нет, он был мрачен и серьезен.

Кончив гладить, она принялась готовить ему ужин: к этому времени она уже научилась распознавать все степени голода и понимала, что раздражение отца подогревается, а возможно, и объясняется голодом.

Он получил соверен для оплаты расходов на поездку в Глазго и утром дал Мэри несколько шиллингов, поэтому она могла купить кое-что и теперь старалась приготовить ужин повкуснее.

– Если ты это делаешь для меня, Мэри, то напрасно стараешься. Я ведь сказал тебе, что не хочу есть.

– Ну, перекусите хоть немножечко, отец, перед дорогой, – принялась упрашивать его Мэри.

Тут к ним неожиданно пришел Джоб Лег. Заходил он не часто, но уж если это случалось, Мэри по опыту знала, что скоро он не уйдет. Лицо ее отца, который как будто начинал сдаваться на ее ласковые уговоры, снова стало необычайно мрачным. Забыв об обязанностях хозяина, он еле поздоровался с Джобом Легом и опять погрузился в угрюмую задумчивость. Но Джоб не очень-то обращал внимание на церемонии. Он пришел в гости – посидеть и не собирался отказываться от своего намерения. Его интересовала поездка Джона Бартона в Глазго, и ему хотелось подробнее узнать о ней, а потому он уселся поудобнее, и Мэри поняла, что это надолго.

– Так, значит, ты едешь в Глазго, а? – начал он свой допрос.

– Да.

– Когда же?

– Сегодня.

– Это я знаю. Но каким поездом?

Как раз это хотелось знать и Мэри, и как раз на эту тему не хотелось говорить ее отцу. Ни слова не сказав в ответ, он встал и ушел наверх. По его походке Мэри догадалась, до чего он взбешен, и испугалась, что Джоб это тоже увидел. Но нет, на Джоба ничто не действовало. Тем лучше. Быть может, ей удастся своей вежливостью загладить грубость отца по отношению к их доброму другу.

И вот, прислушиваясь к шагам отца наверху – тяжелым, нетерпеливым, тревожным, – Мэри принялась занимать Джоба Лега, стараясь, чтобы он не заметил ее рассеянности.

– Когда отец уезжает, Мэри?

Снова этот неотвязный вопрос.

– Очень скоро. Я как раз готовлю ему ужин. А как поживает Маргарет?

– Да ничего. Она решила пойти сегодня вечером на часок к Элис Уилсон, как только ее племянник уедет в Ливерпуль, чтобы старушке не



было так одиноко. Союз, конечно, оплачивает поездку твоего отца?

– Да, ему дали соверен. А вы член союза, Джоб?

– Да, конечно, но я ничего там не делаю, а только состою в членах.

Пришлось мне вступить в союз, чтоб они отстали от меня, а то, видите ли, получается, что я не заодно с ними. Они считают себя очень умными, а меня глупым, потому что я не согласен с ними! Ну и что же? Ведь оттого, что я так считаю, вреда никакого никому нет. Но не хотят они меня оставить в мире и покое, а хотят, чтобы и я был таким же умным, как они. И приходится мне быть умным на их лад, а то мне от них житья не будет, последнего куска хлеба лишат.

«Что там отец делает наверху? Топают, грохочет. Почему он не спускается? И почему не уходит Джоб? Ужин того и гляди подгорит».

Но Джоб не собирался уходить.

– А глупость моя, Мэри, состоит вот в чем. Что мне дают, то я и беру: по мне, лучше иметь полкраюхи, чем совсем ничего. Я скорее соглашусь работать за низкую плату, чем сидеть сложа руки и голодать. Но тут союз и говорит: «Если ты согласишься работать за полкраюхи, мы тебя так допечем, что тебе жить не захочется. Выбирай: хочешь голодать или иметь от нас неприятности?» Ну, голодная смерть все легче неприятностей. Вот я и выбрал голодную смерть и вступил в союз. Но лучше бы они оставили меня в покое и не делали из меня умника.

Заскрипели ступеньки.

«Наконец-то отец спускается».

Да, он спустился, но еще более злой и мрачный, чем раньше. Он уже совсем собрался в путь и нес в руке небольшой узелок. Он подошел к Джобу и попрощался с ним гораздо любезнее, чем ожидала Мэри. Затем он повернулся к дочери и отрывисто и холодно простился с ней.

– Подождите хоть минутку, отец. Ваш ужин совсем готов. Погодите немного.

Но он оттолкнул ее и направился к двери. Она кинулась за ним, ничего не видя из-за внезапно подступивших слез, и, остановившись на пороге, долго глядела ему вслед. Он был такой странный сегодня, холодный, жестокий. Уже в воротах он вдруг оглянулся и, увидев дочь, вернулся и крепко ее обнял.

– Да благословит тебя господь, Мэри! Да благословит тебя, бедное дитя, отец наш небесный!

Мэри обвила его шею руками.

– Не уходите, отец, не хочу я, чтобы вы вот так ушли. Вернитесь, поужинайте... У вас такой больной вид... Милый отец, ну пожалуйста!

– Нет, – тихо и печально промолвил он. – Так будет лучше. Я все равно не могу есть, и лучше мне уйти. Не могу я сидеть спокойно дома. Мне легче, когда я двигаюсь.

С этими словами он разжал ее нежные объятия и, поцеловав ее еще раз, отправился выполнять свой жестокий долг.

И вот он скрылся из виду! Сама не зная почему, Мэри почувствовала такое уныние, такое отчаяние, каких не знала прежде. Потом она вернулась к Джобу, продолжавшему сидеть у очага.

А отец Мэри, едва свернув за угол, замедлил шаг; он брел, тяжело ступая, и весь его облик говорил о безнадежности и отчаянии. Спускались сумерки, а он все бродил по улицам, не отвечая тем, кто с ним здоровался.

Внезапно ухо его уловило детский плач. В это время он как раз думал о маленьком Томе – о своем маленьком сыне, умершем в более счастливые годы и давно похороненном. Он пошел на звук плача (ведь так мог плакать и его Том) и обнаружил крошечное заблудившееся существо, у которого горе заглушило все мысли, кроме одной: «Мама, мама!» Джон Бартон принялся ласково успокаивать малыша и, с поразительным терпением вслушиваясь в его лепет, перемежающийся испуганными всхлипываниями, сумел добраться до какого-то смысла. С помощью прохожих, к которым он то и дело обращался за разъяснениями, Бартон сумел отыскать дом малыша и отвел его к матери, которая за хлопотами еще не хватилась сынишки; теперь же, увидев его, принялась благодарить Бартона с ирландским красноречием. Услышав, что она его благословляет, Джон печально покачал головой, повернулся и вышел.

Теперь оставим его.

После ухода отца Мэри взяла шитье и долго сидела за работой, стараясь вслушиваться в то, что говорил Джоб, который был в этот вечер особенно словоохотлив. Подавив досаду, Мэри предложила ему ужин, от которого отказался отец, и даже сама попыталась съесть хоть немного. Но кусок не шел ей в горло. На сердце у нее лежала свинцовая тяжесть – словно предчувствие беды. Но может быть, это была лишь грусть, вызванная отъездом в один вечер двух близких людей.

Мэри желала только одного, – чтобы Джоб Лег поскорее ушел. Ей не хотелось бросать работу и плакать при нем, а она никогда еще не ощущала такой потребности как следует выплакаться.

– Видишь ли, Мэри, – вдруг услышала она, – я подумал, что тебе может взгрустнуться сегодня, когда ты останешься одна, и раз Маргарет пошла посидеть со старушкой, я и решил составить тебе компанию. Очень мы с тобою славно провели вечерок, очень. И по душам побеседовали. Все

хорошо – только вот почему это Маргарет до сих пор не идет?

– Да, может, она давно уже дома, – заметила Мэри.

– Нет, нет. Я уж позаботился, чтоб этого не случилось. Видишь? – И он вытащил из кармана большой ключ от входной двери. – Ей пришлось бы дожидаться меня на улице, а зачем же она станет это делать, если она знает, где меня найти.

– А одна-то она до дому доберется? – спросила Мэри.

– Да. Сначала я боялся ее отпускать и шел следом, но так, что она, конечно, ничего не подозревала. Но, слава богу, ходит она очень уверенно – правда, немножко медленно и склонив голову набок, точно все время прислушивается. Как хорошо она переходит улицу! Постоит немножко, послушает – карету или телегу она, конечно, увидит, как большое темное пятно, но угадать, далеко ли это, не может, поэтому стоит и слушает. Да вот и она сама!

И в самом деле, в комнату вошла Маргарет, но ее обычно спокойное лицо было заплаканным и печальным.

– Что случилось, детонька? – поспешно спросил ее Джоб.

– Ах, дедушка! Элис Уилсон так плохо! – Она прерывисто дышала от волнения и больше ничего не могла сказать. – Разлука с Уиллом так ее расстроила, что этот новый удар ей уже трудно было вынести.

– В чем дело? Да расскажи же нам, Маргарет! – попросила Мэри, усаживая девушку на стул и развязывая ленты ее шляпки.

– По-моему, у нее паралич. Во всяком случае, одна сторона совсем отнялась.

– Это случилось еще при Уилле? – спросила Мэри.

– Нет. Его уже не было, когда я туда пришла, – ответила Маргарет. – И Элис выглядела ничуть не хуже, чем последние дни. Она беседовала со мной, но немного – ты ведь знаешь, что миссис Уилсон любит поговорить сама. Элис встала и пошла было зачем-то на другой конец комнаты. Я услышала, что она волочит ногу. Потом она вдруг упала, миссис Уилсон бросилась к ней и подняла страшный крик! Я побыла с Элис, пока миссис Уилсон бегала за доктором, но она ни слова не могла вымолвить, хоть, по-моему, и старалась.

– А где же был Джем? Почему он не пошел за доктором?

– Его не было дома, когда я к ним пришла, и до моего ухода он так и не появился.

– Неужели ты оставила миссис Уилсон одну с бедняжкой Элис? – поспешно спросил Джоб.

– Нет, конечно, – сказала Маргарет. – Ах, дедушка, вот сейчас я

поняла, как тяжело быть слепой. Мне бы так хотелось ухаживать за ней, да я и пыталась, пока не поняла, что приношу больше вреда, чем пользы. Ах, бабушка, если бы я могла видеть!

И она расплакалась, а они не стали ее утешать – пусть облегчит себе душу.

– Нет, конечно, я не оставила их вдвоем, – немного спустя продолжала она. – Я пошла к миссис Дейвенпорт, и, хотя у нее сейчас много работы, она сразу все бросила, как только я сказала ей, зачем пришла. Она тут же собралась и сказала, что пойдет к Джейн Уилсон и просидит с Элис до утра.

– А что говорил доктор? – осведомилась Мэри.

– Да то, что все доктора говорят, чтобы не ошибиться: с одной стороны да с другой стороны. Дескать, надежды на выздоровление очень мало, но, пока человек жив, надежду терять нельзя. И выздороветь она, пожалуй, все-таки может, хотя в ее годы это не часто бывает. Он велел поставить ей к голове пиявки.

Кончив говорить, Маргарет устало откинулась на спинку стула. Мэри засуетилась, приготавливая ей чай, а Джоб, весь вечер болтавший без умолку, вдруг притих и хранил грустное молчание.

– Я первым делом зайду к ним завтра утром, чтобы узнать, как она, а потом забегу к вам до работы и все расскажу, – пообещала Мэри.

– Плохо, что Уилл уехал! – заметил Джоб,

– Джейн кажется, что Элис никого не узнает, – сказала Маргарет. – Может, оно и лучше, что он не увидит ее такой, – ведь лицо у нее вроде бы все перекошено. Пусть лучше помнит ее такой, какой она была, когда он видел ее в последний раз.

Обменявшись еще несколькими печальными фразами, они простились, и Мэри осталась наедине со своими мыслями о прошедшем тяжелом дне. Все, казалось, шло не так, как надо. Уилл уехал. Отец тоже уехал – и так странно при этом вел себя! И уехал в такую даль – в Глазго, который представлялся Мэри необычайно таинственным местом. Присутствие отца служило для нее защитой от Гарри Карсона и его угроз, и она боялась, как бы он не узнал теперь, что она осталась одна. Отчаяние овладевало ею, и когда она начинала думать о Джеме. А что, если он разлюбил ее! Она же... она только еще сильнее любила его за это кажущееся забвение. И вот теперь – вдобавок ко всем этим печальным мыслям – новое горе: бедняжку Элис разбил паралич!

## ГЛАВА XVIII

### УБИЙСТВО

Но пульс – уже не бился он,  
С губ не слетел предсмертный стон:  
Отлетая за предел,  
Не вздохнул он, не всхрипел...<sup>[87]</sup>  
*«Осада Коринфа».*

В смятении мой ум, но лишь отмщенье  
Манит его.  
*«Герцог Гиз».* <sup>[88]</sup>

Вернемся теперь на час или два назад – к событиям, которые произошли до того, как Мэри простилась со своими друзьями. Было около восьми часов вечера, и все три барышни Карсон сидели в гостиной отцовского дома. Сам мистер Карсон заснул в столовой, в своем удобном кресле. Миссис Карсон (как всегда, когда у них не было гостей) чувствовала себя плохо и пребывала наверху, в своем будуаре, предаваясь мигрени. Ей и правда нездоровилось. «Дурью мается», – говорили слуги. На самом же деле это было естественным следствием полного безделья и духовной апатии. Женщина необразованная, она не имела представления о том, как можно было бы с пользой распорядиться богатством и досугом, которыми обладала в избытке. Она бы чувствовала себя гораздо лучше, если бы вместо нашатыря и нюхательных солей, к которым она ежедневно прибегала, взялась на недельку за работу одной из своих горничных: стлала бы постели, вытирала столы, трясла ковры и выходила утром на свежий воздух без всех этих шалей, накидок, боа, меховых сапожек, капоров и вуалей, в которые она облачалась, отправляясь «подышать свежим воздухом» в душной карете.

Итак, три сестры были предоставлены сами себе. Они сидели в уютной, красивой, ярко освещенной гостиной и, подобно многим другим девицам их круга, не знали, как скоротать время до чая. Две старшие

накануне были на балу и поэтому сидели сонные и ко всему безучастные.

Одна из них попыталась было читать «Эссеи» Эмерсона <sup>[89]</sup> и заснула за этим занятием; другая перебирала пачку новых романсов, выбирая те, которые ей нравились. Эми, младшая из сестер, переписывала какие-то ноты. Из оранжереи в комнату проникал тяжелый аромат цветов, особенно усиливающийся к вечеру.

Часы на каминной доске прозвонили восемь. Софи (та, которая дремала) вздрогнула и проснулась от их звона.

– Который час? – спросила она.

– Восемь, – ответила Эми.

– О господи, до чего же я устала! Гарри уже пришел? Скорей бы подавали чай, может быть, он разгонит сон. А ты, Элен, как себя чувствуешь?

– Я совсем разбита. Впрочем, после бала всегда так, хотя во время танцев не ощущаешь ни малейшего утомления. Очевидно, балы все-таки кончаются слишком поздно.

– Но что поделаешь? Очень многие обедают только в пять или в шесть. Значит, бал можно назначить не раньше, чем на восемь или на девять. А потом еще довольно долго не начинается настоящее веселье. Заметь, после ужина всегда бывает веселее.

– Ну, я сегодня слишком устала, чтобы учить мир, когда надо устраивать балы. Что ты там переписываешь, Эми?

– Да ту испанскую песенку, которую ты поешь: «Quien quiere» (Тот, кто любит *(исп.)*).

– А зачем ты ее переписываешь? – поинтересовалась Элен.

– Сегодня утром за завтраком Гарри попросил меня переписать ее... Он сказал, что это для мисс Ричардсон.

– Для Джейн Ричардсон! – повторила Софи таким тоном, точно ее поразила неожиданно пришедшая ей в голову мысль.

– Ты думаешь, Гарри ухаживает за ней с серьезными намерениями? – спросила Элен.

– Я знаю ровно столько же, сколько и ты. Я могу лишь наблюдать и делать выводы. А ты как считаешь, Элен?

– Гарри всегда ухаживает за признанными красавицами. Стоит какой-нибудь девушке снискать всеобщее восхищение, как он становится ее поклонником, стараясь сделать вид, будто она оказывает ему некоторое предпочтение. Это его обычная манера. И в его внимании к Джейн Ричардсон я не заметила ничего особенного.

– Только она об этом, по-моему, не догадывается. Понаблюдай за ней в

следующий раз, когда на балу будет Гарри. Увидишь, как она покраснеет и станет смотреть в сторону, заметив, что он направляется к ней. По-моему, он это тоже видел, и ему это приятно.

– Конечно, Гарри был бы не прочь вскружить голову такой хорошенькой девушке, как Джейн Ричардсон. Но я не уверена, что он влюблен в нее, хоть она и очень мила.

– Он наш брат, но я считаю, что он ведет себя недостойно! – возмущенно воскликнула Софи. – Чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что Джейн считает его намерения серьезными и что он хочет, чтобы она так считала. А когда он перестанет ухаживать за ней...

– А это случится, как только появится девушка красивее ее, – перебила сестру Элен.

– А когда он перестанет ухаживать за ней, – продолжала Софи, – она будет жестоко страдать, а потом ожесточится и станет легкомысленной бессердечной кокеткой, и все потому, что Гарри бессердечно кружил ей голову. Бедняжка!

– Не нравится мне, что ты так говоришь о Гарри, – заметила Эми, поднимая взгляд на Софи.

– Мне самой не нравится, что я вынуждена говорить так о нем, Эми, потому что я очень люблю его. Он добрый, хороший брат, но он тщеславен. По-моему, он сам не понимает, к какому горю, к какому даже преступлению может привести его это тщеславие.

Элен зевнула.

– Как вы считаете, не позвонить ли нам, чтобы подали чай? Меня всегда лихорадит, когда я посплю после обеда.

– Ну, конечно. Почему бы нет? – заметила наиболее энергичная из сестер, Софи, и решительно дернула сонетку. – Подайте нам чаю, Паркер, – приказала она, когда лакей вошел в комнату.

Она не привыкла приглядываться к окружающим и потому не заметила ничего особенного в лице Паркера.

А лицо это должно было бы ее поразить. Оно было смертельно бледно; губы сжаты как бы в стремлении утаить страшное известие; глаза неестественно расширены. Словом, все черты этого лица выражали ужас.

Девушки, готовясь пить чай, принялись убирать книги и ноты. Дверь снова медленно отворилась – на этот раз вошла няня. Я называю ее «няней», потому что именно эти обязанности она когда-то исполняла, хотя теперь, когда ее питомицы выросли, в доме у нее не было определенных обязанностей. Она была чем-то вроде домашней швеи, а также горничной барышень и экономкой, хотя звали ее по-прежнему «няня». Она жила в

доме дольше всех остальных слуг, и с ней хозяева держались не так надменно, как с остальными. Она нередко заходила за чем-нибудь в гостиную по поручению хозяина или хозяйки, а потому ее появление не удивило девушек. И они продолжали каждая заниматься своим делом.

А ей хотелось, чтобы они взглянули на нее. Ей хотелось, чтобы они прочли то, что было написано на ее лице, исполненном горя и ужаса. Но они по-прежнему не замечали ее. Она кашлянула – не естественно, а так, как кашляют, когда хотят привлечь к себе внимание.

– Что случилось, нянюшка? – спросила Эми. – Вы нездоровы?

– Мама заболела? – поспешно осведомилась Софи.

– Да говори же, няня, говори! – воскликнули они хором, видя, что она пытается что-то сказать, но ее душат рыдания.

Девушки в тревоге обступили ее, догадываясь по ее лицу, что произошло что-то ужасное.

– Милые мои барышни! Милые мои девочки! – выговорила она наконец и залилась слезами.

– Да скажи же нам, няня, что случилось! – воскликнула одна из них. – Любое известие лучше, чем это молчание. Говори же!

– Деточки мои! Уж не знаю, как вам об этом и сказать. Дорогие вы мои! Бедного мистера Гарри принесли сейчас...

– Принесли?! *Принесли?*... Как – принесли?

Эти слова девушки инстинктивно произнесли шепотом, но то был шепот, порожденный страхом. И таким же шепотом, словно боясь, что ее могут услышать стены, обстановка – все эти неодушевленные предметы, говорившие о жизни и комфорте, – няня dokonчила фразу:

– ...мертвого!

Эми уцепилась за руку няни и впилась в ее лицо, словно ища подтверждения тому, что это правда, и, прочтя в сумрачном, немигающем взгляде печальных глаз, что это так, без звука, без слова упала в обморок. Другая сестра опустилась на кушетку и закрыла лицо руками, пытаясь поверить в случившееся. Это была Софи. А Элен бросилась на диван и, зарывшись головой в подушки, старалась заглушить сотрясавшие ее рыдания.

Няня молчала. Но сказала она далеко не все.

– Няня, – хриплым голосом, указывавшим на внутреннюю боль, произнесла вдруг Софи, – няня, ты говоришь, он умер? А вы послали за доктором? Надо послать за доктором, сейчас же послать за доктором! – закричала она, вскакивая с кушетки.

Элен тоже приподнялась и затаив дыхание смотрела на няню.



– Дорогие мои, он умер! Но я послала за доктором. Я сделала все, что могла.

– Когда же он... когда же его принесли? – спросила Софи.

– Да минут десять назад. Как раз перед тем, как вы позвонили.

– Отчего же он умер? Где его нашли? Он казался таким здоровым и сильным. Может быть, это какая-то ошибка?

И Софи направилась к двери. Но няня удержала ее за локоть.

– Я еще не все вам сказала, мисс Софи. Только выдержите ли вы? Помните, что хозяин в соседней комнате, а он еще ничего не знает. Пойдемте со мной: вы должны помочь мне сказать ему об этом. А теперь, деточка моя, мужайтесь, он ведь не своей смертью умер.

И няня посмотрела девушке в лицо, как бы стараясь взглядом дополнить смысл слов. Губы Софи шевельнулись, но с них не сорвалось ни единого звука.

– Его застрелили, когда он возвращался домой по Тэрнер-стрит.

Губы Софи продолжали шевелиться, но теперь они конвульсивно дергались.

– Вы должны взять себя в руки, мисс Софи. Помните, что ваш батюшка и ваша матушка еще ничего не знают. Да скажите же хоть что-нибудь, мисс Софи!

Но та не могла произнести ни звука – только лицо ее непрерывно дергалось. Няня вышла из комнаты и почти тотчас вернулась с нюхательной солью и водой. Софи жадно выпила воду и судорожно вздохнула.

– Что я должна сделать, няня? – неестественно спокойным тоном спросила она. – А ты помоги Элен и бедняжке Эми. Ты видишь, в каком они состоянии.

– Бедняжки! Не надо их сейчас трогать. А вы, мисс Софи, должны пойти к хозяину и рассказать ему, что случилось. Пойдемте: он спит в столовой, а там ждут люди – они хотят поговорить с ним.

Софи машинально подошла к двери столовой.

– Ах нет, я не могу войти туда. Я не могу сказать ему. Да и что я ему скажу?

– Я пойду с вами, мисс Софи. Его надо подготовить.

– Не могу я, няня. У меня так стучит в висках, что я наверняка скажу что-нибудь не то.

И все же она открыла дверь. Подле настольного канделябра сидел ее отец; затененный свет смягчал его резкие черты, – лишь седые волосы отчетливо выделялись на темно-красной коже кресла. Газета, которую он

читал, выпала из его рук и валялась рядом на ковре. Он дышал ровно и глубоко.

В эту минуту Софи пришли на память слова из песни миссис Хеменс:  
[\[90\]](#)

Решив из царства снов призвать  
Того, кто вдруг заснул,  
Никто из нас не может знать,  
На что он посягнул.

Но для отца, лишившегося сына, жизненный путь будет отныне не просто печальным, а гораздо более тяжким.

– Папа, – тихонько окликнула его Софи. Он даже не шевельнулся. – Папа! – уже громче позвала она.

Он вздрогнул и выпрямился в кресле, еще не совсем проснувшись.

– Подали чай? – спросил он и зевнул.

– Нет, папа. Случилось нечто ужасное, нечто очень печальное!

Он зевнул так громко, что не разобрал ее слов и не заметил выражения ее лица.

– Мистер Гарри не вернулся домой, – сказала няня.

Она никогда не обращалась к нему так прямо, и, протерев глаза, он с недоумением посмотрел на старуху.

– Гарри? А он и не мог еще прийти: он отправился на совещание по поводу этих проклятых забастовщиков. Почему ты так странно смотришь на меня, Софи?

– Ах, папочка, Гарри вернулся домой, – произнесла она и залилась слезами.

– Что это значит? – нетерпеливо спросил он, внезапно сообразив, что случилось что-то неладное. – Одна говорит, что он не вернулся домой, а другая говорит, что вернулся. Что за ерунда! Говорите сейчас же, в чем дело. Он что, поехал в город верхом? Лошадь его сбросила? Да говори же, дочка.

– Нет, папа, лошадь его не сбрасывала, – печально ответила Софи.

– Но он серьезно ранен, – вставила няня, желая дать определенное направление его тревоге.

– Ранен? Где? Когда? Вы послали за доктором? – забросал он их вопросами и поспешно поднялся, видимо намереваясь пойти туда, где был его сын.

– Да, папа, мы послали за доктором... Только боюсь... Мне кажется,

что это бесполезно.

Секунду он смотрел на дочь и на ее лице прочел правду. Его сын, единственный сын, умер.

Он опустился в кресло, закрыл руками лицо и уткнулся головой в стол. Массивный обеденный стол красного дерева затрясся от его рыданий.

Софи подошла к отцу и обняла его за шею.

– Уходи! Ты ведь не Гарри! – воскликнул он. Но ее прикосновение заставило его очнуться. – Где он? Где его... – спросил он. Горе его было настолько сильным, что за две минуты глубокие борозды страдания прочертили его волевое лицо.

– Внизу, – ответила няня. – Его принесли двое полицейских и еще какой-то человек. Им хотелось бы поговорить с вами, когда вы сможете, сэр.

– Я могу и сейчас, – сказал он.

Встав с кресла, он слегка пошатнулся, но тотчас взял себя в руки и твердым шагом, словно солдат на ученье, направился к двери. Не дойдя до нее, он, однако, вернулся и налил себе вина из еще стоявшего на столе графина. Взгляд его упал на рюмку, из которой пил Гарри всего каких-нибудь два-три часа назад. Он глубоко, судорожно вздохнул и, овладев собой, вышел из комнаты.

– Идите-ка лучше к сестрам, мисс Софи, – посоветовала няня.

И мисс Карсон последовала ее совету. Она не могла еще заставить себя пойти взглянуть на умершего.

А няня направилась за мистером Карсоном вниз. Там на столе, за которым обычно обедали слуги, лежал умерший. Люди, принесшие его, сидели подле огня, а вокруг стояли слуги и смотрели на покойника.

Покойника!

Двое-трое плакали; некоторые перешептывались, – и тон их голоса и каждое движение были отмечены той особой печатью, которую накладывает присутствие смерти. Когда вошел мистер Карсон, они отступили в глубину комнаты, уважая его горе.

Он подошел и долго, любовно смотрел на мертвое застывшее лицо, потом нагнулся и поцеловал сына в еще розовые, как при жизни, губы. Полицейский стоял рядом в ожидании вопросов. Но мистер Карсон не мог пока думать ни о чем, кроме того, что сын его мертв. И лишь потом он начал сознавать, что он не просто мертв, а, возможно, убит.

– Как он умер? – спросил он наконец с тяжелым вздохом.

Полицейские переглянулись. И один из них начал рассказывать. Услышав выстрел на Тэрнер-стрит, он бросился туда. Мистер Карсон

хорошо знал этот глухой переулок, которым можно было напрямик пройти к калитке его сада, а у Гарри был ключ от нее. Свернув в переулок, полицейский услышал шаги убегающего человека, но вечер был такой темный (луна еще не взошла), что в двадцати ярдах ничего нельзя было разглядеть. Он даже испугался, когда наткнулся на тело, лежавшее поперек дороги, у самых его ног. Он засвистел. На помощь прибежал другой полицейский, и при свете фонаря они разглядели, кто убит. Они думают, что он был уже мертв, когда они его подняли, так как он ни разу не пошевелился, не произнес ни слова, ни разу не вздохнул. Об убийстве сообщено начальнику полиции, который, по всей вероятности, скоро сам прибудет сюда. Два или три полицейских все еще осматривают место преступления в поисках следов убийцы. Рассказав все это, полицейские умолкли.

Мистер Карсон внимательно выслушал их, не отрывая глаз от мертвого сына.

– Куда попала пуля? – спросил он, когда они кончили свой рассказ.

Полицейский приподнял густую прядь каштановых волос, открыв небольшой синяк (который с трудом можно было назвать отверстием – так плотно затянулась ранка) на левом виске. Меткий выстрел – а ведь вечер был такой темный!

– Убийца стрелял, должно быть, чуть ли не в упор, – заметил один из полицейских.

– И зашел так, чтобы видеть его на фоне неба, – добавил другой.

Люди, стоявшие у двери, вдруг расступились, и на пороге появилась несчастная мать.

Она услышала в доме какой-то непонятный шум и послала горничную (с которой она охотнее проводила время, чем со своими благовоспитанными дочерьми) узнать, что происходит. Но горничная либо забыла про поручение, либо боялась возвращаться, и, не выдержав, миссис Карсон сама спустилась вниз и пришла на гул голосов в людскую столовую.

Мистер Карсон обернулся, но он не способен был покинуть мертвого ради живых.

– Уведите ее, няня. Это зрелище не для нее. И попросите мисс Софи, чтобы она побыла с матерью.

И он снова устремил взгляд на мертвое лицо сына.

Вскоре по всему дому разнеслись истерические рыдания миссис Карсон. Муж ее вздрогнул, услышав отголосок того, что происходило в его собственном сердце.

Но тут явился начальник полиции, а вслед за ним и доктор. Последний молча проделал все необходимое для установления смерти, и когда, вскрыв вену, из которой не вытекло ни капли крови, он покачал головой, присутствующие поняли, что их предположение подтвердилось. Начальник полиции попросил у мистера Карсона разрешения поговорить с ним наедине.

– Я сам хотел просить вас об этом, – сказал тот и повел его в столовую, где на столе стояла рюмка убитого.

Плотно прикрыв дверь, они сели, но каждый ждал, чтобы разговор начал другой.

Наконец мистер Карсон прервал молчание.

– Вы, возможно, слышали, что я богатый человек.

Начальник полиции молча кивнул.

– Так вот, сэр, я готов отдать половину... нет, все мое состояние, чтобы убийца не ушел от виселицы.

– Вы можете не сомневаться, сэр, что мы приложим все усилия, чтобы отыскать его, но обещание приличной награды, возможно, могло бы ускорить поимку преступника. Однако я хотел сообщить вам, сэр, что один из моих людей уже обнаружил кое-какие улики, а другой (пришедший сюда со мной) четверть часа тому назад нашел на лугу, по которому бежал преступник, пистолет: убийца, видимо, бросил его, чтобы легче было уйти от погони. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что мы его найдем.

– Что вы считаете приличной наградой? – спросил мистер Карсон.

– Ну, сэр, достаточно будет фунтов триста или пятьсот, чтобы прельстить любого соучастника.

– Я дам тысячу фунтов, – решительно заявил мистер Карсон. – Это дело рук проклятых забастовщиков.

– Думаю, что нет, – сказал его собеседник. – Несколько дней тому назад человек, о котором я вам говорил, доложил своему начальнику, что он еле рознял вашего сына и какого-то молодого человека, который, судя по одежде, очевидно, работает на литейном заводе. Парень этот швырнул мистера Карсона на землю и едва ли отпустил бы его, если б не вмешался полицейский. Последний хотел даже арестовать его за нападение, но мистер Карсон не позволил.

– Как это на него похоже!... Он всегда был благороден, – пробормотал несчастный отец.

– Но после того, как ваш сын ушел, этот рабочий произнес по его адресу несколько угроз. И, по странному совпадению, драка между ними произошла там же, где было совершено и преступление, – на Тэрнер-стрит.

Кто-то постучал в дверь. Софи поманила пальцем отца и, когда он вышел, испуганным шепотом попросила его пойти поговорить с матерью.

– Она не отходит от Гарри и говорит так странно. Право, папочка... мне кажется, что она лишилась рассудка,

И несчастная девушка горько зарыдала,

– Где она? – спросил мистер Карсон.

– У него в комнате.

Оба поспешно поднялись наверх. Это была большая уютная спальня – настолько большая, что ее, конечно, не могло как следует осветить мерцающее пламя свечи, взятой второпях из кухни и стоявшей сейчас на туалетном столике.

На кровати с зеленым пологом, тяжелым, словно гробовой покров, лежал мертвый сын Карсонов. Его бережно перенесли сюда и уложили, точно боясь разбудить, да и выглядел он так, будто не умер, а спит – настолько спокойным и безмятежным было выражение его лица. Его красивые черты, лишенные красок жизни, казались еще более совершенными. Все в нем было исполнено необычайного покоя: видимо, смерть наступила внезапно и он совсем не страдал.

В кресле у его изголовья сидела мать – и улыбалась. Она держала руку сына (быстро коченевшую даже в ее теплых ладонях) и с материнской нежностью тихонько поглаживала ее, – так она ласкала всех своих детей, когда они были маленькие.

– Вот хорошо, что ты пришел, – заметила она, взглянув на мужа и продолжая улыбаться. – Гарри такой шутник: вечно что-нибудь придумает, чтобы позабавить нас. А теперь притворился, что спит и что нам не разбудить его. Смотри: он улыбается – слышит, что я разгадала его хитрость. Смотри, смотри!

И правда, губы его, застывшие в покое смерти, казалось, улыбались и словно двигались в неверном свете незатененной свечи.

– Взгляни на него, Эми! – сказала она, обращаясь к младшей дочери, которая, опустившись подле матери на колени, всячески старалась успокоить ее и даже целовала край ее платья. – Он всегда был большой проказник! Помнишь, правда? Как шаловлив он был в детстве. А помнишь, милый, как он прятался от тебя: сунет голову мне под мышку и думает, что его не видно. Ах, какой он проказник, наш Гарри!

– Надо увести ее отсюда, сэр, – сказала няня. – Вы же знаете, сколько еще надо всего сделать, прежде чем...

– Понимаю, няня, – сказал отец, поспешно прерывая ее из боязни, что она упомянет о судьбе всякой плоти.

– Пойдем, любовь моя, – сказал он жене. – Пойдем со мной. Мне нужно поговорить с тобой внизу.

– Хорошо, – сказала она, вставая, – может, няня, он и в самом деле устал и хочет поспать. Только смотрите, чтобы он не простудился, а то он совсем озяб, – прибавила она после того, как, нагнувшись, поцеловала бледные губы сына.

Муж обнял ее и увел из комнаты. Тут сестры перестали сдерживаться и громко зарыдали. Впервые им пришлось по-настоящему столкнуться и с жизнью и со смертью. Однако, стелая и всхлипывая, содрокаясь всем телом и стуча зубами, Софи вдруг заметила, как красиво в своем застывшем покое лицо умершего брата, – оно было так безмятежно, в то время как они предавались отчаянию, что она подавила свое горе.

– Пойдемте, – сказала она сестрам, – няня просит нас уйти. А потом мы должны быть с мамой. Когда я пришла за папой, он сказал тому человеку, который с ним разговаривал, чтобы он подождал, а маму нельзя оставить одну.

Тем временем начальник полиции, взяв свечу, рассматривал гравюры, висевшие в столовой. Он настолько привык иметь дело с преступлениями, что еще одно убийство не могло особенно заинтересовать его, хотя он и был чрезвычайно озабочен тем, чтобы поймать убийцу. Он как раз разглядывал единственное в комнате полотно, писанное маслом (портрет юноши лет восемнадцати в маскарадном костюме), полагая, что оригиналом послужил молодой человек, убитый при столь таинственных обстоятельствах, когда дверь отворилась и вошел мистер Карсон. Лицо его было уже достаточно суровым, когда он выходил из комнаты, но сейчас стало еще более суровым и жестким – на нем читались непреклонная воля и гнев.

– Прошу прощения, сэр, за то, что оставил вас.

Начальник полиции поклонился. Оба сели и долго беседовали. Затем один за другим в комнату были вызваны полицейские и опрошены.

Всю ночь в доме суетились. О сне никто не думал. Софи удивилась, когда няню, сидевшую подле их матери, среди ночи позвали ужинать; и совсем уж непонятным показалось ей то, что няня отправилась ужинать. Ей казалось, что там, где царит смерть, нет места голоду.

На рассвете дверь столовой открылась, и в прихожей раздались шаги двух людей. Это наконец уходил начальник полиции. Мистер Карсон остановился на ступеньках парадного крыльца, вдохнул свежесть прохладного утреннего воздуха, посмотрел на гаснущие в небе звезды.

– Не забудьте, – сказал он. – Я полагаюсь на вас.

Начальник полиции поклонился.

– Не жалейте денег. Мое богатство нужно мне теперь только для того, чтобы помочь отыскать преступника и отдать его в руки правосудия. Отныне я буду жить лишь надеждой увидеть тот день, когда его приговорят к смерти. Предложите любую награду. Укажите и объявлениях цифру в тысячу фунтов. Если вам потребуется эта сумма, можете прийти ко мне в любой час дня или ночи. Я прошу вас только, чтобы убийца не ушел от кары. Если возможно – на будущей неделе. Сегодня пятница. Вам уже столько известно, что нетрудно будет собрать необходимые улики и на будущей неделе предать его суду.

– Он может потребовать отсрочки для подготовки защиты.

– Если возможно, воспрепятствуйте этому. Я позабочусь о том, чтобы дело вели лучшие юристы. Я не буду знать покоя, пока убийца жив.

– Все будет сделано, сэр.

– Условьтесь со следственным судьей. <sup>[91]</sup> Лучше всего было бы назначить заседание на десять часов.

Начальник полиции откланялся и ушел.

Мистер Карсон продолжал стоять на крыльце: ему не хотелось уходить со свежего воздуха в мрачный, населенный призраками дом.

– Сын мой! Сын мой! – промолвил он наконец. – Но я отомщу тому, кто убил тебя, бедный мой мальчик!

Убийца, мстя за свои беды, выбрал жертву и одним беспощадным выстрелом отнял дарованную богом жизнь. А теперь отец поклялся отомстить за смерть своего сына, посвятить всю свою жизнь мщению убийце. Правда, его месть освящена законом, но разве от этого она перестает быть местью?

Кому молились мы – Христу или Алекто?

Ах, Орест, из тебя вышел бы недурной христианин девятнадцатого века! <sup>[92]</sup>



## ГЛАВА XIX

### ДЖЕМА УИЛСОНА АРЕСТОВЫВАЮТ ПО ПОДОЗРЕНИЮ

Мой слабый дух подавлен был  
Жестоким гнетом тех обид.  
Я вынес их иль причинил?!  
Все было боль, укор и стыд.  
*Колридж* [\[93\]](#)

Мы расстались с Мэри вечером в тот самый четверг, когда в дом мистера Карсона вошло горе. Девушку одолевали тяжелые мысли, и всю ночь она металась в постели, стараясь избавиться от них и с нетерпением дожидаясь, когда рассветет и можно будет встать и чем-то отвлечься. Но как только занялась заря, Мэри немного успокоилась и заснула глубоким крепким сном; проснувшись она уже поздно, судя по яркому свету, заливавшему комнату.

Она поспешно оделась, – в это время на соседней церкви часы пробили восемь. Сделать все то, что она обещала (узнать о здоровье Элис, а потом вернуться и сообщить об этом Маргарет), у нее уже не было времени, и она забежала к Маргарет, чтобы сказать об этом. Но дома она застала только Джоба, который сидел с грустным видом. Мэри объяснила ему, зачем она пришла.

– Маргарет уже два часа как ушла к Уилсонам. Да, конечно, ты говорила вчера, что сходишь к ним, но она не могла спать спокойно и чуть свет отправилась туда.

Мэри стало стыдно, что она так заспалась, и она поспешила к Уилсонам: хоть было уже и поздно, но она знала, что не сможет приняться за работу, пока не узнает о здоровье милой, доброй Элис Уилсон.

Завтракая на ходу обычной сухой коркой, она побежала по улице. Она вспомнила потом, что по дороге ей попадались кучки людей, оживленно что-то обсуждавших, но тогда она не обратила на них внимания, спеша поскорее достичь своей цели, чтобы не получить выговора от мисс Симмондс.

Когда она переступала порог дома Джейн Уилсон, сердце ее вдруг отчаянно забилося, а щеки покрылись румянцем при мысли, что, открыв

дверь, она, быть может, увидит Джема, но прежде она об этом не думала, уверяю вас. В это хлопотливое утро, тревожась за Элис, она ни разу не вспомнила о любимом, несмотря на нетерпение, с которым она ждала встречи с ним все последние недели.

Но сердце ее могло не стучать, а щеки могли не окрашиваться румянцем, ибо Джема не было дома. На круглом столе стояла чашка с блюдцем, которые явно были в употреблении, а напротив сидела Джейн Уилсон и тихонько плакала, с бессознательным аппетитом поедая завтрак. В стороне миссис Дейвенпорт стирала что-то вроде ночного чепца, такого простого и старомодного, что Мэри с одного взгляда признала в нем чепец Элис. И больше – ничего и никого

Элис чувствует себя все так же или даже чуточку лучше, сообщили Мэри обе женщины. Во всяком случае, она говорит – вернее, что-то бормочет. Мэри не хочет повидать ее?

Конечно, хочет. Все мы любим навещать больных друзей, но бедняков к тому же не сдерживает разумное опасение, не повредит ли излишнее волнение больному.

И Мэри отправилась наверх в сопровождении миссис Дейвенпорт.

– Побегу сейчас домой, – громким шепотом, гораздо более звучным, чем обычный ее голос, заявила та, вытирая с рук мыльную пену, – а вечером снова приду, чтобы выгладить ей чепчик: стыд и позор, если она будет лежать у нас грязная, когда всю жизнь она была такая чистенькая. Но сейчас ей не до этого, бедняжке! Она ведь не узнает тебя, Мэри, – она никого из нас не узнает.

В комнате наверху стояло две кровати – одна с четырьмя витыми колонками и клетчатым пологом, и другая – попроще; на ней всю свою короткую жизнь спали близнецы. И на ней спала Элис, с тех пор как перебралась сюда, но когда с Элис вечером случился удар, Джейн Уилсон, само собой разумеется, уложила больную на более удобную кровать, а сама ненадолго вздремнула на тюфячке.

Маргарет поднялась навстречу подруге: она ожидала ее, да к тому же узнала ее шаги. А миссис Дейвенпорт вернулась к своей стирке.

Девушки молчали, не решаясь заговорить в присутствии Элис. Болезнь, подведшая Элис к порогу могилы, разрумянила ее щеки, как в пору далекого детства. Она лежала на боку, пораженном параличом, и размеренно двигала здоровой рукой, словно пилила, – на это монотонное движение тяжело было глядеть. Кроме того, она непрерывно что-то бормотала тихим невнятным шепотом. Однако лицо ее – в профиль – было спокойно, и она словно улыбалась каким-то мыслям, мелькавшим в ее

затуманенном мозгу.

– Послушай-ка! – сказала Маргарет и пригнулась пониже, чтобы яснее уловить отдельные слова.

– А что мама скажет? Пчелы уже в последний раз возвращаются в улей, а нам еще так долго идти! Гляди-ка, вон гнездо коноплянки на кусте дрока. Она высиживает птенцов. Видишь, какие у нее блестящие глазки – сидит и не шелохнется. Да, надо спешить домой. А мама-то, наверно, как обрадуется, когда увидит, сколько мы набрали вереску! Поторапливайся же, Салли, может, на ужин нам дадут ракушек! Я видела, как тележка торговца ракушками свернула из Арнсайда в нашу сторону.

Маргарет дотронулась до руки Мэри, – та ответила ей легким пожатием, говорившим о том, что она все понимает- понимает, какую отраду послал господь этой старой, уставшей от жизни женщине, которую болезнь вдруг перенесла в места ее детства, ничуть не изменившиеся и освещенные таким же ярким солнцем, как и в те далекие дни, когда она уехала оттуда, и снова подле нее была ее сестра, подруга детских игр, которая почти пятьдесят лет уже покоится в поросшей травой могиле на маленьком кладбище возле Бэртона.

Внезапно лицо Элис изменилось – оно стало печальным, почти виноватым.

– Ах, Салли, надо было нам во всем признаться. Она думает, что мы все утро были в церкви, а мы ведь обманули ее. Если б мы сразу сказали ей, как все случилось – как сладко пахло боярышником в открытую дверь церкви, а мы сидели на последней скамье, и как влетела бабочка – первая бабочка, которую мы видели этой весной... Ведь мама у нас такая добрая – почему же мы ей всего этого не сказали! Я подойду к ней, как только ее увижу, и скажу: «Мама, мы дурно вели себя в прошлое воскресенье!»

Она умолкла, и несколько слезинок скатилось по ее старой сморщенной щеке при воспоминании о проступках детских лет. Да и много ли других грехов могло отяготить эту чистую, как у ребенка, совесть. Мэри нашла носовой платок в красный горошек и вложила его в шарившую по одеялу руку, – Элис искала, чем бы вытереть слезы. Она взяла платок и тихо прошептала:

– Спасибо, мама.

Мэри потянула Маргарет за рукав и отвела ее от кровати.

– Тебе не кажется, Маргарет, что она счастлива?

– Да-да. Она не испытывает боли и не сознает, что с ней. Ах, Мэри, если б я могла видеть! Я стараюсь помочь, чем могу, но я бы все отдала, чтобы видеть ее и видеть, чего она хочет. От меня ведь нет никакой пользы!

Я думаю побыть здесь, пока Джейн Уилсон одна. Я бы с радостью осталась здесь и на ночь, если б...

– Я приду и побуду с ней, – решительно заявила Мэри.

– Миссис Дейвенпорт говорила, что она еще придет, но ведь она весь день будет работать, а работа-то у нее нелегкая...

– Я приду, – повторила Мэри.

– Пожалуйста! – попросила Маргарет. – А я побуду здесь до твоего прихода. Может, вы с Джемом по очереди подежурите около нее эту ночь, чтобы Джейн Уилсон могла как следует выспаться на его кровати, а то она сегодня ночью почти не спала, а к утру, между двумя и тремя, только было заснула, как явился Джем, и, услышав его голос, она сразу проснулась.

– Где же он пропал до этого времени? – спросила Мэри.

– Ну, откуда же мне знать. Да я и не видела его, пока он не зашел к Элис. Утром он опять заходил и был какой-то печальный. Но, может, тебе, Мэри, удастся утешить его вечером, – заметила Маргарет, улыбнувшись, и в душе Мэри блеснул луч надежды, и на миг она чуть ли не обрадовалась этому случаю, который наконец сведет их вместе.

О, счастливая ночь: когда же она настанет? Сколько еще часов надо ждать ее наступления?

Тут взгляд Мэри упал на Элис, и она принялась корить себя. Но как бы горько она ни раскаивалась, она не могла подавить радость, теплившуюся в глубине ее сердца. И легкой, танцующей походкой она отправилась к мисс Симмондс, стараясь не думать о своих надеждах.

Она, конечно, опоздала. Мисс Симмондс сердилась и негодовала. Это Мэри тоже предвидела, и надеялась смягчить гнев хозяйки избытком усердия и прилежания. Но вот мастерицы держались как-то странно – этого она не ждала и не предвидела. Едва она вошла, они тут же умолкли, или, вернее, умолкла Салли Лидбитер, которую они, казалось, слушали с величайшим интересом. Сначала они устали на Мэри, словно она стала совсем другой со вчерашнего дня. Потом принялись перешептываться, и, как Мэри ни была поглощена своими мыслями, она не могла не понять, что разговор шел о ней.

Наконец Салли Лидбитер спросила Мэри, слышала ли она новости.

– Нет. Какие новости? – поинтересовалась Мэри.

Девушки с таинственным и скорбным видом переглянулись, а Салли сказала:

– Неужели ты не слышала, что молодой мистер Карсон был убит вчера вечером?

Губы не слушались Мэри, и она не могла произнести – «нет», но

достаточно было одного взгляда на ее бледное, полное ужаса лицо, чтобы каждому, кто еще сомневался, стало ясно, что она впервые слышит о страшном происшествии.

Как ужасно бывает внезапно узнать, что человек, с которым ты был знаком, погиб насильственной смертью! Хочется бежать из этого мира, где возможны такие злодеяния, душу леденит ужас при мысли, какими жестокими и бессердечными бывают люди. Хотя последнее время Мэри стала бояться мистера Карсона, сейчас, узнав о его смерти (и какой смерти!), она почувствовала глубокое сострадание и печаль.

Комната поплыла у нее перед глазами, – ей казалось, что она теряет сознание. Но в эту минуту вошла мисс Симмондс, а вместе с нею в дверь проник прохладный воздух, освеживший Мэри, которую, кроме того, привела в чувство мысль, что хозяйке не понравится такое пренебрежение к работе. Мисс Симмондс тоже была всецело поглощена утренними новостями.

– Вы слышали еще что-нибудь об этой ужасной истории, мисс Бартон?  
– спросила она, принимаясь за работу.

Мэри попыталась ответить ей. Сначала она не могла произнести ни звука, а когда ей удалось наконец выдавить из себя несколько слов, голос, который произнес их, показался ей совсем чужим.

– Нет, сударыня, только сейчас узнала об этом.

– Вот странно! Ведь все только об этом и толкуют! Будем надеяться, что убийцу найдут, и очень скоро. Убить такого красивого молодого человека! Злодея, который совершил это, следует повесить без всякой пощады.

Одна из мастериц заметила, что как раз на будущей неделе начнется сессия суда.

– Вот-вот, – сказала мисс Симмондс. – Молочник утром говорил мне, что негодяя непременно поймают, осудят и повесят на той неделе. Так ему и надо, кто бы он там ни был. Такой красивый был молодой человек!

Тут все наперебой принялись рассказывать мисс Симмондс известные им подробности.

– Мисс Бартон! – послышался вдруг окрик мисс Симмондс. – Да вы никак льете слезы на новое шелковое платье миссис Хокс! Или вы не знаете, что от слез остаются пятна и платье будет совсем испорчено? Как вам не стыдно, мисс: плачете, точно ребенок, из-за того, что красивый молодой человек нашел безвременный конец! Лучше поберегите свою работу да репутацию тоже! А уж если вы не можете остановиться, – продолжала она, заметив, что ее выговор лишь усилил поток слез, –

возьмите это ситцевое платье и плачьте над ним. На ситце, по крайней мере, не останется пятен, не то что на этом чудесном шелку.

И она принялась любовно тереть материю чистым носовым платком, стараясь сделать незаметными круглые пятна, оставшиеся от слез.

Мэри взяла ситец и, как это бывает, получив разрешение плакать, сдержала слезы.

Все говорили только об одном. Мастерница, которую посылали за шелком нужного цвета, вернувшись, принялась рассказывать о том, что она слышала в лавке о заседании следственного суда. Заказчицы говорили только об убийстве и давали указания относительно своих платьев попеременно с обсуждением подробностей происшествия. Мэри казалось, что она спит и видит кошмар, страшный сон, от которого избавится, проснувшись. Перед глазами ее стоял убитый, и он представлялся ей гораздо ужаснее, чем был в действительности. Салли Лидбитер глядела на нее так, словно считала ее виноватой в случившемся, и рассказывала товаркам о поведении Мэри, и те осуждали ее не за легкомысленное кокетство в прошлом, а за отказ от него.

– Бедный джентльмен, – заметила одна из них, когда Салли подробно рассказала о последней встрече Мэри с мистером Карсоном.

– Какой стыд! – воскликнула другая, с возмущением глядя на Мэри.

– Это вот и называется бессердечным кокетством, – заявила третья. – А он-то теперь лежит в гробу, застывший, весь залитый кровью.

Мэри невыразимо обрадовалась, когда появление мисс Симмондс положило конец откровениям Салли и замечаниям мастериц.

Как ей хотелось очутиться сейчас в тишине той комнаты, где лежала Элис. Она уже не мечтала о встрече с Джемом, но жаждала покоя и мира, которыми был исполнен бред бедной старушки, когда перед ее взором проносились прекрасные, милые сердцу видения, безгрешные дни далекого прошлого; сейчас она почти завидовала Элис – ей хотелось, чтобы тяжкий жизненный путь с его страданиями, которые ей так рано пришлось изведать, и преступлениями, которые окружали ее сейчас, уже остался позади. На память пришли слова священного писания, которое по складам читала ей в детстве мать. «Там, где злые перестают терзать, и усталые обретают покой». «И все слезы будут отерты с очей их». И в этот мир отходила сейчас Элис! Ах, если б она могла быть на месте Элис!

А теперь я должна вернуться в дом Уилсонов, который отнюдь не был тем приютом покоя, каким представляла его себе Мэри. Вы помните, какую награду предложил мистер Карсон за поимку убийцы своего сына? Это уже само по себе было немалым соблазном, который дополняло вполне

естественное сочувствие к горю родителей, потерявших свое дитя, и жалость к молодому человеку, чья жизнь оборвалась в расцвете лет. А кроме того, всегда приятно раскрыть тайну, ухватиться за ниточку, ведущую к обнаружению истины. Это последнее, мне кажется, немало подогревает усердие полиции. Полицейские вечно и всегда настороже; они любят собирать и сопоставлять улики, вести жизнь, полную приключений, в духе Джека Шеппарда, <sup>[94]</sup> кажущихся столь увлекательными человеку необразованному, у которого все, что связано с преступлением, вызывает живейший интерес.

На следственном суде не было недостатка в свидетелях и уликах. Выстрел, обнаружение трупа, последующая находка пистолета – с этими показаниями было покончено очень быстро; затем выступил полицейский, вмешавшийся в ссору между Джемом Уилсоном и убитым, – его короткий и ясный рассказ не оставлял ни малейших сомнений относительно личности убийцы, хотя присяжные вынесли несколько неопределенный вердикт: «Преднамеренное убийство, совершенное неизвестным лицом».

Эта уклончивость, когда, казалось бы, все было и так ясно и не требовалось никакой осторожности, взбесила мистера Карсона. Не успокоил его и разговор с начальником полиции, который назвал этот вердикт пустой формальностью, показывая ордер на арест Джема Уилсона по подозрению в убийстве, и объяснил, что поручит опытному сыщику выяснить, кому принадлежит пистолет, и собрать прочие сведения – особенно о той молодой женщине, из-за которой, как показал полицейский, произошла ссора. Мистер Карсон был взволнован и раздражен, и ни душа его, ни тело не знали покоя. Он все подготовил к тому, чтобы на другое же утро добиться ареста Джема: он нанял юристов, знатоков уголовного права, чтобы они следили за ходом процесса и готовили обвинение. Только скорейшее осуждение преступника и скорейшее приведение приговора в исполнение, казалось, могли удовлетворить его неумную жажду мести. Ему хотелось бы быть и полицейским, и следственным судьей, и обвинителем, а больше всего хотелось бы быть уголовным судьей, который во всеуслышание объявит смертный приговор.

К концу дня Джейн Уилсон, почти не спавшую ночью, сморил сон: сидя у постели невестки, она то и дело начинала дремать под монотонное бормотанье больной, как вдруг внизу послышался голос какого-то мужчины, который, устав тщетно стучать в дверь, вошел и теперь зычно звал:

– Хозяйка! Хозяйка!

Бросив поверх перил взгляд на пришельца, миссис Уилсон сразу

увидела, что это человек незнакомый и, судя по засаленной одежде, рабочий, – может быть, товарищ ее сына. В руке он держал пистолет.

– Позвольте вас спросить: это пистолет не вашего сына?

Она взглянула на стоявшего перед ней человека, но ее клонило ко сну; она устала и не видела оснований для того, чтобы не отвечать на его расспросы. Она подошла поближе, чтобы рассмотреть пистолет.

– Похоже, что его, – сказала она, увидев старомодную резьбу на рукоятке. – Да, конечно, его. Я бы где угодно признала его по этой резьбе. Это пистолет его дедушки, а он служил лесничим в каком-то поместье на севере. Таких хороших пистолетов теперь не делают. Но как он к вам попал? Джем очень его бережет. Неужто он решил пойти в тир? Быть этого не может – в такое-то время, когда его тетя так больна, а я совсем одна здесь.

И, вспомнив об источнике своих тревог, она принялась подробно рассказывать о болезни Элис, пересыпая свой рассказ воспоминаниями о смерти мужа и близнецов.

Переодетый полицейский послушал ее минуты две в расчете получить какие-либо дополнительные сведения, затем, сказав, что он спешит, направился к выходу. Миссис Уилсон проводила его до дверей, продолжая верить ему свои горести, и вспомнила о том, что он почему-то унес пистолет с собой, лишь когда было уже поздно. С трудом взбираясь по лестнице, она решила, что, наверное, его послал Джем, уговорившись с ним пострелять в тире или попросив его починить старый пистолет, и перестала ломать над этим голову. У нее и без этого достаточно хлопот! Пистолет этому человеку дал Джем – значит беспокоиться нечего. А если что с пистолетом случится, тем лучше – того и гляди эта штука кого-нибудь застрелит.

И, перестав корить себя за то, что позволила незнакомцу унести пистолет, не расспросив его, миссис Уилсон снова забылась тревожным, полным видений, ничуть не освежающим сном.

Тем временем полицейский шел со своей добычей, испытывая довольно разнородные чувства: легкое презрение, легкое разочарование и немалую жалость. Презрение и разочарование объяснялись тем, что вдова с такой легкостью признала пистолет сына. Ему же было бы приятней, если бы она попыталась обмануть его, – он привык к этому и любил щегольнуть умом и проницательностью. Кто стал бы травить лисицу, если бы она даже не пробовала бежать? Но хотя он и служил в сыскной полиции, у него тоже была мать, и ему жаль было старуху, которая «сглупила» и помогла уличить своего сына в убийстве. Тем не менее он отдал пистолет начальнику



полиции и сообщил ему все, что узнал, и вскоре трое полицейских явились на завод, где Джем работал мастером, сообщили о цели своего прихода изумленному управляющему, и тот проводил их в литейную к Джемму.

Во дворе, по которому шли полицейские, и стены, и земля, и лица были черными. Но в литейной на всем лежал зловещий кровавый отблеск огня: в плавильной печи грозно ревело пламя. Вокруг, как тени, стояли похожие на демонов люди, в прокопченной, багровой от пламени одежде, дожидаясь минуты, когда тонны чугуна расплавятся, превратятся в огненную жидкость, которая с тяжелым, приглушенным всплеском польется в готовые принять ее хрупкие формы из тонкого черного песка. Жара была страшная, и красный отблеск с каждой минутой становился все более ярким, – полицейские замерли, потрясенные этим новым для них зрелищем. Затем черные фигуры, вооруженные причудливыми черпаками, подступили к огнедышащей пасти печи, и ослепительно сверкающий металл потек по формам. Снова раздался гул голосов – теперь можно было и поговорить, и передохнуть, и вытереть с лица пот. После чего рабочие снова взялись за дело.

Полицейский № Б 72 опознал в Джемме человека, который ссорился с мистером Карсоном; тогда два других полицейских подошли к Джемму и арестовали его, сказав, в чем он обвиняется и на каких основаниях. Джем не оказал сопротивления, но был явно удивлен случившимся. Он подозвал одного из рабочих и попросил передать матери, что у него случилась беда и он сегодня не вернется домой. Ему не хотелось, чтобы она немедленно узнала, что произошло на самом деле.

Итак, сон миссис Уилсон был снова прерван совсем как в первый раз, словно повторяющийся кошмар.

– Хозяйка! Хозяйка! – послышалось снизу.

Опять это был какой-то рабочий, только на этот раз более закопченный.

– Что вам надо? – раздраженно спросила она.

– Да ничего... Только вот... – забормотал рабочий, человек добрый и сердечный, но лишенный всякой изобретательности и фантазии.

– Ну говорите, что ли, и ступайте.

– У Джеммы случилась беда, – повторил он слова Джеммы, не в состоянии придумать ничего другого.

– Беда? – испуганно вскрикнула мать. – Беда! О господи, конца не видно нашим бедам. Какая беда у него случилась? Да говорите же! Заболел он? Деточка моя! Заболел? – преисполняясь все большего ужаса, спросила она.

– Да нет, нет, не то. Он здоров. Он только велел мне сказать: «Скажи матери, что у меня случилась беда и я не смогу сегодня прийти домой».

– Он не придет сегодня домой? А что же мне делать с Элис? Я совсем изведусь, если буду так сидеть подле нее. Мог бы все-таки прийти и помочь мне.

– Да не может он! – сказал рабочий.

– Сами же говорите, что он здоров, и вдруг не может? Чепуха! Просто он, наверное, загулял, хоть прежде за ним этого не водилось. Ну, я ему задам, когда он придет.

Рабочий повернулся и направился было к двери: он не решался сказать что-либо в оправдание Джема. Но миссис Уилсон не дала ему уйти.

– Нет, вы не уйдете, пока не скажете мне, что он задумал, – заявила она, становясь между ним и дверью. – Я вижу, что вы все знаете, и, чего бы мне это ни стоило, я тоже узнаю.

– Не беспокойтесь, хозяйка, и так всё скоро узнаете!

– Не скоро, а говорят вам, что сейчас. Почему это он не может прийти домой и помочь мне ухаживать за больной? И так я всю прошлую ночь глаз не сомкнула.

– Ну, раз уж вам так хочется знать, извольте, – не выдержав, признался бедняга. – Его забрала полиция.

– Моего Джема?! – в исступлении воскликнула мать. – Ах ты врун этакий! Да мой Джем никому в жизни зла не сделал. Врун, вот ты кто.

– А вот сейчас сделал, – в свою очередь рассердившись, заявил рабочий. – Доказано, что это он застрелил вчера вечером молодого Карсона.

Она подалась было вперед, намереваясь ударить этого человека, сказавшего страшную правду, но старость и материнское горе сломили ее, и, опустившись на стул, она закрыла лицо руками. Рабочий не мог оставить ее в таком состоянии.

– Голубчик, скажите мне, что вы пошутили, – слабым, каким-то детским голоском взмолилась она наконец. – Вы уж простите меня, если я вас обидела, только скажите, что вы пошутили. Вы не знаете, что значит для меня Джем!

И она тревожно и робко посмотрела на него.

– Очень бы мне хотелось, чтоб это была шутка, хозяйка, но то, что я сказал, – правда. Его арестовали по обвинению в убийстве. Около того места, где был убит мистер Карсон, нашли пистолет Джема, а несколько дней назад один полицейский слышал, как они ссорились из-за какой-то девушки.

– Из-за девушки?! – снова возмутилась мать, хотя на прежний гнев у нее уже не хватило сил. – Да мой Джем был какой благонравный-то, как, как... – она помедлила, подбирая сравнение,-... как Люцифер, а ведь он, ты знаешь, был ангел. <sup>[95]</sup> Мой Джем не такой, чтобы ссориться из-за девчонки.

– И все же именно так оно и было. Полиции даже известно ее имя. Полицейский слышал, как они ее называли. Какая-то Мэри Бартон – вот как ее зовут.

– Мэри Бартон! Грязная потаскушка! Чтобы из-за нее мой Джем попал в такую беду! Ну, я ей все выскажу, пусть только придет сюда! Ах, бедный мой Джем! – воскликнула она, раскачиваясь из стороны в сторону. – Да, а что это ты говорил про пистолет?

– Что его пистолет нашли возле того места, где произошло убийство.

– Вот уж вранье. Только недавно приходил человек с этим пистолетом – он в целости и сохранности. Я его собственными глазами видела меньше часа тому назад.

Рабочий покачал головой.

– В самом деле, видела. Он у приятеля Джема, которому Джем одолжил его.

– А вы знаете этого человека? – спросил рабочий, который искренне тревожился за Джема и увидел в словах его матери луч надежды.

– Да нет, не знаю. Но он был одет, как рабочий.

– А может, это переодетый полицейский?

– Нет, этого они не сделают – обмануть мать, чтобы она наговорила на собственного сына! Да это все равно что сварить козленка в молоке его матери. А это запрещено в писании. <sup>[96]</sup>

– Ну, не знаю, – сказал рабочий.

Вскоре он ушел: ему было тяжело смотреть на ее горе, а утешить ее он не мог. Она попыталась было удержать его, но он ушел. И она осталась одна.

Миссис Уилсон не поверила, что Джем может быть виновен. Скорее она поверила бы тому, что солнце – не огненный шар. И тем не менее ее душу томило горе, отчаяние, а порой и гнев. Она рассказала о случившемся бредившей Элис, надеясь найти у нее сочувствие, но ее ждало разочарование: Элис лежала такая же спокойная и улыбающаяся и продолжала что-то бормотать о своей матери и о счастливых днях детства.

## ГЛАВА XX

### СОН МЭРИ... И ПРОБУЖДЕНИЕ

В последнем беспробудном сне  
Под виселицей он лежал,  
И все указывали мне:  
«Он за тебя здесь смерть принял».

...

О, сердца боль! О, сердца кровь!  
Во мне все будто умерло.  
В последний раз, моя любовь,  
Целую я твое чело.  
«Бертлейская трагедия».

Итак, мир и покой покинули этот скорбный дом, и лишь Элис, умирающая Элис сохраняла безмятежность духа.

Но Мэри не знала о том, что случилось в течение дня, и, выйдя от мисс Симмондс, радостно вдохнула свежий воздух и поспешила к Уилсонам. Достаточно было ей выйти из душной комнаты на улицу, чтобы все течение ее мыслей изменилось. Она почти перестала думать об этом ужасе, который преследовал ее весь день; меньше занимали ее и укоры товарок: она вспомнила о том, какой опорой для нее всегда была Элис, и ей казалось, что уже одно присутствие старушки – пусть сознание ее утратило свою ясность, затуманилось, угасло – способно успокоить и утешить того, кто попал в беду.

Потом Мэри попрекнула себя за радость, которую испытала при мысли, что теперь ей нечего страшиться, что она может спокойно заворачивать за угол и проходить мимо лавок, не опасаясь засады. Ах, как билось у нее сердце! Может быть, и какая-то другая мысль была повинна в этой радости, которая наполняла счастьем самый воздух вокруг? Ведь она встретит, увидит, услышит Джема, и не могут же их любящие сердца не понять друг друга!

Пользуясь правом давнего знакомства, Мэри отворила дверь, не постучавшись. Джема в комнате не было, зато его мать стояла у огня, мешая в кастрюле. Ну, ничего, он скоро придет! И, полная желанием

помочь всем, кто ему дорог, Мэри тихонько вошла; миссис Уилсон не услышала ее легких шагов, поглощенная кипением и бульканьем своего варева, а больше – печальными мыслями, побуждавшими ее что-то невнятно бормотать себе под нос.

Мэри поспешно сбросила чепец и шаль и, подойдя к ней, сказала:

– Позвольте я послежу за кастрюлькой. Вы ведь, наверно, очень устали.

Только тут миссис Уилсон заметила ее присутствие. Она медленно повернулась, и, когда узнала гостью, глаза у нее сверкнули, как у дикого зверя, посаженного в клетку.

– И ты еще посмела переступить порог этого дома после того, что произошло? Мало того, что своими ужимками и распутством ты вскружила голову моему мальчику и отняла его у меня, ты еще явилась сюда издеваться надо мной... надо мной – его матерью? Ты что, не знаешь, где он, потаскушка ты этакая? Своими синими глазищами да белокурými локонами только хороших людей губишь! Убирайся вон: видеть не хочу твоего ангельского личика, гроб ты повапленный! Знаешь ты, куда Джем попал из-за тебя?

– Нет! – дрожащим голосом произнесла Мэри, с трудом сознавая, что она говорит, – так смутили ее, так испугали слова возмущенной матери.

– В тюрьме он сидит, вот где, – медленно, отчетливо произнося каждое слово, сказала мать. Говоря это, она не спускала глаз с гостьи, словно хотела проверить глубину причиняемой ею боли. – Сидит и дожидается суда за убийство молодого мистера Карсона.

Мэри не произнесла ни звука, но лицо ее побелело как полотно, глаза расширились и смотрели дико, ноги задрожали, и она инстинктивно протянула руку, ища опоры.

– А ты знала этого мистера Карсона? – безжалостно продолжала старуха. – Говорят, что знала, и даже очень хорошо. И что из-за тебя мой ненаглядный сын его застрелил. Только он не убивал его. Я знаю, что не убивал. Его могут повесить, но мать его до своего последнего вздоха будет твердить, что он невиновен.

Она умолкла – больше от усталости, чем от недостатка слов. Тогда заговорила Мэри, но таким изменившимся, глухим голосом, что старуха даже вздрогнула. Казалось, в комнате появился кто-то третий – так хрипло и неестественно звучал голос Мэри.

– Что... что вы сказали? Я не поняла вас. Что сделал Джем? Объясните мне, пожалуйста.

– Я не говорила, что он это сделал. Я сказала, что он этого не делал. Ну

и что с того, что кто-то слышал, как они ссорились, или что его пистолет нашли подле тела. Мой Джем никогда не станет убивать человека, как бы ни вскружила ему голову девчонка. Мой Джем – такой добрый, он был благословением дома, в котором родился! – Слезы обожгли глаза матери при воспоминании о тех днях, когда она качала в колыбели своего первенца; события его жизни быстро промелькнули в ее памяти, перед нею снова со всею ясностью встало настоящее, и, видно, досадуя на себя за мягкость, проявленную в присутствии Далилы, [\[97\]](#) очаровавшей ее сына, чтобы погубить его, она продолжала уже более резким тоном: – Сколько раз я говорила ему, чтобы он перестал думать о тебе, но он не хотел меня слушать. А ведь ты, дрянь этакая, недостойна стирать пыль с его сапог! Вертихвостка ты, потаскушка, вот ты кто! Какое счастье, что твоя мать, бедняжка, не знает, что из тебя получилось!

– Мама, ах, мамочка! – воскликнула Мэри, словно прося умершую о помощи. – Но я была недостойна его! Я знаю, что недостойна, – добавила она с трогательным смирением.

В эту минуту в сердце ее похоронным звоном зазвучали зловещие слова, пророчески сказанные им во время их последнего свидания: «Может, Мэри, я стану пьяницей, может, вором, может, убийцей. Но запомни: когда все будут плохо отзываться обо мне, ты не смей меня осуждать, потому что я стану таким из-за твоего жестокосердия».

Нет, она не осуждала его, хотя и не сомневалась в его вине: она чувствовала, что ее тоже ревность могла бы толкнуть на самый безумный поступок, а разве мало дала она ему оснований для ревности, – она, жалкое существо, виновница всех бед! Говори, несчастная мать! Оскорбляй ее, как хочешь! Дух Мэри был сломен: ей казалось, что она заслужила все эти горькие упреки.

Однако смирение Мэри, ее последние, полные самоуничижения слова тронули сердце миссис Уилсон, несмотря на всю испытываемую ею боль. Она посмотрела на мертвенно-бледную девушку, увидела печальные, исполненные безутешного горя глаза и невольно смягчилась.

– Вот видишь, Мэри, к чему приводит легкомыслие. По твоей вине Джем попал теперь под подозрение, а ведь он невинен, как дитя в утробе матери. С тебя и весь спрос будет, если его повесят. Тогда и моя смерть падет на твою голову!

Как бы ни были резки сами по себе эти слова, миссис Уилсон произнесла их гораздо более мягким тоном, чем прежде. Но мысль о том, что Джема могут повесить, что он может умереть, поразила Мэри, и она закрыла глаза похudevшими руками, словно заграживая их от страшного

зрелища.

Она пробормотала что-то, но хотя произнесла это тихо, словно от горя у нее перехватило голос, Джейн Уилсон все же разобрала слова.

– У меня сейчас разорвется сердце, – еле слышно бормотала она. – Разорвется сердце.

– Чепуха! – заметила миссис Уилсон. – Не говори глупости. Уж у меня-то сердце давно должно было бы разорваться, да вот, видишь, пока держусь. Ах, боже мой, боже мой! – вдруг воскликнула она, вспомнив, какая опасность грозит ее сыну. – Ну, что я говорю? Да разве я выдержу, если тебя не станет, Джем? Хотя я уверена в твоей невинности так же твердо, как я стою сейчас на ногах, но если тебя повесят, сынок, я тут же умру!

И она громко зарыдала при мысли о том, какая страшная участь ждет ее дитя. И чем дальше, тем громче становились ее рыдания.

Первой опомнилась Мэри.

– Позвольте мне побыть с вами хотя бы до тех пор, пока мы не узнаем, чем все это кончится. Миссис Уилсон, милая, можно мне остаться?

Чем упорнее и резче отказывала ей миссис Уилсон, тем горячее упрашивала ее Мэри.

– Позвольте мне побыть с вами! – молила она.

Все желания ее потрясенной души, во всяком случае в эту минуту, сосредоточились на том, чтобы не расставаться с этой женщиной, которая любила того же, кого любила она, и чье горе не уступало ее собственному.

Но нет. Миссис Уилсон была неумолима.

– Может, я слишком круто обошлась с тобой, Мэри, это так. Но пока что не могу я видеть тебя. Сразу вспоминаю, что напасть эта свалилась на нас из-за твоего легкомыслия. Я посижу с Элис, и, может, миссис Дейвенпорт зайдет мне немножко помочь. А тебя я сейчас не могу видеть. До свидания. Завтра, может, это пройдет, а сейчас до свидания.

И Мэри покинула дом, который был его домом, где его любили и оплакивали, и вышла на шумную, мрачную, многолюдную улицу, где газетчики за полпенни продавали специальные выпуски, в которых подробно описывалось кровавое убийство, следственный суд, был помещен портрет зверя – предполагаемого убийцы – Джеймса Уилсона.

Но Мэри не слышала криков газетчиков – она не обращала на них внимания. Она брела, спотыкаясь, словно во сне. Понурившись, нетвердым шагом она инстинктивно шла кратчайшим путем к дому, о котором думала сейчас лишь как о четырех стенах, где можно будет укрыться от зорких глаз злобного мира и дать волю своему горю, но где ее не ждут ни ласка, ни

любовь, ни слезы сочувствия.

Когда Мэри уже почти достигла своего дома, чье-то легкое прикосновение заставило ее остановиться, и, поспешно обернувшись, она увидела мальчика-итальянца с ящиком в руках, в котором бегала белая мышь или какая-то другая зверушка. Заходящее солнце окрашивало легким румянцем лицо мальчика, которое в противном случае, несмотря на смуглую кожу, показалось бы совсем бледным, а на длинных загнутых ресницах блестели слезинки. Он умоляюще поглядел на девушку и певучим нежным голосом, на ломаном английском языке, произнес:

– Голодный! Очень голодный!

И, поясняя эти слова, он показал на свой рот, на побелевшие, дрожащие губенки.

– Ах, мальчик! Что такое голод – пустяки! – нетерпеливо отмахнулась от него Мэри.

И она быстро пошла дальше. Но сердце тотчас упрекнуло ее за жестокие слова; она поспешно вошла в свое жилище, схватила жалкие остатки еды, лежавшие в буфете, и вернулась к тому месту, где маленький отчаявшийся чужестранец, терзаясь одиночеством и муками голода, бессильно поник возле своего бессловесного друга и, обливаясь горячими слезами, тихонько всхлипывая, звал на непонятном языке:

– Mamma mia!<sup>[98]</sup>

Увидев еду, принесенную девушкой, чье прелестное лицо (хотя и искаженное горем) побудило его обратиться к ней, мальчик вскочил и через минуту, со свойственной детям быстрой сменой настроения, уже улыбался и, по галантному обычаю своей родины, целовал ей руку, рассыпаясь в благодарностях. Затем он разделил ее щедрый дар со своим маленьким товарищем. Мэри постояла немного подле мальчика: вид его детской радости на мгновение отвлек ее от тяжелых мыслей, затем она наклонилась, поцеловала его гладкий лобик и ушла, торопясь остаться наедине со своим горем.

Она снова вошла к себе, заперла дверь и поспешно сорвала с головы шляпу, словно ей дорога была каждая минута и не терпелось скорее погрузиться в мучительные, полные отчаяния думы.

Затем она бросилась на пол – да, упала нежным телом прямо на жесткие каменные плиты, гребень выскользнул из ее волос, и светлые пряди их рассыпались по пыльному полу, а она, уткнувшись лбом в сгиб локтя, горько зарыдала.

О земля, каким тоскливым приютом казалась ты в эту ночь твоей



несчастной дочери! И некому было ее утешить, некому пожалеть! А как тяжело упрекала она себя за то, что произошло.

Зачем, зачем она слушала искусителя? Зачем уступила жажде богатства и роскоши? Почему ей так нравилось иметь богатого поклонника?

Она – она заслужила все сполна, но жертвой оказался он – ее любимый. Она не могла догадаться, не могла заставить себя спокойно подумать о том, кто сказал Джемму о ее знакомстве с Гарри Карсоном или как он это выяснил сам. Так или иначе, он об этом узнал. И что же он о ней подумал? Конечно, теперь он ее навсегда разлюбил, но это неважно, раз его жизни, его драгоценной жизни, угрожает опасность! Она попыталась вспомнить подробности, о которых говорила ей миссис Уилсон, но которые тогда не дошли до ее сознания, – что-то о пистолете, о ссоре, но что именно – Мэри не могла припомнить. Ах, как страшно думать о том, что он преступник, что он запятнал себя кровью, – он, который до сих пор был такой добрый, такой благородный... И вдруг – убийца! Она мысленно отшатнулась от него, но почти тотчас совесть заговорила в ней, и, горько коря себя, она в приливе страстного самоуничтожения стала думать о нем еще нежнее. Разве не она подвела его к этой пропасти? Да как же она может обвинять его! Как она может его осуждать! Он был ослеплен ревностью и стал убийцей, потеряв на минуту власть над собою! И она еще смеет в душе осуждать его, после того как он умолял ее, а потом столь пророчески предупредил во время их последнего свидания!

Тут она снова залилась слезами, а устав плакать, снова принялась думать. Виселица! Виселица! Она выступала черным силуэтом на фоне ослепительно яркого света, от которого у Мэри резало в глазах, как бы крепко она их ни зажмуривала. Боже, она сходит с ума! И некоторое время она лежала неподвижно – только кровь неистово стучала у нее в висках.

А потом настоящее вдруг куда-то исчезло, растворившись в мыслях о давно прошедших временах, – о тех днях, когда она прятала лицо на груди любящей, участливой матери и та ласково утешала ее, каково бы ни было ее горе или провинность, о тех днях, когда материнская любовь казалась ей всемогущей и вечной, о тех днях, когда голод еще казался ей (как и маленькому чужеземцу, которому она пришла на помощь) чем-то важным и страшным; о тех днях, когда они с Джеммом играли вместе, он, как старший, только снисходил до детских забав, а она искренне считала, что все эти пустяки забавляют его не меньше, чем ее; о тех днях, когда отец ее был жизнерадостным человеком, у которого была любящая жена и верный друг, о тех днях, когда (круг замкнулся, и мысли ее вернулись к тому, с чего

начали свой бег), когда мама была жива и он не был убийцей.

Но тут небеса сжалились над Мэри, и, незаметно для нее, воспоминания уступили место обрывкам несвязных мыслей, а затем она погрузилась в сон. Да, она спала – спала в неудобной позе, на твердом холодном полу, и снились ей далекие счастливые времена, и мать приходила к ней и целовала ее, – мертвые снова становились живыми в этом счастливом мире снов. Вернулась милая пора детства – ей привиделся даже маленький котенок, который был тогда товарищем ее игр и которого наяву она давно уже не вспоминала. Все, кого она любила, явились к ней!

Внезапно она проснулась. Проснулась совсем так, точно и не спала. Разбудил ее какой-то звук. Она села и, отбросив с пылавшего лица волосы (все еще влажные от слез), прислушалась. Сначала она слышала лишь биение собственного сердца. На улице царил тишина – было уже за полночь, и прошло много томительных часов, однако в окно, не закрытое ставнями, ярко светила луна, и в комнате, озаренной ее холодным призрачным сиянием, было совсем светло. Затем в дверь тихо постучали. Странное чувство закралось в душу Мэри: ей показалось, что воздух населен духами, и покойники, которых она видела во сне, все еще бродят вокруг нее неясными жуткими тенями. Да, но почему жуткими? Разве они не любили ее? А кто любит ее теперь? Ведь она так одинока, – значит, она должна только радоваться душам умерших, которые при жизни любили ее! Если ее мать в смерти осталась сама собою, то и ее любовь к дочери не должна была исчезнуть. И вот, справившись со своими страхами, Мэри стала прислушиваться.

– Мэри! Мэри! Открой! – послышалось из-за двери, как только она пошевелилась, выдав, что не спит.

Мэри показалось, что она слышит голос своей матери, – те же интонации, та же южная манера произносить слова, которую так часто с любовью вспоминала Мэри и которой порой подражала, когда оставалась одна.

И Мэри без страха, без колебаний встала и отперла дверь. Перед нею в лунном свете стояла женщина, столь похожая на ее покойную мать, что Мэри, ни секунды не сомневаясь в том, кто это, воскликнула, как испуганный ребенок, ищущий у родителей защиты и спасения:

– Ах, мама, мамочка! Наконец-то ты пришла!

И она бросилась, вернее упала, в дрожащие объятия не узнанной ею тети Эстер,

## ГЛАВА XXI

### *ЗАЧЕМ ЭСТЕР ПОНАДОБИЛОСЬ РАЗЫСКИВАТЬ МЭРИ*

Что случилось со мною?

Я словно в чаду.

Минуты покоя

Себе не найду. [\[99\]](#)

Мне придется вернуться немного назад, чтобы объяснить причины, побудившие Эстер искать встречи со своей племянницей.

Убийство произошло в четверг вечером, и до утра следующего дня о нем уже узнали все те, кого служба, нужда или греховная жизнь заставляли оставаться ночью на улицах Манчестера.

Среди тех, кто услышал рассказ о кровавом злодеянии, была и Эстер.

Страстное желание узнать о нем поподробнее овладело ею. Она находилась далеко от Тэрнер-стрит, но тотчас отправилась туда и добралась до рокового места, когда уже занималась заря. Вокруг царила тишина и покой – трудно было поверить, что здесь произошло убийство. Об этом говорил только след, оставшийся на пыльной дороге, – словно кто-то лежал там, а потом его подняли и унесли. В еще не распустившихся кустах живой изгороди запрыгали, защелбетами птички, – только этот звук нарушал безмолвие утра. Эстер вышла на луг, где, видимо, прятался убийца; проникнуть туда не составляло труда, ибо живая изгородь из боярышника была проломлена во многих местах. Из-под ног Эстер поднимался аромат раздавленных трав; она шла к столярной мастерской, которая, как я уже говорила, находилась на краю луга, у дороги, – по предположениям полиции, именно там скрывался в ожидании своей жертвы убийца (по крайней мере, так слышала Эстер). Однако никаких следов пребывания там человека заметно не было. Если он и примял или потоптал траву, когда ходил здесь, то, напоенная ночною росой, она набралась жизненных соков и успела подняться. Эстер невольно затаила дыхание от страха, хотя ничто вокруг не говорило о недавно свершенном злодеянии. Минуту она стояла неподвижно, стараясь представить себе, где находился убитый и где – убийца, хотя помочь ей в этом мог только страшный след в пыли дороги.

Внезапно (это было еще до того, как взошло солнце) она увидела на

изгороди что-то белое. Все прочие цвета были одинаково темными, хотя контуры предметов уже отчетливо вырисовывались. Что же это такое? Цветок? Боярышник не цветет такой ранней весной. Комочек снега, застрявший между ветками? Эстер подошла поближе. Оказалось, то был клочок скомканной плотной писчей бумаги. Эстер сразу поняла, что это такое: бумага служила убийце пыжом. Значит, она стояла как раз на том месте, где всего несколько часов тому назад стоял убийца. Очевидно (судя по слухам, распространившимся по городу и дошедшим до ее ушей), это был один из несчастных, доведенных до безумия забастовщиков, которые бродили по улицам с мрачным свирепым видом, словно замышляя нечто ужасное. Все симпатии Эстер были на их стороне – ведь она-то знала, как они страдают, а кроме того, она питала неприязнь к мистеру Карсону и опасалась его из-за Мэри. Ах, бедная Мэри! Смерть, конечно, страшное, зато верное избавление от той беды, которой так боялась Эстер. Но как-то перенесет Мэри этот удар – ведь она, по мнению тетки, любила покойного! Бедная Мэри! Кто-то утешит ее? Эстер представила себе, каково будет ее горе и отчаяние, когда она узнает о смерти своего возлюбленного, и ей захотелось сказать девушке, что ее ждало еще более страшное горе, останься он жив.

Косые лучи солнца прорезали утренний сумрак – яркие, прекрасные. Таким, как она, а вместе с нею и прочим мрачным порождениям ночи, пора было прятаться: сияющий свет дня предназначен только для счастливых. И Эстер, продолжая сжимать клочок бумаги, направилась к дороге. Но когда она перелезала через изгородь, ей пришлось разжать руку, и она уронила бумажку. Продолжая думать о Мэри, она сделала несколько шагов, как вдруг ей пришло в голову, не может ли эта бумажка (хоть она и показалась ей совсем чистой) навести на след убийцы. Как я уже говорила, все ее симпатии были на его стороне, поэтому она вернулась и подняла бумажку, затем, чувствуя себя до некоторой степени его сообщницей, зажала ее в руке и, не рассматривая, свернула с Тэрнер-стрит в сторону, противоположную той, откуда пришла.

И как вы думаете, что она испытала, когда, отойдя подальше от места убийства, развернула скомканный листок и увидела на нем имя Мэри Бартон, а также название улицы, на которой она жила! Правда, две буквы в имени были оторваны, но догадаться о том, какие именно, не составляло труда. И... о боже, какая страшная мысль! Или, может быть, ей это только показалось? Но почерк был очень похож на тот, который она когда-то знала так хорошо, – на почерк Джема Уилсона, которого, когда она жила у зятя, а он жил по соседству, она, стыдясь своих неграмотных каракуль, частенько

просила писать за нее письма. Она вспомнила хитроумные росчерки, которыми так любовалась тогда, сидя рядом с Джемом и диктуя письмо, а он, гордясь только что приобретенным искусством, старался поразить ее всяческими сложными завитушками.

А что, если это писал он?

Может быть, просто потому, что она все время думает о Мэри, ей и кажется, будто каждый пустяк связан с ней. Как будто один человек на свете пишет таким затейливым почерком, с такими закорючками!

У Эстер голова шла кругом, стоило ей представить себе, от чего, возможно, она спасла Мэри, подобрав эту бумажку. Надо еще раз заглянуть в нее, чтобы уж окончательно убедиться, мог ли какой-нибудь тупой и глупый полицейский не разобрать имени или же Мэри была бы, безусловно, замешана в это страшное дело.

Нет, не догадаться о том, что значит «...ри Бартон», невозможно, и это действительно почерк Джема!

Раз так, ей все понятно, и, значит, в том, что произошло, повинна она! И Эстер, со всею страстностью и неуравновешенностью своей натуры, с болезненной мнительностью, рожденной ее образом жизни и томительным сознанием своего падения, принялась корить себя за то, что ее вмешательство вызвало это несчастье: ведь, сообщив Джему о том, что происходит, предупредив его, она толкнула его на убийство. Да как она, всеми отринутая блудница, могла надеяться, что ее желание сделать добро будет освящено свыше? Проклятие небес лежит на всех ее делах, как добрых, так и злых.

Бедная больная душа! И некому было принести тебе слово утешения!

Так она бродила по улицам, не в состоянии забыться тяжелым утренним сном, жадно прислушивалась к каждому слову прохожих, останавливалась возле каждой группы разговаривающих, стремясь без какой-либо определенной цели собрать все сведения, все предположения, все догадки. И все это время она крепко сжимала клочок бумаги, который мог открыть столь многое. Сжимала так крепко, что ногти глубоко вонзились в ладонь, но ее страх случайно потерять его был слишком велик.

К полудню она почувствовала, что изнемогает от усталости и голода, но отдохнула она в винном погребе, а голод утолила рюмкой джина.

Очнувшись от оцепенения, заменившего ей отдых, подчиняясь внезапно возникшему побуждению, она отправилась туда, куда полицейские сообщали собранные ими сведения об убийстве, отодвинувшем на задний план все остальные события. Напрягая все силы своего ума, она вслушивалась в отдельные слова и фразы, все яснее

говорившие ей, что полиция подозревает Джема, что улики собирают против Джема.

Она видела (хотя он, погруженный в свои печальные думы, не заметил ее), как его привезли в кандалах и под конвоем вывели из кареты. Она видела, как он вошел в полицейский участок, и стояла затаив дыхание, пока он не вышел оттуда, по-прежнему в кандалах, и не был под конвоем отправлен в тюрьму.

Он был единственным человеком, который говорил с ней в надежде вернуть ее на путь добродетели. Слова его звучали в ее отчаявшейся душе, словно зов небес, словно далекие воскресные колокола, хотя тогда она и не вняла его призыву. Он был единственным человеком, который говорил с ней языком добра. Убийство, как оно ни ужасно, было чем-то отвлеченным, абстрактным, о чем она не могла и не хотела думать, – все мысли ее сейчас были заняты опасностью, грозящей Джему, и воспоминанием о его доброте.

Тут она подумала о Мэри. И ее начала терзать мысль о том, что испытывает сейчас несчастная девушка. Это тоже будет страшным ударом для бедняжки, так рано лишившейся матери и жившей с жестоким отцом, который в глазах Эстер уподоблялся карающему ангелу.

Эстер направилась к дому, где жила Мэри, надеясь что-нибудь узнать. Но она побоялась зайти во двор, где жила в дни своей невинности, и лишь бродила по окрестным улицам, не осмеливаясь обратиться к кому-либо с расспросами, а потому узнала она очень мало, вернее только одно – что Джона Бартона сейчас нет в городе.

Она зашла в темную подворотню, присела на ступеньки, чтобы дать отдых усталым ногам, и принялась думать. Упершись локтями в колени, закрыв руками лицо, она старалась разобраться в своих мыслях. Но даже и тут она то и дело разжимала руку, чтобы удостовериться, не потеряна ли бумажка.

Наконец она встала. В голове ее созрел план, выполнение которого, по крайней мере, удовлетворит одно заветное ее желание. Давно прошло то время, когда ее решения отличались разумностью или последовательностью.

Вечерело, и это вполне устраивало Эстер. Она отправилась к старьевщику и в задней комнате за лавкой сняла свой наряд. Ее знали там, и ей доверяли, так что она без труда упросила хозяина дать ей обычный костюм жены рабочего, – черный шелковый чепец, ситцевое платье, клетчатую шаль, – все это поношенное и грязное, но тем не менее казавшееся несчастной Эстер чем-то священным, ибо одежду эту носили

честные женщины, к которым она никогда уже не сможет себя причислить.

Она посмотрелась в маленькое зеркальце, висевшее на стене, и, печально покачив головой, подумала, какими легкими показались бы ей сейчас обязанности этих счастливиц, обитающих в раю добродетели, куда ей нет доступа; с какою радостью она бы работала, хлопотала по дому, голодала и даже пожертвовала бы жизнью ради мужа, ради своего очага, ради детей... Но мысль о детях была ей невыносима: из ведьмино котла воспоминаний возник образ малютки, неподвижное личико невинного младенца, и, чтобы избавиться от этого призрака, Эстер поспешила заняться исполнением своего плана.

Теперь вы знаете, каким образом она очутилась у жилища Мэри и почему, дрожа от волнения, ждала, пока не открылась дверь и племянница не упала в ее объятия со словами, говорившими о беспредельном отчаянии.

Эстер казалось, что проклятье небес не даст ей переступить порог этого дома, где протекли безгрешные дни ее юности, что ей будет заказан вход в него, подобно тому как леди Джералдайн, этому злему оборотню, не дано было власти над Кристабель. [\[100\]](#) И Эстер боялась войти без приглашения. Но порывистое движение Мэри, бросившейся к ней в поисках защиты, заставило Эстер забыть о своем решении, и она отнесла, или, вернее, подтащила, племянницу к стулу, а та, ничего не понимая, глядела на тетку, ошеломленная сходством, которое, однако, не было тождеством.

Эстер сменила свой наряд, чтобы Мэри не догадалась об истинном положении вещей и приняла ее за жену рабочего; но чтобы поддержать это впечатление и в то же время как-то объяснить свое долгое отсутствие и долгое молчание, оставлявшее в неведении тех, кто, казалось, должен быть ей дорог, ей приходилось разыгрывать равнодушие, хотя сердце ее было полно любви и, несмотря на все ее прегрешения, жаждало любви. Возможно, что она перестаралась, так как Мэри почувствовала неприязнь к этой, столь непохожей на прежнюю, тетке, которая вдруг предстала перед ней, и Эстер было бы больно до слез, если бы она знала, какие чувства внушает своей любимице.

– Я вижу, ты забыла меня, Мэри! – начала она. – С тех пор как я ушла от вас, прошло, конечно, много времени, и я не раз подумывала о том, чтобы повидаться с тобой и... и с твоим отцом. Но я живу так далеко и так занята... Мне не всегда удается делать то, что я хочу. Но ты все-таки помнишь тетю Эстер, правда, Мэри?

– Вы тетя Хетти? – тихо спросила Мэри, продолжая вглядываться в это лицо, на котором не осталось и следа от былой свежести и сияющей

красоты.

– Да, я твоя тетя Хетти. Ах, как давно я не слышала этого имени, – со вздохом произнесла Эстер, ибо оно воскрешало слишком много воспоминаний. Затем, взяв себя в руки, она продолжала сухим тоном, какого требовала принятая ею роль: – А сегодня я узнала, что твой приятель, да и мой давнишний знакомый, попал в беду. Я подумала, что ты, наверно, очень этим огорчена, и решила зайти навестить тебя.

Мэри снова расплакалась, но ей не хотелось открывать сердце родственнице, которая, по собственному признанию, столько лет избегала их и не интересовалась их жизнью. Однако она постаралась быть вежливой и внушить себе, что должна быть благодарна тетке за внимание (пусть и столь запоздалое), но она не испытывала ни малейшего желания говорить об ужасном событии, владевшем ее мыслями. Поэтому, помолчав немного, она сказала только:

– Спасибо. Вы очень добры. А вам пришлось проделать длинный путь? – Она поднялась под влиянием неожиданно возникшей мысли и тотчас села, опомнившись. – К сожалению, мне нечем вас угостить, хотя вы, наверно, проголодались после такой прогулки.

Мэри не сомневалась, что тетя живет где-то очень далеко, на другом конце города, но, впрочем, она не стала над этим задумываться – слишком сильна была боль в ее сердце и все вокруг представлялось ей сном. Разговор с теткой вызывал у нее какие-то мысли, какие-то чувства, но она не могла связать их воедино, о чем-то подумать, против чего-то возразить.

Ну, а Эстер? О том, как скудно она питалась многие дни и недели, могли бы поведать ее исхудалое тело и бледные губы, но сама она никогда бы в этом не призналась! А потому, рассмеявшись неестественным смехом, она заметила:

– Ах что ты, Мэри, душенька, пожалуйста, не говори об еде! У нас полно всяких припасов – и все самое лучшее: ведь у моего мужа очень хорошее место. Я отлично поужинала перед тем, как идти сюда. Я бы не могла ни крошки проглотить, если бы ты вздумала меня угощать.

Эти слова больно укололи Мэри. Она помнила, какой любящей, готовой на самопожертвование была ее тетя. Как же она изменилась, если, живя в достатке, даже не подумала поинтересоваться, как живут ее родственники, а ведь они чуть с голоду не умирают! И сердце Мэри ожесточилось.

А бедная Эстер явно переигрывала, глотая слезы и сдерживаясь так, как она давно не сдерживалась, – лишь бы племянница не узнала страшной и позорной правды – не узнала, что она стала проституткой, отверженной.



Эстер страстно хотелось открыть той, что некогда любила ее, свое бесконечно измученное сердце, поведать о своем отчаянии, о том, что она покинута всеми, но ее удерживала от признаний боязнь, что, услышав это, племянница отвернется от нее, заговорит с ней другим тоном, почувствует к ней отвращение, и она решила прямо перейти к делу. Откладывать было нельзя, так как она чувствовала, что у нее ненадолго хватит сил играть принятую на себя роль.

Они сидели за круглым столиком, напротив друг друга. Между ними стояла свеча, и Эстер передвинула ее, чтобы лучше видеть лицо Мэри и понять, какие ею владеют чувства.

– Страшное это дело – убийство мистера Карсона, – начала она.

Мэри еле заметно вздрогнула.

– Я слышала, что арестовали Джема Уилсона.

Мэри прикрыла глаза рукой, как бы заслоняя их от света, а Эстер, не привыкшая владеть собой, была слишком взволнована, чтобы спокойно наблюдать за ней.

– Я гуляла неподалеку от Тэрнер-стрит и решила посмотреть это место, – продолжала Эстер. – К счастью, я заметила листок бумаги, застрявший в изгороди, – и она показала драгоценный комок, который все это время сжимала в руке. – Он так смят, что, наверное, служил пыжом. Мне было жаль убийцу, кто бы он ни был (в ту пору я еще не знала, что подозревают Джема), и я решила, что нельзя оставлять даже такую мелочь, которая может послужить уликой против него: у полиции ведь глаз хороший. Поэтому я взяла бумажку, а потом, отойдя подальше, развернула ее – и прочла твое имя, Мэри.

Мэри отняла руки от лица и в удивлении уставилась на тетку, услышав последние слова. А она все-таки добрая, – ведь она избавила ее от вызова в полицию, от допроса и дознания. Этого Мэри боялась больше всего: она была почти уверена, что своими ответами, как бы тщательно она их ни подготовила, лишь усилит подозрения против Джема. Тетя, право, очень добра, раз подумала о том, чтобы избавить ее от этого.

А Эстер продолжала, не замечая взгляда Мэри. Ей было так трудно говорить, так часто ее речь прерывал сухой хриплый кашель, вот уже несколько месяцев мучивший ее, что она не могла быть внимательной наблюдательницей.

– Если б полицейские нашли эту бумажку, они бы явились прямо к тебе. Взгляни: тут твое имя, фамилия и даже адрес! И написано, если не ошибаюсь, рукою Джема. Смотри же, Мэри!

Вот теперь она так и впилась глазами в лицо девушки.

Мэри взяла бумажку, разгладила и... вдруг вскочила на ноги, словно потрясенная внезапно представшим ей ужасным видением: лицо ее исказилось и окаменело; она плотно сжала губы, точно желая удержать какое-то восклицание. Потом она как подкошенная опустилась на стул, но так ничего и не сказала.

– Ведь это его почерк, правда? – спросила Эстер, хотя по всему поведению Мэри было ясно, что это так.

– Вы не скажете. Вы об этом никогда никому не скажете, – решительно, чуть ли не с угрозой потребовала Мэри.

– Конечно нет, Мэри, – с упреком промолвила Эстер. – Так низко я еще не пала. Ах, Мэри, неужели ты могла подумать, что я способна на это!

Слезы выступили на глазах Эстер при мысли, что кто-то счел ее способной предать старого друга.

Мэри заметила ее печальный укоризненный взгляд.

– Нет, я знаю, что вы не скажете, тетя. Я сама не знаю, что говорю: я так этим потрясена. Но скажите все же, что никому об этом не расскажете. Скажите.

– Нет, не расскажу, что бы ни случилось.

Мэри сидела неподвижно, глядя на роковые буквы, потом перевернула листок, тщательно изучая его со всех сторон, надеясь развеять свои страхи, самое существование которых уже исключало всякую надежду.

– А я-то думала, что тебе нравился убитый, – заметила Эстер, словно про себя – горячий интерес Мэри к предполагаемому убийце, ее желание скрыть улику, которая могла бы свидетельствовать против него, говорили сами за себя.

Эстер пришла к Мэри, чтобы узнать, насколько потрясла ее смерть мистера Карсона, – найденный ею листок, несмотря на свою важность, служил лишь предлогом, и, упомянув про почерк Джема, Эстер тотчас раскаялась в своих словах, ибо они могли навлечь на Джема страшную беду, если девушка и вправду любила убитого. Однако Мэри с такой тревогой и так решительно требовала, чтобы тетка никому про листок не рассказывала, что нельзя было усомниться в ее сочувствии к Джему. Удивлению Эстер не было конца, голова у нее шла кругом и отказывалась соображать, а Мэри все молчала. Она крепко держала бумажку, решив ни за что не отдавать ее, и с тревогой и нетерпением ждала, когда уйдет тетка. Лицом Мэри очень походила сейчас на покойную дочку Эстер.

– Ты так похожа на мою девочку, Мэри! – заметила Эстер, устав от решения непонятной загадки и всецело отдаваясь мыслям о покойной.

Мэри подняла голову. Значит, у тети есть дети. Вот и все, что она

уловила из ее слов. Она и не подозревала, сколько горя и любви было заключено в словах несчастной, иначе она нежно обняла бы ее, несмотря на все ее грехи и заблуждения, и попыталась бы залечить раны истерзанного сердца. Нет, этому не суждено было произойти. Так, значит, у тети есть дети, и она хотела было расспросить о них, но эта мысль отступила на задний план перед другой, и Мэри снова принялась раздумывать о таинственной бумажке и почерке. Ах, как ей хотелось, чтобы тетя скорее ушла!

И Эстер (словно правы поклонники месмеризма) подпала под власть этого не выраженного вслух, но горячего желания и почувствовала, что присутствие ее нежелательно и что племянница с нетерпением ждет ее ухода.

Она почувствовала это, но ей потребовалось время, чтобы решиться уйти. Она была глубоко разочарована встречей с Мэри, которой так ждала и в то же время страшилась: ей хотелось, чтобы племянница поверила рассказу о ее замужестве, хотя ее душа молила и жаждала участия. И ей удалось произвести желаемое впечатление. Возможно, потом она и будет этому рада, но сейчас ее отчаяние от сознания рухнувших надежд лишь удвоилось. Надо прощаться со старым домом, где самые стены и каменный пол – пусть грязные и прокопченные – были полны неизъяснимого очарования. Надо прощаться с приютом нищеты ради гораздо более страшных приютов порока. Она должна уйти – и уйдет.

– Ну что ж, до свидания, Мэри. Листок этот, как я понимаю, остается в надежных руках. Но ты взяла с меня слово, что я никому не скажу о нем, а теперь я хочу взять с тебя слово, что ты уничтожишь его, прежде чем ляжешь спать.

– Обещаю, – хриплым голосом, но твердо сказала Мэри. – Так вы уходите?

– Да. Если, конечно, ты не хочешь, чтобы я еще побыла с тобой, Мэри. Если я не могу помочь тебе, – сказала Эстер, хватаясь за этот проблеск надежды.

– Нет, нет, – сказала Мэри, которой не терпелось остаться одной. – Ваш муж станет беспокоиться. Как-нибудь надо будет нам повидаться, чтобы вы рассказали о себе. Я забыла, как теперь ваша фамилия?

– Фергюссон, – печально промолвила Эстер.

– Миссис Фергюссон, – почти машинально повторила Мэри. – А где, вы сказали, вы живете?

– Этого я не говорила, – пробормотала Эстер, а вслух сказала: – Энджелс Мэдоу, Николас-стрит, дом номер сто сорок пять.

– Энджелс Мэдоу, Николас-стрит, дом номер сто сорок пять. Хорошо, я запомню.

Эстер закуталась в шаль, собираясь идти, а Мэри подумала, что была очень холодна и сурова с этой женщиной, которая принесла листок (этот страшный, ужасный листок!), так как хотела ей добра, хотела спасти ее от... Мэри не могла сообразить, от чего, собственно, спасла ее Эстер, от большой или малой беды. И, желая сгладить впечатление от своего равнодушия, Мэри подошла к тетке, чтобы поцеловать ее на прощанье.

Однако тетка, к удивлению Мэри, испуганно оттолкнула ее.

– Только не меня! – воскликнула она. – Ты никогда не должна целовать меня! Никогда!

И, выбежав на темную улицу, она долго и горько плакала там.

## ГЛАВА XXII

### МЭРИ СТАРАЕТСЯ ДОКАЗАТЬ АЛИБИ

В ее глазах насторожился страх,  
Как будто беды только начались:  
Все зло излили первых туч ряды,  
Но новые отряды подошли,  
Чреватые губительной грозой.  
*Китс, «Гиперион».* [\[101\]](#)

Оставшись одна, Мэри поспешно заперла дверь и закрыла ставнями окно, ибо, когда вошла Эстер, она успела лишь зажечь свечу и задернуть занавеску.

Она проделала все это сжав губы, все с тем же каменным выражением, которое появилось на ее лице при первом взгляде на смятый листок. Затем она села, чтобы подумать, но почти тотчас встала и твердым шагом, как человек, принявший какое-то решение, направилась вверх; поднявшись по лестнице, она миновала дверь своей комнаты и вошла в комнату отца. Что ей там понадобилось?

Придется поведать вам об этом, придется рассказать ту страшную тайну, которую, как показалось Мэри, открыл ей клочок бумаги.

Убийцей был ее отец.

Она признала в этом клочке плотной, глянцевитой, жесткой бумаги кусок, оторванный от листка с переписанными ею чудесными стихами Сэмюэла Бэмфорда, а переписала она их (если вы помните) много месяцев тому назад на чистой половине «валентинки», которую прислал ей Джем Уилсон, – в те далекие дни, когда она еще не дорожила тем, чего касалась его рука, и не хранила бережно эти реликвии, как теперь.

Стихи эти она переписала для отца и всего каких-нибудь две недели тому назад случайно видела, как он их перечитывал. И сейчас она решила удостовериться, сохранилась ли у него остальная часть листка. Ведь он мог – конечно, мог – отдать стихи кому-нибудь из приятелей, и если он это сделал, тогда убийца – тот, другой, ибо бумагу она узнала.

Прежде всего она извлекла все содержимое из старого комода. Там

были вещи, принадлежавшие еще ее матери, но сейчас ей было не до воспоминаний. Из уважения к памяти матери она лишь бережно переложила их на кровать, тогда как все остальное вывалила грудой на пол.

Листка со строками Бэмфорда в комод не оказалось. Значит, отец, возможно, отдал его кому-нибудь. Быть может, Джему? Ведь пистолет принадлежал ему.

И Мэри с удвоенной энергией приступила к осмотру соснового сундучка, служившего теперь сиденьем, а раньше – хранилищем праздничной одежды ее отца, когда у него еще была такая одежда.

Она заметила, что перед отъездом он выкупил из ломбарда свой хороший костюм. И в сундучке сейчас лежал старый. Что это зашуршало в кармане под ее рукой?

Листок!

– Отец! О боже!

Да, куски совпали – совпали по всей линии разрыва, буква к букве, вплоть до длинных хвостиков тех букв, которые казались Эстер целиком выписанными. И, словно в дополнение к этой проклятой улике, Мэри, порывшись в кармане, обнаружила несколько пулек или дробинок (я не знаю, как они называются), а также небольшой пакетик пороха. Вынув из кармана сюртука листок, пули и все прочее, Мэри только было собралась положить его на место, как обнаружила чехол от пистолета, сшитый из полосатой попоны, какие вы, наверно, тысячу раз видели на подобных предметах. Чехол этот заставил Мэри продолжить поиски, но никаких улик она больше не обнаружила, закрыла сундучок и, опустившись на пол, принялась рассматривать свои трофеи то с болью и отчаянием, то недоумевая, каким образом отцу удалось остаться незамеченным. Впрочем, это было не так уж трудно. По всей вероятности, он где-то добыл пистолет. (Неужели взял у Джема? И Джем знает об этом? Он соучастник? Нет, она не могла этому поверить: никогда, никогда не мог бы он хладнокровно обсуждать с кем бы то ни было планы убийства, даже под влиянием необузданного гнева. И, уж конечно, он не стал бы чернить ее перед отцом, не сказав ей об этом ни слова. Это на него совсем не похоже.)

Итак, добыв пистолет, отец зарядил его дома и, должно быть, унес куда-то, когда соседей не было поблизости, а она либо вышла, либо спала. Там он его и спрятал до поры до времени – пока не потребуется. Она была уверена, что, когда отец в последний раз уходил из дому, при нем не было никакого пистолета.

Она чувствовала, что не стоит гадать о причине, толкнувшей его на этот шаг. Последнее время он вел себя непостижимо и дико. Да и потом,

разве не достаточно знать, что он виновен в этом ужасном преступлении? Любовь к отцу вдруг вспыхнула в ней с мучительной силой, только теперь к этой любви примешивался ужас перед совершенным им злодеянием. Ее любимый отец, который был такой добрый, такой отзывчивый, всегда готовый помочь человеку или животному, попавшему в беду, – и вдруг убийца! Но в пустыне отчаяния, куда завели ее эти мысли, всю глубину иссушающего мрака которых она не смела даже измерить, у ног ее забил источник утешения, сначала ею даже не замеченный, но затем давший ей силы и надежду.

И этим источником была необходимость действовать.

Да, я убеждена, что эта необходимость сделать над собой усилие (телесное или умственное), что-то предпринять в минуту горя есть величайшее благо, хотя в ту пору первый шаг дается очень тяжело. Всякое действие предполагает, что еще есть надежда найти спасительный исход или хотя бы избежать лишней беды. И постепенно надежда заслоняет горе.

Существуют горести, которых на земле нельзя избежать и которые поэтому почти невозможно утешить. Из всех банальных, избитых, бессердечных утешений, к каким прибегают люди, не утруждающие себя сочувствием к ближним, я больше всего ненавижу уговоры успокоиться, потому что «тут уж ничего не поделаешь». Неужели, вы думаете, я стала бы сидеть сложа руки и плакать, если бы я могла как-то помочь горю? Неужели вы считаете, что я сидела бы вот так, если бы у меня оставалась хоть малейшая надежда на что-нибудь? Поэтому я и плачу, что горю помочь нельзя. И тот довод, который вы приводите мне в утешение, как раз и является единственной причиной моего горя. Приведите мне более благородные и высокие причины, чтобы я могла смиренно нести испытание, которое посылает мне отец небесный, и я, как требует того моя вера, постараюсь быть терпеливой, но не смейтесь надо мной или над другим попавшим в беду человеком, не говорите: «Не горюйте – ведь горю слезами не поможешь. Все равно ничего поправить нельзя».

Однако, когда Мэри поразмыслила, она поняла, что не все надежды потеряны. Если виновен ее отец – значит Джем не виновен. А раз он не виновен, то его можно спасти. Он должен быть спасен. И сделать это должна она: ведь только она знает страшную тайну! Ее отец вне подозрений, и его никогда не заподозрят, если она постарается и будет достаточно предусмотрительна.

Мэри пока еще не представляла себе, как спасти Джема и в то же время не подвергнуть опасности отца. Это надо было как следует обдумать, чтобы действовать очень осмотрительно. Однако сознание, что она должна

действовать, напрягая все силы ума и души, придало Мэри необходимую для этого уверенность и энергию. Теперь каждый шаг, больше того – каждая минута имели значение, ибо вы, наверно, помните: у мисс Симмондс она узнала, что суд над преступником может состояться уже на следующей неделе. И вы, наверно, помните, что у Мэри не было в ту пору ни друзей, ни денег. Но как лев сопровождал Уну по дебрям, полным опасностей, [\[102\]](#) так сознание высокой цели и правоты своего дела всегда сопутствует беззащитным и помогает им.

Пробило два часа. Стояла глухая, темная ночь.

Мэри устала, ночь тянулась бесконечно, и напрасно было мучить себя сейчас, лихорадочно обдумывая всё новые планы. До утра ничего предпринять было нельзя, и сначала, горя нетерпением, она страстно желала, чтобы поскорее наступило утро, но потом почувствовала, что слишком измучена, и решила набраться сил.

Однако прежде всего надо сжечь предательский листок бумаги. Порох, пули и чехол она спрятала в матрасник, хотя они едва ли могли послужить уликой против кого бы то ни было. Затем она спустилась вниз и сожгла листок в очаге, растерла пепел пальцами и смешала его с золой. Только сделав это, она вздохнула свободнее.

У нее невыносимо болела голова: надо избавиться от этой боли, не то она не сможет ни думать, ни рассуждать.

Она поискала какой-нибудь еды, но ничего не нашла, кроме горстки овсяной муки; зная по опыту, что голова часто болит от голода, она хоть и давилась, но съела немного муки. Затем она взяла кувшин, чтобы смочить виски и утолить мучительную жажду, но воды в нем не оказалось, и Мэри отправилась через двор к насосу, – шаги ее, при всей их легкости, гулко звучали в тишине ночи. На фоне холодного ясного неба, где безмятежно сияли мириады звезд, темнели четкие прямоугольники домов. В природе был разлит покой, никак не гармонизировавший с бурей, бушевавшей в груди человека. Все вокруг словно застыло в холодной неподвижности. Как это непохоже на дивную ночь в деревне, где я сейчас пишу, где далекая линия горизонта теряется в мягком лунном свете, а ближние деревья с поистине человеческой грацией слегка колышутся под ночным ветерком, и шелест их ветвей кажется музыкой, баюкающей тех, кого горе лишило утешения. Видения и звуки такой ночи утишают страдание и боль.

Когда Мэри, наполнив кувшин, вернулась домой, ею овладела еще большая тревога, и она еще яснее почувствовала, что теперь очень многое зависит от нее – от беспомощной девушки, хранящей страшную тайну и совсем одинокой в этом жестоком холодном мире, где среди стольких



людей у нее нет ни единого друга.

Она смочила водою лоб, утолила жажду, а затем, следуя благоразумно принятому решению, пошла наверх и разделась, словно готовясь к долгому ночному сну, хотя всего несколько часов отделяло ее от зари. Ей казалось, что она никогда не заснет, но она легла, закрыла глаза, и не прошло и нескольких минут, как она уже спала глубоким крепким сном, словно на свете не было ни горя, ни преступлений.

Вполне естественно, что проснувшись она, отдохнув телесно, но с ощущением огромной, нависшей над нею беды. Она села в постели, пытаясь собраться с мыслями, и, когда вспомнила все, в отчаянье снова упала на подушки. Но эта слабость владела ею всего лишь мгновение: ведь каждая минута была дорога если не для действия, то для размышлений.

Еще прежде, чем она оделась и немного привела в порядок дом, она уже разобралась в сумятице своих мыслей и наметила план действий. Раз Джем невиновен (а теперь она твердо верила, что он не только не участвовал в убийстве, но даже и не знал о нем), значит, в то время, когда было совершено преступление, он находился где-то в другом месте; возможно, с ним были какие-то люди, которые могут это засвидетельствовать, только вот где найти этих людей. Все сейчас зависело от нее. Она слышала об алиби и подумала, что, наверно, достаточно было бы установить его, чтобы Джема освободили. Однако, не будучи в этом уверенной, она решила обратиться за разъяснением к Джобу – единственному среди ее немногочисленных знакомых, кто знал мудреные слова, ибо для нее юридические термины, как и термины естествознания, были в равной мере многосложной загадкой.

Нельзя было терять времени. Она тут же отправилась к Джобу Легу и застала его и Маргарет еще за завтраком. Когда Мэри открыла дверь, она услышала, что они разговаривают, – голоса их звучали серьезно, тихо, приглушенно, словно у них было тяжело на сердце. Как только она вошла, они прекратили разговор, и она поняла, что говорили они об убийстве; о возможности того, что убийство это совершил Джем, и о том (эта мысль впервые пришла ей в голову), как они ошибались в ней; ведь до сих пор они никогда не слышали об ее легкомысленном кокетстве с мистером Карсоном – даже в своих душевных беседах с Маргарет она не называла его имени и вообще не упоминала о нем. А теперь Маргарет услышит, как все осуждают ее за вольное поведение, считают дурной девушкой; и даже если она не поверит всему, что говорят, то все равно разочаруется в ней.

Поэтому Мэри поздоровалась с ними робким голосом, и сердце ее чуточку упало, когда Джоб с церемонной любезностью предложил ей

располагаться как дома, хотя раньше она заходила к ним и располагалась как дома без всяких приглашений.

Мэри опустилась на стул. Маргарет продолжала хранить молчание.

– Я пришла к вам поговорить насчет... насчет Джема Уилсона.

– Боюсь, что дела его плохи, – печально вздохнул Джоб.

– Да, конечно. Но только Джем невиновен. Я это знаю, знаю!

– Откуда же ты это знаешь? Улики против него, бедняги, серьезные, хотя говорят, что обида, толкнувшая его на такое дело, тоже была немалой. Эх, бедный парень, боюсь, что он погубил себя.

– Джоб, – воскликнула Мэри, в волнении вскакивая со стула, – не говорите так, не обвиняйте его! Он этого не делал: я знаю, я уверена, что не делал. Ну, почему вы качаете головой? Кто же поверит мне, кто же сочтет его невиновным, если даже вы, знавший его так хорошо, думаете о нем, как о преступнике?

– Очень мне это тяжело, голубушка, – сказал Джоб, – да только я думаю, что его сильно обидели: пококетничала с ним девушка, а потом отвернулась (это ведь правда, Мэри, хоть и горькая), вот кровь у него и вскипела – не он первый так поступил, и по этим же причинам.

– О господи! Так, значит, вы не поможете мне, Джоб, доказать, что он невиновен? Ах, Джоб, поверьте: Джем никогда и никому не причинял зла.

– Раньше – нет. Но заметь, голубушка, я не стал думать о нем много хуже, хоть он и виноват.

И Джоб снова погрузился в молчание. Мэри несколько секунд размышляла.

– Так вот, Джоб, – сказала она наконец, – я знаю, что в этом вы мне не откажете. Думайте, что хотите, только помогите, как если бы вы верили, что он невиновен. Предположим, что я знаю... мне известно, что он невиновен... это я высказываю только предположение, Джоб... что я должна сделать, чтобы доказать это? Скажите, Джоб! Не называется ли это «алиби», когда люди под присягой подтверждают, где человек был в то или иное время?

– Если ты знаешь, что он невиновен, самое лучшее было бы найти настоящего убийцу. Ведь кто-то это сделал – это же ясно. Если не Джем, тогда кто же?

– Откуда же мне знать? – пролепетала Мэри, испугавшись, что вопрос Джоба, возможно, вызван появившимся у него подозрением.

Но он был далек от таких мыслей. Он не сомневался, что Джем, отвергнутый и оскорбленный, пылая ненавистью, в минуту ослепления мог совершить убийство. И он был очень склонен считать, что Мэри известно

это, но запоздалое раскаяние в легкомысленном поведении, приведшем к таким роковым последствиям, побуждает ее сейчас бороться за спасение друга своего детства, своего первого поклонника, от судьбы, ожидающей тех, кто проливает кровь.

– Если Джем этого не делал, тогда кто же? Ведь никому из нас это не известно. Будь у нас еще время, мы бы, может, что-нибудь и раскопали, но говорят, его будут судить во вторник. Да и чего обманывать себя, Мэри: все улики против него.

– Я это знаю! Знаю! Ах, Джоб, но ведь алиби значит, что в час убийства он был где-то в другом месте. Подскажите, что я должна сделать, чтобы доказать такое алиби?

– Да, именно это и называется алиби. – Он немного подумал. – Надо спросить его мать о том, где он был и что делал в ту ночь: может, это подскажет тебе, что делать дальше.

Ему хотелось, чтобы кто-то другой взял на себя труд объяснить Мэри всю безнадежность ее затеи; к тому же он чувствовал, что ей надо дать возможность порасспросить людей и самой убедиться в том, в чем не могут ее убедить его слова.

Все это время Маргарет сидела молча, с сосредоточенным видом. По правде говоря, она была удивлена и разочарована, узнав, что Мэри кокетничала с мистером Генри Карсоном. Кроткая, скромная, сдержанная Маргарет не ведала, что значит обладать привлекательной внешностью и быть предметом всеобщего поклонения; она была так простодушна, что даже и теперь сомневалась, можно ли назвать любовью то робкое, нежное, бесконечно радостное чувство, которое она впервые испытала в присутствии Уилла Уилсона или даже думая о нем, а потому она и не могла понять, какие соблазны подстерегают тех, кто обладает красотой, тщеславием, честолюбием, желанием нравиться, – короче говоря, не понимала кокеток. Не представляла она себе и того, с какою силой у людей другого склада желание вступает в борьбу с принципами. Если сама она была убеждена в неправильности какого-либо поступка, это означало, что она ни за что не повторит его. И это ей почти не составляло труда. Таким образом, она просто не могла понять, как это Мэри, зная, что поступает дурно, стыдясь признаться в своем поведении подруге, все же поступала так. Маргарет считала, что Мэри обманула ее, и была глубоко этим огорчена. И она была склонна порвать всякую дружбу с Мэри, ибо та оказалась отнюдь не такой скромной как положено быть девушке, да к тому же еще и двуличной – могла же она говорить о своих чувствах к Джему и одновременно поощрять другого поклонника, чьи намерения были весьма

сомнительны.

И все же Маргарет пришлось вступить в разговор. Мэри внезапно вспомнила, что в ту ночь, когда было совершено убийство, или, вернее, на рассвете той ночи, Маргарет дежурила у постели Элис. И, повернувшись к подруге, она воскликнула:

– Ах, Маргарет, ведь это и ты мне можешь сказать: ты же была у Элис, когда Джем вернулся ночью домой, правда? Нет, не совсем так, но ты пришла туда вскоре после того, как он вернулся. Ты не слышала, где он был? Он ведь вернулся поздно, и накануне, когда с Элис случился удар, ты еще чай у них пила... Ах, Маргарет, где же он был?

– Не знаю, – сказала Маргарет. – Постой-ка! Я вспоминаю, что Джем, кажется, провожал Уилла в Ливерпуль. Но так ли это, я ручаться не могу: столько всего произошло в ту ночь.

– В таком случае я иду к его матери, – решительно объявила Мэри.

Старик и его внучка не сказали ни слова – не стали ни давать ей советов, ни отговаривать ее. Мэри поняла, что ей нечего ждать от них участия, и решила действовать на собственный страх и риск – без любящей помощи друга. Она знала, что, если попросит, они охотно дадут ей совет, а больше для спасения Джема ей ничего и не требовалось. И все же она не без страха направилась к Джейн Уилсон – ведь она была совсем одна со своей тайной.

Глаза Джейн Уилсон опухли от слез; тяжело было видеть, как тревоги и горе изменили ее за эти двадцать четыре часа. Всю ночь напролет причитали они с миссис Дейвенпорт, сокрушаясь по поводу своих бед, снова и снова возвращаясь к самой страшной из всех – к той, которая нависла сейчас над миссис Уилсон. Мне трудно подобрать подходящее слово, но она даже стала как бы гордиться своим мученичеством, стала нарочно растревать свое горе, получая наслаждение от страха за участь своего мальчика.

– Ты все-таки пришла, Мэри! Ах, Мэри, девонька, его будут судить во вторник.

И она разрыдалась – судорожные всхлипывания ее говорили о том, сколько слез она уже пролила.

– Ах, миссис Уилсон, не надо так расстраиваться! Мы его спасем, вот увидите. Не волнуйтесь. Они не могут доказать, что он виновен!

– А я тебе говорю, что могут, – прервала ее миссис Уилсон, несколько раздраженная тем, что Мэри, по ее мнению, так просто все решает, и немало раздосадованная тем, что кто-то еще может питать надежду, когда она не только смирилась, но почти находит удовольствие в горе. – Тебе-то,

конечно, легко так говорить о несчастье, которое случилось из-за тебя, а я до конца дней своих буду винить тебя в его смерти: я знаю, что он умрет, и умрет за то, чего никогда не делал, нет, никогда не делал, любимый мой мальчик!

Но она была слишком слаба и не могла долго кипеть гневом; постепенно она утихомирилась и лишь тихонько всхлипывала да приглушенно вздыхала.

Мэри не терпелось поскорее успокоить ее, утишить как ее гнев, так и горе: ей надо заставить миссис Уилсон собраться с мыслями, а кроме того, она ведь уже любила ее как мать Джема. И Мэри тихо принялась нашептывать ей ласковые слова, которые кажутся такими бессмысленными и слабыми, если воспроизвести их на бумаге, но которые так сильны, когда исходят от самого сердца и сопровождаются нежными взглядами и объятиями. И незаметно для себя старушка поддалась призыву этих кротких, любящих голубых глаз, на нее действовали слезы участия, слова надежды и любви, и она перестала так сокрушаться.

– А теперь, дорогая миссис Уилсон, не могли бы вы припомнить, где Джем, по его словам, был в четверг вечером, а точнее – ночью. Его ведь не было дома, когда заболела Элис, и вернулся он только под утро?

– Да, он вышел из дому часов в пять вечера. Вышел он с Уиллом: сказал, что хочет немного проводить его, потому как Уилл решил идти пешком в Ливерпуль и слышать не хотел о том, чтобы Джем одолжил ему пять шиллингов на поезд. Вместе они и вышли. Теперь-то я это хорошо помню, а сначала, когда заболела Элис да с бедным Джемом случилось такое несчастье, у меня это из головы вылетело. Так вот: они тогда вместе отправились пешком в Ливерпуль – Джем-то, конечно, не до самого конца. Но ведь кто его знает, – добавила она, снова падая духом, – может, он вовсе и не пошел с Уиллом? По дороге он мог куда-нибудь свернуть. Ох, Мэри, голубушка, ведь его повесят, а он ничего плохого не сделал.

– Нет, не повесят, не посмеют! Теперь мне ясно, с чего начать. Надо найти Уилла, чтобы он помог нам: время для этого еще есть. Он может поклясться, что Джем был с ним. А где сейчас Джем?

– Люди говорят, что сегодня утром его отвезли в тюремном фургоне в Кэркдейл. А я даже не видела его, бедненького! Ах, девонька, как они спешат скорее с ним разделаться!

– Да уж, они не теряют времени даром, мигом отыскивали преступника, – с горькой грустью заметила Мэри. – Но не отчаивайтесь. Заподозрив Джема, они пошли по ложному следу. Не бойтесь. Вот увидите: все кончится для Джема хорошо.

– Я бы и не убивалась так, если б могла что-нибудь сделать, – сказала Джейн Уилсон, – но я такая старая и слабая, Элис заболела, да еще эта история приключилась – я теперь уж ничего не соображаю, голова у меня идет кругом, и хоть я все думаю и думаю, но ничем моему мальчику помочь не могу. Вот вчера вечером, говорят, я могла бы пойти повидаться с ним, а я-то и не знала. Да, Мэри, не знала, а теперь, может, никогда не увижу Джема.

И она такими несчастными глазами посмотрела на Мэри, что девушке стало жаль ее, – она почувствовала, что сейчас не выдержит, и, боясь, как бы не расплакаться и не потерять над собой власти, поспешно перевела разговор на Элис.

– Спасибо, она все такая же, – сказала Джейн, а сама подумала, что никто не может горевать больше матери. – Она-то счастлива, она ведь ничего не понимает, но доктор говорит, что она все слабее становится. Может, хочешь взглянуть на нее?

Мэри пошла наверх – отчасти следуя обычаю бедняков, у которых принято предлагать друзьям проститься в последний раз с умирающим или умершим и не принято отклонять такое предложение, а отчасти потому, что ей хотелось хотя бы минуту подышать атмосферой покоя, казалось, всегда окружавшего добрую благочестивую старушку. Элис лежала, как и прежде, видимо, ничем не мучаясь и не ощущая никакой боли; она полностью утратила сознание того, что происходит вокруг, и всецело ушла в воспоминания детства, достаточно яркие, чтобы заменить ей действительность. Она по-прежнему говорила о зеленых лугах, по-прежнему беседовала с давно умершими матерью и сестрой, которые уже много лет лежали в могиле, словно они были рядом с нею, в тех милых ее сердцу местах, где прошла ее юность.

Только голос ее звучал слабее, движения были более медленны, – несомненно, конец уже близился, но какой безмятежный, счастливый конец!

Мэри несколько минут молча стояла, глядя на больную и прислушиваясь к ее бормотанью. Затем она нагнулась и, благоговейно поцеловав Элис в щеку, отвела Джейн Уилсон от постели, точно слух умирающей мог уловить ее слова; шепнув бедной матери Джема несколько обнадеживающих слов и нежно, ласково поцеловав ее несколько раз, Мэри попрощалась с ней, сделала было несколько шагов к двери и снова вернулась, умоляя старушку не падать духом.

Когда она наконец ушла, Джейн Уилсон показалось, будто из комнаты исчез солнечный луч.

А как мучительно ныло сердце Мэри: ведь она с каждой минутой все больше убеждалась в страшной правде, заключающейся в том, что ее отец – убийца! Но она всеми силами старалась не задерживаться мыслью на этом, а лишь думать о том, как доказать невиновность Джема, – это ее священный долг, и она должна его исполнить.

## ГЛАВА XXIII

### ВЫЗОВ В СУД

Ужели только мой неверный глаз  
И слабая рука должны вести  
Корабль – мои надежды и любовь -  
Меж мрачных скал влекущий все вперед  
К спокойной тихой гавани? А вдруг  
Он налетит на скалы и пойдет  
На дно? Пусть мне помогут небеса,  
Взор прояснят и руку укрепят!  
*«Постоянная женщина».*

С сильно бьющимся сердцем, со множеством всяких мыслей в голове, которые надо было не спеша обдумать в одиночестве, чтобы как-то в них разобраться, Мэри побежала домой. Она походила на человека, нашедшего драгоценность, стоимость которой он не может сразу определить, и спрятавшего свое сокровище до той минуты, когда он на свободе сможет установить, что оно ему сулит. Она походила на человека, который обнаружил кончик шелковой нити, ведущей к приюту блаженства, и, уверенный в своей силе, медлит перед входом в лабиринт. [\[103\]](#)

Но никакая драгоценность, никакое блаженство не могли так обрадовать скрягу или влюбленного, как обрадовалась Мэри, уверившись в том, что можно будет доказать невиновность Джема, не навлекая подозрения на истинного виновника, который был ей по-прежнему дорог, хоть он и совершил преступление, и о чем злодеянии она не смела даже думать. Ведь стоило ей задуматься, как неизбежно вставал страшный вопрос: если все сложится не в пользу Джема, несмотря на его невиновность, если судья и присяжные вынесут приговор, который должен быть приведен в исполнение на виселице, как ей вести себя – ей, знающей жуткую тайну? Не обвинять же отца... и все же... все же... Она готова была молиться о том, чтобы на нее снизошло забвение смерти или безумие, лишь бы ей не пришлось решать этот страшный вопрос.

Но теперь перед нею, казалось, открывался иной путь, и этот путь становился все яснее. Как она была рада, что ей пришла в голову мысль об



алиби, и еще более рада тому, что ей удалось так легко узнать, где был Джем в ту злополучную ночь. Теперь, озаренная этой надеждой, она видела все в ином свете и склонна была радоваться тому, что суд состоится так скоро. Она сразу увидится с Уиллом Уилсоном, когда он возвратится с острова Мэн, а возвратится он собирался в понедельник; таким образом, ко вторнику истинные обстоятельства дела уже выяснятся, – во всяком случае, те обстоятельства, о которых она могла думать без страха. Однако, чтобы увидеться с Уиллом Уилсоном (на почту Мэри боялась положиться), надо было многое подготовить и многое припомнить; его адрес в Ливерпуле и название корабля, на котором он должен отплыть; но чем больше она об этом раздумывала, тем больше убеждалась, как трудно будет добыть эти пустяшные, однако такие важные сведения. Вы, конечно, не забыли, что Элис, прекрасно помнившая все мелочи, связанные с тем, кто был дорог ее сердцу, лежала без сознания; что Джейн Уилсон, по ее собственному выражению, была «не в себе», – иными словами, совсем растерялась под бременем страшных, печальных дум и не была способна на какое-либо умственное усилие; к тому же и в лучшие-то времена она не слишком интересовалась делами Уилла (или делала вид, что не интересуется ими), ревнуя ко всему, что отвлекало внимание от ее бесценной жемчужины, ее единственного сына Джема. Поэтому Мэри не могла рассчитывать на то, что ей удастся получить из этого источника какие-либо сведения о намерениях моряка.

А что, если обратиться к самому Джему? Нет! Это ни к чему не приведет: слишком хорошо она его знала. Она чувствовала, что он мог бы за это время полностью оправдаться, указав на истинного виновника. Однако он молчал, и она лишний раз убедилась, хотя никогда и не сомневалась в этом, что с его стороны убийце ничего не грозит. И все же она опасалась, что в таком случае он не захочет ничего предпринять, чтобы доказать свою невиновность. Но как бы то ни было, она все равно не могла переговорить с ним об этом, его перевели в Кэркдейл, а времени терять нельзя. И так ведь уже прошло полдня субботы. Но даже если бы Мэри и могла говорить с Джемом, то, мне кажется, она едва ли обратилась бы к нему. Ей хотелось все сделать самой – стать его освободителем, избавителем, одержать победу в борьбе за его жизнь, хотя, быть может, никакие ее старания не вернут ей его утраченную любовь. Да и как говорить с ним об этом, когда они оба знают, кто виновен, и, однако, не смеют произнести имя этого человека, – так он дорог им обоим, несмотря на его ошибки и прегрешения.

И вдруг, когда Мэри уже перестала напрягать память, она вспомнила

название корабля, на котором должен отплыть Уилл: «Джон Кроппер».

Ну конечно же – он много раз повторял это название. Он упоминал его и во время их разговора вечером в роковой четверг. Мэри снова и снова повторяла название корабля, боясь, как бы в волнении опять его не забыть: «Джон Кроппер».

И тут, словно очнувшись от какого-то непонятного оцепенения, она вспомнила про Маргарет. Теперь, когда Элис уже ушла из жизни, хотя еще продолжала дышать, только Маргарет могла бережно хранить в памяти все мелочи, связанные с Уиллом.

В эту минуту дверь открылась, и в комнату вошла соседка, которой они с отцом, уходя из дому, обычно вручали ключ и которая передавала им все поручения, какие могли оставить друзья и знакомые, увидев, что дверь квартиры Бартонов заперта.

– Это тебе, Мэри! Оставил полицейский.

И она протянула лист пергаментной бумаги.

Многим внушают страх эти таинственные листы пергаментной бумаги. К числу таких людей принадлежу и я. К их числу принадлежала и Мэри. Сердце у нее упало, когда она взяла его в руки и посмотрела на странно начертанные буквы, которые, хотя и были достаточно четкими, она не могла разобрать, – а может быть, ей было страшно вчитываться в эти строки, так как она догадывалась, что они ей сообщат.

– Что это? – слабым голосом спросила она.

– Откуда же мне знать? Полицейский сказал, что он еще зайдет к вечеру, чтоб узнать, получила ли ты эту бумагу. Очень ему не хотелось оставлять ее, хоть я и сказала, что вы мне ключ доверяете и что я вам все поручения передаю.

– Что же это за бумага? – все тем же хриплым, слабым голосом повторила свой вопрос Мэри, вертя бумажку в руках и словно боясь узнать, что в ней написано.

– Да ведь ты-то умеешь читать, а я не умею, так чего ж ты у меня спрашиваешь! Правда, хозяин мой сказал, что тебя вызывают свидетельницей по делу Джема Уилсона в ливерпульский суд.

– О господи, сжался надо мной! – побелев как полотно, еле слышно промолвила Мэри.

– Да что это ты так, голубушка? Что бы ты ни сказала, это не поможет ему и не повредит, потому как люди говорят, его непременно повесят, да ведь и твой-то милый был тот, другой.

В другой раз эти слова больно задели бы Мэри, но сейчас она думала только о том, как они встретятся с Джемом: это будет страшная встреча, не

похожая на встречу влюбленных!

– Так вот, – сказала соседка, не видя особого смысла утешать девушку, которая почти не обращала внимания на нее и на ее слова, – ты скажи полицейскому, что получила эту его бумажку. Он, видно, думал, что я ее себе заберу. А ведь до сих пор никто еще не боялся оставлять мне записки для вас или поручения. До свидания.

И она ушла, а Мэри даже не заметила этого. Она так и продолжала сидеть, держа в руке пергаментный лист.

Внезапно она встрепенулась. Надо показать эту бумажку Джобу Легу и спросить, что же она значит, – ведь не может она значить такое.

И вот Мэри отправилась к Джобу Легу и задыхающимся от волнения голосом задала мучивший ее вопрос.

– Это вызов в суд, – сказал он, с видом знатока разглядывая бумагу. Джоб считал, что обладает некоторыми познаниями в области юриспруденции, так как прочитал один из томов Блэкстона, <sup>[104]</sup> который он купил у букиниста.

– А что он означает? – еле выговорила Мэри, которой его ответ ничего не разъяснил.

Пораженный звуком ее изменившегося, несчастного голоса, Джоб посмотрел на девушку поверх очков.

– А означает он, голубушка, вот что. Тебя вызывают в суд, где ты должна будешь отвечать на все вопросы, которые могут быть тебе заданы по делу Джеймса Уилсона, обвиняемого в убийстве Генри Карсона. Только и всего. Но выражено это возвышенно, потому что есть и такие люди, которые ценят красоту языка. Я в свое время бывал свидетелем – бояться тут нечего. Если с тобой станут говорить грубо, ты спуска не давай – и тоже нагруби в ответ.

– Нечего бояться! – повторила Мэри, но совсем другим тоном.

– Вот оно что, бедняжечка! Пожалуй, и правда, тебе-то это будет нелегко, но ты не падай духом. Что бы ты ни сказала, на дело это повлиять не может... Нет, постой-ка! Глядишь, ты и поможешь Джему: как посмотрят на тебя в суде, сразу поймут, откуда у него ревность такая взялась – ты ведь красивая девушка, Мэри. Судьи чуть увидят твое личико, так тут же разберутся, почему молодой человек вдруг совсем обезумел. Ну и отнесутся к делу снисходительнее.

– Ах, Джоб, почему вы мне не верите? Ведь я говорю вам, что он не виновен! Правда, правда, я могу доказать это: он был в ту ночь с Уиллом, правда был, Джоб!

– Кто же тебе сказал это, голубушка? – с жалостью спросил Джоб.

– Мать Джема, и я разыщу Уилла, чтобы он подтвердил это. Ах, Джоб, – и Мэри заплакала, – мне так тяжело, что вы не хотите мне поверить. Как же я сумею обелить его перед чужими людьми, когда те, кто знает его и должен был бы любить, не хотят поверить в его невиновность?

– Боже упаси, – торжественно провозгласил Джоб, – я вовсе не против того, чтобы в это поверить. Я бы отдал половину оставшейся на мой век жизни, даже отдал бы, Мэри, ее всю целиком (и если б не любовь к моей бедной слепой внучке, это было бы не такой уж большой жертвой), лишь бы спасти его. Ты считаешь меня жестокосердым, Мэри, но это вовсе не так, и я помогу тебе, насколько у меня сил хватит... пусть даже он и виноват, – тихо добавил старик и закашлялся, чтобы она не расслышала его последних слов.

– Ах, Джоб, если вы готовы помочь мне, – воскликнула Мэри, сразу просветлев (хотя луч надежды, согревший ее сердце, был по-зимнему скуден), – скажите, что мне отвечать, когда меня начнут спрашивать: я ведь буду так дрожать от страха, что не найдусь, что и сказать.

– Говорить надо только правду. Недаром считается, что правда самый верный друг, а особенно когда человеку приходится иметь дело с законниками, потому что народ они пронырливый и хитрый, и они до нее рано или поздно все равно доищутся. А когда правда, помимо воли человека, после лжи вылезает, уж очень большим дураком он выглядит.

– Но ведь правды-то я не знаю. Вернее... Не умею я толком объяснить. Я уверена, что, если буду стоять в суде, и на меня будут смотреть сотни глаз, и мне зададут самый простой вопрос, я все равно отвечу на него не так, как нужно. Если меня, скажем, спросят, видела ли я вас в субботу, или во вторник, или в какой другой день, я ничего не вспомню и скажу как раз то, чего и не было.

– Ну что ты, что ты, только не вбивай себе такое в голову. Это все, как говорится, «нервы», и толковать об этом не стоит. А вот и Маргарет, радость моя! Смотри, Мэри, как она уверенно ходит.

И Джоб принялся наблюдать за внучкой, которая грациозным размеренным шагом, словно под музыку, переходила улицу.

Мэри содрогнулась, точно от порыва холодного ветра, – содрогнулась при виде Маргарет! Подруга, такая сдержанная и молчаливая, казалась Мэри суровым судьей, и в ее присутствии она не сможет открыть Джобу свое сердце, которое уже начинало оттаивать, согретое участием старика. Мэри признавала свою вину, всеми фибрами души раскаивалась в былых ошибках, но ей было бы легче выслушать самое суровое осуждение, чем столкнуться с ледяной холодностью, с какою Маргарет встретила ее

сегодня утром.

– А у нас Мэри, – сказал Джоб таким тоном, словно хотел умиловить внучку. – И она пообедает с нами, потому что, конечно, она и не подумала что-нибудь приготовить себе сегодня, – недаром она такая бледная и прозрачная, что твое привидение.

Слова Джоба не могли не пробудить в груди его внучки теплого участия, отличающего большинство тех, кто хоть и сам немного имеет, но всегда бывает рад поделиться с гостем и этим немногим. Маргарет ласково кивнула Мэри и поздоровалась с ней гораздо мягче, чем утром.

– Ну, конечно, Мэри, ты же знаешь, что у тебя дома ничего нет, – настаивал Джоб.

Мэри была слишком слаба, чтобы противиться, она устала, и сердце у нее ныло, полное совсем других забот, а потому она согласилась.

Обедали они молча, ибо всем было трудно говорить, а потому после двух-трех попыток завязать разговор за столом воцарилась тишина.

После обеда Джоб все-таки завел речь о том, чем были заняты мысли всех троих.

– Бедняге Джему нужен адвокат, чтобы на него не взвалили напраслины, а судили по справедливости. Ты подумала об этом?

Нет, Мэри об этом не подумала, как, по-видимому, и мать Джема.

Маргарет подтвердила ее предположение.

– Я только что оттуда. Бедняжка Джейн совсем голову потеряла – столько бед сразу свалилось на нее. Она все уверяет, что Джема повесят, но стоило мне ей поддакнуть, как она вскипела, бедняжка, и заявила, что есть люди, которые, что бы ни говорили вокруг, докажут невиновность Джема. Я просто не знала, что мне ей говорить. Но от одного она не отступала – она все время твердила, что он невиновен.

– Как всякая мать! – сказал Джоб.

– Это она про Уилла думала, говоря, что есть человек, который может доказать невиновность Джема. Ведь Джем в четверг вечером пошел проводить Уилла, когда он отправился пешком в Ливерпуль. Надо только найти Уилла, а он уж это подтвердит.

Мэри произнесла эти слова с глубокой убежденностью и верой.

– Не слишком надейся на это, голубушка, – заметил Джоб.

– Я буду надеяться, – возразила Мэри, – потому что знаю: это правда, и я постараюсь доказать это во что бы то ни стало. Никаким словам не остановить меня, Джоб, поэтому и не пытайтесь. Вы можете мне помочь, но вы не можете помешать мне выполнить мое намерение.

Они склонились перед ее решимостью, и Джоб уже готов был

поверить ей, увидев, как упорно она стоит на своем. И в большом и в малом убедить человека в своей правоте (о чем бы ни шла речь) мы можем лишь в том случае, если наша собственная вера в нее будет твердой и нерушимой и если он увидит, что мы не говорим о ней, а живем ею.

И Мэри ободрилась, почувствовав, что одержала победу, по крайней мере, над одним из своих собеседников.

– В одном я убеждена, – продолжала она, – он был с Уиллом, когда... когда раздался выстрел. (Она не могла заставить себя сказать: «когда было совершено убийство», потому что ни на минуту не забывала, кем оно было совершено.) Уилл может это доказать, и я должна найти Уилла. Он говорил, что отплывет не раньше вторника. Время еще есть. Он собирался вернуться от своего дяди, с острова Мэн, в понедельник. Я встречу его в этот день в Ливерпуле, расскажу о том, что случилось: что бедный Джем попал в беду, и во вторник Уилл должен явиться в суд и доказать его алиби. Все это я могу сделать и сделаю, хотя сейчас и не совсем ясно представляю себе, как за это взяться. Но бог, конечно, поможет мне. Раз я знаю, что я права, мне нечего бояться: я доверюсь господу, ибо стараюсь помочь хорошему, ни в чем не повинному человеку, а не себе, сотворившей столько зла. За Джема я не боюсь – ведь он такой хороший!

Она умолкла, так как сердце ее было переполнено. И Маргарет почувствовала к ней прежнюю любовь, увидела в ней ту же Мэри Бартон, мягкую, порывистую, любящую, хотя порой и заблуждающуюся, только более уверенную в себе, более благоразумную, исполненную большего достоинства.

Тут Мэри снова заговорила:

– Так вот: я знаю название корабля, на котором служит Уилл. Называется он «Джон Кроппер» и должен отплыть в Америку. Это уже кое-что. Вот только я забыла – если вообще когда-либо слышала, где Уилл живет в Ливерпуле. Он говорил, что его хозяйка – очень хорошая женщина, но если и называл ее имя, то я его запомнила. Не могла бы ты помочь мне в этом, Маргарет?

Она спокойно и просто обратилась к подруге, словно признавая, что ту с Уиллом связывают особые узы, – она задала этот вопрос так, словно спрашивала жену, где живет ее муж. И так же спокойно ответила ей Маргарет – лишь два ярких пятна на щеках выдавали ее волнение.

– Он снимает комнату у миссис Джонс, на Молочном подворье, Николас-стрит. Он останавливается там с тех пор, как стал матросом, и хозяйка его, кажется, очень достойная женщина.

– Ну, Мэри, я буду за тебя молиться, – сказал Джоб. – Я не часто

молюсь, как положено, хоть и частенько беседую с богом, когда чему-то радуюсь или печалюсь. Я разговаривал с ним в самые неурочные часы, – стоило мне найти редкое насекомое или, скажем, выдастся хороший денек для моих экскурсий, а уж тут ничего не поделаешь: не могу я с ним не поделиться, как с хорошим другом. Но на этот раз я буду молиться, как положено, за Джема и за тебя. И, уж конечно, Маргарет тоже. И все же, голубушка, как насчет адвоката? Я знаю одного. Его зовут мистер Чешайр – он тоже интересуется насекомыми и вообще славный малый. Мы с ним не раз менялись, когда у кого-нибудь вдруг оказывалось на руках по два экземпляра одного вида. Он будет рад оказать мне услугу. Надену-ка я шляпу и схожу к нему.

Сказано – сделано.

Маргарет и Мэри остались одни. И снова между ними возникло чувство неловкости, если не отчуждения.

Однако волнение придало Мэри храбрости, и она первая нарушила молчание.

– Ах, Маргарет! – воскликнула она. – Я вижу, я чувствую, как ты меня осуждаешь, но ты и представить себе не можешь, как я корю себя сейчас, когда у меня раскрылись глаза.

И она разрыдалась, не в силах продолжать.

– Ну что ты, – начала было Маргарет, – какое право... я имею...

– Нет, Маргарет, ты имеешь право судить – тут уж ничего не поделаешь, только, осуждая, помни, что говорится в писании о милосердии. Ты праведница и не знаешь, как легко сделать первый неверный шаг и как потом трудно вернуться на истинный путь. Да разве я думала, с удовольствием слушая речи мистера Карсона, чем все это кончится? Может быть, смертью того, кто мне дороже жизни.

И Мэри горько заплакала. Чувства, сдерживаемые весь день, вырвались наружу. Потом она с трудом взяла себя в руки и, посмотрев на Маргарет так жалобно, словно эти спокойные незрячие глаза могли увидеть ее умоляющее лицо, добавила:

– Я не должна плакать, не должна поддаваться горю – для этого еще будет время, если... Я только хочу, чтобы ты не была со мной так сурова, Маргарет, потому что я очень, очень несчастна; никто и понятия не имеет о том, как я несчастна. Мне даже иной раз кажется, что столько я не заслужила. Но нельзя так думать, правда, Маргарет? Да, я поступала нехорошо и теперь наказана – ты и представить себе не можешь, как наказана.

Кто мог бы устоять против ее голоса, против этого жалобного,

смиренного тона? Кто мог бы отказать в добром слове той, которая с таким раскаянием просила о нем? Только не Маргарет. Прежнее дружелюбие вернулось. А вместе с ним, пожалуй, и еще большая нежность.

– Ах, Маргарет, как ты думаешь, можно его спасти? Неужели его могут осудить, если Уилл выступит в качестве свидетеля? Неужели такого алиби будет недостаточно?

Маргарет ответила не сразу.

– Да говори же, Маргарет! – с тревогой воскликнула Мэри.

– Я ничего не смыслю в законах и в алиби, – мягко промолвила Маргарет, – но, как считает бабушка, не слишком ли ты полагаешься на то, что Джейн Уилсон сказала тебе? В самом ли деле Джем провожал Уилла? От ухода за больной, бессонных ночей, бесконечных тревог у бедняжки, по-моему, совсем в голове помутилось. Да и Джем мог сказать ей, что пошел с Уиллом, для отвода глаз.

– Ты не знаешь Джема! – воскликнула Мэри, вскочив со стула. – Иначе ты бы так не говорила.

– Я буду рада, если ошиблась, но подумай сама, Мэри, сколько против него улик. Выстрел был произведен из его пистолета; за несколько дней до этого он угрожал мистеру Карсону; все мы знаем, что в час убийства его не было дома, и, боюсь, найдется человек, который подтвердит это. И потом, ведь некого подозревать, кроме него.

Мэри тяжело вздохнула.

– Нет, Маргарет, он этого не делал, – повторила она.

Маргарет ее слова, казалось, не убедили.

– Я вижу, говорить об этом бесполезно, потому что вы все равно не верите мне, и я больше ни слова не скажу, пока не смогу доказать, что я права. В понедельник утром я еду в Ливерпуль. К суду я вернусь. О господи, господи! Я найду Уилла, и тогда, Маргарет, я думаю, ты пожалеешь о том, что так упорно верила, будто Джем виновен.

– Не сердись, милая Мэри, я бы много дала, чтобы ошибиться. А теперь давай говорить откровенно. Тебе понадобятся деньги. Законники сосут деньги, словно губка воду, не говоря уже о том, что деньги потребуются тебе на розыски Уилла, на жизнь в Ливерпуле, да и мало ли еще на что. Поэтому возьми у меня – я ведь отложила кое-что в старом тайничке. Ты не имеешь права отказываться: я даю их Джем, а не тебе – ведь ты будешь тратить их ради него.

– Я понимаю... конечно. Спасибо, Маргарет: ты очень добра. Я возьму их для Джема, и я постараюсь возможно лучше употребить их ради него. Но, конечно, не все: не думай, что я все у тебя возьму. Ровно столько,



сколько мне понадобится на прожитие. Словом, я возьму вот это. – И она взяла соверен из горстки монет, которые Маргарет достала из тайника в буфете. – Пусть адвокату заплатит твой дедушка, я с ним разговаривать не хочу. – И Мэри вздрогнула, вспомнив, что говорил Джоб об умении адвокатов доискиваться истины, и зная, какую тайну ей приходится скрывать.

– Господь с тобой, тут не о чем говорить, – сказала Маргарет, прерывая Мэри, собравшуюся было снова ее благодарить. – Я иной раз думаю, что заповедь можно повернуть и иначе и можно сказать: «Дайте другим поступать с вами так, как вы хотите поступить с ними», <sup>[105]</sup> ибо гордость часто мешает нам доставить человеку радость, дав ему возможность проявить свою доброту, когда ему от всей души хочется помочь и когда сами мы с радостью поступили бы так же, очутись мы на его месте. Ах, как часто я обижалась, когда люди холодно просили меня не утруждать себя их заботами и бедами, а ведь я, видя их горе, от всего сердца хотела их утешить. Позволял же людям Иисус Христос помогать ему, ибо он знал, как счастлив бывает человек, если он может хоть что-то сделать для другого. Это самое приятное, что может быть на земле.

Но Мэри почти не слушала Маргарет: слишком занимало ее то, что происходило на улице. Со своего места у окна она увидела Джоба, шедшего с каким-то хорошо одетым господином, который, судя по пронизательному взгляду, наверное, и был его знакомым адвокатом; оба оживленно беседовали. Джоб что-то доказывал – об этом говорил его поднятый вверх указательный палец, потом он кивком указал спутнику через улицу, на свой дом, как бы приглашая его зайти. Мэри испугалась, что он согласится и станет допытываться, почему, собственно, она так уверена в невинности Джема. Она очень боялась, что адвокат сейчас придет: он даже шагнул в направлении дома. Но нет, просто он уступил дорогу ребенку, которого Мэри раньше не заметила. Теперь Джоб, увлеченный разговором, фамильярно взял адвоката за пуговицу. Тому явно хотелось поскорее уйти, но он, очевидно, побоялся обидеть старика и этим, несмотря на свою профессию, сразу завоевал симпатию Мэри. Джоб еще что-то говорил, его собеседник отвечал односложно и кивал, затем он стремительно зашагал дальше, а Джоб, с многозначительной и слегка самодовольной усмешкой на добром лице, пересек улицу.

– Ну вот, Мэри, – сказал он, входя, – я говорил с адвокатом, правда, не с мистером Чешайром: оказывается, делами об убийствах он не занимается. Но он дал мне записку к другому законнику, довольно славному малому, но уж слишком большому болтуну: сам все говорил, а мне едва слово давал

вставить. Однако я все же сумел изложить ему основные пункты нашего дела, – может, ты даже видела, как мы разговаривали! Я хотел, чтобы он зашел и сам поговорил с тобой, Мэри, но он очень торопился, а потом он сказал, что твои показания едва ли могут что-либо дать. В понедельник утром он с первым поездом поедет в Ливерпуль, повидается с Джемом, выслушает все, что тот может сказать. Этот человек дал мне свой адрес, Мэри, чтобы вы с Уиллом зашли к нему (особенно ему нужен Уилл) в понедельник, в два часа. Поняла, Мэри: ты должна зайти к нему в Ливерпуле в понедельник, в два часа дня!

У Джоба были основания сомневаться, поняла ли она его, ибо все эти подробности, эти обещания адвоката, которые доставили такое удовольствие Джобу, лишь яснее показали Мэри, в какое она попала положение.

Значит, все это происходит на самом деле, это не сон, как ей начало казаться несколько минут тому назад, ибо она сидела на своем обычном месте и отдыхала, подкрепившись едой, слушая спокойный голос Маргарет. Значит, господин, которого она только что видела, через несколько часов встретится с Джемом и будет расспрашивать его. К чему же это приведет?

Понедельник – это послезавтра, а во вторник будет решаться – жить или умереть ее любимому; может быть, на смерть будет обречен ее отец.

Не удивительно, что Джобу пришлось самое важное повторить еще раз:

– Запомни: в понедельник, в два часа. Вот его карточка: «Мистер Бриджнорс, Реншоу-стрит, дом номер сорок один, Ливерпуль». Это адрес, по которому его там можно найти.

Джоб умолк, и тишина, воцарившаяся в комнате, заставила Мэри встрепетаться и поблагодарить его.

– Вы очень добры, Джоб, очень. Вы с Маргарет не покинете меня в беде, что бы ни случилось.

– Фу, фу, как не стыдно падать духом. А я вот наоборот: очень прибодрился. Адвокат, видимо, считает, что показания Уилла очень важны. Вы уверены, девушки, что не ошибаетесь относительно того, где его искать?

– Я уверена, – сказала Мэри, – что, уезжая отсюда, он собирался навестить своего дядю на острове Мэн и намеревался вернуться оттуда в воскресенье вечером, потому что корабль его отплывает во вторник.

– И я тоже в этом уверена, – подтвердила Маргарет. – А корабль называется «Джон Кроппер», и остановился Джем там, где я сказала Мэри. Запиши-ка ты адрес, Мэри.

И Мэри записала его на обороте карточки мистера Бриджнорса.

– Не очень-то ему хотелось туда ехать, – сказала она, записывая адрес, – он почти не знает дядю и говорил, что вовсе не хочет познакомиться с ним поближе. Но родственники, сказал он, есть родственники, и обещания надо выполнять, поэтому он поедет туда на денек-другой, и хватит.

Маргарет надо было куда-то идти заниматься пением, поэтому Мэри, хоть ей и очень не хотелось оставаться одной, пришлось проститься со своими друзьями.

## ГЛАВА XXIV

### У ПОСТЕЛИ УМИРАЮЩЕЙ

О, тяжело, страшно тяжело сторожить  
Тяжелый сон того, кто изнемог,  
Борясь с болезнью из последних сил.  
Мучительно в тиши ночных часов  
Впиваться взором в бледное лицо  
И спрашивать себя: «То сон иль смерть?»  
*Неизвестный автор.*

Вернувшись домой, Мэри почувствовала, что не в силах терпеливо сносить одиночество, – столько мучительных мыслей теснилось у нее в голове, да и самый воздух в ее комнате был насыщен воспоминаниями и предчувствиями.

В меру своих слабых сил она пока сделала для Джема все, что подсказывало ей любящее сердце; прошлое, настоящее и будущее ее отца скрывал темный покров, и она не знала, какую дочернюю услугу могла бы оказать ему. Невольно она стала искать, чем бы заняться, – все, все, что угодно, только бы не сидеть сложа руки, только бы не думать.

И тут дало о себе знать старое, как мир, чувство, некогда связавшее Руфь с Нозминою, [\[106\]](#) – любовь, которую обе они питали к одному и тому же человеку, и Мэри поняла, что ей станет легче, если она сумеет быть полезной матери Джема или утешить ее. Итак, она снова заперла дом и отправилась в Энкоутс. Она бежала по улице, опустив голову из боязни, что ее могут узнать и остановить.

Когда Мэри вошла, Джейн Уилсон неподвижно сидела на стуле – так неподвижно, что это являло разительный контраст с ее обычной нервной суетливостью.

Ее лицо очень осунулось и побледнело, но больше всего ужаснула Мэри ее неподвижность. При появлении Мэри она не встала, а продолжала сидеть, и лишь сказала что-то таким тихим, слабым голосом, что Мэри и не расслышала.

Миссис Дейвенпорт, бывшая тут же, дернула девушку за рукав и прошептала:

– Не подходи к ней: она устала, и лучше оставить ее в покое. Я тебе все расскажу наверху.

Но миссис Уилсон с такой тревогой смотрела на Мэри, словно дожидаясь ответа на какой-то вопрос, что девушка не выдержала и подошла к ней, чтобы расслышать ее слова. А миссис Уилсон все повторяла:

– Что это? Скажите мне, что это?

И тут Мэри увидела в ее руке зловещий лист пергаментной бумаги, который она судорожно скручивала дрожащими пальцами.

Сердце у Мэри упало; она не могла произнести ни слова.

– Что это? – повторила миссис Уилсон. – Скажите мне, что это?

И она продолжала смотреть на Мэри с каким-то детским недоумением и терпеливой мольбой.

Что могла ей ответить Мэри?

– Я же сказала: не подходи к ней, – сердито заметила миссис Дейвенпорт. – Она хорошо знает, что это такое... даже слишком хорошо. Меня не было, когда принесли эту бумагу, зато была миссис Хейминг (она живет тут рядом), и она прочла ее, и все растолковала миссис Уилсон. Ее вызывают в суд свидетельницей по делу Джема. Миссис Хейминг думает, что ее вызывают, чтоб она присягнула насчет пистолета: ведь никто, кроме нее, не может подтвердить, что это пистолет Джема, а она сама прямо сказала об этом полицейскому, так что теперь отступать некуда. У бедняжки, видно, очень тяжело на сердце!

Миссис Уилсон терпеливо дожидалась, пока миссис Дейвенпорт шепотом вела свой рассказ, возможно, полагая, что потом и ей все объяснят. Но когда обе женщины умолкли и лишь глаза их говорили о том, как они ее жалеют, она снова принялась повторять ровным, тихим голосом (столь непохожим на раздраженный нетерпеливый тон, каким она склонна была говорить со всеми, кроме своего мужа: ведь он женился на ней, разбитой и телом и духом) – голосом, таким непохожим на ее обычную скороговорку:

– Что это? Скажите мне, что это?

– Дайте-ка мне сюда эту бумагу, миссис Уилсон, я ее спрячу. Мэри, миленькая, скажи ей, чтоб она показала тебе эту бумагу, а то сколько я ни стараюсь отобрать ее, ничего не получается, она меня не слушает, а вырывать ее силой я не хочу.

Мэри вытащила скамеечку из-под кухонного стола, села подле миссис Уилсон и, взяв дрожащую, непрерывно перебирающую пальцами руку старушки, принялась ласково ее поглаживать; рука сначала

сопротивлялась- чуть-чуть, потом дернулась, разжалась, и бумага упала на пол.

Мэри спокойно, не таясь, подняла ее, неторопливо положила на виду у миссис Уилсон, которая словно зачарованная со страхом и тревогой следила за ней глазами, и снова принялась ласково поглаживать ее руку.

– Она ведь не спит уже несколько ночей, – заметила девушка, обращаясь к миссис Дейвенпорт. – Да еще такая беда, такое горе на нее свалилось. Вот она и не выдержала.

– Само собой, – подтвердила миссис Дейвенпорт.

– Надо уложить ее в постель, раздеть – и уповать, что бог пошлет ей сон, иначе...

Весь этот разговор шел при миссис Уилсон, словно ее тут и не было, ибо сердцем она была далеко.

И вот, подняв миссис Уилсон со стула, на котором она продолжала неподвижно сидеть, они повели ее наверх, сняли платье с бедного, исхудавшего тела и уложили ее на маленькую кровать. Они подумали было уложить ее в постель Джема, чтобы она не видела Элис и та не мешала ей своим бормотаньем, но потом решили, что она может испугаться, проснувшись не в своей комнате, да и Мэри, собиравшейся провести ночь в этом печальном доме, было бы легче ухаживать за ними, если бы это понадобилось.

И вот, как я уже сказала, они уложили миссис Уилсон на маленькую кровать с соломенным тюфяком и только было собрались тихонько уйти, молясь и надеясь, что она уснет и хоть на время забудет о своем тяжком кресте, как вдруг она грустно посмотрела на Мэри и прошептала:

– Ты так и не сказала мне, что это? Что это такое?

И она посмотрела в лицо девушке, ожидая ответа, но вдруг веки ее сомкнулись, и она погрузилась в тяжелый глубокий сон, почти столь же беспробудный, как смерть.

Миссис Дейвенпорт ушла, и Мэри осталась одна, ибо нельзя считать спящих союзниками в борьбе с мыслями, возникающими в одиночестве.

Мэри с ужасом думала о предстоящей ночи. Элис в любую минуту может скончаться: доктор, приходивший днем, объявил, что она безнадежна и близка к смерти; Мэри по временам охватывал присущий молодым людям страх – не перед смертью, а перед покойником, и она то и дело наклонялась, с тревогой прислушиваясь к редкому, прерывистому дыханию спящей Элис.

Да и миссис Уилсон могла проснуться в таком состоянии, о котором Мэри боялась и подумать и, боясь, все же думала, – в состоянии

совершенного исступления. Ее рассудку уже был нанесен серьезный удар, когда она узнала, чего от нее требуют, – ведь она должна свидетельствовать против своего сына, своего Джема, своего единственного дитяти, а Мэри не сомневалась в том, что услужливая миссис Хейминг все объяснила ей. И что, если теперь, во сне (в той стране, куда тебя не может сопровождать ничье сочувствие и ничья любовь и где никто не может разделить с тобой твои восторги и мучения; в той стране, чьи несказанные ужасы, сокровенные тайны, бесценные дары предстают перед тобой одним; в той стране, где только ты, пока ты в ней блуждаешь, можешь увидеть любимый облик своего умершего ребенка) – что, если во сне ее рассудок еще больше помутился и она проснется, обезумев от своих видений и страшной действительности, породившей их?

Насколько хуже бывают порой наши предположения, чем действительность! Как боялась Мэри этой ночи и как спокойно она прошла! Даже спокойнее, чем если бы у Мэри не было о ком заботиться!

Тревога о больных заглушала ее собственную тревогу. Она думала о двух спящих женщинах, находившихся на ее попечении, пока усталость не победила ее и она не забылась недолгим сном. Она то просыпалась, то снова засыпала, и так незаметно прошла ночь. Правда, просыпалась не раз и Элис и, конечно, разговаривала и пела, потому что в своих грезах видела себя ребенком. Но она была так счастлива, что находится среди дорогих ее сердцу людей, вдыхает запах вереска, слышит пение воображаемых птиц, и ее речи, обрывки старинных баллад и строфы старинных безыскусных псалмов, которые она пела (такие псалмы поют в деревенских церквях, увитых заросшим плющом, где журчанье протекающего поблизости ручейка и шепот ветра в деревьях служит аккомпанементом хору голосов, воздающих хвалу и благодарение богу), успокаивали и ободряли внимавшую ей девушку, и Мэри даже не заметила, что сияние свечи уже померкло в сером свете зари и зарождается новый день.

Тогда она поднялась с кресла, в котором дремала, и, совсем еще сонная, подошла к окну, чтобы убедиться в наступлении утра. На улицах царила необычная праздничная тишина. В это утро не слышно было фабричных колоколов; рабочие не спешили спозаранку на работу; неряшливо одетые девушки не протирали окна лавчонок, скрашивающих однообразие улицы, – зато вы могли видеть какого-нибудь труженика, направляющегося за город подышать свежим воздухом, или отца семейства, выведшего на улицу своих малышей, безмерно довольных тем, что они могут погулять с «папочкой» таким приятным утром. Люди, не столь занятые в течение недели, наверно, шли бы гораздо быстрее в это

холодное, пронизывающее воскресное утро, а для рабочих – для каждого в отдельности и для всех вместе – такая неторопливая прогулка была лишь удовольствием, отдохновением.

Было, конечно, среди этих прохожих человека два-три, отправившихся на прогулку отнюдь не с такими невинными и достойными похвалы намерениями, как те, кого я только что описала, – и то поистине животное состояние, в которое они впали, составляло резкий диссонанс с мирной картиной этого дня, но я не буду на них останавливаться: и вы, и я, и почти каждый из нас может упрекнуть себя в том, что мы далеко не все сделали для наших заблудших и падших братьев.

Отвернувшись от окна, Мэри подошла по очереди к обеим кроватям, чтобы посмотреть и прислушаться. Лицо спящей Элис было безмятежно и счастливо, – она даже словно помолодела, пока смерть незаметно подкрадывалась к ней.

Зато на лице миссис Уилсон лежала печать тревоги последних дней, хотя она тоже, казалось, спала крепко, но пока Мэри стояла и смотрела на нее, пытаясь отыскать в ее лице черты сходства с сыном, миссис Уилсон проснулась и, открыв глаза, в которых постепенно появилось осмысленное выражение, посмотрела на Мэри.

Минуту-другую обе молчали. Под этим пронизательным взглядом, в котором все отчетливее отражалась мука воспоминаний, Мэри опустила глаза.

– Мне это приснилось? – наконец тихо спросила мать.

– Нет! – так же тихо ответила Мэри.

Миссис Уилсон зарылась лицом в подушку.

Она была в полном сознании, ошеломляющее впечатление, которое произвел на нее, такую слабую и измученную, накануне вечером вызов в суд, несколько рассеялось. И Мэри не стала возражать, когда миссис Уилсон сделала попытку подняться. Если человек лежит в постели без сна, мысли не дают ему пощады.

Одевшись с помощью Мэри, миссис Уилсон постояла минуту-другую у постели Элис, глядя на спящую.

– Какая она счастливая! – печально промолвила она.

Мэри принялась готовить завтрак и заниматься всякими домашними делами, чтобы как-то помочь матери Джема, а та все это время неподвижно сидела в кресле и молча наблюдала за ней. Былая раздражительность и резкость движений внезапно исчезли, а быть может, она была слишком слаба телесно и слишком разбита духовно, чтобы сердиться.

Мэри рассказала ей обо всем, о чем было условлено с мистером



Бриджнорсом; о своих планах найти Уилла; обо всех своих надеждах, и постаралась скрыть, как могла, все свои непрошенные сомнения и страхи. Миссис Уилсон выслушала ее, ни слова не говоря, но с величайшим интересом и полным пониманием. Когда Мэри умолкла, она вздохнула и сказала:

– Ах, милочка, ведь я его мать, а я так мало для него сделала, так мало могу сделать! Вот что меня мучает! Я точно ребенок, у которого заболела мама: он и стонет и плачет навзрыд, а поделать ничего не может. Голова моя ничего не соображает, и у меня нет даже сил плакать.

И она запричитала еле слышно, упрекая себя за то, что не может сильнее выразить свое горе, как будто крик, слезы или громкие возгласы лучше выражают тяжесть, давящую сердце, чем такой вот взгляд, такой вот тоненький, слабый, изменившийся голос!

Но подумайте о том, каково было Мэри! Представьте себе (ибо я не могу этого вам описать), какие полчища мыслей сходились и сражались в ее мозгу, а потом представьте себе, каких усилий ей стоило держаться спокойно, невозмутимо и даже порой ободряюще улыбаться!

Вскоре Мэри принялась обдумывать, нельзя ли избавить бедную мать от необходимости опознавать в суде пистолет. Сама она ни разу не упомянула о вызове за все утро, и Мэри уже решила, что, должно быть, она забыла о нем. Ведь, наверно, можно найти способ уберечь ее от лишнего страдания. Надо поговорить об этом с, Джобом, а если потребуется, то и с мистером Бриджнорсом, невзирая на его умение доискиваться до истины, ибо последние два дня Мэри так боролась с собой и одержала такую победу (хотя сердце у нее и обливало кровью), так умело скрывала свою муку, прятала горе и недоумение, что постепенно уверовала в свои силы: теперь она может встретиться с кем угодно и выдержит, чего бы ей ни стоило сохранять маску спокойствия.

Поэтому едва кончилась утренняя служба в церкви и миссис Дейвенпорт зашла узнать о здоровье больных и выслушала то, что сообщила ей Мэри (а Мэри сообщила, что миссис Уилсон чувствует себя гораздо лучше, чем они ожидали накануне вечером), – словом, как только эта добросердечная, умеющая быть благодарной женщина вошла, Мэри, сообщив ей о своем намерении, отправилась за доктором, лечившим Элис.

Он как раз отдыхал после утренних визитов и с удовольствием предвкушал воскресный обед; это был добродушный человек, которому трудно было усмирить свой веселый нрав и не выказывать легкомыслия даже у постели больного или умирающего. Он, несомненно, ошибся в выборе профессии, ибо ему доставляло подлинное наслаждение видеть

вокруг себя жизнерадостные лица.

Однако сейчас он поспешил принять участливый вид, с каким надлежит врачу выслушивать пациента или друга пациента (а лицо у Мэри было такое бледное, грустное и взволнованное, что ее можно было принять и за того и за другого).

– Ну-с, дитя мое, что привело вас ко мне? – спросил он входя в свой кабинет. – Вы-то, надеюсь, вполне здоровы.

– Я бы хотела, чтоб вы зашли посмотреть Элис Уилсон... и миссис Уилсон тоже.

Он поспешно надел плащ и шляпу и тотчас вышел вместе с Мэри.

Сокрушенно покачав головой у постели Элис (словно надо было оплакивать то, что столь чистая, добрая и праведная душа, хоть и принадлежащая совсем скромной христианке, приближается к желанному приюту) и пробормотав несколько слов, которые обычно говорят, когда нет надежды и надо подготовить близких к концу, он, повинувшись взгляду Мэри, подошел к миссис Уилсон, безучастно сидевшей в своем кресле, и стал задавать ей обычные вопросы.

Она ему на них ответила и дала себя осмотреть.

– Ну, как вы ее находите? – взволнованно спросила Мэри.

– Видите ли... – начал он, догадываясь, что от него ждут вполне определенного ответа, но не зная, какой приговор устраивает больше его слушательницу – благоприятный или неблагоприятный; подумав немного, он решил, что скорее всего ей желательно первое, и в соответствии с этим продолжал: – Она, конечно, очень слаба: это вполне естественно после того удара, каким, вероятно, был для нее арест сына... А насколько я понимаю, Джеймс Уилсон, убивший мистера Карсона, приходится ей сыном. Печально, когда в семье вырастает такой негодяй.

– Вы сказали: «убивший», сэр! – возмущенно воскликнула Мэри. – Он арестован всего лишь по подозрению, и многие не сомневаются в его невиновности, – во всяком случае, те, кто знает его, сэр.

– Ах, вот как! У врачей не хватает времени читать газеты, и я, видимо, недостаточно хорошо осведомлен. Возможно, он и невиновен. Во всяком случае, я ничего не утверждал категорически... Но вот так всегда: скажешь, не подумав... Нет, право же, моя милая, не вижу причины беспокоиться о бедной женщине, которая сидит в соседней комнате. Да, она, конечно, слаба, но день-два хорошего ухода поставят ее на ноги, а я убежден, милочка, судя по вашему прелестному, доброму личику, что вы – хорошая сиделка. Я пришлю вам пилюли и микстуру, только не расстраивайтесь – уверяю вас, что для этого нет оснований.

– А как вы считаете, она не может поехать в Ливерпуль? – спросила Мэри взволнованным тоном, говорившим, что она хочет услышать один определенный ответ.

– В Ливерпуль? Может, – ответил он. – Такое непродолжительное путешествие едва ли утомит ее, зато может рассеять. Непременно пусть едет: это как раз то, что для нее сейчас нужно.

– Ах, сэр! – чуть не рыдая, воскликнула Мэри. – Я так надеялась, что вы запретите ей ехать.

– Уф... – сказал он и даже присвистнул, стараясь понять, в чем же тут дело, но он и правда не был любителем газет и не знал, какие особые причины вызывают столь, казалось бы, непонятное желание. – Почему же вы мне об этом раньше не сказали? Такое путешествие при ее слабости, конечно, может ей повредить! Поездки всегда связаны с риском: сквозняки да и мало ли что еще поджидает в пути. Для нее это может оказаться очень вредным – очень. Я лично против путешествий и всяческих волнений, когда пациент находится в таком подавленном, смятенном состоянии, как миссис Уилсон И я настоятельно советую вам, выбросьте из головы всякую мысль о поездке в Ливерпуль. – Он и в самом деле незаметно для себя изменил прежнее мнение: так ему хотелось сказать то, что хотел от него услышать собеседник.

– Ах, благодарю вас, сэр! А вы не могли бы дать мне свидетельство о том, что она не может ехать, чтобы я могла показать адвокату, если он потребует? Ну, понимаете, адвокату, – продолжала она, видя его недоумение, – который будет защищать Джема... Ее вызывают давать против него показания...

– Моя милая! – рассердившись, воскликнул врач. – Почему же вы сразу мне об этом не сказали? На все дело достаточно было бы минуты, а ведь меня ждет обед. Конечно, она не может ехать – было бы безумием даже думать об этом. Если бы ее показания могли принести пользу, тогда другое дело. Можете в любое время зайти ко мне за свидетельством, если, конечно, адвокат порекомендует вам его взять. Я соглашусь с мнением адвоката. Советуйтесь с представителями обеих ученых профессий, и все будет хорошо – ха-ха!

И, рассмеявшись собственной шутке, он ушел, а Мэри, оставшись одна, принялась корить себя за глупость. Ну, как она могла вообразить, что все знают обстоятельства дела не хуже ее самой! А она ведь ни минуты не сомневалась, что доктору хорошо известно, зачем бедной миссис Уилсон нужно ехать в Ливерпуль.

После этого Мэри отправилась к Джобу (миссис Дейвенпорт, всегда

готовая услужить, согласилась посидеть с двумя старушками) и поделилась с ним своими страхами, своими планами и решениями.

К ее удивлению, он с сомнением покачал головой.

– Если мы не пустим ее, это может показаться странным. Законники ведь во всем видят уловки.

– Но это вовсе не уловка, – возразила Мэри. – Миссис Уилсон так плоха: во всяком случае, вчера ей было очень плохо, да и сейчас она совсем слаба.

– Бедняжка! Я ведь только из-за Джема сказал, что она должна ехать. Все равно теперь уже многое известно и отпираться поздно. Но я все-таки спрошу мистера Бриджнорса. Я даже и с доктором твоим посоветуюсь. Сиди дома, я к тебе через час приду. Иди, иди, голубушка.

## ГЛАВА XXV

### РЕШЕНИЕ МИССИС УИЛСОН

То было что-то, для чего нет слов -  
Неслышимый ход прозрачных облаков,  
Намеки, шорох, вздохи ветерка, -  
Неясный, нежный зов издалика.  
Крэбб. [\[107\]](#)

В уловках изощряясь, может он  
Открыть в проблеме множество сторон.  
Крэбб.

Мэри пошла домой. Ах, как у нее болела голова, как путались мысли!  
Но сейчас не время поддаваться недомоганию.

Усилием воли она заставила себя сесть. Она сидела совсем неподвижно у окна и смотрела на двор, но ничего не видела. Внезапно она вздрогнула, заметив что-то, и отшатнулась.

Но было уже поздно. Ее увидели.

В мрачную комнатенку влетела Салли Лидбитер в ярком праздничном платье, которое на этом фоне казалось особенно аляповатым.

Ей действительно хотелось повидать Мэри: близкое знакомство с убийцей делало ее своего рода *lusus naturae* <sup>[\[108\]](#)</sup>, и иные так внимательно разглядывали ее, словно ожидали увидеть разительные перемены в ее наружности. Но Мэри последние два дня была слишком занята своими мыслями, чтобы замечать это.

Теперь Салли имела полную возможность разглядывать Мэри, и она впиалась в нее глазами (это отнюдь не значит, что она проникла к ней в душу), словно собираясь на всю жизнь запомнить, как она выглядит: «Платье – ее любимое, которое она носит каждый день (ну, знаете, лиловое ситцевое, с высоким лифом), на шее, как у мальчишки, повязан черный шелковый платочек; волосы зачесаны назад, словно ей жарко – у нее ведь такие длинные волосы; пальцы все время что-то вертят, крутят...»

Все эти подробности послужат завтра Салли материалом для

экстренного выпуска устной газеты в мастерской, и, даже если она ничего не сумеет выудить у Мэри, хотя бы ради этого стоило прийти.

– Боже мой, Мэри! – воскликнула она. – Где это ты скрываешься? Ты вчера весь день не показывалась у мисс Симмондс. Неужели ты думаешь, что мы стали хуже о тебе думать из-за того, что случилось? Кое-кому из нас, конечно, жаль бедного молодого человека, который из-за тебя лежит теперь в холодной могиле, но мы никогда не поставим тебе это в укор. Да и мисс Симмондс тоже очень огорчится, если ты не придешь, потому как уж больно много траура у нас сейчас.

– Не могу я, – тихо промолвила Мэри. – Я больше туда не приду.

– Но почему же, Мэри! – с искренним удивлением воскликнула Салли.  
– Во вторник, а может быть, и в среду тебе, понятно, надо быть в Ливерпуле, но потом же ты, конечно, придешь и все нам расскажешь. Мисс Симмондс знает, что эти два дня тебя не будет. Но, между нами говоря, она ведь немножко сплетница, и ей интересно будет послушать во всех подробностях, как там шел суд, – ну и она не станет особенно придирается к тому, что ты несколько дней в мастерскую глаз не казала. А потом Бетси Морган говорила вчера, что она ничуть не удивится, если теперь ты станешь настоящей приманкой для клиентов. Когда суд кончится, многие будут шить у мисс Симмондс только для того, чтоб посмотреть на тебя. Право же, Мэри, ты превратишься в настоящую героиню.

Пальчики еще сильнее принялись что-то теребить, большие кроткие глаза умоляюще смотрели на Салли, но она продолжала в том же духе – и не из жестокости и не из ненависти к Мэри, а только потому, что не могла понять ее страданий.

Смерть мистера Карсона, конечно, поразила Салли, хотя волнение, связанное с этим событием, было ей скорее приятно, а еще большее удовольствие получила бы она, приобщившись к сомнительной славе, которой отныне, уж конечно, будет окружено имя Мэри.

– Тебе хочется, чтобы тебя допрашивали, Мэри?

– Совсем не хочется, – ответила Мэри, поняв, что нужно что-то сказать.

– Ну, эти законники – на редкость развязный народ! Да и писцы их ни чуточки не лучше. Нисколько не удивлюсь, – продолжала она весело, в самом деле считая, что утешает подругу, – если ты подцепишь в Ливерпуле нового поклонника. В каком платье ты поедешь, Мэри?

– Право, не знаю, и мне все равно! – воскликнула Мэри, все больше сердясь на свою непрошеную гостью.

– В таком случае послушайся меня и поезжай в синем шерстяном.

Оно, конечно, старенькое и потерто на локтях, но никто этого не заметит, а цвет идет тебе. Не забудь, Мэри. А потом я дам тебе мой черный муаровый шарф, – добавила она от чистого сердца, желая доставить удовольствие подруге. И кроме того, ей было приятно думать, что ее любимый шарф украсит свидетельницу, выступающую в суде по делу об убийстве. – Я принесу тебе его завтра, до твоего отъезда.

– Пожалуйста, не надо! – сказала Мэри. – Спасибо, но он мне не нужен.

– А что же ты в таком случае наденешь? Я знаю все твои наряды не хуже своих собственных. Что же ты можешь надеть? Уж конечно, не твою старую клетчатую шаль! А может, тебе больше нравится платок, который на мне сейчас, чем мой шарф? – спросила она, просяив при этой мысли: она готова была отдать Мэри и этот платок и что угодно еще.

– Ах, Салли, перестань ты говорить об этом! Ну, разве я могу думать о нарядах в такое время? Ведь речь идет о жизни или смерти Джема!

– Господи помилуй! Так это значит – Джем? Когда ты порвала с мистером Карсоном, я сразу подумала, что ты в кого-то влюбилась. Почему же в таком случае твой Джем застрелил мистера Гарри? Ведь ты уже не гуляла с ним! Или он боялся, что ты начнешь все сначала?

– Да как ты смеешь говорить, что он застрелил мистера Гарри? – воскликнула Мэри, выходя из состояния вялого безразличия, в которое она погрузилась, пока Салли решала вопрос об ее туалете. – А впрочем, думай что хочешь, ведь ты-то его не знала. Только мне горько, что и люди, знавшие его, считают его виновным, – сказала она, вновь впадая в прежний грустный тон.

– А ты, значит, считаешь, что он невиновен? – спросила Салли.

Мэри ответила не сразу: слишком она разоткровенничалась с этой любопытной и бессовестной особой. К тому же она вспомнила, что даже сама считала сначала его виновным, а потому не пристало ей порицать людей, которые на основании тех же улики пришли к такому же выводу. Никто не сомневался в том, что именно он совершил преступление. Никто не верил в его невиновность. Никто, кроме его матери, но ведь здесь говорило скорее любящее сердце, чем разум: она горячо любила сына и ни на минуту не допускала мысли, что он может быть убийцей. Просто Мэри неприятен был самый разговор: ей мучительно было говорить на эту тему в такой манере, да и Салли внушала ей отвращение.

А потому Мэри обрадовалась, услышав за дверью голос Джоба Лега, который, уже взявшись за щеколду, остановился побеседовать с соседкой. Зато Салли была этим крайне раздосадована и, вскочив, воскликнула:

– И чего этот старикашка тащится сюда! Твой отец приставил его смотреть за тобой, что ли? Но так или иначе я пошла: терпеть не могу ни его, ни его чопорной внучки. До свидания, Мэри. – Все это она произнесла шепотом и уже громче добавила: – Если передумаешь насчет шарфа, Мэри, загляни завтра до девяти: я его с удовольствием тебе дам.

Она столкнулась в дверях с Джобом, и они с нескрываемой неприязнью посмотрели друг на друга.

– Дурная она и дерзкая девчонка, – заметил, обращаясь к Мэри, Джоб.

– Она очень добрая, – возразила Мэри, не желая бранить гостью, которая всего минуту тому назад переступила ее порог, и радуясь возможности упомянуть о единственном достоинстве Салли.

– Да, да, добрая, великодушная, веселая, задорная – много существует различных наименований для хороших качеств, которыми дьявол наделяет своих детей в качестве приманки для простофиль. Думаешь, если бы у плохих людей не было хороших качеств, им бы удалось сбить кого-нибудь с пути истинного? А впрочем, я не об этом пришел с тобой говорить. Я видел мистера Бриджнорса, и он, в общем-то, такого же мнения, как и я: он считает, что, если миссис Уилсон не появится насуде, это будет выглядеть странно и может повредить бедняге Джему, но раз она больна – значит больна. Тут уж ничего не поделаешь.

– Не знаю, может, она не так уж и больна, – заметила Мэри, опасаясь неосторожным решением повредить своему возлюбленному. – Может, вы бы сами взглянули на нее, Джоб? Доктор, по-моему, говорил не то, что думал, а то, что мне хотелось от него услышать.

– Это потому, что он по-настоящему ни о чем и не задумывался, – сказал Джоб, который испытывал к медикам презрение, почти равное уважению, какое он питал к юристам. – А я, пожалуй, и в самом деле схожу к ним. Я не видел старушек с тех пор, как с ними приключились все эти беды, так что даже и приличия требуют зайти и провести их. Пойдем со мной.

В комнате миссис Уилсон царила тишина, не было заметно никакого движения, – вы, наверно, частенько наблюдали такое в домах, где кто-то болен или умер. Никто ничем особенно не занят: все лишь наблюдают и ждут и начинают действовать только в случае необходимости; все стараются двигаться бесшумно, на цыпочках; мебель расставлена так, как удобно для больного, ставни закрыты, чтобы не раздражал солнечный свет; на лицах домашних неизменное сосредоточенно-грустное выражение; вы невольно поддаетесь настроению окружающих и забываете об улице, о внешнем мире, попав во власть единственного господствующего тут



интереса.

Миссис Уилсон неподвижно сидела в своем кресле все с тем же выражением лица, какое было у нее, когда уходила Мэри; миссис Дейвенпорт ходила по комнате, скрипя башмаками; она старалась передвигаться медленно и осторожно, и башмаки от этого лишь отчаяннее скрипели, – правда, на этот раз раздражая слух здоровых людей гораздо больше, чем притуплённые чувства больных и горюющих. Сверху по-прежнему доносился веселый голос Элис, которая не переставая смеялась и болтала сама с собой, а быть может, и со своими невидимыми собеседниками, – я говорю: «невидимыми», а не «воображаемыми», ибо кто знает, быть может, бог разрешает душам тех, кто был нам дорог при жизни, являться в своем земном облике к постели умирающего?

Джоб заговорил, и миссис Уилсон ответила ему.

Но ответила она равнодушно, неестественно равнодушно при подобных обстоятельствах. Это произвело на старика гораздо более сильное впечатление, чем любой телесный недуг. Если бы она металась в бреду или стонала в лихорадке, он, по обыкновению, высказал бы свое мнение, дал совет, утешил бы, а сейчас он был настолько потрясен, что слова не мог сказать.

Наконец он отвел Мэри в угол той комнаты, где сидела миссис Уилсон, и сказал:

– Ты права, Мэри! Она, бедняжка, никак не может ехать в Ливерпуль. Теперь, когда я видел ее, я могу только удивляться тому, что доктор сразу этого не понял. Как бы ни повернулось дело бедняги Джема, ехать она не может. Так или иначе, скоро все решится, и самое лучшее до тех пор – оставить ее в покое.

– Я была уверена, что вы так скажете, – ответила Мэри.

Но они рассуждали так, не спросив мнения хозяйки дома. Они полагали, что она лишилась рассудка, тогда как на самом деле внешние впечатления лишь не так быстро проникали в ее смятенный ум. Заговорщики не заметили, что она (сначала, казалось, машинально) проследила за ними взглядом, когда они отошли в уголок, и что на лице ее, дотоле застывшем, появились признаки былой раздражительности.

Когда они умолкли, она встала и ясным, решительным голосом произнесла, напугав их так, словно заговорил мертвец:

– Я еду в Ливерпуль. Я слышала все, о чем вы тут говорили, и говорю вам, что я поеду в Ливерпуль. Если слова мои могут убить моего сына, то они ведь уже слетели с моего языка, их не вернешь. Но вера поддержит меня. Элис часто говорила, что мне не хватает веры, а теперь она у меня

есть. Они не могут, не посмеют убить мое дитя, мое единственное дитя. И я не буду бояться, хотя душа у меня холодеет от ужаса. Но если ему суждено умереть, то я хоть увижу его еще раз – увижу на суде! Когда все станут с ненавистью смотреть на моего мальчика, рядом будет его бедная мать, которая утешит его, насколько можно утешить взглядом, слезами, сердцем, бесчувственным ко всему, кроме его горя, – его бедная мать, которая знает, что он чист, – во всяком случае, перед людским судом. Может, мне позволят подойти к нему, когда все кончится, а я знаю много стихов из писания (хоть вы об этом, может, и не догадываетесь), которые поддержат его. Я не видела Джема с тех пор, как его увели в тюрьму, зато теперь ничто не может удержать меня, раз я знаю, что хотя бы на минуту могу увидеть его: ведь минуты-то эти, может, считанные и не так уж много их осталось. Я знаю, что сумею утешить его, бедняжку. Вы-то этого не знаете, но он всегда так мягко и ласково со мной разговаривал, точно с возлюбленной. Очень он меня любил, а я, что же, брошу его одного страдать от этой страшной напраслины, которую на него возвели? Если я ничего другого не смогу сделать, я хоть буду молиться за него при каждом худом слове, какое про него скажут, и он, бедняжка, по моему лицу догадается, что мать делает для него.

Затем, заметив по выражению их лиц, что они могут воспротивиться ее желаниям, она резко повернулась к Мэри и, взглянув на нее с былой неприязнью, объявила:

– Вот что, голубушка, запомни раз и навсегда. Джему никогда не удавалось заставить меня что-либо сделать, если я не хотела, да он и не пытался. А чего он не мог добиться, то не под силу и тебе. Завтра я поеду в Ливерпуль, разыщу моего мальчика и буду с ним и в радости и в горе, а если он умрет, может, господь в своем милосердии призовет и меня. Могила – верное лекарство для исстрадавшегося сердца!

И она снова опустилась в кресло, совсем обессилив от этой неожиданной вспышки. Но когда Джоб Лег и Мэри пытались ее отговорить, она, даже не слушая, обрывала их:

– Я поеду в Ливерпуль.

И возражать ей было нечего, тем более что доктор ничего определенного не сказал, а мистер Бриджнорс считал, что ей будет лучше поехать. Таким образом, Мэри вынуждена была отказаться от мысли уговорить миссис Уилсон остаться дома: у нее не было теперь для этого никаких оснований.

– Будет самым правильным, – сказал Джоб, – если я завтра спозаранку поеду ловить Уилла, а ты, Мэри, приедешь после с Джейн Уилсон. Я знаю

одну достойную женщину, у которой вы обе сможете переночевать и где мы встретимся после того, как я разыщу Уилла, и перед тем, как идти к мистеру Бриджнорсу в два часа. Я так искажу, что не могу доверить его писцам розыски Уилла, раз жизнь Джема зависит от этого.

Однако Мэри этот план чрезвычайно не понравился – она была против него и умом и сердцем. Ей была невыносима мысль, что кто-то другой будет принимать все необходимые меры для спасения Джема. Она считала, что это ее обязанность, ее право. Никому нельзя доверить доведение до конца ее плана: у Джоба может не хватить энергии, упорства, он, возможно, не станет так отчаянно хвататься за малейший шанс, а ее всеми этими качествами наделила любовь, не говоря уже о том, что она знала, какой ужас ожидает ее, если ничто не поможет и Джем будет осужден. Ни у кого, кроме нее, не может быть такого желания спасти его, а следовательно, ни у кого не может быть такой остроты мысли, такой отчаянной решимости. А кроме того (единственное эгоистическое соображение), она не в состоянии была сидеть спокойно и ждать, чтобы ей сообщили результат, когда все уже будет кончено.

А потому она страстно и нетерпеливо отвергала все доводы, которые приводил Джоб, хотя он, натолкнувшись на такое противодействие, продиктованное, как ему казалось, только упрямством, упорно настаивал на своем; в раздражении они наговорили друг другу злых слов, и на какое-то время, пока возвращались домой, совсем рассорились.

Но тут в дело, словно ангел-миротворец, вмешалась Маргарет; она рассуждала так спокойно, что оба спорщика устыдились своей горячности и молча предоставили ей решать (впрочем, Мэри, по-моему, никогда бы не подчинилась, если бы это решение противоречило ее желанию, хотя она со слезами на глазах готова была просить прощения у Джоба, доброго старика, который с такой охотой помогал ей вызволить Джема из беды, правда не совсем так, как хотелось бы ей).

– Нет, уж пусть Мэри едет, – тихо сказала Маргарет деду. – Я знаю, каково ей сейчас, и, может быть, потом мысль, что она сделала все, что могла, послужит ей утешением. А то ей еще может показаться, что не все было сделано, как надо. Поэтому, дедушка, ты уж не мешай ей: пусть едет.

Дело в том, что Маргарет до сих пор почти, или, вернее, совсем, не верила в невиновность Джема, и ей казалось, что если Мэри встретится с Уиллом и сама услышит от него, что во вторник вечером Джема с ним не было, это в какой-то мере ослабит силу удара.

– Позволь мне денька на два запереть дом, дедушка, и побыть с Элис. Я знаю, что большой пользы такой человек, как я, принести не может, –

добавила она кротко, – но, с божьей помощью, я все же кое-что сделаю. Вот тут-то я и смогу употребить деньги на благое дело, и чего сама не могу сделать, сделает за меня тот, кого я найму. Миссис Дейвенпорт охотно согласится помочь – она знает, что такое горе и болезнь, а я оплачу ее услуги, и она сможет почти все время ухаживать за Элис. Давай, милый дедушка, так и порешим. А ты повезешь в Ливерпуль миссис Уилсон, Мэри отправится на розыски Уилла, и вы все там встретитесь, я же от всего сердца желаю вам удачи.

Джоб немного поворчал, но согласился, и притом довольно быстро для старика, который всего несколько минут тому назад придерживался прямо противоположного мнения.

Мэри была благодарна Маргарет за ее заступничество. Она не сказала ни слова, только обняла Маргарет и подставила ей для поцелуя свои алые губки. Даже Джоб был тронут этим детски-милым порывом, и когда затем Мэри подошла к нему со смущенным видом ребенка, чувствующего, что он провинился, Джоб совсем растрогался и благословил ее, словно она была его дочерью.

Благословение старика очень ободрило Мэри.

## ГЛАВА XXVI

### ПОЕЗДКА В ЛИВЕРПУЛЬ

Словно по морю ладья,  
Так над смертью жизнь плывет,  
И со всех сторон тебя  
Грозная опасность ждет.

Только тонкая доска  
Меж могилой и тобой.  
Не вольна твоя рука  
Управлять в волнах ладьей.

Пусть небес прозрачна высь  
И спокойно лоно вод,  
Все ж крушенья берегись  
Тот, кто по морю плывет.  
*Рюккерт.* [\[109\]](#)

В понедельник утренние поезда, отходящие в Ливерпуль, были переполнены адвокатами, их писцами, ответчиками, истцами и свидетелями, – все ехали на сессию суда. Эти люди были очень непохожи друг на друга, но каждого грызла какая-то забота, – впрочем, это мало что говорит, ибо у всех нас в жизни бывают свои затруднения и каждый час от колыбели и до могилы мы либо надеемся на что-то, либо чего-то страшимся. Среди пассажиров находилась и Мэри Бартон, в синем платье и клетчатой шали, внушавшей Салли Лидбитер такое презрение.

Хотя железные дороги повсюду, а особенно в Манчестере, стали теперь обычным средством сообщения, [\[110\]](#) Мэри еще ни разу не ездила в поезде и была совершенно ошеломлена сутолокой, многоголосыми криками, ударами колокола, звуками рожков, пыхтением и свистом прибывающих поездов.

Само путешествие было для нее источником бесконечного удивления. Она сидела спиной к паровозу и, глядя на фабричные трубы и дым, стелющийся над Манчестером, испытывала что-то похожее на «Heimweh»

(Тоску по родине (нем.)).

Она впервые расставалась с картинами, знакомыми с детства, и какими бы неприятными ни казались многим эти картины, она тосковала об их утрате с чувством, близким к грусти, омрачающей мысли эмигранта.

Тени от облаков, придающие такую прелесть Чэт-Моссу, живописные старые дома Ньютона – что они значили для Мэри, чье сердце было полно другим? Казалось, она внимательно смотрела на мелькавшие мимо пейзажи, на самом же деле она ничего не видела и не слышала.

Она ничего не видела и не слышала, пока слуха ее не коснулись знакомые имена.

Писцы двух адвокатов обсуждали дела, подлежащие слушанию в суде, и, естественно, «дело об убийстве», как оно теперь именовалось, занимало видное место в их беседе. Они не сомневались в исходе.

– Присяжные, правда, с большой неохотой выносят обвинительное заключение на основании косвенных улик, – заметил один, – но здесь едва ли могут быть какие-либо сомнения.

– Если б дело не было настолько ясным, – заметил другой, – я считал бы неразумным так торопиться с разбирательством. Ведь можно было бы собрать гораздо больше улик.

– Мне говорили, – сказал первый, – то есть говорили люди из конторы Гарденера, что, если бы суд отложили, старик отец сошел бы с ума. В субботу он раз семь заходил к мистеру Гарденеру и даже вызывал его к себе вечером, чтобы написать какое-то письмо или еще что-то сделать, – хочет быть уверенным, что преступник понесет заслуженную кару.

– Бедный старик, – заметил его собеседник. – Чего же тут удивляться? Единственный сын – и такая смерть! Да еще при столь неприятных обстоятельствах! У меня не было времени прочитать в субботу «Гардиан» [111] но, насколько я понимаю, ссора произошла из-за какой-то фабричной работницы?

– Да, что-то в этом роде. Ее, конечно, вызовут свидетельницей, и уж Уильямс допросит ее с блеском. Непременно выскочу из нашего зала, чтобы послушать Уильямса, если сумею урвать минутку.

– А также, если сумеете найти место, потому что в зале, можете не сомневаться, будет полным-полно.

– Ну, еще бы: дам набьется видимо-невидимо! Разве эти чувствительные души могут пропустить дело об убийстве, не увидеть убийцы, не присутствовать при том, как судья наденет черную шапочку, [112] чтобы объявить приговор.

– А потом вернутся домой и будут возмущаться испанками, которые получают удовольствие от боя быков, – «как это неженственно»!

После чего собеседники перешли к обсуждению других тем.

Это было еще одной каплей, упавшей в чашу страданий Мэри, а девушка близка была к тому состоянию, когда, как говорит Крэбб:

До края наполнена чаша страданий,  
Каплю добавь – перельется она.

Вот и туннель! Вот и Ливерпуль! Надо стряхнуть с себя оцепенение – следствие тревог, усталости, нескольких бессонных ночей.

Мэри спросила у полицейского, как найти Молочное подворье, и, следуя его указаниям, с *savoir faire* <sup>[113]</sup> городской жительницы отыскиала переулок, ответвлявшийся от шумной, многолюдной улицы, неподалеку от порта.

Войдя в тихий дворик, она остановилась перевести дух и собраться с силами, ибо ноги у нее дрожали и сердце отчаянно билось.

И тут ей пришли на ум все те страшные возможности, о которых она доселе запрещала себе думать: Джем мог – это, конечно, только предположение! – быть соучастником убийства; какое-нибудь случайное стечение обстоятельств – это предположение казалось уже более вероятным – могло вынудить Джема отказаться от своего первоначального намерения пойти с Уиллом, и он мог провести вечер в обществе тех, кого теперь уже не вызовешь в качестве свидетелей.

Но рано или поздно она все равно узнает правду, и, собравшись с духом, Мэри постучала в дверь одного из домов.

– Здесь живет миссис Джонс? – спросила она.

– Через дверь отсюда, – последовал краткий ответ.

Но для Мэри это означало еще минуту счастливого неведения.

Миссис Джонс была занята стиркой, и, будь злость присуща ее натуре, она ответила бы с раздражением на неуверенный стук, но она была добрая, робкая женщина и потому лишь вздохнула, когда ее вновь оторвали от дела, а отрывали ее в это злополучное утро часто.

Однако то, что у человека более вспыльчивого вылилось бы во вспышку гнева, у нее превратилось в досаду.

Взволнованное раскрасневшееся личико Мэри лишь усилило эту досаду, и миссис Джонс, выпрямившись во весь рост и стряхивая мыльную пену с рук, молча разглядывала посетительницу, ожидая, что та скажет.

Но слова не шли у Мэри с языка.

– Что вам нужно? – наконец холодно спросила миссис Джонс.

– Я хочу... Скажите, Уилл Уилсон здесь?

– Нет, нету его, – ответила миссис Джонс и хотела было захлопнуть дверь.

– Разве он еще не вернулся с острова Мэн? – спросила Мэри.

– А он и не ездил туда: слишком долго пробыл в Манчестере, как вам, наверное, известно не хуже, чем мне.

И дверь снова начала закрываться.

Но Мэри склонилась в мольбе (так клонится молодое деревце под резким порывом осеннего ветра) и, задышавшись, проговорила:

– Скажите мне... скажите мне... где он?

Миссис Джонс заподозрила было какую-то любовную историю, не делающую честь ее госте, но отчаяние бледной, совсем еще юной девушки, стоявшей перед ней, было столь велико и вызывало такую жалость, что будь она даже великой грешницей, миссис Джонс не могла бы больше говорить с нею так холодно и резко.

– Он уехал сегодня утром, бедняжка. Зайдите, я вам все расскажу.

– Уехал! – воскликнула Мэри. – Как уехал? Я должна повидать его... речь идет о жизни или смерти: он может спасти от виселицы невинного человека. Он не мог уехать... Куда он уехал?

– Отплыл, милочка! Отплыл на «Джоне Кроппере» нынешним утром.

– Отплыл!



## ГЛАВА XXVII

### В ЛИВЕРПУЛЬСКОМ ПОРТУ

Вот наш причал!  
Пришел корабль, повсюду крики, шум,-  
Спешат освободить бездонный трюм.  
Какое изобилие вокруг,-  
Теснят друг друга бочка, ящик, тюк!  
Не разобрать, где грузчик, где матрос,  
Работы вдоволь каждому нашлось.  
*Крэбб.*

С трудом передвигая ноги, Мэри вошла в дом. Миссис Джонс бережно усадила ее в кресло и растерянно остановилась подле нее.

– Отец... отец! – бормотала девушка. – Что вы сделали!... Что же мне теперь делать? Неужели невинный умрет?! Или, может быть, он... тот, за кого я так боюсь... боюсь... Да что же это я говорю? – воскликнула она, испуганно озираясь, но выражение лица миссис Джонс явно успокоило ее. – Я так беспомощна, так слаба... Ведь в конце-то концов я всего лишь бедная девушка. Откуда же мне знать, что правильно, а что – нет? Отец, вы были всегда так добры со мной... и вдруг вы... Ничего, ничего, могила все уладит.

– Господи, спаси и помилуй! – воскликнула миссис Джонс. – Да никак она сошла с ума!

– Нет, нет, – ответила Мэри, услышав слова миссис Джонс и огромным усилием воли обретая власть над своим рассудком, который, она чувствовала, переставал ей повиноваться, тогда как кровь окрасила ярким румянцем дотоле бледные ее щеки, – я не сошла с ума. Надо столько всего сделать... столько сделать... и никто, кроме меня, не может это сделать, понимаете? Хотя, по правде сказать, я сама не знаю, что надо делать. – И она растерянно посмотрела на миссис Джонс. – Что бы ни случилось, я не должна терять рассудок... во всяком случае, сейчас. Нет! – решительно воскликнула она. – Что-то еще можно сделать, и я это сделаю. Так вы говорите, он отплыл? Отплыл на «Джоне Кроппере»?

– Да, корабль покинул порт вчера вечером, чтобы с утренним

приливом выйти в море.

– Но ведь он должен был отплыть только завтра! – пробормотала Мэри.

– Да, Уилл так думал (он ведь давно у нас живет, так что все мы зовем его Уиллом), – ответила миссис Джонс. – Помощник капитана так ему вроде бы и сказал, и он узнал об изменениях, только когда вернулся в Ливерпуль в пятницу утром. Ну, а как он об этом услышал, так решил не ездить на остров Мэн, а отправиться в Рил с помощником капитана, Джоном Харрисом, у которого есть друзья за Абергелом. Уилл, наверно, говорил вам о нем – они большие приятели, хотя у меня об этом молодце свое мнение.

– И потом он отплыл? – еще раз повторила Мэри, словно надеясь, что такое повторение поможет ей лучше уяснить происшедшее.

– Да, он вчера вечером ушел на корабль, – они ведь должны были все подготовить к утреннему приливу. Мой сынишка бегал смотреть, как корабль выходил из устья реки, и вернулся домой прямо вне себя от восторга. Эй, Чарли, Чарли! – громко позвала она сына, но Чарли принадлежал к числу тех детей, за которыми, как принято говорить в Ланкашире, «далеко ходить не приходится»: если идет какой-нибудь таинственный разговор или случилось неожиданное происшествие – пожар, бунт, словом, что угодно, – они тут как тут, эти вездесущие маленькие обитатели нашей земли.

Собственно говоря, Чарли все видел и слышал, хотя раза два возня с бельевым вальком отвлекала его от беседы, которую его мать вела с незнакомой девушкой.

– А, Чарли, вот ты где! Ты видел, как «Джон Кроппер» шел сегодня утром вниз по реке? Ну-ка, расскажи об этом барышне, а то она не очень-то мне верит.

– Я видел, как его тащил вниз по реке буксир, но ведь это все равно: сам он плыл или буксир его тащил, – заявил он.

– Ах, почему я не приехала вчера вечером! – простонала Мэри. – Но мне это в голову не пришло. Мне и в голову не пришло, что, может, он ошибся, а ведь он так твердо говорил, что вернется с острова Мэн в понедельник утром, никак не раньше... А теперь человек умрет из-за того, что я оказалась такой непредусмотрительной.

– Умрет? – воскликнул мальчик. – Как так?

– Ах, Уилл мог бы доказать его алиби... Но он уехал... Что же мне теперь делать?

– Ну, еще не все потеряно, – воскликнул бойкий паренек, которого

сразу заинтересовала эта история, – попробуем его догнать. Не выйдет – так не выйдет: ведь хуже-то от этого никому не будет.

Мэри тотчас ожила. Участие мальчика, это «попробуем» придало ей бодрости и влило надежду в ее сердце.

– Но что же можно сделать? Ты сказал, что он отплыл, так что же можно сделать?

Однако произнесла она это уже громче и живее.

– Нет, этого я не говорил. Это вам сказала матушка, а женщины в таких делах ничего не смыслят. Понимаете, – продолжал он, гордясь тем, что может кого-то поучать, и в то же время незаметно для себя проникаясь к Мэри участием, которое внушало почти всем ее милое, красивое и печальное лицо, – устье реки перегорожено песчаными отмелями, и корабли могут проходить через них только при высокой воде, особенно тяжело груженные корабли, вроде «Джона Кроппера». Буксир вывел его в устье в самый отлив, и ему придется ждать там, пока вода не поднимется, чтобы он мог пройти мели. Так что не вешайте носа: у вас еще есть шанс, хоть и не очень большой.

– Но что же я все-таки должна делать? – осведомилась Мэри, для которой все эти объяснения звучали туманно и загадочно.

– Что делать? – нетерпеливо повторил мальчик. – Да ведь я же вам все сказал! Нет, право, вы уж меня извините, пожалуйста, только женщины вечно ничего не понимают, когда им толкуют про море: надо найти лодку и поскорее отправиться следом за ним, это, значит, за «Джоном Кроппером». Может, вы его и нагоните, а может, нет. Все дело случая, но корабль тяжело нагружен, и это вам на руку. У него большая осадка.

Мэри кротко и внимательно (о, как внимательно!) выслушала речь юного сэра Оракула, но сколько она ни напрягала свой ум, она поняла лишь, что надо спешно куда-то плыть.

– Извините, пожалуйста, – сказала она смиренно, и это еще больше расположило к ней мальчика, – извините, пожалуйста, но я не знаю, где достать лодку. Тут есть где-нибудь лодочные станции?

Чарли расхохотался.

– Сразу видно, что вы недолго пробыли в Ливерпуле. Лодочные станции! Нет, конечно. Просто надо пойти на пристань – на любую пристань – и нанять лодку: их там сколько угодно. Вы это сразу увидите, как придете туда. Но поторапливайтесь.

– Об этом мне можно не говорить. Только я не знаю, куда идти, – сказала Мэри, вся дрожа от нетерпения. – Вы правильно заметили: я здесь раньше никогда не была и не знаю, где пристань. Скажите, как туда пройти,

и я больше не потеряю ни минуты.

– Матушка, я пойду покажу ей дорогу, – заявил бойкий мальчуган. – Я вернусь через час или попозже, – уже тише добавил он.

И прежде чем сердобольная миссис Джонс собралась с мыслями и поняла хотя бы половину наскоро составленного плана, ее сын уже вприпрыжку мчался по улице, сопровождаемый не отстававшей от него Мэри.

Однако вскоре он несколько замедлил свой бег и вступил в разговор с Мэри: теперь он уже не боялся, что мать может окликнуть его и вернуть, и решил попытаться удовлетворить свое любопытство.

– Хм, хм!... Скажите, как вас зовут? А то как-то неудобно называть вас «барышня».

– Меня зовут Мэри, Мэри Бартон, – сказала она, не желая обидеть того, кто так охотно пришел к ней на помощь, иначе она не произнесла бы ни слова, чтобы не замедлять шага, хотя ей и сдавило грудь, а в висках стучало.

– И вы хотите, чтобы Уилл Уилсон доказал алиби, так?

– Да, да, конечно... Нам нельзя тут пройти?

– Нет, обождите минутку. Не надо так спешить: ведь как раз у вас над головой поднимают груз... А кого же это судить собираются?

– Джема. Ах, милый мальчик, неужели мы не можем пробежать?

Они проскочили под огромными тюками, колыхавшимися в воздухе над самой их головой, и в течение нескольких минут продолжали бежать, пока Чарли не решил, что надо убавить шаг и задать еще два-три вопроса.

– Скажите, Мэри, Джем – это ваш брат или жених, что вы так стараетесь спасти его?

– Нет... нет, – ответила она не совсем уверенным тоном, отчего бойкому мальчику еще больше захотелось проникнуть в тайну.

– Тогда он, видно, ваш двоюродный брат? У многих девушек нет женихов, зато есть двоюродные братья.

– Нет, он мне совсем не родственник. Что случилось? Почему ты вдруг остановился? – в страхе и волнении вскричала она, когда Чарли вдруг кинулся обратно и заглянул в боковую улочку.

– Да ничего особенного, Мэри. Я слышал, вы говорили матушке, что никогда раньше не были в Ливерпуле, так вот: если вы заглянете в эту улочку, то увидите задние окна нашей биржи. До чего же красивое здание! Там стоит скелет, накрытый одеялом, а посреди двора – адмирал лорд Нельсон [\[114\]](#) и еще всякие люди. Пойдите же сюда! – воскликнул он, видя, что Мэри, стремясь угодить ему, уставилась на первое попавшееся окно. –

Вот отсюда вам будет виднее. Ну, теперь вы можете сказать, что видели Ливерпульскую биржу.

– Да, конечно... окно, по-моему, очень красивое... А до лодок нам еще далеко? Я непременно загляну сюда на обратном пути, а сейчас нам, пожалуй, лучше не задерживаться.

– Ну, если ветер попутный, ручаюсь, вы мигом спуститесь по реке и захватите Уилла, а если нет, так эта минута, которая прошла, пока вы глядели на биржу, все равно ничего не изменит.

И они побежали дальше, пока не добрались до одного из перекрестков у порта, где им пришлось остановиться, пропуская повозки, благодаря чему Мэри получила возможность передохнуть, а Чарли продолжить свои расспросы:

– Вы мне так и не сказали, откуда вы приехали.

– Из Манчестера, – ответила Мэри.

– Ну, тогда вам есть на что у нас посмотреть. Ливерпуль, говорят, бьет Манчестер по всем статьям. Не город, а дрянная закопченная дыра, правда ведь? И вам непременно нужно там жить?

– Да, это мой родной город.

– Ну, не знаю, как бы я мог жить в сплошном дыму. Взгляните-ка! Вот и река! У вас в Манчестере, наверно, дорого бы дали, чтоб иметь такую реку. Да посмотрите же на нее!

Мэри посмотрела в том направлении, куда он указывал, и в просвете между лесом мачт, возвышавшихся над судами у пристани, увидела прославленную реку, по которой скользили под флагами всех наций белокрылые суда, приплывшие сюда не в поисках бранной славы, а чтобы поведать о дальних странах, знойных или холодных, пославших их на этот крупнейший рынок за предметами необходимости или роскоши; увидела Мэри и мелкие суденышки, шнырявшие по этой сверкающей глади, а кроме того, она увидела такие столбы и клубы дыма над бесчисленными пароходами, что немало подивилась, почему Чарли возмущается манчестерским дымом. Пройден разводной мост, пройден пирс, – и перед ними открылся весь великолепный порт, где, дожидаясь погрузки или разгрузки, стоят неподвижно сотни судов. Крики матросов, многоязычный говор вокруг, новизна этого зрелища, не сравнимого ни с чем, что Мэри доводилось до сих пор видеть, испугали ее, и она растерянно вцепилась в своего юного проводника, который, разбираясь во всем этом гораздо лучше, чем она, один только и мог служить посредником между нею и окружающими ее людьми какой-то иной породы, ибо матросы вполне могли показаться людьми иной породы девушке, которая встречала лишь жителей

суши, да и то по большей части фабричных рабочих.

Но в этом мире новых для нее зрелищ и звуков одна мысль продолжала властвовать над всем остальным, и, хотя взор Мэри был устремлен на суда и на широкую реку, она думала только о том, как добраться до Уилла.

— Зачем мы пришли сюда? — спросила она Чарли. — Здесь нет маленьких лодок, а, как я понимаю, мне нужна именно маленькая лодка. Ведь эти корабли не ходят на короткие расстояния, правда?

— Конечно нет, — с легким презрением ответил он. — Но «Джон Кроппер» стоял как раз в этом доке, а я знаю многих матросов, и если я увижу кого-нибудь из своих знакомых, то попрошу его залезть на мачту и посмотреть, не видно ли в устье «Джона Кроппера». Если он уже поднял якорь, значит, вам его не догнать.

Мэри спокойно кивнула, словно ей, как, очевидно, и Чарли, было безразлично, нагонит ли она Уилла, но сердце у нее упало, и она уже не чувствовала прилива энергии, которая совсем недавно поддерживала ее. Силы покинули ее; ей было холодно и, она дрожала, хотя полуденное солнце изрядно пекло, а там, где она стояла, не было ни клочка тени.

— Вот идет Том Боурн! — воскликнул Чарли и, оставив покровительственный тон, каким он разговаривал с Мэри, обратился к обветренному морскому волку, который, засунув руки в карманы и жуя табак с таким видом, будто нет у него на свете другого занятия, как поглядывать по сторонам да поплевывать, шел враскачку по пристани, где они стояли. И вот, обратившись к старому моряку, Чарли рассказал ему, в чем дело, на языке, который был почти непонятен Мэри, да и вообще едва ли передаваем, и который я, будучи «сухопутной крысой», не берусь точно воспроизвести.

Мэри следила за их жестами и выражением их лиц со все возрастающим вниманием.

Она заметила, что моряк заинтересовался словами Чарли и, оглядев ее с головы до ног, кивнул в знак согласия (ибо жалкая, более чем скромная одежда Мэри в глазах старого опытного моряка была порукой ее порядочности), а затем увидела, как он неторопливо направился на корабль, стоявший у причала, и, взяв у кого-то подзорную трубу, с ловкостью обезьяны взобрался на мачту.

— Он упадет! — в ужасе воскликнула Мэри, вцепившись в руку Чарли: изборожденное морщинами лицо и покачивающаяся походка моряка внушили Мэри мысль, что он гораздо старше, чем на самом деле.

— Как бы не так! — заявил Чарли. — Он уже добрался до самой

верхушки. Видите: он смотрит в трубу и за мачту не держится, точно он на суше. Да я сам не раз лазил на мачту, только маме не говорите. Она думает, что я буду сапожником, но я-то твердо решил, что буду моряком, только пока молчу: что толку спорить с женщиной. Так вы ей ничего не скажете, Мэри?

– Смотри, смотри! – вместо ответа воскликнула она (Чарли мог не опасаться за свою тайну, ибо Мэри дажне слышала ее). – Смотри! Он спускается, он уже спустился. Спроси же его, Чарли! – И, не в силах дольше ждать, она крикнула сама: – Вы видели «Джона Кроппера»? Он еще там?

– Да, да, – ответил моряк и, подойдя к ним, принялся их торопить: надо скорее найти лодку, так как вода уже покрыла отмель и через час корабль поставит паруса и уйдет. – Ветер будет у вас встречный, придется грести. Времени нельзя терять.

Они подбежали к ступенькам, которые вели к самой воде. Они принялись махать лодочникам, которые, сообразив, что дело спешное, не торопились, подплыли к ступенькам как бы нехотя, словно им было глубоко безразлично, наймут их или нет, и принялись тихо переговариваться, обсуждая, какую цену спросить.

– Прошу вас, поторопитесь, пожалуйста! – крикнула им Мэри. – Мне нужно нагнать «Джона Кроппера». Где находится корабль, Чарли? Скажи им – я ведь не очень разбираюсь во всем этом. Только, пожалуйста, побыстрее!

– Где же ему быть, как не в устье, мисс, – заметил один из лодочников, не обращая внимания на Чарли, который на его взгляд был слишком молод, чтобы с ним торговаться.

– Едва ли мы сможем поехать туда, Дик, – продолжал он, обращаясь к своему товарищу и подмигивая ему, – ведь нас ждет тот джентльмен в Нью-Брайтоне.

– Но, может, барышня хорошо нам заплатит за то, что мы отвезем ее взглянуть последний раз на милого дружка, – заметил другой.

– Да сколько же вы хотите? Только поторопитесь, пожалуйста. У меня достаточно денег, чтобы расплатиться с вами, но мне дорога каждая минута, – сказала Мэри.

– Вот это разговор. Мы меньше чем через час будем в устье, а корабль не уйдет оттуда раньше двух часов.

Однако представления бедняжки Мэри о том, что значит «хорошо заплатить», существенно отличались от представлений лодочников. У Мэри осталось лишь четырнадцать или пятнадцать шиллингов от соверена,

который одолжила ей Маргарет, а лодочники, услышав, что у нее «достаточно денег», решили, что у нее в кошельке не меньше пяти-шести фунтов, и требовали совершен (кстати сказать, цену совершенно фантастическую, хотя и меньше полутора фунтов, которые они запросили вначале).

Чарли же, с мальчишеским нетерпением и презрением к деньгам, уговаривал Мэри:

– Да дайте им эти деньги, Мэри. Дешевле все равно никто не повезет. А выбора у вас нет. Вон уже часы на церкви святого Николая пробили час!

– У меня всего только четырнадцать шиллингов девять пенсов! – в отчаянии воскликнула она, пересчитав деньги. – Но я отдам вам платок – вы сможете выручить за него пять-шесть шиллингов. Неужели вам этого не хватит? – спросила она таким тоном, что лишь очень жестокосердые люди могли бы отказать столь отчаянной мольбе.

Они посадили ее в лодку.

И через каких-нибудь пять минут Мэри впервые в жизни уже плыла в подбрасываемой волнами лодке, – одна с двумя грубыми, суровыми лодочниками.



## ГЛАВА XXVIII

### ЭЙ, НА «ДЖОНЕ КРОППЕРЕ»!

Наполнил ветер паруса,  
Корабль летит вперед,  
О борт высокий бьет волна,  
Поставлен фок и грот.  
Поставлен фок и грот, друзья,  
Корабль летит стрелой.  
И берег Англии вдали  
Остался за кормой.

*Аллан Каннингем. [\[115\]](#)*

Мэри не поняла, что Чарли не едет с ней. Собственно, она подумала об этом, лишь когда они отчалили; только тут она заметила его отсутствие и вспомнила, что не поблагодарила его за помощь, а потом почувствовала себя очень одинокой, хотя дружба их была лишь молоденьким грибком, существовавшим какой-нибудь час.

Лодка лавировала в лабиринте кораблей, стоявших у берега, – стукнулась об один, чуть было не задела другого (но лодочник успел оттолкнуться веслом), прошла у самого борта третьего и наконец выбралась на широкие просторы реки, далеко от обоих берегов, куда уже не долетали звуки суши.

И тут лодка пошла медленнее.

Лодочникам приходилось грести против ветра и прилива, и, как они ни налегали, толку было мало. Сгорая от нетерпения, Мэри в какую-то минуту вскочила было, чтобы посмотреть, насколько они продвинулись, но гребцы грубо прикрикнули на нее, велев немедленно сесть, и она, словно ребенок, которому сделали замечание, покорно опустилась на место, хотя нетерпение ее отнюдь не стало меньше.

Однако теперь она была уверена, что они свернули с прямого пути, которого до сих пор держались, плывя вдоль Чеширского берега, [\[116\]](#) где течение не было таким сильным. Через некоторое время Мэри, не выдержав, высказала свое предположение вслух: ею владел страх, и, как в

кошмаре, ей казалось, что и люди и силы природы сговорились помешать ей достичь цели и догнать Уилла.

Лодочники пробурчали, что увидели знакомого моряка и решили уговорить его поехать с ними рулевым, – тогда они оба смогут сесть на весла и будут продвигаться быстрее. Они знают, что делают. Итак, Мэри сидела молча, стиснув руки, пока шли переговоры, давались объяснения, испрашивалось и было получено согласие. И все это время сердце ее леденил мучительный страх.

Они гребли долго-долго – Мэри казалось, что прошло уже полдня, – а Ливерпуль по-прежнему был рядом, и Мэри начала уже удивляться, что лодочники до сих пор не отчаялись, как вдруг ветер, который дотоле дул им навстречу, стих, небо затянуло облаками, солнце скрылось, все вокруг потемнело, и воздух стал заметно холоднее, чем раньше, когда дул теплый, хотя и сильный западный ветер.

Гребцы старались вовсю. С каждым взмахом весел лодка делала рывок вперед. Недвижная водная гладь блестела как зеркало, отражая все оттенки сине-черного неба. Мэри то и дело вздрагивала, и сердце у нее сжималось. Но теперь они заметно продвигались вперед. Внезапно рулевой указал на рябь, появившуюся неподалеку от них на реке, и гребцы, оторвав Мэри от созерцания далеких кораблей, стоявших, по ее мнению, уже в открытом море, попросили ее подвинуться, чтобы они могли достать паруса.

Слегка вздрогнув от неожиданности, Мэри поднялась. Ее долготерпение, горе, а может быть, и молчание постепенно произвели должное впечатление на моряков.

– Вон тот, второй – «Джон Кроппер». Задул попутный ветер, и на парусах мы живо до него доберемся.

Он забыл (а может быть, не хотел напоминать об этом Мэри), что этот же самый ветер, благодаря которому так быстро и легко скользило вперед их суденышко, благоприятствует и «Джону Кропперу».

Но пока они, напрягая зрение, вглядывались в даль, измеряя все сокращавшееся расстояние между ними и кораблем, паруса на нем развернулись, захлопали на ветру, потом надулись, и корабль закачался, содрогаясь, будто живое существо, которому не терпится поскорее двинуться в путь.

– Они поднимают якорь! – воскликнул один из лодочников, услышав протяжный крик матросов, пронесшийся над еще разделявшими их водами.

Увлеченные погоней, хотя они и не знали, почему так торопится Мэри, лодочники спешно принялись ставить второй парус. Больше лодка и не выдержала бы, ибо поднялся порывистый восточный ветер, и она,

накренившись, зарываясь в воду носом и скрипя снастями, словно такое напряжение ей не под силу, стремительно понеслась вперед.

Они уже приближались к кораблю и уже отчетливо слышали крик матросов. Но вот он замер. Якорь подняли, и корабль тронулся в путь.

Мэри ухватила за мачту, встала и простерла руки к уходящему судну, как бы умоляя его остановить свой бег; по щекам ее катились слезы. Гребцы подняли в воздух весла и, размахивая ими, принялись кричать, чтобы привлечь внимание команды.

Матросы заметили их, но они были слишком заняты и в суматохе, царящей на борту, когда судно выходит в море, не обратили внимания на их сигналы. На каждом шагу под ноги попадались бухты канатов и матросские сундучки; по палубе бродили растерянные животные, которых не успели еще привязать, и в дополнение к окружающему шуму жалобно мычали или блеяли; валялись неразрубленные туши, больше похожие на трупы овец и свиней, чем на баранину и свинину; всюду сустились матросы – они еще не вошли в привычную колею и мысленно были на суше, с оставшимися там близкими. Тем временем капитан, пытаясь навести хоть какой-то порядок, громким нетерпеливым тоном торопливо отдавал приказания – и команде, и рулевому, и своим помощникам.

Капитан был раздосадован двумя-тремя промахами, допущенными помощником, ему горько было расставаться с женой и детьми, хоть он это и скрывал, и он лишь раздраженно шагал по палубе. Вдруг он услышал, что его окликают с жалкой лодчонки, пытавшейся нагнать его быстрокрылое судно.

Когда лодочники заметили, что корабль уже почти миновал мель и им его не нагнать, они спросили Мэри, для чего, собственно, ей был нужен «Джон Кроппер», – если крикнуть, их там услышат. У Мэри пересохло в горле, язык ей не повиновался, но она сделала над собой усилие и хриплым шепотом рассказала гребцам о цели своего путешествия, от которого зависит жизнь или смерть человека, после чего они и окликнули корабль.

– Нам нужен Уильям Уилсон. Он должен завтра засвидетельствовать алиби в ливерпульском суде. Джема Уилсона будут судить за убийство, совершенное в четверг ночью, когда он был с Уильямом Уилсоном... Что еще надо сказать, мисс? – спросил лодочник у Мэри более тихим голосом, отняв руки ото рта.

– Скажите, что я – Мэри Бартон. Ах, корабль уходит! О, ради бога, попросите их остановиться!

Лодочник, взбешенный тем, что его призыв оставлен без внимания,

повторил все сначала, присовокупив имя молодой женщины и пересыпая свою речь отборной руганью.

Корабль летел вперед – все дальше; лодка, борясь с волнами, следовала за ним.

На лодке увидели, что капитан взял рупор. И – увы! – слышали его слова.

Сначала до них донеслось грубое ругательство и еще более грубое слово, адресованное Мэри, а затем он заявил, что не остановит корабля и не расстанется ни с одним из матросов, кого бы из-за этого ни повесили.

Его слова гремели в рупоре с безжалостной отчетливостью. Мэри опустилась на скамью, и лицо у нее было такое, словно она молилась на смертном одре. Взор ее был обращен к небесам, где обитает милосердие, посиневшие губы шевелились, но с них не слетало ни звука. Затем она склонила голову и закрыла лицо руками.

– Эй! Вон матрос что-то нам кричит.

Мэри подняла голову. Даже сердце ее перестало биться: она вся превратилась в слух.

Уильям Уилсон стоял на корме, и, поскольку рассерженный капитан не дал ему рупора, он кричал, сложив руки трубкой у рта:

– Богом клянусь, Мэри Бартон, я вернусь на лоцманской лодке и успею спасти жизнь невинному.

– Что он сказал? – в отчаянье воскликнула Мэри, когда голос замер вдали, а гребцы, успевшие проникнуться сочувствием к своей пассажирке, испустили веселое «ура!». – Что он сказал? – повторила она. – Скажите же мне. Я не расслышала.

И правда, она слышала слова, но не могла понять их смысла.

Они повторили его обещание, перебивая друг друга и добавляя всякие свои соображения, а Мэри смотрела то на них, то на уже далекий корабль.

– Я не очень в этом разбираюсь, – печально промолвила она. – Что это такое – лоцманская лодка?

Они объяснили, и она кое-как поняла их матросский жаргон. Значит, еще есть надежда, правда очень небольшая и слабая.

– А далеко лоцман провожает корабль?

Да по-разному, сказали ей. Иные лоцманы доходят до Холихэда и только там пересаживаются на встречный корабль; другие только проводят суда через отмели. Одни капитаны осторожны, другие – нет, а у лоцманов у каждого своя манера. Ветер сейчас не благоприятствует судам, идущим в Ливерпуль, а потому лоцман на «Джоне Кроппере», может, и не поедет далеко.

– Когда же он вернется?

Каждый из гребцов высказал свое мнение: может через двенадцать часов, а может, и через два дня, услышала Мэри. А потом тот, кто назвал самый большой срок, рассердившись на возражения товарищей, удвоил время и заявил, что лоцман вернется домой не раньше конца недели.

Лодочники принялись спорить и приводить каждый свои доводы; Мэри пыталась следить за ходом их спора, но тщетно, и дело было не столько в их морском жаргоне, сколько в том, что мозг ее словно окутала пелена, мешавшая ей понимать, что происходит вокруг. Даже когда она говорила сама, ей казалось, что ее слова произносит кто-то другой и говорит совсем не то, что хотела сказать она.

Все надежды обманули ее, и теперь она предалась отчаянию, не в силах более верить их последнему проблеску. У нее уже не было сил. Она была почти уверена, что и эта надежда растает, исчезнет. И ею овладело какое-то оцепенение. Да и все вокруг гармонировало с ее отчаяньем: свинцовое мрачное небо; еще более мрачные, глубокие темные воды за кормой; плоский, холодный желтый берег вдали, на который не падало ни единого луча солнца, сильный пронизывающий ветер.

Мэри бил озноб – душевные и телесные силы покинули ее.

Когда они повернули назад к Ливерпулю, паруса естественно, убрали, и лодка медленно продвигалась с помощью весел. Гребцы, перебивая друг друга, разговаривали – сначала о лоцманах, потом о всяких местных новостях, которые вообще не могли интересовать Мэри, и она незаметно для себя задремала; сон властно овладевал ею, несмотря на все ее старания не поддаваться ему, и она постепенно соскользнула на дно лодки, где и прикорнула на груде парусов, канатов и всяких снастей.

Размеренные удары волн о борта лодки и музыка прибоя, разбивающегося о далекий берег, убаюкивали ее лучше, чем тишина, и сон ее был крепок.

На минуту она с трудом раскрыла слипавшиеся глаза и словно сквозь дымку увидела, как седовласый грубый лодочник (тот самый, который особенно настойчиво требовал с нее в уплату соверен) накрывает ее теплой курткой. Он снял куртку с себя и возможно бережнее накрыл Мэри, а она, не успев пробормотать слова благодарности, тут же снова заснула.

Наконец, уже в сумерках, они подъехали к пристани, от которой отчалили несколько часов тому назад. Лодочники окликнули Мэри; она машинально ответила им, но не шелохнулась; подождав немного, они подергали ее за плечо. Тогда она поднялась – ее трясло, и она с недоумением озиралась вокруг.

– Ну, а теперь-то куда вам, мисс, – спросил седой лодочник, – скажите: может, я знаю, как туда пройти.

Слова его не сразу дошли до сознания Мэри; словно в тумане, она с большим трудом припоминала, что ей надо делать. Наконец она сунула руку в карман, извлекла оттуда кошелек и вытряхнула его содержимое на ладонь старика; затем она принялась покорно снимать с себя платок, хотя лодочники уже отошли и вовсе не просили ее об этом.

– Нет, нет! – сказал старик, которому она молча протянула платок: он все еще стоял на ступеньках, не торопясь прыгнуть в лодку. – Оставьте его себе: нам он не нужен. Мы ведь запросили побольше для того, чтобы проверить вас: иные говорят, что у них нет ни гроша за душой, а у самих денег куры не клюют.

– Спасибо, – тихо промолвила Мэри.

– Но куда вы идете-то? Я ведь второй раз уже спрашиваю, – ворчливо повторил старик.

– Не знаю. У меня здесь никого нет, – ответила она со спокойствием, которое трудно было понять при подобных обстоятельствах.

– Ну, так придумайте что-нибудь, – резко сказал он. – А на пристани молодой девушке делать нечего.

– У меня где-то есть бумажка с адресом, – сказала она, и лодочник, несколько успокоившись, прыгнул в лодку, которая уже отходила, чтобы пароход у причала мог поставить сходни.

А Мэри принялась искать в кармане карточку мистера Бриджнорса с названием улицы, где ей предстояло в два часа встретиться с ним, а также с Джобом и миссис Уилсон, и где Джоб должен был сообщить Мэри адрес какого-нибудь приличного пансиона. Но карточка эта пропала.

Мэри попыталась вспомнить, не переложила ли она ее куда-нибудь, и снова принялась рыться в кармане, вытащив оттуда все содержимое: пустой кошелек, носовой платок и прочие мелочи, но карточки среди них не было.

Дело в том, что она выронила ее, когда, горя желанием поскорее сесть в лодку, вынимала кошелек, чтобы пересчитать деньги.

Этого она, конечно, не знала. Она знала лишь, что карточка потеряна.

Впрочем, отчаяние ее было так велико, что оно почти не усилилось. Она пыталась бороться с силами, но мысли ее с каждой минутой все больше путались. Она старалась вспомнить, где жил Уилл, но не могла; фамилия хозяйки, название улицы – все улетучилось, и ей это было безразлично: лучше исчезнуть и ни с кем не встречаться.

Она тихонько опустилась на верхнюю ступеньку причала и устремила взгляд на темную, мутную воду. Раза два в ее затуманенном мозгу

промелькнула мысль, не найти ли ей успокоения от мирских тревог в этих холодных мрачных глубинах. Но она не могла ни на чем сосредоточиться дольше секунды и, не успев принять решения, забывала, о чем думала.

Так она продолжала сидеть неподвижно, не поднимая головы и не обращая ни малейшего внимания на оскорбительные замечания проходивших мимо людей.

Однако и в сгущавшихся сумерках старик лодочник продолжал наблюдать за ней: судьба этой девушки почему-то интересовала его, хоть он и ругал себя за это.

Когда место у причала снова освободилось, он поплыл назад, лавируя между лодками и сходнями и ругая себя старым дураком.

Он резко тряхнул Мэри за плечо.

– Черт бы вас побрал, да скажете вы мне или не скажете, куда вам надо? Чего вы здесь, дурочка, сидите! Куда вам идти-то?

– Не знаю, – вздохнула Мэри.

– Ладно, ладно, нечего мне сказки рассказывать. Вы же сами мне говорили, что у вас есть бумажка, на которой написано, куда вам идти.

– Бумажка эта у меня была, но я ее потеряла. Да и неважно это.

И она снова уставилась на черное зеркало, расстилавшееся у ее ног.

Лодочник не отходил; он тщетно пытался побороть в себе доброе начало, но не мог. Он снова тронул ее за плечо. Она посмотрела на него таким взглядом, словно совсем забыла о его существовании.

– Что вам надо? – устало спросила она.

– Пойдемте со мной, черт бы вас побрал! – ответил он и, схватив Мэри за руку, заставил ее подняться.

Ни о чем не спрашивая, она встала и покорно, словно малое дитя, последовала за ним.

## ГЛАВА XXIX

### ДЕЛО ДЖЕМА ПЕРЕДАЕТСЯ В СУД

Орудую законом и пером,  
Они почтенным заняты трудом.  
*Крэбб.*

Без пяти два Джоб Лег подошел к двери дома, где во время судебных сессий останавливался мистер Бриджнорс. Он оставил миссис Уилсон у своих друзей, которые согласились приютить старушку вместе с Мэри; в комнате, которая была отведена для них, частенько останавливался он сам, когда приезжал в Ливерпуль, но сейчас он охотно уступил ее женщинам, ибо ему было безразлично, где спать, а в город к началу судебной сессии съехалось очень много народу.

Его провели к мистеру Бриджнорсу, который сидел за столом и что-то писал. Мэри и Уилл Уилсон еще не появлялись, ибо, как вам известно, они находились далеко – в самом море; но об этом Джоб, конечно, ничего не знал, и их отсутствие пока еще не возбудило в нем тревоги; гораздо больше его интересовал результат разговора, который мистер Бриджнорс имел утром с Джемом.

– Да, – сказал мистер Бриджнорс, кладя перо, – я видел его, но, боюсь, это мало чему поможет. Уж очень к нему трудно подступиться, очень. Я, конечно, сказал ему, что он должен быть со мной откровенен, иначе я не буду знать слабых мест нашего дела и не смогу к ним подготовиться. Я назвал ваше имя в надежде снискать его доверие, но...

– Что же он сказал? – поспешно спросил Джоб.

– Да почти ничего. Только отвечал мне. А на некоторые вопросы даже отказался ответить – отказался, и все. Право, не знаю, смогу ли я что-либо для него сделать.

– Значит, сэр, вы считаете его виновным, – упавшим голосом промолвил Джоб.

– Нет, не считаю, – решительным тоном поспешил возразить мистер Бриджнорс. – Я склонен был подозревать его до нашей встречи. А теперь у меня сложилось впечатление (помните, это всего лишь впечатление, и не



примите его за факт), такое впечатление (и он подчеркнул это слово), что он что-то знает, но не хочет говорить. И если он будет упорствовать, то его повесят. Вот и все.

И он снова принялся писать, ибо не мог терять ни минуты.

– Но нельзя же допустить, чтобы его повесили! – с горячей убежденностью воскликнул Джоб.

Мистер Бриджнорс взглянул на него, улыбнулся, но покачал головой.

– Осмелюсь спросить вас, сэр, что же он все-таки сказал? – не отступался Джоб.

– Говорил он мало и был так сдержан и немногословен, что, как я уже сказал вам, я могу передать лишь то впечатление, какое этот разговор произвел на меня. Я, конечно, сказал ему, кто я и зачем меня к нему прислали. Мне показалось, что он обрадовался, – во всяком случае, лицо его просветлело (он был очень печален, когда я вошел), но он заявил, что ничего нового не может мне сообщить и ничего не может сказать в свое оправдание. Тогда я спросил его, совершил он все-таки преступление или не совершил, и, чтобы побудить его открыться, добавил, что причины, толкнувшие его на убийство, мне понятны, ибо я слышал, что девушка очень хороша собой, что она вскружила ему голову, а потом сама отчаянно влюбилась в красавца Карсона (бедный молодой человек!). Но Джеймс Уилсон ни слова мне на это не ответил. Тогда я перешел к частностям. Я спросил, в самом ли деле это его пистолет, как заявила его мать. Он, очевидно, не знал об ее заявлении, – я понял это по тому, как он взглянул на меня, и по выражению его глаз, но, заметив, что я наблюдаю за ним, он снова опустил голову и сказал лишь, что она не ошиблась: это в самом деле его пистолет.

– И что же дальше? – нетерпеливо воскликнул Джоб, когда мистер Бриджнорс умолк.

– Да это, собственно, все, – ответил адвокат. – Я попросил его рассказать мне чистосердечно, как очутился там его пистолет. Он помолчал, затем отказался что-либо говорить. И вообще напрямик заявил, что не только отказывается отвечать на этот вопрос, но не промолвит больше ни слова. Он поблагодарил меня за беспокойство и участие, и мне не оставалось ничего иного, как уйти. Не очень-то любезно он меня принял, как по-вашему, мистер Лег? И все же, уверяю вас, я в двадцать раз больше склонен считать его невиновным сейчас, чем до нашей встречи.

– Почему это нет Мэри Бартон? – с тревогой заметил Джоб. – Что-то они с Уиллом уж больно задерживаются.

– Уилл, по-моему, наш единственный шанс, – заметил мистер

Бриджнорс, который уже снова писал. – Я еще до двенадцати послал к нему Джонсона с вызовом в суд и просил передать, что хочу поговорить с ним. Я не сомневаюсь, что он скоро придет.

Некоторое время царило молчание. Затем мистер Бриджнорс снова оторвался от своих бумаг.

– Мистер Данком обещал приехать засвидетельствовать добронравие Джеймса. Я послал ему вызов в суд в субботу вечером. Впрочем, присяжные мало обращают внимания на подобные свидетельства. Вообще-то говоря, это правильно, хотя и невыгодно для нас: к несчастью, я могу строить защиту только на алиби.

Перо снова закрипело по бумаге.

А Джобу не сиделось на месте. Он сидел уже на самом краешке стула, чтобы ловчее было вскочить, как только появятся Уилл и Мэри. И напряженно вслушивался, едва на лестнице раздавался какой-нибудь шум или звук шагов.

Один раз он различил мужские шаги, и его стариковское сердце подпрыгнуло от радости. Но это был всего лишь писец мистера Бриджнорса: он принес перечень дел, которые были вынесены на сессию суда. Мистер Бриджнорс пробежал его глазами и пододвинул к Джобу, промолвив:

– Этого, конечно, следовало ожидать.

Затем мистер Бриджнорс снова взял перо.

В списке значилось и дело Джеймса Уилсона. Да, этого следовало ожидать, и все же Джоб еще больше опечалился и встревожился: это казалось началом конца. А он незаметно для себя пришел к мысли, что

Джем невиновен. Эта уверенность постепенно овладела им.

Мэри (плывшая в утлой лодчонке по волнам широкой реки) все не шла, не пришел и Уилл.

Джоб совсем расстроился. Ему очень хотелось встать у окна, чтобы видеть, не идут ли они, но он боялся помешать мистеру Бриджнорсу. Наконец, не в силах больше сдерживаться, он встал и осторожно, на цыпочках, пересек комнату – башмаки его отчаянно скрипели при каждом шаге. Тучи, заставшие небо и столь удручающе подействовавшие на Мэри среди речных просторов, здесь еще ниже нависали над городом, придавая улицам мрачный и унылый вид. Джобу никак не сиделось на месте. Не в состоянии совладать с собой, он принялся шагать по комнате, не обращая внимания на нетерпеливые жесты и покашливания мистера Бриджнорса, которого раздражали эти осторожные шаги и легкое поскрипыванье за его стулом.

Ему нравился Джоб, и Джем действительно произвел на него хорошее впечатление, иначе нервы его давно уже не выдержали бы. Однако и его терпению пришел конец: почувствовав, что больше не в силах вынести этот однообразный скрип, он отбросил перо, застегнул портфель и, взяв шляпу и перчатки, объявил Джобу, что ему пора в суд.

– Но ведь Уилл Уилсон еще не пришел! – в отчаянье воскликнул Джоб.  
– Подождите еще немножко: я сбегая к нему на квартиру. Я бы давно уже это сделал, если б не думал, что они вот-вот будут здесь, и не боялся с ними разминуться. Я мигом вернусь.

– Нет, любезнейший, я, право, должен идти. К тому же я начинаю думать, что Джонсон, очевидно, ошибся и просил этого Уильяма Уилсона встретиться со мной в суде. Если хотите подождать его здесь, пожалуйста: мой кабинет в вашем распоряжении, но мне кажется, что я найду его там. Тогда я пошлю его к вам домой, хорошо? Где меня найти, вы знаете. Я вернусь сюда к восьми и, располагая показаниями этого свидетеля, устанавливающими алиби, подготовлю дело для суда.

С этими словами он пожал Джобу руку и вышел. Старик постоял немного у двери, подумал и затем направился к миссис Джонс, где (как он узнал, заглянув в свою старую записную книжку, содержащую множество самых разнообразных записей) останавливался Уилл и где он, без сомнения, сможет навести справки о молодом моряке и о Мэри.

Итак, Джоб отправился туда и попытался из несвязных ответов миссис Джонс составить хоть некоторое представление о том, как обстоят дела.

Он спросил, приходила ли сюда утром молодая женщина и видела ли она Уилла Уилсона.

– Нет!

– Как так нет?

– О господи, да очень просто: он отправился в плаванье, а она пришла справляться о нем только через несколько часов.

Наступила мертвая тишина, нарушаемая лишь постукиванием утюга, которым гладила миссис Джонс.

– А где же теперь эта молодая женщина? – спросил Джоб.

– Где-нибудь на пристани, – подумав, ответила она. – Чарли бы мог сказать, если б он был дома, да только его нет. Наверняка где-нибудь безобразничает. На то он и мальчишка. Рано или поздно свернет себе шею, это уж как пить дать. – И, произнеся это, она с самым невозмутимым видом плюнула на утюг, проверяя, насколько он нагрелся, затем продолжала гладить.

Все это привело Джоба в такое раздражение, что он готов был

поколотить ее. Но он сдержался и был за это вознагражден. Вскоре явился Чарли, посвистывая и всем своим независимым видом показывая, что столь позднее возвращение из порта – в порядке вещей.

– Этот старичок хочет знать, куда девалась девушка, которая ушла сегодня утром с тобой, – сказала мать, кончив его отчитывать.

– А я не знаю, где она сейчас. Я видел, как она села в лодку и поплыла вниз по реке за «Джоном Кроппером». Да только боюсь, что не догнала она его: ветер-то ведь переменялся, и эта посудина поставила паруса и небось мигом перемахнула через мель. Так что ей пора бы и вернуться.

Джоб не сразу уразумел, что последняя фраза относится к Мэри, а когда он наконец это понял, то спросил, где же все-таки ему ее искать.

– Я сейчас слетаю на пристань, – вызвался мальчишка, – и уж можете не сомневаться: найду ее.

– Никуда ты не пойдешь, – объявила мать и прислонилась к двери.

Мальчишка хитро подмигнул Джобу, но не встретил поддержки, ибо старик, естественно, был на стороне его матери, хотя с благодарностью принял бы предложение Чарли: он устал, да и спешил вернуться поскорее к бедной миссис Уилсон, которая, наверно, уже беспокоится, почему его так долго нет.

– Как же мне найти ее? С кем она, милый, отправилась?

Но Чарли был раздосадован тем, что мать прикрикнула на него при чужом человеке, а тот даже не улыбнулся, когда он подмигнул ему.

– С лодочниками... А больше я ничего не знаю, – заявил он.

– А как называлась их лодка? – не унимался Джоб.

– Да я и не заметил. Кажется, «Энн» или «Уильям» – какое-то простое имя.

– От какого причала она отчалила? – уже начиная впадать в отчаяние, спросил все же Джоб.

– Вот это я помню: отчалила она от Принцевой пристани, но причалит в другом месте, потому что, когда начался прилив, там неподалеку американский пароход бросил якорь и загородил дорогу всем лодкам и мелким суденышкам. М-да, неприятно в такой ветер быть на воде, – злорадно добавил он.

– Да будет воля божия! Очень я надеялся, – задумчиво заметил Джоб, – что нам удастся спасти парня от смерти, но сейчас я сомневаюсь в этом. Да и Мэри меня тревожит. Она ведь никогда раньше не бывала в Ливерпуле.

– Она говорила мне об этом, – сказал Чарли. – А тут девушек на каждом шагу подстерегают ловушки. Жаль, что некому будет встретить ее, когда она высадится.

– Да как же можно ее встретить, – возразил Джоб, – когда мы не знаем, куда пристанет лодка. Будем надеяться, что Мэри придет, куда нужно. Девушка она разумная, с головой. Скорей всего, она придет сюда. Куда же еще ей пойти – ведь она никого не знает в Ливерпуле. Хозяюшка, если она придет, разрешите вашему сыну проводить ее на Бэк-Гарден-Корт, дом номер восемь, где ее ждут друзья. Я дам ему шесть пенсов за труды.

Миссис Джонс, которой понравилось такое уважительное отношение к ее особе, охотно обещала. И даже Чарли, хотя сначала его и возмутило то, что мать так бесцеремонно им распоряжается, смягчился при упоминании о шести пенсах и при мысли о возможности разгадать тайну.

Но Мэри так и не пришла.

## ГЛАВА XXX

### *ДЖОБ ЛЕГ ТЕРЯЕТ НАДЕЖДУ*

Как тягостна ночью  
Тоски бесконечность,  
Когда так угрюм таинственный шум  
Мерных волн, что уносят нас в вечность.

Когда Джоб вернулся к миссис Уилсон, он увидел, что она в волнении безостановочно ходит по комнате, не обмениваясь ни словом с хозяйкой, у которой они остановились, и лишь время от времени испуская тяжкие вздохи, от которых вздрагивали все присутствующие.

– Ну? – спросила она, когда Джоб вошел, и резко повернулась к нему. – Да говорите же! – повторила она, в то время как он собирался с мыслями, не зная, что ей сказать.

По правде говоря, Джоб хотел придумать какую-нибудь благую ложь, чтобы на время успокоить миссис Уилсон. Но ее нетерпеливые расспросы заставили его выложить всю правду.

– Уилл пока не объявился. Но время еще терпит – он, наверное, скоро придет.

Она минуту смотрела на него, словно не веря его словам, которые несли ей отчаяние. Затем она покачала головой и произнесла – гораздо спокойнее, чем можно было ожидать от человека, находящегося в столь возбужденном состоянии:

– Не говорите так, не надо! Вы же сами этого не думаете. Вы тоже потеряли надежду, как и я. А я ведь все время знала, что моего мальчика повесят за то, чего он не делал. И пусть уж лучше его повесят, чтобы не знал он больше этого проклятого мира, где нет ни справедливости, ни милосердия.

Она молитвенно возвела к небу невидящие глаза и села.

– Ну, это вы зря так торопитесь, – заметил Джоб. – Да, Уилл сегодня утром отплыл, но Мэри Бартон, храбрая душа, отправилась за ним и, уж конечно, привезет его с собой, если сумеет хоть словом с ним перемолвиться. Она еще не вернулась. Так что нечего вешать голову. Все

кончится хорошо.

– Все кончится хорошо, – повторила она за ним, – да только не так, как вы думаете. Джема повесят, и он отправится к своему отцу и братикам – туда, где господь утирает всем слезы и где Иисус Христос ласково беседует с младенцами, когда они начинают искать своих матерей, оставшихся на земле. Ах, Джоб, как я стремлюсь в эту обитель блаженства – и все же я тоскую, потому что Джем должен так скоро попасть туда. Но я не стала бы тосковать, если бы сегодня мы с ним вместе уснули последним сном. Нисколько бы я не тосковала, если б только люди знали, что он невиновен, как знаю я.

– Рано или поздно они об этом узнают и горько раскаются, если повесят его за то, чего он не делал, – сказал Джоб.

– Это, конечно, так. Бедные! Да сжалится над ними господь, когда они узнают о своей ошибке.

Вскоре Джобом вновь овладело нетерпение, и, встав, он подошел к окну, потом к двери, словно лесной зверь, который ищет выхода из ловушки. На улице царил непроглядная тьма, ибо луна еще не взошла.

– Ложились бы вы спать, – сказал он вдове, – завтра силы вам еще как понадобятся. Джем очень огорчится, если увидит вас такой измученной. А я выйду и поищу Мэри. Она уже, наверно, вернулась. Не волнуйтесь: я вам все потом расскажу. А сейчас ложитесь.

– Вы добрый друг, Джоб Лег, я и в самом деле пойду лягу. Но только возвращайтесь прямо ко мне и приведите с собой Мэри, как найдете ее.

Она произнесла это тихо и очень спокойно.

– Да, да! -заверил ее Джоб и поспешил уйти.

Сначала он направился к мистеру Бриджнорсу, где, как ему хотелось верить, Уилл и Мэри давно уже ждали его.

Однако их там не оказалось. Мистер Бриджнорс только что вернулся, и Джоб поспешно поднялся к нему, чтобы узнать последние новости.

– Дело принимает скверный оборот, – мрачно сказал адвокат, перебирая какие-то бумаги, лежавшие на столе. – Джонсон все мне рассказал, а ему сказала женщина, у которой останавливается Уилсон. Этой девушке вряд ли удастся его найти. Придется строить защиту на недостаточной ясности косвенных улик и на хорошей репутации обвиняемого, который до сих пор не был замечен ни в чем предосудительном. Однако этого очень и очень мало для убедительной защиты. Но как бы то ни было, я попросил мистера Клинтон выступить защитником на суде, и мы постараемся сделать все, что можно. А теперь, почтеннейший, разрешите пожелать вам спокойной ночи и попросить вас

удалиться. Мне предстоит сидеть сегодня до утра. Вы не видели моего писца, когда поднимались сюда? Видели? Тогда, если вас не затруднит, попросите его, пожалуйста, немедленно зайти ко мне.

Дольше Джоб уже не мог оставаться и, смиренно поклонившись, вышел.

Затем он направился к миссис Джонс. Она была у себя, но Чарли опять куда-то сбежал. Этому мальчишку просто невозможно удержать дома. Разве что запереть на замок, да и это не всегда помогает: вот однажды заперла она его на чердаке, так он вылез в слуховое окно. Может, он пошел в порт разыскивать эту девушку. Он рад любому поводу, чтобы сбежать туда.

Не дожидаясь приглашения, Джоб сел: он твердо решил не уходить до возвращения Чарли.

Миссис Джонс гладила и складывала все наглаженное, не переставая говорить о Чарли и своем муже, который нанялся матросом на корабль, отправлявшийся в Индию, и уехал, а без него мальчишка совсем от рук отбился – никакого с ним сладу нет. Она все вздыхала и причитала, ругая моряков, и портовые города, и штормовую погоду, и бессонные ночи, и выпачканные дегтем и смолой штаны, хотя Джоб давно уже перестал обращать на нее внимание и лишь прислушивался к каждому шагу и каждому голосу, раздававшемуся на улице.

Наконец явился Чарли, но он был один.

– С вашей Мэри Бартон, видно, что-то приключилось, – заметил он, обращаясь к Джобу. – Ни на одной пристани никто о ней ничего не слышал, а лодка, на которой она поехала, сказал мне Боурн, была из Чешира. Так что до завтрашнего утра мы о ней ничего не узнаем.

– Завтра она в девять утра должна быть в суде, чтобы давать показания, – уныло произнес Джоб.

– Так она и мне говорила, – если и не так, то что-то вроде этого, – заявил Чарли, которому не терпелось услышать побольше, но Джоб молчал.

Что делать дальше – он не знал, а потому встал и, поблагодарив миссис Джонс за гостеприимство, вышел на улицу. Там он остановился, раздумывая, что же могло произойти.

Затем он тихонько побрел в направлении того дома, где он оставил миссис Уилсон. Ничего другого не оставалось, но шел он медленно, от души надеясь, что горе и усталость вконец измучили миссис Уилсон и она заснет до его прихода, так что ему не придется отвечать на ее вопросы.

Он осторожно вошел в дом, где его поджидала сонная хозяйка, которой было сказано, что он вернется с девушкой и что эта девушка разделит постель со старушкой.



Но со сна она ничего не видела и, зажигая свечу (чтобы дремать у камина свет не нужен, объяснила она), уронила что-то на пол, и из задней комнатки тотчас послышался голос миссис Уилсон:

– Кто там?

Джоб промолчал и даже затаил дыхание в надежде, что она решит, будто ей это послышалось. Но хозяйка, не слишком об этом заботившаяся, уронила щипцы, которые громко зазвенели, после чего она принялась извиняться, и миссис Уилсон убедилась, что слух не обманул ее и что Джоб вернулся.

– Джоб! Джоб Лег! – взволнованно позвала она.

«О господи! – подумал Джоб, нехотя направляясь к двери в ее спальню. – Неужели так уж грешно будет, если я сейчас немножко привру? Она, может, хоть заснет, а то ведь сколько предстоит ей бессонных ночей, если завтра дело плохо обернется. Словом, попробую».

– Джоб, это вы там? – снова спросила она дрожащим от нетерпения голосом.

– Ну, конечно. Я просто думал, что вы уже спите.

– Сплю?! Да разве я могу заснуть, пока не узнаю, нашли ли Уилла?

«Ну, мужайся», – прошептал про себя Джоб, и вслух сказал:

– Все в порядке! Он нашелся, целый и невредимый, и завтра явится в суд.

– И докажет это... как это там называется? Он подтвердит, что Джем был с ним? Ох, Джоб, да говорите же! Скажите мне все!

«Сказал «а», говори и «б», – подумал Джоб. – Что один грех замаливать, что несколько. Хочешь – не хочешь, а надо продолжать».

– Да, да, – крикнул он, остановившись у ее двери. – Он все докажет, и Джем выйдет из суда чистеньким, как новорожденный.

Он услышал, как за дверью что-то зашуршало, и догадался, что миссис Уилсон, очевидно, опустилась на колени, а потом до него донесся и ее дрожащий голос вперемежку с радостными всхлипываниями, возносивший благодарность и хвалу господу.

А у него, когда он услышал это, сердце так и заныло: он подумал о том, какой ужасный удар, какое страшное разочарование ждет ее завтра. Он понял, как недаленовидна была его ложь. Но теперь было уже поздно.

Тем временем миссис Уилсон кончила молиться.

– А Мэри? Вы виделись с нею у миссис Джонс, Джоб?-продолжала она свой допрос.

Он тяжело вздохнул.

– Да, я застал ее там живую и здоровую, когда пришел во второй раз.

«Господи, прости меня! – пробормотал он. – Кто бы мог подумать, что на старости лет я стану лжецом».

– Да благословит ее господь! Она что, здесь? Почему же она не идет спать? Она ведь, наверно, устала.

Джоб откашлялся, задушив в себе остатки совести, и сказал:

– Она так измучилась от этого своего плаванья, что миссис Джонс предложила ей переночевать у них. Оттуда и до суда рукой подать, а ведь ей там с утра надо быть.

«Лиха беда начало, а дальше все идет как по маслу, – проворчал себе под нос Джоб. – Видно, прародитель лжи помогает человеку: я так лихо вру, точно говорю чистейшую правду. Ну, теперь она успокоилась. И то хорошо. Пойду-ка я скорее, пока сатана вместе с нею не принялся за меня снова».

И он вернулся в парадную комнату, где усталая хозяйка поджидала его. Муж ее давно уже лег и заснул.

Однако Джоб все еще не решил, что делать дальше. В таком смятенном состоянии духа он не мог бы заснуть, даже если бы его уложили в лучшую кровать Ливерпуля.

– Позвольте мне посидеть здесь в кресле, – сказал он наконец хозяйке, которая стояла, дожидаясь, когда он уйдет.

Они были давно знакомы, и она охотно дала ему это разрешение. Да и вообще ей так хотелось спать, что она не смогла бы отказать ему, даже если б и захотела. Она рада была уже тому, что бдению ее пришел конец.

## ГЛАВА XXXI

### О ТОМ, КАК МЭРИ ПРОВЕЛА ЭТУ НОЧЬ

Подумать только,  
Что эта нескончаемая ночь,  
Терзавшая меня двумя словами:  
«Виновен!», «Невиновен!» – пронеслась  
Над многими мгновением счастливым,  
Не потревожив их блаженных снов  
О счастье завтрашнем. И их дыхание  
Спокойным было в сладком забытии.  
Но все виденья беспощадной смерти  
Прошли передо мной!  
Уилсон. [\[117\]](#)

Ну, а где же была Мэри?

Одна из забот, отягчавших душу Джоба, сразу бы исчезла, если б он мог ее увидеть. А он очень тревожился о Мэри и не раз за эту долгую ночь ругал ее и себя: ее – за упрямство, а себя – за слабость, за то, что уступил ее упрямству, позволив ей одной отправиться на розыски Уилла.

Она, как и Джоб, провела эту ночь не в постели, но под крышей у почтенных и добрых, хотя и грубоватых людей.

Она покорно пошла со старым лодочником, когда он схватил ее за руку и повел через лабиринт тюков, загромождавших пристани, а потом по каким-то темным проулкам. Она послушно следовала за ним, даже не замечая в своем странном отупении, куда они идут, но все же испытывая подобие радости, что кто-то принимает решения за нее.

Он привел ее к ветхому домику, совсем крошечному, построенному давным-давно, задолго до остальной части этой шумной улочки, и сохранившему деревенский вид. Старик ввел Мэри в комнату и, наконец избавившись от страха потерять ее где-нибудь по дороге, хлопнул ее по спине и сказал:

– Вот мы и пришли!

Переступив через порог чистенькой, ярко освещенной комнаты, Мэри

очнулась от своего оцепенения (возможно, этому помог и удар по спине) и почувствовала себя очень неловко при виде старушки, хлопотавшей у очага: ну как объяснить ей свой приход! А лодочник, не снизойдя до объяснений, преспокойно уселся в кресло и принялся жевать табак, с чрезвычайно довольным видом поглядывая на Мэри, – во взгляде его читалось торжество, словно он полонил ее силою оружия, и одновременно вызов, словно он хотел сказать ей: а ну-ка попробуй убеги!

Старушка стояла неподвижно с кочергой в руке, дожидаясь, чтобы муж наконец сказал ей, кого он так неожиданно привел к ним в дом, но пока она с удивлением разглядывала гостью, щеки девушки вдруг залила краска, потом она смертельно побледнела, перед глазами ее поплыл туман, жарко натопленная комната закружилась, и, не успев ухватиться за буфет, она рухнула на пол.

Старик и его жена бросились к ней на помощь. Они приподняли бесчувственное тело, старик положил голову девушки себе на колено, а жена его засемила за холодной водой. Она выплеснула всю кружку в лицо Мэри, но, хотя та судорожно вздохнула, глаза ее не открылись, а щеки не утратили землисто-серого оттенка.

– Кто это, Бен? – спросила старушка, растирая безжизненные руки Мэри.

– А я откуда знаю? – буркнул ее муж.

– Да ладно уж, ладно, – сказала она примирительным тоном, каким говорят с раскапризничавшимися детьми, и словно обращаясь к самой себе, – просто я подумала, что раз ты привел ее в дом, то уж, наверно, знаешь, кто она такая. Да чего тут рассуждать, когда ей, бедняжке, помочь надо. Жаль, что солей моих тут нет: я отдала флакончик миссис Бэртон в прошлое воскресенье, когда мы были в церкви, а то она засыпала во время проповеди. О господи, до чего же она бледная!

– Ну-ка поддержи ее немножко, – сказал муж.

Она выполнила его просьбу, продолжая что-то бормотать и не обращая внимания на его отрывистые восклицания, ибо самые резкие его слова были словно жемчуг и брильянты для ее старого любящего сердца, – ведь она вышла за него замуж еще совсем молодой; да и он, несмотря на свою грубость и ворчливость, втайне с удовольствием прислушивался к ее голосу, хотя ни за что на свете не выдал бы любви, скрывавшейся под его суровой внешностью.

– Чего это мой старик надумал? – говорила она, склоняясь над Мэри и кладя ее голову себе на колени. – Зачем это он берет мое перо, которое мне вот уже пять лет служит! Господи, спаси и помилуй, он никак решил

спалить его! Да нет, это он хорошо придумал: запах паленых перьев живо человека в чувство приводит. Но она, бедняжка, все никак не очнется. А теперь-то что же он решил? И умница же мой старик! А я-то и не подумала об этом! – воскликнула она, когда старик вытащил из буфета, стоявшего в углу комнатки, пузатую бутылку с контрабандной водкой, называвшейся «Голденвассер» [\[118\]](#)

– Ну и хватит! – сказала она, когда ее муж влил Мэри в рот столько водки, что она вздрогнула и закашлялась. – Ну что за человек! Всегда такой нежный и внимательный!

– Еще чего скажешь! – буркнул он, радуясь тому, что щеки Мэри порозовели, а глаза открылись и смотрели на него удивленно и осмысленно. – Ничего подобного! Никогда я раньше не валял такого дурака.

Его жена помогла Мэри подняться и усадила ее в кресло.

– Ну, полегчало вам, барышня? – озабоченно спросил лодочник.

– Да, сэр, благодарю вас. Право, сэр, я и не знаю, как благодарить вас, – робко произнесла Мэри.

– Да провались ты со своей благодарностью!

Потянувшись, он взял трубку и вышел, не произнеся больше ни слова и так и не объяснив совсем озадаченной старушке, кого и зачем он привел к ней.

Мэри проводила лодочника взглядом, а когда он ушел, грустно посмотрела на хозяйку дома и попыталась встать, чтобы уйти, а куда – она и сама не знала.

– Нет, нет! Кто бы ты ни была, я не могу отпустить тебя на улицу: ты еще слишком слаба. Может, – слегка понизив голос, продолжала старушка, – ты и непутевая какая-нибудь. Да тут и сомневаться нечего: больно ты хорошенькая. Ну да ладно! Такие-то и отчаиваются – ведь человека хорошего быстро не сломишь: он уповает на господа. Только грешники таят тяжкое-претяжкое горе в сокрушенном сердце. Их, бедных, и надо прежде всего жалеть, им и надо помогать. Сегодня она из этого дома не уйдет, кто бы она ни была, – хоть самая скверная женщина на весь Ливерпуль, я ее не отпущу. Знать бы только, где старик ее подобрал, – оно бы и лучше было.

Мэри, преодолевая слабость, выслушала этот монолог и теперь попыталась удовлетворить любопытство старушки, хотя голос ей плохо повиновался.

– Право, сударыня, я порядочная девушка. Ваш муж возил меня догонять отплывший корабль. На этом корабле уехал человек, который на

завтрашнем суде может спасти жизнь обвиняемого. Капитан не отпустил его, но он сказал, что все равно приедет на лоцманской лодке.

И Мэри разрыдалась при мысли о крушении своих надежд, а старушка принялась утешать ее, произнеся для начала свое обычное:

– Да ладно уж, ладно! Приедет он, конечно, приедет. Я знаю, что приедет, так что не падай духом. Не терзайся. Он наверняка приедет.

– Нет, я боюсь, я очень боюсь, что не приедет! – воскликнула Мэри, которую, однако, слова старушки несколько успокоили, хотя она и понимала, что та говорит наобум.

А хозяйка, продолжая разговаривать – частично сама с собой, а частично с Мэри, приготовила тем временем чай и пригласила гостью подкрепиться. Но Мэри покачала головой, отказываясь от еды, и лишь с жадностью выпила чашку чаю. Выпитая водка словно опалила ее, мысли и чувства приобрели мучительную остроту и ясность, а голова отчаянно болела.

Ей не хотелось говорить, – казалось, она утратила всякую власть над словами. Она намеревалась сказать одно, а говорила совсем другое. Поэтому она молчала, в то время как миссис Стэрджис (так звали хозяйку) без умолку болтала, убирая со стола чайную посуду и суетясь по комнате, отчего у Мэри еще больше кружилась голова. Она понимала, что ей надо бы попрощаться и уйти. Но куда?

Тут вернулся старик – он сердился и ворчал пуще прежнего. Пинком ноги он отшвырнул в сторону сухие туфли, которые приготовила ему жена, и огрызался на любые ее слова. Мэри приписала это своему присутствию в доме и, собравшись с силами, решила уйти. Но она ошиблась. Немного погодя старик промолвил (глядя в огонь и как бы обращаясь к нему):

– Ветер-то им как раз встречный!

– Да что ты говоришь? Неужто? – воскликнула жена, которая, хорошо изучив характер мужа, знала, что его ворчливость скрывает затаенное сочувствие. – Ладно уж, ладно. Ветер за ночь сколько раз переменится. А времени до утра хоть отбавляй. Бьюсь об заклад на пенни, что он уже переменился с тех пор, как ты проверял.

Она поглядела из окошка на флюгер, поблескивавший в лунном свете, и, будучи женою моряка, сразу признала, что он неподвижно указывает самое нежелательное направление ветра; испустив глубокий вздох, она отвернулась от окна и стала соображать, как бы еще утешить мужа и гостью.

– А никто другой не может доказать того, что вам надобно, на завтрашнем суде? – спросила она.

– Никто! – ответила Мэри.

– И вы не знаете, кто на самом деле виноват, если тот, другой, ничего дурного не сделал?

Мэри промолчала, но по ее телу пробежала дрожь.

Стэрджис заметил это.

– Не допекай ты ее своими расспросами, – сказал он жене. – Надо уложить ее в постель – она вся продрогла на морском ветру. А я послежу за ветром, черт бы его побрал, по флюгеру. Когда прилив начнется, им будет легче.

Мэри пошла наверх, бормоча слова благодарности и благословляя тех, кто приютил чужого человека. Миссис Стэрджис провела ее в комнатку, где все говорило о морских путешествиях и далеких странах. Там стояла узкая кровать сына, отправившегося в Китай, и висел гамак другого сына, которого трепал сейчас шторм в Балтийском море. Простыни, казалось, были сделаны из парусины, но, несмотря на бурый цвет, отличались свежестью и чистотой.

К стене были приклеены два неумелых рисунка, изображавших корабли, – внизу были подписаны их названия; взор матери тотчас устремился на них, и глаза ее наполнились слезами. Но она смахнула их тыльной стороной руки и почти весело принялась уверять Мэри, что постель хорошо проветрена.

– Спасибо, но я все равно спать не буду. Я посижу здесь, если позволите, – сказала Мэри, опускаясь на подоконник.

– Ну, нет, – заявила миссис Стэрджис, – хозяин наказал мне уложить вас в постель – я и уложу. Чего вы будете высматривать? Если стоять над горшком, он нипочем не закипит, а вы, видно, решили следить за флюгером. Я, к примеру, никогда на него не смотрю, потому что стоит на него поглядеть, уже ничего другого делать не станешь. А ведь как у меня сердце падает, когда ветер крепчает, но я отворачиваюсь от флюгера и занимаюсь своими делами, а про ветер стараюсь не думать – думаю только про то, что делаю.

– Позвольте мне немного посидеть, – взмолилась Мэри, понимая, что хозяйка решила непременно уложить ее в постель.

Вид у нее был такой жалобный, что та сдалась.

– Ну, уж так и быть. Только попадет же мне за это внизу! Он не успокоится, пока вы не ляжете, – это уж точно. Так что если не хотите ложиться, сидите тихо.

И Мэри тихонько, не шевелясь, просидела всю ночь напролет, глядя на неподвижный флюгер. Она сидела на узком подоконнике, придерживая

рукой занавеску, защищавшую комнату от яркого лунного света, прислонясь усталой головой к оконной раме; глаза у нее жгло, и веки горели от напряжения.

Румяная заря занялась над горизонтом, и розовый ее отсвет проник в комнату.

Настало утро того дня, на который назначен был суд.



## ГЛАВА XXXII

### СУД. ПРИСЯЖНЫЕ РЕШИЛИ: «НЕ ВИНОВЕН!»

Здесь ты обвинен  
В том, что преступно, дерзко посягнул  
На божии высокие права,  
Стремлениями низкими своими  
Определяя ближних жизнь и смерть.  
Неистойой, стремительною сталью  
Ты проливал без колебанья кровь,  
Которой в жилах течь и течь... Название  
Тебе одно: разящим, страшным словом  
Ты должен быть навеки заклеимен -  
Ты гнусный и безжалостный убийца.  
*Милмен, «Фазио».* [\[119\]](#)

Из всех, кто провел эту ночь в мучительной тревоге, тяжелее всего было, пожалуй, бедному отцу убитого юноши. Он почти перестал спать с тех пор, как его поразил этот удар, а если и забывался беспокойной дремотой, то и во сне терзался мыслями, преследовавшими его в часы бодрствования.

А в эту ночь он и вовсе не сомкнул глаз. Снова и снова принимался он вспоминать, все ли сделано для того, чтобы добиться осуждения Джема Уилсона. Он уже чуть ли не жалел о том, что так торопил со слушаньем дела, и все же он чувствовал, что, пока не свершится его месть, не будет для него покоя на земле (правда, про себя он вряд ли называл это «мечью», а говорил о торжестве справедливости и, вероятно, даже мысленно прибегал к этому выражению для обозначения того, о чем так страстно мечтал), не будет покоя ни телу его, ни душе, ибо он метался по спальне, как зверь в клетке, и, если уставшие ноги заставляли его на минуту присесть, он весь начинал дергаться, словно в конвульсиях, и снова принимался ходить: ему легче было сносить усталость, казавшуюся наименьшим из зол.

Как только забрезжил рассвет, им овладела неудержимая жажда деятельности; он поехал к своему адвокату и принялся терзать его новыми

наставлениями и расспросами, а потом сел и с часами в руках стал дожидаться открытия суда и начала процесса.

Что значили для него все живые – и жена и дочери – что значили они по сравнению с мертвецом, – ведь мертвый сын все еще ждал погребения согласно воле отца, который чуть ли не дал обет предать тело земле лишь после того, как убийце его дитяти будет вынесен смертный приговор.

В девять часов все сошлись в страшном месте, где им надлежало встретиться.

Судья, присяжные, мститель, заключенный, свидетели – все собрались в здании суда. Но, кроме них, пришло немало и других людей, интересовавшихся исходом дела, хотя и не принимавших участия в процессе, – Джоб Лег, Бен Стэрджис и еще несколько человек, в том числе и Чарли Джонс.

Все утро Джоб Лег старательно избегал расспросов миссис Уилсон. Да, собственно говоря, она почти его и не видела, так как он спозаранку ушел узнать, не вернулась ли Мэри. А когда он не услышал о ней ничего нового, то с отчаяния решил не открывать своего обмана миссис Уилсон, ибо горе всегда успеет прийти, и уж если удара не избежать, пусть лучше она как можно дольше не знает о нависшей над ней беде, и миссис Уилсон вошла в комнату для свидетелей измученная, грустная, но не встревоженная.

Джоб пробирался сквозь толпу в зале суда, когда писец мистера Бриджнорса знаком подозвал его к себе.

– Вам письмо от нашего клиента!

Джоб взял письмо в руки, и у него упало сердце. Неизвестно почему он боялся, что оно содержит страшное признание вины, а тогда конец надежде.

Письмо гласило:

«Дорогой друг, От души благодарю Вас за Вашу доброту – за то, что Вы нашли мне адвоката, только мне адвокаты не могут помочь, хоть они, наверно, и помогают другим людям. Все равно я премного Вам обязан, дорогой друг. Предвижу, что все обернется против меня – да и не удивительно. На месте присяжных я бы тоже признал виновным человека, против которого столько улик, сколько будет представлено завтра против меня. Поэтому нельзя осуждать их, если они так и поступят. Но думается, мне нет нужды говорить Вам, Джоб Лег, что я не повинен в этом деле, хоть и не в моих силах это доказать. Если б я не верил, что Вы считаете меня невиновным, я не стал бы обращаться к Вам с просьбами. Вы, конечно, не

забудете, что это просьбы человека, обреченного на смерть. Дорогой друг, позаботьтесь о моей матери. Я говорю не о деньгах – их ей и тете Элис хватит, но позвольте ей беседовать с Вами обо мне и видеть, что (как бы там ни думали все остальные) Вы, во всяком случае, считаете меня погибшим безвинно. Думаю, что и она скоро последует за всеми нами. Будьте ласковы с ней, Джоб, ради меня, и если, случится, она начнет ворчать, вспомните, через что ей пришлось пройти. Я знаю, мама – да благословит ее господь! – никогда не усомнится во мне.

Есть еще одна женщина, которую, боюсь, я слишком сильно любил, но любовь к ней составляла радость всей моей жизни. Она будет думать, что я убил ее возлюбленного; будет думать, что я причинил ей это горе. Но пусть она думает так и дальше. Тяжело мне это говорить, но пусть она так думает. Это будет лучше для нее, а ни о чем другом я не забочусь. Дорогой Джоб, человек Вы крепкий и проживете еще много лет, но когда почувствуете, что конец Ваш близок, может быть, Вы скажете ей то, в чем я торжественно заверяю Вас сейчас: я в этом деле не виновен. Вы еще много лет не должны ей об этом говорить, но мне невыносимо думать, что всю свою долгую жизнь она будет ненавидеть меня как убийцу ее возлюбленного и что она умрет с этой ненавистью в сердце. Очень мне будет тяжело на том свете видеть выражение ее лица, каким оно будет, пока ей не скажут этого. Я не позволяю себе думать о том, каким кажусь ей сейчас.

Да благословит Вас бог, Джоб Лег, и это последние слова  
Вашего покорного слуги  
Джеймса Уилсона»

Прочитав письмо, Джоб повертел его в руках, глубоко вздохнул, затем тщательно завернул в обрывок газеты, положил в карман жилета и направился к двери комнаты для свидетелей, чтобы осведомиться, пришла ли Мэри Бартон.

Когда дверь отворилась, он увидел Мэри – она сидела у стола, положив на него скрещенные руки и уткнувшись в них головой. В ее позе было такое отчаяние, что Джоб окаменел и сердце у него заныло, а тут еще до него донеслись отчаянные всхлипывания и горькие причитания миссис Уилсон, поведавшие ему яснее слов (из двери ее не было видно, а Джобу не хотелось заходить внутрь), что она рассталась с надеждами, которые он вселил в нее прошлым вечером, – во всяком случае, с частью из них.

Ни миссис Уилсон, ни Мэри не заметили Джоба, и он, глубоко огорченный, вернулся в зал суда.

Собравшись немного с мыслями и заставив себя сосредоточиться, он

понял, что сейчас должен начаться суд над Джеймсом Уилсоном, подозреваемом в убийстве Генри Карсона. Секретарь быстро и невнятно прочел обвинительное заключение, и раздался обычный вопрос:

– Признаете ли вы себя виновным?

Хотя ответ мог быть только один, ибо во всех случаях следует именно такой ответ, в зале воцарилась торжественная тишина, даже как-то не вязавшаяся с этой процедурой, которая, по сути, была лишь пустой формальностью. Обвиняемый стоял у барьера скамьи подсудимых сжав губы и глядел на судью, в то время как перед его умственным взором проносились совсем иные, не похожие на то, что он сейчас видел, картины; в одно мгновение он вспомнил всю свою жизнь: вспомнил детство... отца (так гордившегося им, своим первенцем)... Мэри – милую девочку, с которой он играл, развлекая ее... свои надежды и свою любовь... свое отчаяние и свою неумирающую, несмотря ни на что, любовь... огромный пустой мир без ее любви... свою мать... мать, лишившуюся всех своих детей... но недолго... недолго быть ей без любимых... недолго сомневаться в его невиновности, хотя она уверена, убеждена в этом... Он вздрогнул, очнувшись от раздумий, и тихо, но твердо произнес:

– Нет, не признаю, милорд.

Обстоятельства, при которых произошло убийство; то, как было обнаружено тело; причины, в силу которых подозрение пало на Джема, – все это было известно большинству присутствовавших не менее подробно, чем вам, читатель, а потому в зале стоял легкий гул голосов все время, пока прокурор произносил свою весьма убедительную речь.

– Вон там, позади адвоката Уилкинсона, сидит мистер Карсон, отец убитого!

– Какой благородный старец! Какое классически правильное лицо, суровое, непреклонное! Он вам не напоминает некоторые бюсты Юпитера?

[\[120\]](#)

– Меня куда больше интересует обвиняемый. Преступники меня всегда интересовали. Я пытаюсь отыскать в их лицах печать злодейства, отличающую их от обычных людей. В свое время я видел немало убийц, но еще не встречал человека, в такой мере отмеченного печатью Каина, как обвиняемый.

– Я, конечно, не физиономист, но его лицо не кажется мне порочным. Оно, бесспорно, мрачно и исполнено отчаяния, но ведь это естественно, принимая во внимание его положение.

– Да вы только взгляните на этот низкий упрямый лоб, на эти опущенные глаза, на белые сжатые губы. Понаблюдайте за ним: он сидит

не поднимая глаз.

– Лоб у него кажется низким только из-за того, что на него падают эти густые пряди темных волос, – а так он имеет как раз ту правильную форму, которую некоторые считают хорошим признаком. Если и на всех остальных такие пустяки могут произвести то же впечатление, что и на вас, тюремному цирюльнику следовало бы до суда остричь ему волосы; что же до опущенных глаз и сжатых губ, то это от волнения и никакого отношения к его характеру не имеет, мой дорогой.

Бедный Джем! Неужели даже его черные, как вороново крыло, волосы (которыми его мать так гордилась и которые так часто любила ласково перебирать пальцами) свидетельствуют против него?

Вызвали свидетелей. Сначала это были по преимуществу полицейские, которые привыкли давать показания, знали, о чем им нужно говорить, и не тратили зря время на изложение излишних подробностей.

– Все говорит против обвиняемого – ясно как день, – шепнул один из адвокатских писцов другому.

– Вы хотите сказать, что для него все темно как ночь, – сострил его приятель, и оба улыбнулись.

– Джейн Уилсон! Это кто же? Судя по фамилии, очевидно, родственница.

– Мать. Она должна подтвердить насчет пистолета.

– Ах да... Помню! Нелегко ей это, наверно.

Тут оба умолкли, ибо один из приставов подвел миссис Уилсон к месту для свидетелей. Я часто называла ее «старушка», потому что она выглядела очень старой. На самом деле ей было немногим больше пятидесяти лет, однако несчастье, случившееся с ней в юности и оставившее на ее лице неизгладимый след, сварливый характер, пережитое горе, хромота – все это преждевременно состарило ее. Но сейчас ей можно было дать даже больше семидесяти – такие глубокие морщины прорезали ее заострившееся лицо, так неуверенна была ее походка. Она сдерживалась, чтобы не разрыдаться, и (подсознательно) старалась вести себя так, чтобы не огорчить своего бедного мальчика, который нередко страдал от ее раздражительности. А он сидел, положив руки на барьер и уткнувшись в них лицом (поза, которую он сохранял на протяжении большей части суда и которая многих восстановила против него).

Прокурор начал допрос:

– Вас зовут Джейн Уилсон, если не ошибаюсь?

– Да, сэр.

– Вы мать обвиняемого?

– Да, сэр, – ответила она дрожащим голосом и чуть не расплакалась, но, сделав над собой усилие, снискавшее ей всеобщее уважение, она все же сдержалась, побуждаемая, как я уже говорила, страстным желанием не огорчать сына.

Прокурор приступил теперь к важной части допроса, долженствовавшей подтвердить, что пистолет, обнаруженный на месте убийства, принадлежал обвиняемому. Миссис Уилсон в разговоре с полицейским опознала его настолько решительным образом, что уже не могла взять своих слов назад; итак, пистолет был принесен и предъявлен суду.

– Этот пистолет принадлежит вашему сыну, не так ли?

Миссис Уилсон сжала барьер, стараясь заставить язык повиноваться. Наконец она простонала:

– Ах, Джем, Джем, что же мне сказать?

Все подались вперед, чтобы лучше расслышать ответ обвиняемого, хотя ответ его мало что мог изменить. Он поднял голову – на лице его была написана величайшая жалость к матери и в то же время решимость выдержать до конца. Он сказал:

– Говорите правду, мама!

И она послушалась с покорностью ребенка. Никто не усомнился в том, что она говорила правду, и этот короткий диалог между матерью и сыном слегка изменил к лучшему мнение присутствующих о нем. Но это ничуть не тронуло страшного судью; ни один мускул не дрогнул на лицах присяжных, а прокурор умело выделил все, что говорило против обвиняемого, – в том числе и тот факт, что в ночь убийства Джема не было дома.

Допрос наконец окончили и миссис Уилсон сказали, что она может идти. Но, не в силах сдерживать дольше свои материнские чувства, она вдруг повернулась к судье (от которого, как она полагала, зависел вердикт) и прерывающимся голосом сказала:

– Так вот, сэр, я сказала вам правду, истинную правду, как он мне велел. Но неужели слова мои приведут его на виселицу? Ах, милорд, клянусь вам, он не виновен. Уж конечно, я, его мать, которая вынянчила его на этих руках и каждый день радовалась, глядя на него, знаю его лучше, чем все эти люди, – сказала она, указывая на присяжных и изо всех сил стараясь ради своего дорогого сына отчетливо и ясно произносить слова, – ведь они, могу поручиться, до сегодняшнего дня ни разу в жизни не видели его. Милорд, он у меня такой хороший, что я частенько спрашивала себя, есть ли в нем вообще что-нибудь плохое. Начну, бывало, на что-нибудь

ворчать (а я частенько ворчу) и тут же попрекну себя: «Неблагодарное ты существо, скажу, господь дал тебе Джема, неужто тебе этого мало». А теперь господь решил покарать меня. Если Джема... Если Джема отнимут у меня, я останусь совсем одна и очень буду несчастна, потому что некого мне будет любить на этой земле, а потому не могу я сказать: «Да будет воля его». Не могу, милорд, никак не могу.

И, произнеся эти слова, она разрыдалась; судебные приставы подхватили ее под руки и вывели из зала, но осторожно и почтительно, ибо большое горе всегда внушает уважение.

А поток улик все ширился, подкрепляемый каждым новым свидетелем, и, набирая силы, грозил захлестнуть бедного Джема. Уже было доказано, что пистолет принадлежал ему, что за несколько дней до убийства он угрожал покойному, что полиции даже пришлось тогда вмешаться, чтобы предотвратить драку. Оставалось только выяснить, что же послужило побудительной причиной для такой угрозы и для убийства. Объяснение этого заключалось в показаниях полицейского, который слышал гневный разговор Джема с мистером Карсоном; его-то отчет об этом разговоре и привел к тому, что Мэри была вызвана в суд.

И сейчас Мэри предстояло выступить в качестве свидетельницы. Зал суда к этому времени уже был набит до отказа, и у всех дверей толпились люди, жаждавшие проникнуть внутрь, ибо многим хотелось присутствовать при этой части процесса.

Сердце у старика Карсона учащенно забилося при мысли о том, что он сейчас увидит роковую Елену, <sup>[121]</sup> причину всех бед; она интересовала его – ведь покойный ее любил, – и в то же время старик не желал ее видеть. А впрочем, может быть, она по-своему любила того, по ком он так горюет, и тоже оплакивает его? И все же он чувствовал, что ненавидит ее и ее красоту, о которой столько говорят; она казалась ему ниспосланным на его голову проклятьем, он ревновал к ней сына, которому она сумела внушить такую любовь, и если б это от него зависело, то он лишил бы ее даже права скорбеть о безвременно погибшем возлюбленном (ведь, по мнению всех, она была влюблена в красивого, блестящего, веселого, богатого молодого джентльмена, а не в серьезного, даже сумрачного кузнеца, который трудился день-деньской, чтобы заработать себе на хлеб).

До сих пор судебное разбирательство шло так, как только мог желать мистер Карсон, и на лице мстителя – на лице, с которого навсегда исчезла улыбка, – появилось мрачное удовлетворение.

Все взоры обратились в сторону двери, откуда появлялись свидетели. Даже Джем поднял голову, чтобы успеть взглянуть на Мэри и тут же вновь

отвернуться, прежде чем в ее взоре отразится отвращение. Судебный пристав отправился за ней.

Она сидела в той же позе, что и два часа тому назад, когда Джоб Лег увидел ее в приоткрытую дверь. Она словно застыла. Пристав позвал ее, но она не шелохнулась. Она сидела до того неподвижно, что он подумал, уж не заснула ли она, и, подойдя к ней, дотронулся до ее руки. Она тотчас поднялась и быстрым шагом проследовала за ним в зал суда, на свидетельское место.

И среди всего этого моря лиц, которые расплывались перед ней как в тумане, она отчетливо и ясно увидела лишь два – лицо судьи, которому, возможно, предстоит вынести смертный приговор, и лицо обвиняемого, которому, возможно, предстоит умереть.

Солнечный свет струился сквозь высокое окно над ее головой и падал на пышную массу золотых волос, которые она с трудом засунула под маленький чепец; в этих теплых солнечных лучах кружились, пританцовывая, пылинки. Ветер переменялся – переменялся почти сразу после того, как она перестала следить за ним. Ветер переменялся, а она этого не знала.

Многие, кого интересовала лишь плотская красота, были разочарованы, ибо застывшее лицо девушки было смертельно бледно, а из глубины мягких, бездонных синих глаз смотрела исстрадавшаяся, смятенная душа. Но нашлись такие, кто увидел в этом лице возвышенную, необычную красоту – красоту, которая запоминается на многие годы.

Сама я не присутствовала на суде, но человек, который там был, рассказывал мне, что ее глаза, да и все лицо будто сошли с картины Гвидо Рени «Беатриче Ченчи». [\[122\]](#) Он добавил, что это лицо преследует его, словно печальная мелодия, слышанная в детстве, и он то и дело вспоминает немую мольбу и отчаянье, написанные на нем.

Зал суда продолжал плавать в тумане перед ее глазами (по-прежнему за исключением тех двух страшных лиц), но она услышала чей-то голос и машинально, словно во сне, ответила на какой-то простой вопрос (кажется, ее спросили, как ее зовут). Затем она ответила еще на два-три вопроса, не переставая с удивлением спрашивать себя, неужели все это – правда, а не кошмар, рожденный ее воображением.

Внезапно она словно очнулась, сама не зная как и почему. Она поняла, что все происходящее вполне реально, что сотни людей смотрят на нее, что ее заставляют произносить какие-то правдоподобные предположения, что человек, сидящий, закрыв руками лицо, в самом деле Джем. К лицу ее прилила краска, затем оно побелело еще больше, чем прежде. Боясь за себя,



боясь за сохранность своей ужасной тайны, она прилагала все силы, стараясь понять, что происходит, о чем ее спрашивают и что она отвечает. И вот, неимоверно напрягая все свои чувства и способности, она услышала очередной вопрос развязного молодого юриста, необычайно довольного тем, что ему приходится допрашивать эту свидетельницу.

– Могу ли я спросить, кого же из своих поклонников вы предпочитали? Вы говорите, что были знакомые обоими молодыми людьми. Кого же из них вы предпочитали? Кто вам больше нравился?

Да кто же он, этот человек, осмеливающийся так бесцеремонно касаться самых сокровенных тайн ее сердца? Как он смеет спрашивать ее перед таким великим множеством людей о том, о чем женщина, краснея, со слезами на глазах, лишь после долгих колебаний шепчет на ухо одному-единственному человеку?

Поэтому Мэри на секунду возмущенно нахмурилась и в упор посмотрела прямо в глаза дерзкому юристу. Но в эту минуту она увидела, как тот, кто сидел там, за ним, отнял руки от лица, и в его взгляде она прочла столько любви и горя и такой страх перед ее ответом, что она тотчас приняла решение. Важно то, что происходит сейчас, – будущее сокрыто черной завесой, – о нем страшно даже подумать, но сейчас она может искупить свою вину, сейчас она может даже признаться в своей любви. Сейчас, когда ее любимого презирают все, женский стыд не помешает ее признанию. И она повернулась к судье – отчасти, чтобы подчеркнуть, что ее ответ предназначен не обезьяне, которая спрашивала ее, а отчасти, чтобы ее не видел тот, кто сидел, парализованный страхом, ожидая ее ответа, и чтобы самой не видеть его.

– Он спрашивает, который из двух мне больше нравился. Может, раньше мне и нравился мистер Гарри Карсон – не знаю, не помню, но любила я Джеймса Уилсона, которого судят сейчас, так любила, что и сказать не могу, – больше всего на свете. А теперь еще больше люблю, хотя он об этом ничего не знает. Видите ли, сэр, моя мать умерла, когда мне не было еще и тринадцати лет и я как следует не понимала, что хорошо, а что плохо. Я была пустоголовой, тщеславной девчонкой и гордилась своей красотой, а тут я понравилась бедному мистеру Карсону, и он признался мне в любви, а я, дурочка, решила, что он собирается жениться на мне, – девушке трудно жить без матери, сэр. Вот я и представляла себе, как я стану знатной и богатой дамой и буду жить, не зная больше нужды. А как горячо я люблю Джеймса Уилсона, я поняла только, когда он сделал мне предложение. Я очень жестоко и резко отказала ему (потому как, сэр, мне в ту пору очень тяжело приходилось), а он поверил, повернулся и ушел. И с

того самого дня я ни разу словом с ним не перемолвилась и не видела его, хоть и очень мне хотелось с ним встретиться, чтобы как-то показать ему, что мы оба поторопились: ведь не успел он тогда уйти, как я поняла, что люблю его – люблю больше жизни, – сказала она, понижая голос при этом вторичном признании в силе своей любви. – Но раз этот джентльмен спрашивает меня, которого из двух я больше люблю, то я и отвечаю: ухаживания мистера Карсона были мне приятны, комплименты его доставляли мне удовольствие, но Джеймса Уилсона... я...

И она закрыла руками лицо, чтобы скрыть жгучий румянец, заливший ее щеки и даже просвечивавший сквозь пальцы.

Наступила недолгая тишина. Если речь Мэри могла внушить жалость к обвиняемому, она в то же время подтверждала его предполагаемую виновность. И прокурор продолжал допрос:

– Но ведь вы виделись с мистером Карсоном после того, как отказали обвиняемому?

– Да, часто.

– И, насколько я понимаю, беседовали с ним?

– Разговаривали мы всего один раз.

– О чем же вы с ним говорили? Сказали вы ему, что с некоторых пор отдаете предпочтение его сопернику?

– Нет, сэр. Думается, я правильно поступила, сказав сейчас, как обстоит дело и что я чувствую, но у меня никогда не достало бы смелости сказать одному молодому человеку, что мне нравится другой. Я никогда не упоминала про Джема при мистере Карсоне. Никогда.

– Так что же вы сказали мистеру Карсону вовремя вашего последнего разговора? Если не помните своих слов, скажите просто, о чем шла речь.

– Постараюсь, сэр, хоть мне и трудно вспомнить все в точности. Я сказала, что не могу полюбить его и не хочу больше его видеть. Он очень уговаривал меня еще подумать, но я отказалась наотрез, а под конец бросилась от него бежать.

– И больше вы с ним ни разу не разговаривали?

– Ни разу!

– Теперь напоминаю вам, что вы присягали говорить только правду. Рассказывали ли вы подсудимому о том, что мистер Гарри Карсон ухаживает за вами? Вообще говорили ли о знакомстве с ним? Пытались ли вызвать его ревность, хвастая столь богатым поклонником?

– Никогда. Я этого никогда не делала – отчетливо и твердо заявила она.

– Знали ли вы, что ему известно об отношении мистера Гарри Карсона к вам? Помните, что вы присягали!

– Нет, сэр. Я не знала об этом до тех пор, пока не услышала про ссору, которая произошла между ними, и про то, что Джем сказал полицейскому, а это было уже после убийства. Я до сих пор никак не пойму, кто мог сказать об этом Джему. Ах, сэр, нельзя ли мне отсюда уйти?

В эту минуту она почувствовала, что силы, которые она на какое-то время сумела в себе найти, внезапно покинули ее и что она теряет власть над собой. Задерживать ее дольше не было надобности – свою роль она сыграла. И ей разрешили уйти. Улик против обвиняемого стало теперь еще больше, но он выпрямился, в позе его появились твердость и сознание собственного достоинства, а на лице читалась такая решимость, что оно выглядело даже благородным. Однако он был погружен в глубокую задумчивость.

Все это время Джоб Лег пытался успокоить и утешить миссис Уилсон, которая осталась было в зале, чтобы смотреть на своего дорогого мальчика, но, не в силах сдержать рыданий, вынуждена была выйти на свежий воздух и, горько всхлипывая, сидела сейчас на ступеньках. Кто позаботился бы о Мэри, когда она сошла со свидетельского места, право, не знаю, не будь здесь миссис Стэрджис, жены лодочника, которая из участия к девушке пришла в суд и теперь стала пробираться к ней сквозь толпу, чтобы уговорить ее уйти.

– Нет! Нет! – сказала она в ответ на предложение миссис Стэрджис. – Я должна быть здесь. Я должна следить за тем, чтобы его не повесили, – вы же понимаете, что должна.

– Да не повесят они его, не бойтесь! К тому же ветер переменился, и это ему на руку. Пойдемте же. Вы такая горячая – и то бледнеете, то краснеете, – наверняка заболели. Пойдемте же.

– Ничего я не знаю, кроме того, что мне нужно быть здесь, – с какой-то странной поспешностью ответила Мэри, хватаясь за перила, словно боялась, что ее могут увести силой.

И миссис Стэрджис осталась терпеливо ждать подле нее, лишь время от времени всматриваясь в море голов, чтобы убедиться, не ушел ли муж. Но он продолжал сидеть, глядя во все глаза и не пропуская ни одного слова. И жена его перестала опасаться, не понадобится ли она ему дома до окончания суда.

Мэри по-прежнему крепко держалась за перила. Ей необходима была какая-то опора, ибо зал ходил ходуном и кружился у нее перед глазами. Ей казалось, что ощущение чего-то твердого в руке помогает ей сосредоточиться, ибо ей стоило таких усилий, таких мучительных усилий понять то, что говорится. Перед ней словно было море, на котором горами

вздымались волны, и все вокруг ныряли на волнах, и все говорили разом, и никто не обращал внимания на ее отца, который просил их замолчать и выслушать его. Потом на какую-то секунду зал перестал колыхаться, и она отчетливо увидела судью в мантии, сидевшего очень прямо и неподвижно, а напротив него – Джема, который смотрел на нее так, точно хотел сказать: «Значит, мне суждено умереть за то, что сделал твой...» Но она тотчас спохватилась и огромным усилием воли заставила себя очнуться. Но мысль невозможно было остановить – она возвращалась в прежнее русло, и с каждым разом у Мэри оставалось все меньше сил сопротивляться надвигающемуся безумию. Она бормотала что-то себе под нос, но никто этого не слышал, кроме ее соседки, миссис Стэрджис, – все были слишком заняты речью прокурора, подводившего итог допросу свидетелей.

Защитник обвиняемого почти не задавал вопросов свидетелям и лишь оставил за собой право вновь их вызвать, – полученные им инструкции были так скупы и туманны, столько зависело от показаний неявившегося свидетеля, что ему пока не на чем было строить защиту, и он лишь наблюдал за ходом дела на случай каких-либо нарушений процедуры, которые дали бы ему возможность вмешаться. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, и с намеренно презрительным видом время от времени брал понюшку табаку, приподнимал брови и обменивался записочками с мистером Бриджнорсом, сидевшим позади него. Мистер Бриджнорс проявлял к делу куда больший интерес, чем защитник, – возможно, благодаря усилиям своего старого знакомого Джоба Лега, умудрившегося пробраться сквозь толпу и подсесть к нему после беседы с Беном Стэрджисом, которому его «представил» Чарли Джонс и от которого он узнал, почему Мэри накануне исчезла, и услышал, как они гнались за кораблем, полные страха и надежды.

Все это Джоб вкратце сообщил мистеру Бриджнорсу – настолько вкратце, что тот почти ничего не понял, уловив лишь то, что надо выиграть время, о чем он тотчас поставил в известность защитника, который уже встал, чтобы начать свою речь.

Теперь, получив некоторое представление о положении дел и сообщив об этом кому следует, Джоб Лег принялся искать глазами Мэри. Наконец он увидел ее – она стояла подле какой-то степенной женщины, раскрасневшаяся и взволнованная; губы ее шевелились, словно она возбужденно что-то говорила, глаза безостановочно блуждали, как бы ища кого-то. Джоб решил, что она ищет его, и стал пробираться к ней. Но она даже не взглянула на него, когда он заговорил с ней, и продолжала дико озираться вокруг. Он стал прислушиваться к ее бормотанию и услышал, что

она снова и снова повторяет одни и те же слова:

– Только бы мне не сойти с ума. Только бы не сойти. Говорят, когда люди сходят с ума, они выбалтывают всю правду, а я лгу, ведь я всегда лгала. Да, да... но я не сумасшедшая. Только бы мне не сойти с ума. Только бы не сойти...

Внезапно она заметила, что Джоб сосредоточенно (с грустным интересом) прислушивается к ее словам, и, резко повернувшись, хотела отчитать его за подслушивание, как вдруг увидела что-то... а вернее, кого-то, кто даже сейчас способен был привлечь ее внимание. И, вскинув руки, она громко, воскликнула:

– Ах, Джем, Джем! Теперь ты спасен! Я схожу с ума! – и упала, сотрясаемая конвульсиями.

Когда Мэри выносили из зала, многие смотрели на нее с жалостью, но внимание большинства присутствующих было отвлечено моряком, который отчаянно протискивался вперед, перепрыгивая через барьеры и скамьи и отталкивая сторожей и полицейских. Приставы пытались воспрепятствовать этому насильственному вторжению, и лишь с большим трудом им удалось заставить нарушителя порядка вести себя спокойнее и дать показания со свидетельского места, как положено. Дело в том, что Уилл столько думал об опасности, которой грозит его отсутствие двоюродному брату, что, видно, даже сейчас опасался, как бы обвиняемого не увели из зала суда и не повесили, прежде чем он успеет сказать то, что может его спасти. Что же до Джоба Лега, то в чувствах его царила полная сумятица, и он даже не испугался, когда лишившуюся чувств Мэри унесли из зала под наблюдением доброй миссис Стэрджис, о которой Джоб ведь совсем ничего не знал.

«Не умрет! Мне сейчас не до нее», – сказал он себе и принялся дрожащей рукой писать записку мистеру Бриджнорсу, который, едва лишь Уилл нарушил страшную тишину суда, сразу понял, что наконец-то (лучше поздно, чем никогда) явился тот свидетель, чьи показания еще могут спасти Джема Уилсона от смерти. И пока в зале царил переполох и раздавались крики, приказания и советы, связанные с появлением Уилла и ужасным припадком, приключившимся с Мэри, мистер Бриджнорс, как и подобает юристу, сохранял полное спокойствие и еще до того, как ему сунули в руку почти неудобочитаемую записку Джоба Лега, успел вспомнить все, что должен был знать Уилл, а также и то, какая погоня была устроена за ним после того, как его корабль отплыл.

Защитник Джема приободрился, получив в свое распоряжение столь интересные факты, которыми можно было эффектно воспользоваться не

столько ради спасения обвиняемого, в чьей непричастности к преступлению он продолжал сомневаться, сколько ради того, чтобы показать свое красноречие: «доблестный моряк возвращается с безбрежного океана, где его разыскала благородная и смелая девушка»; «весьма опасно составлять чересчур поспешное суждение на основании косвенных улик» – и так далее и тому подобное. Тем временем прокурор скрестил руки на груди, поднял брови и вытянул губы дудочкой, словно собирался освистать любые показания этого подкупленного свидетеля, который не боится стать клятвопреступником. Ибо принято считать, что любые показания, противоречащие тем, которые отстаивают за деньги адвокаты, никоим образом не могут считаться истиной и потому такие выражения, как «клятвопреступление», «сговор», «погибель своей бессмертной души» и даже почище, градом сыплются на голову того, кто пытается доказать, что наниматель защитника (а не сам защитник, ибо в таком случае его горячность была бы объяснима) ошибается или не прав.

Однако Уилл, достигнув цели и сообразив, что его рассказ – или по крайней мере часть рассказа – будет выслушан судьей и присяжными, а главное – увидев Джема, который живой и невредимый (хотя, правда, бледный и измученный) стоял перед ним, успокоился и стал ждать допроса с решительным и хладнокровным видом, заставлявшим предполагать, что он будет отвечать подробно и ясно. И он рассказал то, что уже хорошо известно читателю: как под конец отпуска он решил выполнить обещание и навестить дядю, живущего на острове Мэн; как он (по-матросски) растратил все деньги в Манчестере и потому ему пришлось добираться до Ливерпуля пешком, – путешествие это он совершил в ночь убийства вместе со своим другом и двоюродным братом – обвиняемым, который проводил его до Холлинз-Грин. Четко и ясно описал он все, что имело отношение к делу, и вкратце рассказал о том, как его нагнали, когда их корабль уже выходил в море, и какая мучительная тревога терзала его, когда встречный ветер мешал плыть лоцманской лодке. Присяжные почувствовали, что их решение (которое было уже почти принято полчаса тому назад) поколеблено; озадаченные услышанным, они растерялись и потому чуть ли не с радостью увидели, как прокурор, грозно нахмурившись, поднялся, чтобы обрушить громы и молнии на показания, столь противоречащие всему, что говорилось раньше. Но если таково было первое подсознательное чувство, овладевшее кое-кем из присяжных, не подумавших о последствиях, то как описать ту бурю, которая возникла в душе несчастного мистера Карсона, когда он увидел, к чему может привести рассказ молодого моряка? Эта попытка установить алиби ни на

секунду не поколебала его уверенности в том, что преступление совершил Джем; его ненависть, его жажда мести, найдя жертву, должны были на нее излиться, – так у голодного хищника не вырвать из зубов добычи. И его побелевшее взволнованное лицо, искаженное гнусной тревогой, уже не походило на застывшее в суровом спокойствии лицо Юпитера.

Прокурор, которому по правилам надлежало вести допрос Уилла, заметил это новое выражение на лице мистера Карсона и, стремясь исполнить написанное на нем желание, перегнул палку.

– Итак, молодой человек, – начал он самым оскорбительным тоном, – вы поведали суду очень стройную и очень убедительную историю – ни один здравомыслящий человек не мог бы усомниться в невинности вашего родственника, сидящего на скамье подсудимых. Однако есть обстоятельство, о котором вы забыли упомянуть и без которого ваши показания кажутся мне несколько неполными. Не будете ли вы так любезны сообщить господам присяжным, сколько вы запросили за то, чтоб рассказать нам эту весьма правдоподобную историю? Сколько полновесных монет, выпущенных казначейством ее величества, вы получили или получите за то, что явились сюда из порта или из какого-нибудь менее почтенного места и повторили эту сказку, которая, надо признаться, делает честь вашему наставнику? Помните, сэр, что вы дали присягу.

Уиллу понадобилась целая минута, чтобы разобраться в смысле, скрытом в этих непривычных словах, и вид у него был несколько смущенный. Но как только он понял, в чем дело, его ясные глаза вспыхнули от возмущения; прокурор не выдержал их негодующего взгляда и опустил глаза. И только тогда Уилл сказал:

– А может быть, вы скажете судье и присяжным, сколько денег вы получили за оскорбление того, кто говорит истинную правду и никогда не позволил бы себе солгать или сделать подлость за самую большую плату, какую только может взять адвокат за свою грязную работу? Так как же, сэр? Что до меня, то, милорд судья, я готов присягать столько раз, сколько пожелает ваша светлость или господа присяжные, и поклясться, что все было именно так, как я сказал. Тут сейчас в суде находится лоцман О'Брайен. Пусть какой-нибудь господин в парике спросит его, правду ли я говорил.

Это была хорошая мысль, и защитник тотчас ухватился за нее. О'Брайен дал показания, снявшие с Уилла всякое подозрение. Он видел, как лодка гналась за кораблем, и слышал все, что кричали с лодки и что отвечали с корабля; и наконец – сам доставил Уилла сюда. Ну, а лоцман,

имеющий сертификат Тринити-Хаус, [\[123\]](#) был вне всяких подозрений.

Мистер Карсон откинулся на стуле, охваченный жестоким отчаянием. Он был достаточно знаком с судами и знал, как не любят присяжные выносить смертный приговор, сколь бы убедительны ни были улики. Даже в те минуты, когда все, казалось, говорило против подсудимого, он напомнил себе об этом, чтобы не обольщаться, быть может, все-таки ложной надеждой. Но сейчас он ощутил это всем своим существом, и, даже прежде чем присяжные удалились на совещание, он уже понял, что каким-то образом, по какому-то недосмотру, где-то был допущен промах, и вот, благодаря отвратительному обману, убийца его мальчика, его любимца, его Авессалома [\[124\]](#) – но никогда не восстававшего против воли отца, – тот, кто лишил жизни его сына, еще не преданного земле, ускользнет от когтей правосудия и будет как ни в чем не бывало разгуливать по земле, в то время как его мальчик никогда уже на нее не ступит.

Так и случилось. Подсудимый закрыл лицо руками, чтобы любопытные не могли увидеть чувств, которые овладели им и которые он не в силах был сдержать; Джоб Лег прекратил оживленный разговор с мистером Бриджнорсом; Чарли застыл с взволнованным и серьезным видом, – в зал по одному вошли присяжные и заняли свои места, а вслед за тем раздался вопрос, на который мог быть дан самый страшный ответ.

Решение, к которому пришли присяжные, не слишком удовлетворяло их самих, ибо они не были убеждены в невиновности обвиняемого, но и не могли счесть его виновным ввиду алиби. Однако наказание, ожидавшее его, будь он признан виновным, было бы столь ужасным, а для человека столь противоестественно выносить себе подобному такой приговор, что эти соображения перевесили чашу весов, и в мертвой тишине затаившего дыхание зала раздалось: «Не виновен!»

Минута молчания – и тишину нарушил неясный гул, ибо публика принялась вполголоса обсуждать вердикт. Джем стоял неподвижно, опустив голову: бедняга не мог опомниться от быстрой смены событий, происшедших за последние несколько часов.

Он занял место на скамье подсудимых, почти не надеясь на оправдание, да и без особого желания жить, ибо все укрепляло его в мысли, что Мэри даже не просто равнодушна к нему, – она любила другого и, по мнению Джема, не могла относиться к нему иначе, как к убийце любимого человека. И вдруг среди этого мрака, окутавшего его жизнь, превратив ее в пустыню отчаяния, блеснул свет несказанного счастья – он услышал из уст Мэри признание в любви, и будущее – если только в этом мире его ждет



какое-то будущее – сразу представилось ему невообразимо восхитительным. Он думал лишь о словах, в которые Мэри вложила всю свою страстную любовь к нему, остальное отступило на задний план, забылось, заслоненное главным: она его любит!

А жизнь, теперь сулившая столько счастья, внезапно расцвеченная самыми радужными надеждами, висела на волоске, зависела от чистейшей, самой крохотной случайности. Он старался думать о том, что теперь, зная о ее любви, он с легкостью примет даже смерть, но картины того, какой могла бы быть жизнь с Мэри, вставали перед его глазами, и он чуть не терял сознание из-за мучительной неуверенности. Появление Уилла только усилило напряжение.

Смысл вердикта не сразу дошел до его сознания. Ошеломленный, он словно застыл. Кто-то дернул его за рукав. Он обернулся и увидел Джоба Лега – слезы текли по его смуглым, морщинистым щекам, и он тщетно пытался что-то сказать. И, не найдя ничего лучшего для выражения своих чувств, он лишь тряс руку Джема.

– А ну, поторапливайся! Или тебе тут понравилось? – буркнул тюремщик, приведший нового, смертельно бледного арестанта, который держался очень спокойно – лишь в глазах затаилась тревога.

Джоб Лег стал выбираться из зала, и Джем машинально последовал за ним.

Толпа расступилась. Те, мимо кого проходил Джем, плотнее запахивали одежду, чтобы случайно не коснуться его, – ведь еще недавно в нем видели убийцу.

Наконец он вышел на улицу – вновь свободный. Хотя многие поглядывали на него не без подозрения, его окружили верные друзья; его руку безостановочно трясли Уилл и Джоб, и когда один уставал, другой принимался за это весьма полезное для здоровья занятие, тогда как Бен Стэрджис дал выход своим чувствам, выбрав Чарли за то, что тот ходит колесом вокруг жениха Мэри, ибо теперь это было совершенно ясно, хоть раньше она это и отрицала. А сам Джем был совершенно сбит с толку и ошеломлен; он готов был отдать что угодно за то, чтобы часок спокойно поразмыслить над событиями истекшей недели и новыми надеждами, блеснувшими в это утро, – даже если бы этот час ему пришлось провести в уединении тихой тюремной камеры. Первое, что он произнес срывающимся от волнения голосом, было:

– Где она?

Его отвели в комнату, где сидела его мать. Ей уже сообщили о том, что ее сын оправдан, и теперь она смеялась, плакала, болтала, давая волю

чувствам, которые сдерживала с таким трудом последние дни. Увидев сына, она бросилась к нему на шею и разрыдалась. Он тоже обнял ее, но все смотрел куда-то, словно кого-то искал, хотя в комнате, кроме его матери, были лишь друзья, пришедшие с ним.

– Вот видишь, – сказала она, обретя наконец дар речи. – Видишь, что значило хорошо себя вести! Я рассказала, какой ты, и присяжные не повесили тебя, потому что не могли – после таких-то моих слов. А что было бы, если б я не приехала в Ливерпуль? Но я все-таки настояла на своем: я-то знала, что сумею помочь тебе. Но какой ты бледный и весь дрожишь!

Он целовал ее снова и снова, но все озирался, словно искал кого-то, и снова прежде всего спросил:

– Где она?

## ГЛАВА XXXIII

### *REQUIESCAT IN PACE* [\[125\]](#)

Для тебя не страшен зной,  
Вьюги зимние и снег,  
Ты окончил путь земной  
И обрел покой навек  
«Цимбелин». [\[126\]](#)

Пока любовь волнует кровь,  
Пока во сне и наяву  
Хочу я жить, хочу любить -  
Одной тобою я живу.  
Когда ж придет, когда пробьет  
Разлуки час, ужасный час,  
Он сердце мне сожжет в огне,  
Он навсегда разлучит нас.  
*Бернс.*

Она была там, куда не долетали слова утешения, не достигали вести, несущие успокоение и надежду, – в мире бреда, населенном страшными призраками. Не проходило дня, не проходило часа, чтобы она не вскакивала и не принималась умолять отца спасти Джема или вдруг не срывалась с постели, заклиная ветер и волны, безжалостный ветер и волны, смилостивиться над ней; снова и снова, до предела напрягая все силы; она растрчивала их в горячечной мольбе, а потом в изнеможении падала на постель и в отчаянье выпускала лишь жалобные стоны. Ей говорили, что Джем спасен, его привели к ней, но зрение и слух не служили омраченному рассудку, и человеческий голос не проникал в окружавшую его тьму.

Один только Джем постиг скрытый смысл некоторых ее загадочных фраз и понял, что она, как и он, каким-то образом узнала, что убийца – ее отец.

Уже давно (если измерять время событиями и размышлениями, а не стрелками часов или листками календаря) Джем преисполнился уверенности, что отец Мэри – убийца Гарри Карсона, и хотя мотивы

убийства были ему не совсем ясны, все обстоятельства (главным из которых было то, что Джон Бартон всего за два дня до убийства взял у Джема роковой пистолет) убеждали его, что это правда. Порой ему казалось, что Джон узнал о внимании, которое мистер Карсон оказывал его дочери, и, возмущившись, задумал кровавую месть; а порой он полагал, что причина кроется в жестокой вражде между хозяевами и рабочими, в которой, как известно, Бартон принимал столь деятельное участие. Но если Джем считал своим долгом хранить эту тайну, даже когда мог за это поплатиться жизнью, когда он верил, что Мэри проклиняет его, видя в нем человека, виновного в смерти любимого, то теперь он и подавно прикладывал все усилия к тому, чтобы она неосторожным словом не выдала отца, - теперь, когда она стала его невестой, преодолев столько препятствий, чтобы спасти его, теперь, когда ее бедный рассудок утратил власть над словами, которые срывались с ее уст.

Всю эту ночь Джем бродил по тесному домику Бена Стэрджиса. В крошечной спальне, где миссис Стэрджис то ухаживала за Мэри, то принималась плакать, напуганная столь жестоким приступом болезни, он вслушивался в бред больной – ведь каждая ее фраза была полна особого смысла и значения, понятного лишь ему, но когда бред сменялся дикими криками, которых никто не в силах был остановить, Джем не выдерживал и, глубоко потрясенный и несчастный, спускался вниз, где спал в кресле Бен Стэрджис, считавший, что не имеет права ложиться в постель, ибо так он будет скорее наготове, если потребуется сбежать за доктором.

Перед самым рассветом Джем (который не спал и с неослабевающим вниманием, как это ни было ему тяжело, продолжал прислушиваться к малейшему звуку, доносившемуся сверху) услышал легкий стук в дверь. Собственно говоря, он не должен был идти открывать ее, но Бен не просыпался, и он решил взглянуть, кто этот ранний посетитель, прежде чем будить хозяина или хозяйку. В сером свете утра он узнал Джоба Лега.

– Ну, как она? Эх, бедняжка, это она так кричит? Нечего и спрашивать, хоть и трудно узнать ее голос! На крик кричит! Это она-то, которая говорит всегда так тихо, таким нежным голоском! Только ты уж не падай духом, старина, не расстраивайся так!

– Я не могу совладать с собой, Джоб. Слышать это – выше человеческих сил. Даже если бы я не любил ее, все равно – больно думать, что такая молодая... Немогу я говорить об этом как подобало бы мужчине, – произнес Джем голосом, прерывающимся от рыданий.

– Но войти-то мне все-таки можно? – спросил Джоб, протискиваясь в дверь, ибо Джем придерживал ее, не желая впускать Джоба, из страха, как

бы он не услышал того, что могло многое сказать человеку, знакомому с людьми, которых в бреду называла Мэри.

– Немало у меня причин прийти спозаранок. Во-первых, я хотел узнать, как она, бедняжка. А кроме того, вчера поздно вечером я получил от Маргарет письмо, очень тревожное. Доктор говорит, что наша старушка долго не протянет, а умирать, когда рядом нет никого, кроме Маргарет да миссис Дейвенпорт, ей, наверно, тяжело. Вот я и подумал: побуду-ка я с Мэри Бартон и присмотрю за тем, чтобы все ей делалось как надо, а ты, твоя мать и Уилл поезжайте проститься с Элис.

Джем, который и до этого был печален, сейчас совсем приуныл. А Джоб тем временем продолжал:

– Она по-прежнему бредит, пишет Маргарет, и считает, что она у себя дома со своей матушкой, и все же, по моему разумению, кто-то из родных или близких должен быть там, чтоб закрыть ей глаза.

– Может, вы с Уиллом отвезете матушку домой, а я приеду, как только... – пробормотал Джем, но Джоб перебил его:

– Если б ты, голубчик, знал, сколько твоя мать выстрадала из-за тебя, у тебя бы язык не повернулся сказать, что ты хочешь расстаться с ней после того, как вернулся к ней, так сказать, из могилы. Вот и сегодня ночью разбудила она меня и говорит: «Джоб, говорит, прости, что я разбудила тебя, но скажи, это правда или мне во сне привиделось? Правда, что Джема оправдали? Ах, Джоб Лег! Дай-то бог, чтобы мне это не приснилось!» Так что не может она понять, почему ты с Мэри, а не с ней. Да, да! Я-то знаю, почему, а вот мать – она уступает сердце сына его жене по кусочку, да и то через силу. Нет, Джем, если хочешь, чтобы бог тебя благословил, поезжай-ка с матерью. Ведь она – вдова, и у нее никого, кроме тебя, нет. А за Мэри не беспокойся! Она молодая и одолеет болезнь. Находится она у хороших людей, да и я буду ухаживать за ней, как за моей дочерью, которая лежит, бедняжка, на лондонском кладбище. Оно конечно, не легко оставлять Мэри на чужих людей.

И Джону Бартону не мешало бы побыть с дочкой, вместо того чтобы разъезжать по всей стране, выступать с речами да заниматься чем угодно, кроме своих собственных дел.

Тут Джемму в голову пришла мысль, от которой он похолодел: а что, если Мэри выдаст отца в бреду?

– У нее сильнейший бред, – сказал он. – Всю ночь она говорила об отце и примешивала его к тому, что видела вчера в суде. Не удивлюсь, если теперь она скажет, что он и сам там был.

– Чего же тут удивительного, – согласился Джоб. – Люди в ее

состоянии говорят много странных вещей, и самое лучшее – не обращать на это внимание. А теперь поезжай с матерью домой, Джем, и побудь там, пока старушка Элис не скончается, а уж я, поверь, присмотрю за Мэри.

Джем понимал, что Джоб прав, и не мог отказаться от выполнения своего долга, но я не могу описать, с каким тяжелым, обливающимся кровью сердцем стоял он у двери, каким долгим нежным взглядом в последний раз смотрел на любимую. Она сидела в постели, золотистые волосы ее, потускневшие за одни сутки болезни, рассыпались по плечам; голова была повязана мокрым полотенцем, лицо – искажено волнением и тревогой.

Глаза того, кто так любил ее, наполнились слезами. У него уже не было сил надеяться. Рано пережитые страдания лишили его способности легко смотреть на вещи, а сейчас жизнь и вовсе, казалось, поворачивалась к нему только темной своей стороной. Что, если она умрет, как раз когда он обрел сокровище, несказанное сокровище – ее любовь! Что, если (и это хуже смерти) она на всю жизнь останется жалкой сумасшедшей (а ведь безумные доживают порой до глубокой старости, несмотря на все бремя своего несчастья) и никто не сможет избавить ее от вечного ужаса, сжимающего ей сердце?

– Джем! – окликнул его Джоб, в какой-то мере догадываясь о чувствах молодого человека по тому, что он сам испытывал в эту минуту. – Джем! – повторил он, чтобы привлечь его внимание.

Джем обернулся, и от этого движения слезы выкатились из его глаз и потекли по щекам.

– Ты должен уповать на господа и поручить Мэри его заботам.

Джоб произнес это совсем тихо, но слова его проникли Джемму в душу и придали ему силы уйти.

Оказалось, что мать чуть ли не сердится на него за то, что он провел ночь в тревоге у постели бедной больной (хотя только благодаря вмешательству Мэри она вновь обрела сына). Миссис Уилсон так долго говорила об обязанностях детей по отношению к родителям (прежде всего), что под конец Джем усомнился в собственной памяти, подсказывавшей ему, что только вчера она всячески сдерживала себя, стараясь поступать так, как он того хотел. Однако воспоминания о вчерашнем дне, когда он был на волосок от позорной смерти, и о любви, вдруг согревшей его, помогали ему кротко и терпеливо, как и положено доброму человеку, сносить ее воркотню. И его заслуга была тем более велика, что и у него, как и у его матери, после пережитых волнений наступил обычный упадок сил, когда человека раздражает каждая мелочь.

Элис они застали еще в живых, и она по-прежнему не страдала. Но и только. Ребенок нескольких недель от роду был бы сильнее ее; ребенок нескольких месяцев от роду лучше понимал бы, что происходит вокруг. И тем не менее даже в таком состоянии она как бы источала спокойствие. Правда, Уилл сначала горько зарыдал, увидев, что та, которая заменила ему мать, стоит на пороге смерти. Но даже и сейчас громкое, бурное изъяснение чувств казалось неуместным в ее присутствии – таким покоем веяло от нее. Глубокая вера, которой уже не воспринимал ее рассудок, оставила свой след на ее облике – только так, пожалуй, и можно описать сияющее, счастливое выражение, озарявшее ее старческое, измученное земными тяготами лицо. В речах ее, правда, не было постоянных упоминаний о боге и ссылок на его святые слова, как бывало прежде; уста этой набожной женщины не шептали слова предсмертной молитвы. Ей казалось, что она вновь переживает бесконечно счастливые дни детства, вновь бродит по чудесным местам милого ее сердцу севера. Хотя она уже не видела того, что происходит на земле, перед ней вставали картины далекого прошлого, такие же яркие, как когда-то. Люди, давно умершие, окружали ее – такие же цветущие и полные сил, как и в те давно минувшие дни. Смерть приближалась к ней как благословение, – так усталый ребенок встречает долгожданные часы сна. Ее земные труды были окончены, и выполнила она их честно.

Лучшего надгробного слова не мог бы пожелать даже император! И, пребывая в этом бреде второго детства (блаженное состояние, омраченное названием), она и произнесла свое «Nunc Dimittis», [\[127\]](#) – хвалу всевышнему:

– Спокойной ночи, мамочка! Милая мамочка, благослови меня еще раз! Я очень устала и хочу спать.

И больше в этом мире она не произнесла ни слова.

Умерла она через день после их возвращения из Ливерпуля. И с той минуты Джем почувствовал, что мать ревниво следит за каждым его жестом и словом, которое могло бы выдать его желание вернуться к Мэри. И все же он твердо решил поехать в Ливерпуль сразу же после похорон, хотя бы за тем, чтобы только взглянуть на свою любимую. Дело в том, что Джоб не написал ему за это время ни строчки, да и не считал нужным делать это: если Мэри умрет, рассуждал он, то он сообщит об этом лично; если же она поправится, то он привезет ее домой. Искусство письма было для него лишь дополнением к естествознанию, средством, служащим для надписи ярлычков в коллекции, а не для выражения мыслей.

В результате, не имея никаких сведений о состоянии Мэри, Джем

постоянно ждал появления человека или письма с извещением об ее смерти. Он не мог бы долго выдержать подобной неизвестности, но, чтобы не нарушать мира в доме, решил до похорон не объявлять матери о своем намерении вернуться в Ливерпуль.

Днем в воскресенье, горько плача, они похоронили Элис. Уилл безутешно рыдал.

Его вновь охватило чувство, испытанное в детстве, – он опять словно остался один среди чужих людей.

Вскоре Маргарет робко подошла к нему, как бы желая утешить, и бурное отчаяние его постепенно перешло в тихое горе, а горе уступило место грусти, и, хотя ему казалось, что теперь он уже никогда не будет радоваться, подсознательно он готовил для себя величайшее счастье, ибо мечтал о том, как назовет Маргарет своей, и уже сейчас золотистые нити расцвечивали мрак его горя. Однако домой он возвращался с Джейн Уилсон, опиравшейся на его руку. А Маргарет вел Джем.

– Маргарет, завтра с первым же поездом я уезжаю в Ливерпуль – надо отпустить вашего дедушку.

– А я уверена, что он охотно ухаживает за бедняжкой Мэри – ведь он любит ее почти так же, как меня. Но не лучше ли поехать мне? Из-за бедняжки Элис мне это в голову не пришло. Большой пользы от меня ждать нечего, но Мэри приятно будет, если подле нее окажется подруга. Не сердитесь на меня, Джем, что я об этом раньше не подумала, – виновато сказала Маргарет.

Но предложение Маргарет никак не отвечало желаниям ее спутника. И он решил, что лучше сказать все напрямик и объяснить свои истинные намерения, ибо ссылка на необходимость отпустить Джоба Лега не помогла, а только повредила ему.

– По правде сказать, Маргарет, я должен поехать туда не ради вашего дедушки, а ради себя самого. Я ни днем, ни ночью не знаю покоя – все думаю о Мэри. Будет ли она жить или нет – я смотрю на нее как на свою жену перед богом. А потому я больше, чем кто-либо, имею право ухаживать за ней и не могу уступить его даже...

– Даже ее отцу, – закончила за него Маргарет. – Просто удивительно, что такая девушка, как Мэри, лежит тяжело больная у чужих людей. Никто не знает, где сейчас Джон Бартон, иначе я уже давно попросила бы Морриса написать ему про Мэри. Очень бы я хотела, чтобы он поскорее вернулся домой!

Джем никак не мог разделить ее желание.

– Мэри лежит у друзей, – сказал он. – Я называю их ее друзьями, хотя



неделю назад никто из нас даже и не слышал о них. Но общие печали и горести, по-моему, сближают людей и делают их друзьями быстрее, чем что-либо другое. Старушка печется о Мэри, точно мать, а ее муж, насколько я мог навести справки в такой спешке, слывет хорошим человеком. Мы уже подходим к дому, Маргарет, а я еще не все вам сказал. Я хочу просить вас, чтобы вы присмотрели немножко за мамой. Мой отъезд придется ей не по душе, и я еще ничего ей о нем не говорил. Если она очень рассердится, я вернусь завтра вечером, а если она будет не очень против, я хочу побыть там, пока Мэри не поправится или не... Уилл ведь тоже останется здесь, Маргарет, с мамой.

Но присутствие Уилла как раз и смущало Маргарет – она боялась, как бы он не подумал, будто она нарочно ищет встречи с ним, но ей не хотелось говорить об этом Джем, который, казалось, не способен был заметить ничьей любви, кроме своей собственной.

И Маргарет пришлось скрепя сердце дать согласие.

– Если можете, зайдите сегодня вечером, Джем, я соберу кое-какие вещи, которые могут пригодиться Мэри, а потом вы скажете, когда намереваетесь вернуться. Если вы вернетесь завтра вечером, а Уилл побудет с миссис Уилсон, может, мне и не нужно к ней заходить?

– Нет, Маргарет, обязательно зайдите! Я не смогу уехать спокойно, если не буду знать, что вы днем зайдете к маме. Но вечером я непременно забегу, а пока – до свидания. Пойдите-ка! Не могли бы вы уговорить беднягу Уилла проводить вас домой, чтобы я мог поговорить с мамой наедине?

Нет! Этого Маргарет не могла сделать. Слишком велики были ее застенчивость и девичья стыдливость.

Однако все получилось так, как хотел Джем, ибо Уилл, лишь только они вернулись, тотчас отправился наверх, чтобы в одиночестве предаться своим печальным думам. А Джем, оставшись наедине с матерью, сразу заговорил о том, что больше всего занимало его:

– Мама!

Она отняла платок от глаз и, быстро повернувшись, впилась в него взглядом. Он стоял и обдумывал, как бы сообщить ей о своем решении, но почувствовал, что не в силах вынести ее взгляда, и сразу приступил к делу:

– Мама! Завтра утром я возвращаюсь в Ливерпуль, чтобы проведать Мэри Бартон.

– А что тебе Мэри Бартон и почему это ты должен лететь к ней сломя голову?

– Если она выздоровеет, то станет моей женой. Если же умрет... мама,

я и сказать не могу, что со мною будет.

И он, задыхаясь, умолк.

Какое-то мгновение мать со вниманием слушала его, потом в ее душе пробудилась прежняя ревность к той, что оспаривала у нее любовь сына, как бы заново родившегося после избавления от грозившей ему опасности. И она ожесточила свое сердце, не давая доступа в него сочувствию, и отвернулась, чтобы не видеть этого лица, на котором было почти то же выражение, с каким он прибегал к ней в детстве, чтобы поделиться своей бедой, уверенный, что найдет у нее помощь и утешение.

Затем она сказала ледяным тоном, который был так хорошо известен Джему и от которого он похолодел еще прежде, чем понял смысл ее слов:

– Ты достаточно взрослый и можешь поступать как тебе угодно. Со старыми матерями не считаются и быстро забывают, что они пережили, стоит появиться смазливому личику. Мне следовало бы помнить об этом во вторник, когда мне казалось, что ты принадлежишь мне без раздела и что судья – это дикий зверь, который хочет оторвать тебя от меня. И тогда я защитила тебя, но сейчас все это, видно, уже забыто.

– Мама, вы знаете, вы хорошо знаете, что я никогда не забуду вашей доброты ко мне – вы ее так часто выказывали. Но почему вы считаете, что в сердце у меня хватит места только для одной любви? Я могу любить вас так же нежно, и в то же время любить Мэри так, как только мужчина способен любить женщину.

Он ждал ответа. Но его не последовало.

– Мама! Да ответьте же что-нибудь! – сказал он.

– Что же мне отвечать тебе? Ведь ты меня ни о чем не спрашивал.

– Ну, хорошо, тогда я спрошу. Завтра утром я уезжаю в Ливерпуль к той, которая все равно что жена мне. Милая мамочка, благословите ли вы меня на это? Если богу угодно будет и она выздоровеет, примете ли вы ее, как родную дочь?

Она не в силах была сказать ему ни «да», ни «нет».

– Зачем тебе ехать? – недовольным тоном спросила наконец она. – Снова попадешь в какую-нибудь беду. Неужто ты не можешь спокойно посидеть дома со мной?

Джем вскочил и в отчаянии нетерпеливо заметался по комнате. Нет, она не хочет его понять. Наконец он остановился прямо перед стулом, на котором с обиженным видом сидела его мать.

– Мама, я часто думаю, каким хорошим человеком был наш отец! Вы не раз рассказывали мне о днях вашей молодости, когда он ухаживал за вами, и о несчастном случае, который с вами произошел, и о том, как вы

потом болели. Давно это было?

– Да лет двадцать пять тому назад, – со вздохом промолвила она.

– И тогда вы не думали, что у вас когда-нибудь будет сын – такой здоровенный и рослый, как я?

Она слегка улыбнулась и посмотрела на него, а Джему только это и надо было.

– Куда тебе до отца, – сказала она, с нежностью глядя на него, хотя в словах ее и не было похвалы.

Он еще раз два прошелся по комнате. Ему хотелось как-то подвести разговор к тому, что его больше всего интересовало.

– Счастливое это было время, когда отец был жив!

– Еще бы, милый! Для меня такого времени больше не будет. – И она сокрушенно вздохнула.

– Мама! – произнес он наконец, останавливаясь перед нею и ласково беря ее за руку. – Хотели бы вы, чтобы я был так же счастлив, как был счастлив мой отец? Хотели бы вы, чтобы подле меня была женщина, которая сделала бы меня таким же счастливым, каким вы сделали отца? Неужели вы этого не хотите, мамочка?

– Он не был так счастлив со мной, как мог бы, – тихо и печально произнесла она. – После того, что со мной случилось, я стала раздражительней и ничего не могла с собой поделать, а теперь отца нет с нами, и он никогда не узнает, как я горюю о том, что бранила его.

– Но, может быть, он это и знает, мама! – желая успокоить ее, мягко произнес Джем. – И ссорились вы с отцом не чаще, чем другие. Но ради него, милая мамочка, не отказывайте мне сейчас, когда я прошу вашего благословения, прежде чем ехать к той, кого я назову моей женой, или вообще никогда не женюсь. Ради него, не ради меня, любите ее, когда я привезу ее к нам в дом, чтобы она стала для меня тем, чем вы всегда были для отца. Ах, мама, ведь я прошу только того, что очень легко для такого нежного, любящего сердца, как ваше.

Лицо ее смягчилось, и, хотя она все еще избегала смотреть на Джема, это объяснялось тем, что глаза ее были полны слез, вызванных его словами, а не тем, что она сердится. И когда его голос понизился в мольбе до шепота и умолк, она протянула руку, пригнула его голову к себе и торжественно благословила сына:

– Да благословит тебя господь, Джем, дорогой мой мальчик. И да благословит он Мэри Бартон ради тебя.

Сердце Джема подпрыгнуло от радости, и с этой минуты в душе тревога за Мэри уступила место надежде.

– Мама, покажите себя Мэри такой, какая вы на самом деле, и она будет любить вас так же нежно, как люблю вас я.

Так и прошел у них вечер – были и слезы, и улыбки, и много было сказано взволнованных слов.

– Мне еще надо сходить к Маргарет. Ого, да уже почти десять! Кто бы мог подумать, что так поздно? Не ждите меня, мама. Ложитесь-ка вы с Уиллом спать – вам обоим нужен отдых. А я через часик вернусь.

А Маргарет провела этот вечер одна; время тянулось бесконечно долго, и она уже перестала надеяться, что Джем придет, как вдруг услышала его шаги у двери.

Он рассказал ей о том, чего ему удалось добиться от матери, рассказал о своих надеждах, но умолчал об опасениях.

– Подумать только, как тесно переплетаются в жизни радости и горе! Вспоминая, когда вы стали женихом Мэри, вы будете называть день похорон бедняжки Элис Уилсон. Что поделаешь! Покойников быстро забывают!

– Милая Маргарет! Вы, наверно, устали, дожидаясь меня целый вечер. И не удивительно. И все же ни вы, да и никто другой всерьез не может подумать, что если господу угодно пробудить в нас какой-то новый интерес, пусть даже на краю могилы, то мы обязательно должны забыть мертвых. Вот вы помните наши лица, Маргарет, и можете себе их представить?

– Да, но при чем тут память об Элис?

– А вот при чем. Ведь вы не все время думаете о наших лицах и стараетесь их вспомнить, и все же, могу поклясться, что, когда вы засыпаете или сидите тихо и неподвижно, перед вами возникают знакомые лица и вы снова как будто видите ласковые взгляды и улыбки. Значит, вы вспоминаете их без всяких стараний и не думая о том, что ваш долг – их помнить. То же самое происходит и с теми, кого перестаем видеть мы. Если их искренне любили при жизни, то не забудут и после смерти – это было бы противно природе. И нет нужды корить себя за то, что господь посылает нам какую-то радость в нашем горе, или бояться, что мы забудем наших близких, потому что постоянно не думаем о них, как нет нужды, скажем, вам тревожиться о том, помните ли вы, как выглядит ваш дедушка или на что похожи звезды, – при всем своем желании вы не могли бы забыть то, о чем приятно думать. Поэтому не бойтесь, что я забуду тетю Элис.

– Я не боюсь, Джем. Во всяком случае, сейчас не боюсь. Но мне показалось, что вы думаете лишь о Мэри.

– Не забывайте, как долго я отгонял от себя эти мысли. Вот

порадовалась бы тетя Элис, если б знала, что я обвенчаюсь с Мэри... если, конечно, господу угодно будет оставить ей жизнь!

– Она все равно об этом не узнала бы, даже если б вы ей и сказали, – ведь последние две недели она считала себя маленькой девочкой и вновь держалась за материнскую руку. Наверно, она была очень счастлива в детстве, раз сейчас, седая и старенькая, лежа на смертном одре, с удовольствием вспоминала о тех временах.

– Я никогда еще не встречал человека, который всю жизнь выглядел бы таким счастливым, как она.

– Да! А как тихо и легко она умерла! Ей все казалось, что мать стоит рядом с ней.

Их обоих охватило умиротворение при мысли о последних часах Элис – таких мирных и счастливых.

Пробило одиннадцать. Джем вскочил.

– Как я засиделся: мне уже давно следовало бы быть дома. Давайте мне сверток. И, пожалуйста, зайдите к моей маме. Спокойной ночи, Маргарет.

Она проводила его до двери и закрыла ее на засов. Джем задержался на ступеньках, чтобы потуже затянуть на свертке ослабевшую веревку. Во дворе и на улице царила глубокая тишина. Был мирный воскресный вечер, и все давно уже отправились на покой. Над молчаливыми пустынными улицами сияли звезды, на землю струился мягкий, чистый лунный свет, но ступеньки, на которых стоял Джем, были погружены в тень.

На улице раздались чьи-то шаги – кто-то приближался тяжелой медленной походкой. Джем все еще возился с пакетом, когда перед ним возник силуэт человека, который, пошатываясь от слабости, с трудом нес кувшин с водой, наполненный у соседнего колодца. Человек прошел мимо Джема, найдяшегося в углу двора, и вышел на открытое место, залитое безмятежным светом луны. Джем узнал Джона Бартона, исхудалого, измученного, бредущего с опущенной головой, – даже в движениях призрака было бы, наверно, больше энергии.

Все тем же тяжелым размеренным шагом он подошел к своей двери и исчез за ней, а в торжественной тишине ночи раздался легкий скрип опущенной щеколды. Затем все снова стихло.

Минуту Джем стоял неподвижно ошеломленный потоком мыслей, нахлынувших на него при виде отца Мэри.

Маргарет не знала, что он вернулся. Неужто он прокрался в собственное жилище под покровом ночи, точно вор? Последние годы Джем нередко видел его в унынии, но таким, как сейчас, он еще никогда его не

видел: сокрушенный внутренней бурей, он, казалось, не шел, а полз, утратив всякое чувство собственного достоинства.

Рассказать ему о болезни Мэри? Джем не хотел этого делать – и по многим причинам. Он не мог рассказать об ее болезни, не сообщив некоторых подробностей, о которых Джону Бартону лучше не знать, так как только сама Мэри может все ему объяснить. А ведь пока никто не заподозрил его причастности к преступлению. Но, главное, Джем страшился встречи с ним, ибо не сомневался, что именно Джон совершил это страшное дело.

Конечно, он отец Мэри и имеет полное право знать все, что связано с ней. Ну, а если он все узнает и, поддавшись естественному для отца движению души, пожелает поехать к ней, чем все это кончится? В бреду она раскрыла смятенный мир своих чувств, и в ее словах, наряду с самой нежной любовью к отцу, проскальзывало что-то похожее на ужас – ужас, какой внушает нам человек, проливший кровь; образ его как бы раздваивался в ее воображении: с одной стороны, был отец, который качал ее на коленях и любил всю свою жизнь, а с другой – убийца, виновник всех ее страданий и горя.

И если он предстанет перед ней в ту минуту, когда она будет думать о нем именно так, кто знает, к каким это приведет последствиям?

Нет, Джем не мог подвергнуть ее подобной опасности. Да и к тому же он, по-моему, уже считал, что у него больше прав заботиться о ней и любовно ограждать ее от бед, чем у какого-либо другого человека в мире, носи он даже священное имя отца и не соверши и малейшего проступка, который мог бы это имя запятнать.

Быть может, вам показался путанным мой рассказ о тех чувствах и мыслях, которые обуревали Джема, пока он стоял, глядя на пустынный двор, где только что прошла согбенная фигура, но уверяю вас, именно эти противоречивые чувства и побуждали Джема вести себя так, будто он не видел Джона Бартона, а вернее – его тени, и похожей на него, и не похожей.

## ГЛАВА XXXIV

### ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Диксвел. Прощенья! О, прощенья и могилы!

Мэри. Господь прости тебя, отец! А я

Страшусь и думать о таком деянье.

Диксвел. О!

Мэри. Тяжек тайный гнет твоей души.

*Эллиот, «Керхонах».*

Мэри все еще находилась между жизнью и смертью, когда Джем вновь вошел в тот дом, где она лежала, и врачи, не желая бросать тени на свою ученость, не говорили ничего ободряющего. Однако состояние ее, хотя и внушало тревогу, было менее угрожающим, чем в тот день, когда Джем расстался с ней. Она была в забытии, вызванном отчасти болезнью, а отчасти изнеможением, наступившим после сильного возбуждения.

Теперь Джема ждало новое испытание, которое хорошо знакомо каждому, кто когда-либо сидел у постели тяжело больного, и которое мужчине, пожалуй, труднее перенести, чем женщине, – ему предстояло терпеливо ждать, пока один бесконечный час сменялся другим, не принося с собой никаких изменений.

Но некоторое время спустя пришла и награда. Дыхание стало менее тяжелым и хриплым, с лица исчезло гнетущее выражение несказанной боли, и страдание уступило место спокойствию, близкому к умиротворению. Она погрузилась в сон, и окружающие ходили на цыпочках, говорили тихими, приглушенными голосами и едва осмеливались дышать, хотя им так хотелось вздохнуть с благодарностью и облегчением.

Наконец Мэри открыла глаза. В эту минуту ум ее был подобен уму годовалого ребенка. Вид пестрых, но не слишком ярких обоев был ей приятен, мягкий свет чуть-чуть убаюкивал, а обстановка комнаты служила достаточным развлечением – она смотрела на рисунки кораблей, на фестоны полога, на яркие цветы, нарисованные на спинках стульев, – иные впечатления толькотомили бы ее. Она с любопытством разглядывала

стеклянный шар с разноцветным песком, привезенным с острова Уайт или откуда-нибудь еще, – шар этот был подвешен к карнизу над окном. Но Мэри не хотелось напрягаться и задавать какие-либо вопросы, хотя миссис Стэрджис стояла у ее постели с чашкой чая в руках, намереваясь поить больную с ложечки.

Она не увидела, каким восторгом вспыхнули глаза того, кто, стиснув руки, дрожа от нетерпения, дожидался, когда она проснется, и, стоя за пологом, наблюдал в щелочку за малейшим ее движением; а если она и заметила это любящее, напряженно всматривавшееся в нее лицо, то от слабости либо не поняла, что тот, кого она так любит, не отходит от нее и благодарит бога за малейшие проблески сознания, мелькающие в ее взгляде, либо тут же забыла об этом.

За эти полчаса несказанной радости никто в комнате не произнес ни слова, и Мэри незаметно снова погрузилась в сон. И снова наступила тишина, которую никто не смел нарушить, но теперь глаза у всех сияли надеждой. Джем сидел у постели; он слегка отвел полог и не отрываясь смотрел на бледное, осунувшееся, словно высеченное из мрамора лицо.

Она опять проснулась. Бархатистые глаза ее открылись и встретились взглядом с его глазами, устремленными на нее. Она весело улыбнулась, как улыбается младенец матери, качающей его колыбель, и все тем же детски невинным взором продолжала смотреть на него, словно не понимая, почему это ей так приятно. Но постепенно в ее прекрасных глазах появилось другое, более осмысленное выражение, бледные щеки вспыхнули ярким румянцем, и она сделала слабое движение, пытаясь спрятать лицо в подушку.

Призвав на помощь все свое самообладание, Джем сделал то, что разум и чувства подсказывали ему сделать, – он окликнул миссис Стэрджис, спокойно дремавшую у камина, и вышел из комнаты, чтобы немного успокоиться и сдержать радостное волнение, читавшееся на его лице, сквозившее в каждом жесте, в каждом слове.

С этой минуты Мэри стала быстро поправляться.

Только одно обстоятельство удерживало Джема от того, чтобы как можно скорее увезти ее домой. В Манчестере его ждало много дел. Там жила его мать; там ему предстояло заново решить вопрос о своем будущем, так как все его былые надежды теперь могли и не осуществиться – ведь его подозревали в убийстве, его судили! И, несмотря на оправдательный вердикт, могло оказаться, что репутация его бесповоротно загублена и ему уже не найти в Манчестере работы. Он вспомнил, как у них в литейной и десятники и рабочие сторонились человека, в котором заподозрили



бывшего каторжника, – со стыдом вспоминал он, как сам считал, что не пристало честному и порядочному человеку водиться с теми, кто побывал в тюрьме. Мысль его то и дело возвращалась к этому бедняге, всегда ходившему с опущенной головой: он вынужден был уйти с завода – куда пришел, чтобы честным трудом зарабатывать себе на жизнь, – не выдержав исполненных презрения взглядов, слов, произнесенных сквозь зубы, мертвого молчания, которое хуже любых слов.

Джем чувствовал, что он теперь так же запятнан и многие будут коситься на него. Он знал, что своим поведением в будущем, которое будет столь же безупречным, как и в прошлом, он докажет свою невиновность. Но вместе с тем он сознавал, что должен запастись терпением и выдержкой для предстоящих испытаний, и чем раньше он через них пройдет, чем раньше узнает, как относятся к нему люди, – тем лучше. Ему хотелось поскорее появиться в литейной, чтобы действительность прогнала непрошенные страхи, чтобы перед его мысленным взором не стоял образ человека отверженного, всеми презираемого, вынужденного бежать и где-то в другом месте все начать сначала.

Я сказала, что все, «кроме одного обстоятельства», побуждало Джема поскорее перевезти Мэри домой, как только она окрепнет. Этим обстоятельством была встреча, предстоявшая ей дома.

Сколько Джем ни думал, он не мог ни на что решиться. Он не колебался бы, если бы его разум и чувство справедливости подсказали ему хоть какой-нибудь выход, но они убеждали его лишь в одном: пока Мэри хоть немного не окрепнет телом и духом, с ней не следует говорить об ее отце. Слишком многое может сказать ей даже простое упоминание его имени. Каким бы спокойным и безразличным тоном он ни произнес это имя, ему не скрыть того, что он догадывается о страшной тайне, которую она знает.

А она была мягче и нежнее, чем когда-либо, ибо после болезни все движения ее, взгляды и голос исполнены были нежной истомы. Казалось, ей трудно было даже нарушить молчание, трудно прошептать милым голоском даже те несколько слов, которые с жадностью ловил внимательный слух Джема.

Однако лицо ее дышало такой любовью и доверием, что молчание и задумчивость, в которую она часто впадала, не удручали Джема. Если только она любит его, все образуется, и лучше не заводить сейчас откровенного разговора о том, что так тяжело для обоих.

В чудесный, солнечный, по-весеннему душистый день Мэри наконец вышла из дому, опираясь на руку Джема и чувствуя, как сильно бьется его

сердце. А миссис Стэрджис, стоя на пороге, смотрела им вслед и шептала благословения.

Они вышли к реке. Мэри содрогнулась.

– Ах, Джем, пойдем домой. Мне кажется, что это не река, а поток сверкающего жидкого металла – именно такой представлялась она мне, когда я заболела.

Джем повел ее домой. Она шла, опустив голову, словно что-то искала на земле.

– Джем!

Он весь обратился в слух. Она помолчала.

– Когда я смогу вернуться домой? Я хочу сказать: в Манчестер. Мне здесь так надоело, так хотелось бы быть дома.

Она произнесла это слабым голосом и без всякой досады, хотя читателю, возможно, и показалось, что слова эти скрывали раздражение. Нет, она говорила даже печально, как бы предчувствуя, что исполнение этого желания принесет ей только горе.

– Дорогая моя, мы уедем, как только ты скажешь, как только ты почувствуешь, что достаточно сильна для этого. Я просил Джоба передать Маргарет, чтобы она все для тебя приготовила, потому что сначала ты поживешь у них. Она будет ухаживать за тобой. Домой тебе нельзя сейчас ехать. Вот Джоб и предложил, чтобы ты пожила у них.

– Нет, Джем, я должна ехать домой. Я постараюсь собраться с силами и поступлю так, как надо. Есть вещи, о которых мы не должны говорить, – сказала она, понизив голос, – но будь так добр, позволь мне поехать домой. Не будем больше обсуждать это, дорогой Джем. Я должна ехать домой, и должна ехать одна.

– Только не одна, Мэри!

– Нет, одна! Я не могу сказать тебе, почему я прошу об этом. А если ты догадываешься, то я знаю, ты поймешь, почему я прошу тебя никогда не заговаривать со мной об этом, пока я сама не начну такого разговора. Обещай мне, дорогой Джем, обещай!

Он обещал, так как она смотрела на него с такой мольбой, что он не мог ей отказать. А потом он пожалел о своем обещании, чувствуя, что поступил неправильно. Но потом подумал, что ей все-таки виднее, ибо (наверно, зная больше, чем он) она, возможно, строит планы, которые его вмешательство может нарушить.

Одно было несомненно: эта запретная тема омрачала их жизнь; случайно оброненный намек – и глаза опускаются, щеки бледнеют, слова замирают на устах, и каждый догадывается, о чем думает другой.

Наконец наступил день, когда Мэри могла пуститься в путь. Хотя она сама хотела уехать, мужество теперь покинуло ее. Как могла она сказать, что ей надоел этот тихий дом, где даже ворчание Бена Стэрджиса было своеобразным басовым аккомпанементом, не нарушавшим гармонии между ним и его женой, – так хорошо изучили они друг друга за долгие годы совместной жизни! Как могло у нее возникнуть желание покинуть эту мирную комнатку, где за ней так любовно ухаживали! Даже клетчатый полог кровати стал ей дорог при мысли, что она больше его не увидит. Но если так обстояло дело с неодушевленными предметами, если ей стало трудно расстаться с ними, какие же чувства испытывала она к добрым старикам, приютившим чужого им человека, заботливо ухаживавшим за ней, как за родной дочерью? Все капризные упреки, произнесенные в полубеспамятстве, в раздражении, порожденные слабостью, жгучим укором вставляли в ее памяти, когда она, обливаясь слезами, лучше всяких слов говорившими об ее благодарности и любви, обнимала миссис Стэрджис.

Бен суетился подле них с пузатой бутылкой «Голденвассера» в одной руке и небольшим стаканчиком – в другой. Он по очереди подходил то к Мэри, то к Джемму, то к своей жене, наливал стаканчик, предлагал выпить для поддержания духа, но, поскольку каждый отказывался, выпивал сам и подходил к следующему с тем же предложением, снова получал отказ и снова пил сам.

Осушив последний стаканчик, он снизошел до того, чтобы объяснить причину, почему он так делает.

– Терпеть не могу расточительства. То, что налито, должно быть выпито. Это мое правило. – И он убрал бутылку в шкаф.

Затем он твердым голосом объявил Джемму и Мэри, что им пора отправляться, иначе они опоздают. До этой минуты миссис Стэрджис еще сдерживалась, но, едва дверь за ними захлопнулась, она громко зарыдала, несмотря на все увещевания мужа.

– Может быть, они опоздают на поезд! – с надеждой воскликнула она, услышав, что часы пробили два.

– Что? И вернутся сюда! Это ни к чему. Мы попрощались, поплакали, и нет никакого смысла повторять все сначала. Опять наливай им на дорожку из той бутылочки, а ведь и эти три рюмки порядком истощили ее содержимое. Пора бы Джеку вернуться из Гамбурга да привезти еще.

Когда они приехали в Манчестер, Мэри была очень бледна, и на ее лице было почти суровое выражение. Она собиралась с мыслями для встречи с отцом, так как почти не сомневалась, что застанет его дома. Джем

никому не говорил о том, что видел Джона Бартона в ту ночь, однако Мэри чувствовала, что, где бы ни блуждал ее отец, он в конце концов вернется домой. Но ей страшно было подумать, каким она найдет его. Теперь, когда Мэри знала, что отец способен на преступление, она как бы увидела пропасть, в мрачные глубины которой она страшилась заглянуть. Порой она готова была отдать что угодно, лишь бы избежать необходимости жить под одним кровом с убийцей, пусть даже и недолго. Она вспоминала его былую угрюмость, овладевавшую им раздражительность, – а ведь тогда он еще не терзался воспоминаниями о столь страшном преступлении. Ей представлялись вечера, подобные прежним: она, все еще занятая какой-нибудь работой, когда соседи давно уже улеглись спать за закрытыми ставнями; он, еще более свирепый, чем прежде, мучимый угрызениями совести.

В такие минуты она чуть не кричала от ужаса, вызванного сценами, которые рисовало ее воображение.

Однако дочерний долг, нет, любовь и благодарность за ту доброту и нежность, которые она видела от него в детстве, победили все страхи. Пусть хоть каждый день сулит безмерные ужасы – она стерпит все. И она будет с кротостью сносить все его бешеные вспышки – и не только с кротостью, но с глубокой жалостью, ибо она знает, как тяжка судьба убийцы. Она будет преданно ухаживать за ним, как невинный должен ухаживать за виновным, чтобы в подходящую минуту излить благодетельный бальзам на кровоточащие раны.

С непоколебимым спокойствием, рожденным твердой решимостью, приблизилась Мэри к зданию, которое по привычке все еще называла домом, хотя то, что делает дом святыней, было утрачено.

– Джем! – сказала она, когда они остановились у входа во двор, рядом с дверью Джоба Лега. – Зайди к ним и подожди полчаса. Не меньше. Если за это время я не вернусь, иди к матери. Передай ей от меня самый нежный привет. Когда мне можно будет увидеть тебя, я попрошу Маргарет сходить к тебе.

Она тяжело вздохнула.

– Мэри! Мэри! Я не могу оставить тебя. Ты говоришь так холодно, будто мы чужие. А мое сердце всегда с тобой. Я знаю, почему ты просишь меня уйти, но...

Он говорил так громко и взволнованно, что она коснулась его плеча и с любовью и укором взглянула ему в глаза. Когда она заговорила, губы ее дрожали, и он чувствовал, что она трепещет всем телом:

– Милый Джем! Я говорила бы тебе о любви больше, если бы

однажды мне не пришлось заявить о ней открыто. Вспоминай об этом, Джем, если тебе когда-нибудь покажется, что я холодна. Любовь, которая у меня в сердце, потом будет и в словах, и сейчас, хотя я и молчу о той боли, которую испытываю, прощаясь с тобой, любовь все равно в моем сердце. Только пока не время говорить о таких вещах. Если я теперь не сделаю того, что считаю правильным, мне, может быть, придется всю жизнь винить себя! Джем, ты обещал...

И с этими словами она оставила его. Опасаясь, что он все-таки попытается пойти с ней, она почти пробежала расстояние, отделявшее ее от знакомой двери.

Ее рука коснулась щеколды – миг, и дверь отворилась.

Она увидела отца. Он сидел неподвижно и даже не повернул головы, чтобы посмотреть, кто вошел. Правда, может быть, он узнал ее шаги.

Он сидел у огня, я должна была бы сказать – у очага, ибо огня в нем не было. Холодная решетка была засыпана серой золой, которую давно уже никто не выгребал. Он занял свое обычное место по привычке, которая одна теперь управляла движениями его тела. Казалось, что вся его энергия, и телесная и духовная, устремилась внутрь, на защиту какой-то цитадели жизни, чтобы спасти ее от грозного губителя – совести.

Он сидел сжав ладони, переплетя пальцы. Обычно такая поза выражала решимость, но он принял ее случайно, и она говорила только о слабости, – чтобы изменить ее, достаточно было бы легкого прикосновения – казалось, хватило бы и удара соломинкой.

Лицо его так осунулось и исхудало, что походило бы на череп, обтянутый кожей, если бы не выражение мучительного страдания, говорившее о том, что это живой человек. При виде его у вас заныло бы сердце, как бы сильно вы ни осуждали его преступления.

И его дочь, увидев его слабость, гнетущую печаль на его лице, забыла и про это преступление, и про все на свете. Как я уже говорила, прежде ей было трудно совместить образ отца с образом убийцы. Но теперь это стало вообще невозможным. Это ее отец! Ее милый, дорогой отец, которого сейчас, когда он так страдает, она любит еще сильнее, чем раньше, какой бы ни была причина этих страданий. Об его преступлении она не хочет больше думать, она забудет о нем.

И она нежно ухаживала за ним, оказывала все услуги, какие только могло подсказать ей любящее сердце, а руки – исполнить.

У нее было с собой немного денег – ведь ей заплатили за то, что она приезжала давать показания в суде, и, когда сумерки сменились ночным мраком, она выскользнула из дому, чтобы купить самое необходимое.

Никто не мог бы сказать, каким образом еще тлевший в его теле огонек жизни не погас совсем за те дни, что он прожил один. В доме не было ни угля, ни свечей, ни еды, как и тогда, когда Мэри покидала его.

Она торопливо шла домой, но, проходя мимо двери Джоба Лега, остановилась. Джем, конечно, уже давно ушел; несомненно также, что он, сославшись на какую-нибудь убедительную причину, уговорил Маргарет не навещать Мэри сегодня вечером, иначе она уже побывала бы у них.

Но завтра – разве не придет она завтра? А кто так чуток к различным оттенкам тона, к вздохам и даже к молчанию, как слепая Маргарет?

Однако она торопилась скорее вернуться к отцу и, не раздумывая больше, открыла дверь.

– Это Мэри Бартон! Я узнаю ее дыхание! Дедушка, это Мэри Бартон!

Мэри была очень тронута радостью, с которой встретила ее Маргарет, и этим открытым выражением любви, и не могла удержать слез. Ослабевшая и взволнованная, опустила она на первый попавшийся стул.

– Ну-ка, ну-ка, Мэри! Вид у тебя совсем другой – не то, что в последний раз. Надеюсь, ты подтвердишь, что мы с Джемом хорошие сиделки. Если не будет другой работы, я возьмусь за эту. А у Джема теперь, я думаю, пожизненное место? Ну ладно, ладно, не нужно так краснеть, девочка! Теперь-то вы с ним знаете, что на душе друг у друга!

Маргарет держала ее за руку и мягко улыбалась.

Джоб Лег поднял свечу и начал неторопливый осмотр.

– Так, щечки слегка порозовели – немного, но когда я видел тебя последний раз, губы у тебя были белые, как бумага. Носик чуть-чуть заострился – ты сейчас стала больше похожа на отца, чем раньше. Господи! Что с тобой, голубушка? Тебе дурно?

Ей действительно стало дурно при упоминании об отце, но она все же поняла, что должна что-то сказать или будет поздно.

– Отец вернулся домой! – сказала она. – Но ему очень плохо, я никогда еще не видела его таким. Я просила Джема не приходить к нам, чтобы не тревожить его.

Она говорила быстро и (как ей казалось) неестественным тоном. Но они как будто не заметили этого, а также не поняли и намека на то, что сейчас ее отцу лучше побыть в одиночестве, ибо Джоб Лег сразу же отложил насекомое, которое накалывал на большую булавку, и воскликнул:

– Твой отец вернулся! А Джем и не упомянул об этом! Да еще больной! Я сейчас же зайду и потолкую с ним, чтобы его развлечь. Я всегда знал, что эти его делегатские дела до добра не доведут.

– Ах, Джоб! Отцу это будет вредно – он слишком сильно болен! Не

приходите... Конечно, я знаю, что вы хотите помочь ему, но сегодня. Нет, нет, – сказала она наконец в отчаянии, видя, что Джоб упрямо продолжает убирать свои вещи, – вы не должны приходить к нам, пока я не зайду или не пришлю за вами. Отцу очень плохо и может стать хуже, если рядом будут чужие люди. Пожалуйста, не приходите. Я буду каждый день забегать к вам и рассказывать, как он себя чувствует. А теперь мне пора идти к нему. Милый Джоб! Добрый Джоб! Не сердитесь на меня. Если бы вы знали все, вы пожалели бы меня.

Она добавила это потому, что Джоб начал возмущенно ворчать, и даже Маргарет пожелала ей доброй ночи очень сдержанным тоном. А Мэри в эту минуту очень нуждалась в теплом участии, и ей была невыносима мысль, что такой добрый и преданный друг, как Джоб Лег, сочтет ее неблагодарной. Хотя ее рука уже лежала на дверной ручке, она быстро повернулась, подбежала к Джобу и, порывисто обняв его за шею, поцеловала сначала его, а потом Маргарет. Затем, обливаясь слезами, но не сказав ни одного слова, она быстро вышла и поспешила домой.

Отец сидел все в той же безучастной позе. Правда, он отвечал на ее вопросы (немногочисленные, так как столько тем нельзя было касаться) – отвечал односложно, слабым и тонким, похожим на детский, голосом, но ни разу не поднял глаз, не в силах встретиться со взглядом дочери. Мэри также избегала смотреть на него, когда говорила или ходила по комнате. Она хотела быть такой же, как обычно, но чувствовала, что это невозможно, – ведь ей приходилось обдумывать каждое свое слово, каждый поступок.

Так продолжалось в течение нескольких дней. Вечерами он с трудом поднимался наверх, чтобы лечь в постель, и в долгие ночные часы Мэри слышала мучительные стоны, которые днем никогда не срывались с его уст, ни единым звуком не выдававших его душевных страданий.

Прислушиваясь к этим стонам, Мэри с трудом удерживалась, чтобы не броситься наверх и не сказать отцу, что она знает все, но продолжает любить его, – быть может, это облегчило бы его измученное сердце.

А дневные часы текли так же уныло и монотонно, как в день ее возвращения. Он ел, но без всякого аппетита, и, казалось, пища не приносила ему никакой пользы, ибо с каждым утром на его лице все явственнее проступала страшная печать приближающейся смерти.

Соседи сторонились их. В последние годы угрюмость Джона Бартона оттолкнула от него всех, кроме тех немногих, кто знал его в более счастливые дни, тех, кого он любил и кому доверял. Соседей же отпугивала его вечная мрачная задумчивость и рожденная ею суровость. И теперь они

ограничивались тем, что справлялись о его здоровье у Мэри, когда встречали ее во дворе. А Мэри, жившая под гнетом страшной тайны, истолковывала эту их сдержанность совсем по-иному. Кроме того, ей недоставало Джоба и Маргарет, у которых с самого начала их знакомства она привыкла находить в дни беды сочувствие и поддержку.

Но больше всего она тосковала по тому огромному счастью, которое извела совсем недавно, когда нежная любовь Джема оберегала ее от всех тревог и даже от тяжелых мыслей.

Она знала, что он часто бродит вокруг ее дома, хотя в течение первых двух дней эта уверенность была чисто интуитивной. На третий день она увиделась с ним у Джоба Лега.

Джоб и Маргарет встретили ее очень сердечно, и все же Мэри с болезненной чуткостью уловила в их тоне нотку отчужденности. Но каждое движение Джема, его взгляд, голос были преисполнены самой горячей и нежной любви и доверия. Это доверие подтверждалось и тем, что, уважая ее просьбу, он так и не коснулся запрещенной темы.

Он ушел от Джоба Лега вместе с ней. Они постояли на крыльце; держа ее руку в своих, словно бы не желая отпускать ее, он спросил Мэри, когда они увидятся опять.

– Мама так хочет повидать тебя, – шептал он. – Может, ты зайдешь к ней завтра? Или когда?

– Я не знаю, – мягко отвечала она. – Но не в ближайшие дни. Подожди еще, – быть может, совсем немножко. Милый Джем, родной мой, я должна идти к нему.

На следующий день, четвертый после ее возвращения домой, печально сидя подле окна с какой-то работой, Мэри увидела человека, которого она меньше всего хотела бы сейчас видеть – Салли Лидбитер.

Она, несомненно, направлялась к ним; еще минута, и она уже стучалась в дверь. Джон Бартон с тревогой и беспокойством искоса взглянул в ту сторону. Мэри знала, что, если она промедлит, Салли не постесняется войти без разрешения. Поэтому она быстро, словно встречая желанную гостью, открыла дверь и встала на пороге, держась за щеколду и стараясь как можно лучше загородить комнату от любопытного взгляда посетительницы.

– Ну, здравствуй, Мэри Бартон! Так, значит, ты вернулась! Я как про это слышала, так сразу решила зайти да узнать, какие новости.

Ей очень хотелось войти, но она видела, что Мэри этого не допустит. Тогда она встала на цыпочки, заглядывая через плечи Мэри в комнату, где, как она подозревала, прятался поклонник, но вместо этого увидела



мрачную и суровую фигуру отца, которого всегда побаивалась. Тогда она отказалась от своего первоначального намерения и решила продолжать разговор с Мэри, как этого той и хотелось: в дверях и шепотом.

– Значит, твой папаша вернулся, а? А что он сказал, узнав про твои подвиги в Ливерпуле и все, что было до этого? Мы-то с тобой знаем – где! Ты этого теперь не скроешь, Мэри, – в газетах все как есть пропечатали.

Мэри тяжело вздохнула и стала умолять Салли не говорить на эту тему, всегда ей неприятную, а в таком изложении – неприятную вдвойне. Если бы они были наедине, Мэри терпеливо снесла бы ее болтовню, – по крайней мере, ей так казалось. Но сейчас она была почти уверена в том, что отец прислушивается к их разговору – об этом говорило его приглушенное дыхание и чуть заметная перемена в позе. Но Салли жаждала узнать о приключениях Мэри, и остановить ее было невозможно. Она, как и остальные мастерицы мисс Симмондс, почти завидовала известности, которая для самой Мэри была только источником горя и унижения.

– Ну, чего тут стесняться. Ведь про это было напечатано и в «Гардиан» и в «Курьере», а Джейн Ходсон от кого-то слышала, что об этом писали даже в какой-то лондонской газете. Ты стала прямо героиней, Мэри Бартон! Ну, как тебе понравилось давать показания? А правда, что все законники страшные нахалы? Так и глазеют, так и глазеют на тебя, да? Бьюсь об заклад, что ты пожалела, что не послушалась меня и не взяла мой черный муаровый шарф! Ну, говори, Мэри, пожалела? Признавайся!

– По правде сказать, я о нем даже и не вспомнила, Салли. До того ли мне было! – с упреком заметила Мэри.

– Ну да, конечно! Ты только и думала, что об этом дурне, Джемме Уилсоне. Ну, если мне когда-нибудь привалит счастье выступать на суде свидетельницей, уж я подцеплю кавалера получше подсудимого. Буду метить на адвокатского писца и не соглашусь меньше, чем на тюремного надзирателя.

Как ни тяжело было на сердце у Мэри, при этих словах она еле удержалась от улыбки – настолько нелепа была эта мысль искать поклонника на процессе об убийстве, так несовместима с тем, что ей пришлось пережить в действительности.

– Уверяю тебя, Салли, мне было не до кавалеров. Но не нужно больше говорить о суде, я и вспоминать-то о нем не в силах. Как поживает мисс Симмондс? И все девушки?

– Отлично! Кстати, у меня к тебе от нее поручение. Она говорит, что ты можешь вернуться на работу, если будешь вести себя прилично. Я ведь говорила, что она будет рада принять тебя обратно после всего этого дела,

чтобы заманивать к себе заказчиц. Да чтобы посмотреть на тебя, народ, по крайней мере, полгода будет приходить даже из самого Солфорда! <sup>[128]</sup>

– Не говори так; я не могу вернуться, я никогда больше не смогу посмотреть в глаза мисс Симмондс. А если б даже я и смогла... – И Мэри покраснела.

– А-а! Я знаю, о чем ты думаешь. Но ведь это будет не так скоро, раз его уволили из литейной! Так что хорошенько подумай, прежде чем отказаться от предложения мисс Симмондс.

– Уволили из литейной? Джема? – воскликнула Мэри.

– А как же! Ты что, не знала? Порядочные люди не захотели работать с... ну ладно, мне, наверное, не следует так говорить, раз уж ты столько старалась из-за его алиби. Ну, да и я сама не вижу ничего слишком дурного в том, что вспыльчивый влюбленный посчитался с соперником – в театрах все время так делают.

Но мысли Мэри были с Джемом. Как он боялся ее огорчить, раз ни словом не обмолвился о своем увольнении! Как много он выстрадал ради нее!

– Расскажи мне об этом подробнее, – произнесла она, задыхаясь.

– Ну, видишь ли, на сцене-то у них всегда под рукой шпаги, – начала Салли, но Мэри, нетерпеливо мотнув головой, перебила ее:

– Да нет! Я хочу узнать про Джема!

– А! Ну, я знаю не больше остальных: говорят, его из литейной уволили потому, что многие считают, будто ты его не полностью обелила, хоть присяжные и не захотели его повесить. Я слышала, что старик Карсон ужас как зол на судью, присяжных и адвокатов.

– Я должна идти к нему, я должна идти к нему, – торопливо повторяла Мэри.

– Он тебе подтвердит, что это чистая правда, – ответила Салли. – Так я не буду передавать мисс Симмондс твой ответ, чтобы ты могла еще как следует подумать. Всего хорошего.

Мэри закрыла дверь и вернулась в комнату.

Отец по-прежнему сидел в своей неизменной позе. Только голова его была опущена еще ниже.

Она надела чепец, чтобы идти в Энкоутс, ибо должна была увидеть Джема, расспросить его, утешить и еще раз сказать ему о своей любви.

Когда она на мгновение остановилась около отца, перед тем как выйти, он заговорил – в первый раз после ее возвращения заговорил сам, – но голова его была опущена так низко, что она не расслышала его слов, и ей пришлось нагнуться. После небольшой паузы он повторил:

– Скажи Джему Уилсону, чтобы сегодня, в восемь вечера, он пришел сюда.

Мог он услышать ее разговор с Салли Лидбитер? Они ведь шептались очень тихо. Размышляя об этом и о многом другом, она добралась до Энкоутса.

## ГЛАВА XXXV

### «ПРОСТИ НАМ НАШИ СОГРЕШЕНИЯ»

– О, будь он жив,-  
Ответила Рузилла, – превзойти  
В раскаянье его никто не смог бы.  
Неистовый во всем, он на себя  
Такое наложил бы покаянье,  
Такие муки плоти, что у вас  
Безмерность их исторгла бы забвенье  
Его вины, заставив содрогнуться,  
Невольным состраданием заглушив  
Негодование ваше.  
*Саути, «Родерик».*

Когда Мэри повернула на ту улицу, где жили Уилсоны, ее догнал Джем. Он окликнул ее так внезапно, что она вздрогнула.

– Ты идешь к маме? – спросил он, нежно беря ее под руку и замедляя шаг.

– Да, и к тебе тоже. Ах, Джем, скажи мне, это правда?

Она не сомневалась, что он поймет, о чем она спрашивает. И действительно, поколебавшись мгновение, он ответил:

– Да, любимая, это правда. Я не стану скрывать этого от тебя... раз ты все равно уже знаешь. Я больше не работаю в литейной Данкома. Сейчас (так мне кажется) не время иметь секреты друг от друга, хотя я и не сказал тебе вчера об этом, чтобы не огорчать тебя. Не бойся, я скоро опять найду работу.

– Но почему тебя уволили, когда присяжные решили, что ты не виновен?

– Собственно говоря, меня не увольняли, хотя оставаться там я не мог. Многие рабочие дали понять, что не хотят работать под моим началом. Конечно, некоторые знают меня хорошо и верят, что я не мог этого сделать, однако большинство сомневается. Кто-то из них поговорил с молодым мистером Данкомом и намекнул на это их мнение.

– Ах, Джем! Как это гадко! – в печальном негодовании воскликнула Мэри.

– Нет, нет, любимая, их нельзя винить. Этим беднякам нечем гордиться, не на что надеяться, кроме своей репутации, и правильно, что они заботятся о ней и оберегают ее от малейшего пятнышка.

– Но как же так? Ведь они от тебя не видели ничего, кроме добра! Они могли бы уже узнать тебя как следует!

– Есть и такие. Старший мастер, например, верит в меня. Он мне так прямо и сказал сегодня, и еще сказал, что он говорил со старым мистером Данкомом и они думают, что мне пока лучше уехать из Манчестера. А они порекомендуют меня на какое-нибудь другое место.

Но Мэри только печально качала головой, повторяя:

– Они могли бы знать тебя лучше, Джем!

Джем нежно пожал маленькую ручку, которую держал в своих мозолистых ладонях. Через минуту-две он спросил:

– Мэри, а ты сильно привязана к Манчестеру? Тебе было бы очень грустно расстаться с этой старой дымовой трубой?

– И уехать с тобой? – спросила она тихо.

– Ну, конечно! Неужто я попросил бы тебя уехать из Манчестера, если бы сам оставался тут. Но дело в том, что я слышал много хорошего про Канаду, а двоюродный брат нашего мастера работает там в литейной. А ты знаешь, где Канада, Мэри?

– Не совсем, то есть сейчас-то совсем не знаю, но с тобой, Джем, – нежно шепнула она, – куда хочешь...

Разве нужно тут географическое описание?

– А отец? – воскликнула Мэри, внезапно нарушив сладостное молчание воспоминанием об единственной черной тени, омрачавшей теперь ее жизнь.

Она поглядела на огорченное лицо своего возлюбленного, и тут в ее памяти мелькнуло поручение отца.

– Ах, Джем, я ведь тебе не сказала! Отец велел передать, что хочет поговорить с тобой. Он просит тебя прийти к нему сегодня вечером в восемь часов. Зачем это, Джем?

– Не знаю, – ответил он. – Но я обязательно приду. А пока нам нет смысла ломать над этим голову, – продолжал он через несколько минут, в течение которых они молча медленно прогуливались по переулку, в который он свернул, когда начался их разговор, – Повидайся с мамой, а потом я провожу тебя домой, Мэри. Ты вся дрожала, когда я догнал тебя; ты еще не настолько здорова, чтобы можно было отпустить тебя домой

одну, – добавил он, любовно преувеличивая ее беспомощность.

И все же влюбленные еще помедлили, обмениваясь словами, которые сами по себе ничего не значат, – по крайней мере, для вас. Я же не в силах подобрать достаточно нежных и страстных выражений, чтобы описать, с каким восторгом Джем и Мэри впивали эти простые слова, которым после этого разговора вполголоса суждено было навеки стать для них дорогими и сладостными.

Часы пробили половину восьмого.

– Зайди к нам и поговори с мамой. Она знает, что ты станешь ей дочерью, Мэри, радость моя.

Они вошли в дом. Джейн Уилсон немного сердилась, что сын запаздывает (до сих пор ему еще удавалось скрывать от нее свое увольнение), ибо у нее была привычка устраивать к возвращению близких какой-нибудь сюрприз – готовить какое-нибудь лакомое блюдо, однако, если они случайно не являлись в положенное время, чтобы отведать ее угощения, она так досадовала, что начинала сердиться, и когда тот, для кого она столько потрудилась, приходил домой, его встречали упреки, отравлявшие мир и покой, которые должны царить в любом доме, каким бы скромным он ни был, и вызывавшие почти отвращение к этому сюрпризу – ведь он, хотя и был порождением и доказательством нежной любви, оказывался причиной стольких огорчений.

Миссис Уилсон сначала вздыхала, а затем стала ворчать про себя, потому что картофельные оладьи, которые она напекла, начали засыхать.

Дверь открылась, и в комнату вошел с гордой улыбкой Джем под руку с застенчиво улыбающейся Мэри, в глазах которой сиял свет счастья, лишь чуть затененный ресницами, – юную пару словно окружал радужный ореол счастья.

Могла ли мать омрачить это счастье? Спутнуть его, подобно Марфе, заботясь лишь о земном? [\[129\]](#) Нет, она лишь мгновение еще помнила свои напрасные хлопоты, свою обиду, а потом ее женское сердце переполнилось материнской любовью и сочувствием, и она заключила Мэри в объятия и шепнула ей на ухо, проливая слезы волнения и радости:

– Да благословит тебя бог, Мэри. Только сделай его счастливым, и всевышний благословит тебя вовеки!

Нелегко было Джему разлучить этих двух женщин, которых он так любил и которые ради него, казалось, были готовы горячо полюбить друг друга. Но приближалось время, назначенное Джоном Бартоном, а до его дома было недалеко.

Когда молодые люди быстрым шагом шли обратно, они почти не

разговаривали, хотя каждый думал о многом.

Солнце еще не зашло, но все вокруг уже одела первая легкая тень приближающихся сумерек, и, когда они открыли дверь, Джем показалось, что в комнате совсем темно – так слаб был гаснущий свет дня и еле тлеющего огня в камине.

Но Мэри сразу увидела все.

Ее глаза, привыкшие к обычной обстановке комнаты, тотчас подметили необычное – она все увидела и поняла.

Ее отец стоял позади своего кресла и держался за его спинку, словно ища опоры. Напротив стоял мистер Карсон – в красном отблеске камина темный силуэт его суровой фигуры казался особенно большим.

Позади отца сидел Джоб Лег, опершись локтями на маленький столик и закрыв лицо руками, – он внимательно слушал, и то, что он услышал, поразило его в самое сердце.

Очевидно, разговор на миг прервался. Мэри и Джем стояли у полуоткрытой двери, не смея шевельнуться.

– Верно ли я тебя понял? – сказал мистер Карсон, и его низкий голос дрогнул. – Верно ли я тебя понял? Так, значит, это ты убил моего мальчика, моего единственного сына? (Последние слова он произнес так, словно искал сочувствия, но тут же в его голосе зазвучала ярость.) Не думай, что я сжалюсь над тобой, потому что ты сам во всем признался, и пощажу тебя. Знай, я добьюсь, чтобы ты получил самое суровое наказание, какое только допускает закон. Ты не пощадил моего сына и не жди пощады от меня!

– Я и не прошу о ней, – негромко сказал Джон Бартон.

– Просишь или не просишь, мне все равно! Тебя повесят, слышишь, повесят! – произнес мистер Карсон, нагибаясь к нему и с подчеркнутой медлительностью повторяя это слово, словно пытаясь вложить в него всю горечь своего сердца.

Джон Бартон судорожно вздохнул, но не от страха. Просто он почувствовал, как ужасно вызвать в человеке такую ненависть, какая сквозила в каждом слове, в каждом движении мистера Карсона.

– Я знаю, сэр, что меня повесят, да это только справедливо. И, наверное, такая смерть – не из легких, но вот что я скажу вам, сэр, – продолжал он, теряя над собой власть. – Если бы вы повесили меня на другой день после того как я совершил это преступление, я бы на коленях благодарил и благословлял вас. Смерть! Да что значит смерть по сравнению с жизнью? По сравнению с той жизнью, какую я вел последние две недели! Жизнь, даже в лучшем случае – лишь бремя, но существование, которое я влачил с той ночи... – Он умолк, содрогнувшись от нахлынувших

воспоминаний. – Знайте, сэр, за это время я часто хотел покончить с собой, чтобы избавиться от своих мыслей. Я не сделал этого, и вот почему. Я боялся, что за могилой мысль о моем злодеянии будет терзать меня еще больше. Одному богу ведомо, какие муки раскаяния испытал я – и я не наложил на себя руки еще и потому, что не смел уйти от ниспосланной мне кары, перед которой даже виселица, сэр, покажется раем. – Он умолк, задохнувшись от волнения.

Через несколько секунд он заговорил снова:

– С того дня (может, это и грешно, сэр, но это правда) я все время думал и думал о том, что если бы я был в том мире, где, говорят, правит всевышний, он, может, научил бы меня отличать добро от зла, пусть бы даже сурово меня покарал. А здесь я так этого и не постиг. Я не устрасился бы и адского пламени, если бы только оно в конце концов очистило меня от греха, потому что страшнее греха ничего нет. А виселица – это пустяк.

Силы покинули его, и он опустился на стул. Мэри подбежала к нему. Казалось, он только сейчас заметил ее присутствие.

– А, это ты, дочка! – дрожащим голосом сказал он. – А где же Джем Уилсон?

Джем подошел к нему. Джон Бартон заговорил снова, задыхаясь и часто останавливаясь:

– Ты, Джем, многое из-за меня перенес. Такая это была подлость – оставить тебя расплачиваться за мое злодеяние, уж не знаю, что может быть хуже. И ведь ты совсем к нему не причастен. Я не буду благословлять тебя за это – благословение такого человека, как я, не принесет тебе добра. Но ты будешь любить Мэри, хоть она и моя дочь...

Он умолк, и наступила недолгая тишина.

Затем мистер Карсон подошел к двери. Уже положив руку на щеколду, он вдруг остановился:

– Ты, наверное, понимаешь, куда я иду. Прямо в полицию, чтобы тебя немедленно арестовали, негодяй, вместе с твоим сообщником. Завтра утром твой рассказ узнают те, кто вершит правосудие, и очень скоро ты получишь возможность попробовать, как сладка веревка!

– Ах, сэр! – воскликнула Мэри, бросаясь к нему и удерживая его за рукав. – Мой отец умирает. Взгляните на него, сэр! Если вам нужна смерть за смерть, вот она! Только не забирайте его у меня в эти последние часы. Он должен один пройти через врата смерти, но дайте мне побыть с ним, сколько можно. Ах, сэр! Если в вас есть хоть капля жалости, оставьте его умирать здесь!

Джон встал, выпрямился во весь рост и сказал:



– Мэри, дочка! Я в долгу перед ним. Я умру там, где он захочет, и так, как он захочет. Ты сказала правду: смерть уже пришла за мной, и не все ли равно, где я проведу те часы, которые мне еще остались. Эти часы я должен потратить на борьбу со своей душой, чтобы другим предстать в иной мир. Я пойду туда, куда вы укажете, сэр. А он невиновен, – сказал он из последних сил, указывая на Джема, и вновь опустился в кресло.

– Не бойся! Его они тронуть не смогут, – прошептал Джоб Лег.

Суровое выражение лица мистера Карсона не смягчилось, и он уже вновь взялся за щеколду, как вдруг Джон Бартон опять остановил его. Снова встав на ноги и опираясь на Джема, он сказал:

– Еще одно слово, сэр! Мои волосы поседели от страданий, а ваши – от возраста...

– А разве я не страдал? – спросил мистер Карсон, словно ища сочувствия даже у убийцы своего сына.

И убийца его сына застонал, вновь постигнув всю глубину горя, которому был причиной.

– Разве не душевное страдание сделало эти волосы седыми? Разве я не трудился, не боролся даже в старости, мечтая, что мой сын осуществит все надежды, которые я на него возлагал? Я не говорил о них, но разве их у меня не было? Я казался суровым и безжалостным, и, может быть, таким я и был для всех, но не для него, нет! Кому ведомо, как я любил его! Даже он никогда не знал, какой радостью наполнялось мое сердце при одном только звуке его шагов, как дорог он был моему несчастному старику отцу. А теперь его нет. Убит! Он не услышит моих ласковых слов. Никогда я его не увижу. Он был для меня солнцем, а теперь кругом ночь! О господи, где мне найти утешение! – вскричал старик и разрыдался.

Глаза Джона Бартона наполнились слезами. Богатый и бедный, хозяин и рабочий стали теперь братьями, ибо им равно было ведомо страдание – не так ли горевал он сам, потеряв маленького Тома, в те далекие годы, которые, казалось, теперь принадлежали какой-то другой жизни!

Стоявший перед ним обездоленный отец уж не был для него хозяином, существом иного вражеского племени, богачом с каменным сердцем, тронуть которое могут только денежные убытки; он уже был не противником, не угнетателем, а просто очень несчастным, безутешным стариком.

Сочувствие к страданиям других, которое раньше было отличительной чертой Джона Бартона, вновь переполнило его сердце и чуть не заставило его сказать этому суровому, разбитому горем человеку несколько искренних слов утешения.

Но кто он такой, чтобы выражать сочувствие, говорить слова утешения? Причина всего этого горя!

Какая ужасная мысль! Какое горестное воспоминание! Он сам лишил себя права врачевать раны ближнего

Ошеломленный этой мыслью, Джон упал в кресло, не выдержав страшного гнета последствий своего поступка, – ведь тогда он так же не думал о разбитой семье и убитых горем родителях, как целющийся изружья солдат не думает о безутешной жене, которой предстоит овдоветь, и жалобно плачущих детях, которые через мгновение лишатся отца.

Джон Бартон совершил свое деяние только с одной целью: испугать целое сословие людей, которые, по мнению тех, кто стоит ниже их, стремятся лишь побольше выжать из рабочего за меньшую плату, или в крайнем случае к тому, чтобы устранить опасного соперника – фабриканта, напугать тех, кто мешает рабочим добиться своих прав. Джон Бартон верил в это, и все же, едва улеглось первое возбуждение, его настиг Мститель, неумолимый Мститель.

Но теперь Джон понял, что убил человека и брата; понял, что зло никогда не принесет добра, даже тем страдальцам, чье дело он так слепо защищал.

Изнемогая от муки, Джон Бартон уронил голову на руки. Безутешные рыдания мистера Карсона поразили его в самое сердце.

Он чувствовал себя презренным отщепенцем. Как же он не сумел понять истинного смысла тех извращенных рассуждений, в силу которых совершение смертного греха выглядело долгом! Стремление найти хоть какое-нибудь, пусть самое слабое, оправдание все сильнее овладевало им. Он с трудом поднял голову и, глядя на Джоба Лега, прошептал:

– Я не знал, что делаю, видит бог, Джоб Лег, не знал! Ах, сэр, – в отчаянии воскликнул он, почти бросаясь к ногам мистера Карсона, – скажите, что вы прощаете мне страдания, которые я причинил вам. Я не боюсь ни боли, ни смерти, вы знаете это! Но сжальтесь. Простите мне грех, который я совершил!

– Прости нам наши согрешения, как и мы прощаем тем, кто согрешит против нас, [\[130\]](#) – сказал Джоб Лег тихо и торжественно, словно молясь, словно слова эти были ему подсказаны криком Джона Бартона.

Мистер Карсон отнял руки от лица. Я предпочла бы увидеть смерть, чем страшный мрак, окутывавший это лицо.

– Пусть мои согрешения останутся непростенными, только бы я мог отомстить за убийство моего сына!

Есть богохульные дела, так же как и богохульные слова. Все злые,

жестокие поступки – это богохульство, воплощенное в действие.

Мистер Карсон ушел. Джон Бартон, словно мертвый, лежал на полу.

Друзья подняли его и уложили в постель, почти надеясь, что этот глубокий обморок будет концом его земного пути.

Некоторое время они прислушивались к его слабому дыханию, но то и дело отвлекались, ибо в каждом звуке торопливых шагов, доносившихся с улицы, им чудилось приближение блюстителей закона.

Когда мистер Карсон вышел на улицу, у него от волнения кружилась голова и бешено стучало сердце. Голова раскалывалась от боли, и он даже не видел темной синевы вечернего неба. Чтобы хоть немного прийти в себя, он прислонился к садовой решетке и устремил взгляд в спокойные, величественные глубины небес, усеянные тысячами звезд.

И через некоторое время он услышал свой собственный голос, как будто те последние слова, которые он произнес, снова вернулись к нему, пролетев сквозь все это бесконечное пространство, но в их отзвуке слышалась теперь невыразимая печаль: «Пусть мои согрешения останутся непощенными, только бы я мог отомстить за убийство моего сына».

Он попытался убедить себя, что это галлюцинация. Его лихорадило, и чувствовал он себя совсем больным, – впрочем, это было вполне естественно.

И он повернулся, чтобы идти домой, а не в полицию, как он угрожал. В конце концов (сказал он себе) это можно будет сделать и утром. Бартон не ускользнет от рук правосудия, если только не укроется в могиле.

Он попытался отогнать от себя призрачные голоса и образы, помимо воли возникавшие в его сознании. И чтобы восстановить душевное равновесие, он пошел медленнее и спокойнее, стараясь обращать внимание на все, что происходит вокруг.

В этот теплый весенний вечер улицы были полны народа. В толпе он заметил маленькую девочку с няней, которая вела ее домой с какого-то детского праздника – скорее всего с танцев, так как на прелестной крошке было красивое платьице из белоснежного муслина, и, послушно семеня рядом с няней, она то и дело привставала на цыпочки, как будто в ее ушах еще звучала музыка, под которую она совсем недавно старательно выделявала какие-то па.

Внезапно ее нагнал неуклюжий, грубый мальчишка – посыльный, примерно девяти-десяти лет, но настоящий великан по сравнению с этой малюткой. Не знаю, как это случилось, но, бесцеремонно расталкивая прохожих, мешавших ему пройти, он каким-то неловким движением сбил девочку с ног, и она больно ушиблась о плиты тротуара.

Девочка поднялась, горько плача от боли; ее миловидное и еще минуту тому назад ясное личико обагрила кровь, по каплям стекая на красивое платице и оставляя на нем яркие алые пятна, которые всегда так сильно пугают маленьких детей.

Няня – рослая и сильная женщина – схватила мальчишку как раз в ту минуту, когда мистер Карсон, который видел всю эту сцену, поравнялся с ними.

– Ах ты гадкий озорник! Вот я сейчас позову полицейского! Ты видишь, как ты ушиб эту девочку? Видишь? – говорила она, злобно тряся его за плечи.

Мальчишка глядел на нее угрюмо и вызывающе, хотя его сильно напугало упоминание о полицейском, который в глазах наших уличных мальчишек куда страшнее людоеда. Заметив это, няня потащила его за собой, намереваясь, как она выразилась, «хорошенько проучить его для его же блага».

Он перепугался еще больше, хотя это только усилило его злость, но тут милая крошка, подавив рыдания, пригнула к себе голову няни и сказала:

– Няня, нянечка! Мне совсем не больно, и заплакала я совсем напрасно. Он ведь не нарочно меня толкнул. Он не знал, что делает, правда, мальчик? Няня не станет звать полицейского, ты не бойся.

И она подставила обидчику свой маленький ротик, точь-в-точь как ее учили делать дома, чтобы «помириться».

– Мальчуган, наверное, будет теперь вести себя более осторожно и прилично, благодаря этой милой девочке, – сказал какой-то прохожий и повернулся к мистеру Карсону, заметив, что тот наблюдал за этой сценой.

Мистер Карсон продолжал свой путь, сделав вид, будто не слышал замечания. Однако просьба девочки напомнила ему о глухом, прерывающемся голосе, который недавно вот так же молил о прощении за свою великую вину: «Я не знал, что я делаю».

Эти слова что-то напомнили мистеру Карсону; он где-то раньше слышал или читал о такой же мольбе. Но где же?

Неужели?...

Он решил посмотреть, как только вернется домой.

Когда он вошел в дом, то сразу же молча поднялся наверх в библиотеку и снял с полки огромную, прекрасно изданную Библию, всю в украшениях и позолоте. Ее открывали очень редко, и листы так и остались слипшимися после пресса переплетчика.

На первой странице (которую открыл мистер Карсон) были написаны

имена его детей и его собственное.

«Генри Джон, сын вышеозначенного Джона и Элизабет Карсон.  
Родился 25 сентября 1815 года».

Чтобы завершить эту запись, осталось указать дату смерти. Но затуманенный слезами взор отца уже не видел страницы.

Мысли и воспоминания быстро сменялись в его мозгу, но первым он вспомнил тот счастливый день, когда он купил эту дорогую книгу, чтобы записать в ней рождение младенца, которому исполнился один день.

Он опустил голову на раскрытую страницу, и слезы медленно закатали на сияющие белизной листы.

Убийца его сына обнаружен; он признался в своей вине; и все же (как ни странно) мистер Карсон не мог ненавидеть его той всепоглощающей ненавистью, которую он испытывал, когда считал, что убийца – молодой человек, сильный и здоровый, преступивший все законы, божеские и человеческие. Как ни хотел мистер Карсон сохранить в себе жажду мести, в удовлетворении которой видел свой долг перед погибшим сыном, в его сердце закрадывалось что-то вроде жалости к несчастному, измученному старику, поведавшему ему о своем грехе и молившему о прощении.

Свое детство и юность мистер Карсон провел в бедности, но то была честная бедность, а не та вопиющая нищета, следы которой он видел в жилище Джона Бартона, столь отличном от его собственного роскошного дома. И мысль о различии в людских судьбах наполнила его непривычным удивлением.

Очнувшись от забытья, он вновь обратился к Евангелию, где он рассчитывал найти эти кроткие, молящие слова: «Прости им, ибо не знают, что делают».

Уже наступила полночь, и в доме царила глубокая тишина. Ничто не мешало старику в его непривычных занятиях.

Давным-давно Евангелие служило ему букварем, и, таким образом, он познакомился с изложенными в нем событиями задолго до того, как мог постигнуть их смысл, их животворный дух.

Теперь он начал вновь его перечитывать с любопытством малого ребенка. Начав с начала, он читал с жадностью, и перед ним впервые раскрылся смысл повествования. И вот – конец, страшный конец. Там он и нашел преследовавшие его слова.

Он закрыл книгу и глубоко задумался.

Всю ночь архангел боролся в нем с дьяволом.

Всю ночь другие люди сидели у ложа смерти. Джон Бартон очнулся и находился в сознании, лишь порой омрачавшемся бредом. Иногда он даже начинал говорить почти с былой энергией:

– Я ведь всегда искал правильный путь, да только бедняку нелегко его найти. Во всяком случае, так было со мной. Меня никто не учил, никто не наставлял. Когда я был маленьким, меня научили читать, а потом никогда не давали мне никаких книг. Я только слышал, что Библия – хорошая книга. И вот когда меня начали одолевать разные мысли, я взялся за нее. Но как поверить, что черное есть черное или что ночь есть ночь, когда видишь, что все кругом поступают так, будто черное есть белое, а ночь есть день. На том свете я не много смогу сказать в свое оправдание. Но одно я скажу: я рад был бы соблюдать библейские заповеди, если бы я только видел, что люди их почитают. На словах-то, конечно, они им следуют, а вот поступают наоборот. В те дни я, бывало, ходил везде с моей Библией, как малый ребенок, показывая пальцем какой-нибудь стих, и просил объяснить его смысл, но мне никто ничего не отвечал. Тогда я выбрал две или три заповеди, ясных как божий день, и старался поступать так, как они мне велят. Да только не знаю уж, почему, но и хозяева и рабочие даже и думать о них не хотели. Вот тут-то я и решил, что все это придумано, чтобы вводить в обман бедных темных людей, женщин и всяких там простаков. Нет, я недолго пытался жить по Евангелию, но зато в те дни я знал прямо небесный покой, какого уже больше никогда не мог найти. Старушка Элис укрепляла мою веру, но все остальные говорили: «Отстаивай свои права, или ты никогда ничего не добьешься». Жена и дети ничего мне не говорили, но их нужда кричала громче слов, и мне пришлось поступать, как поступали другие, а тут еще умер Том. Вы про это знаете... Дышать трудно... в глазах темнеет.

Затем его голос вновь нарушил тревожную тишину:

– А ведь мне всегда хотелось любить людей, хоть я и стал тем, что я есть. Было время, когда я мог бы любить даже хозяев, если бы они позволили; это было в то время, когда я жил по Евангелию, до того как мой ребенок умер от голода. И не хватало у меня сил любить тех, кто (как мне казалось) был причиной всех страданий бедняков – моих братьев, которых я любил и жалел. В конце концов я отчаялся примирить людские дела с Евангелием и решил, что и сам больше не буду пытаться следовать его заветам. Может, я все это уже раньше говорил. Но с тех пор я падал все ниже и ниже.

После этого он бормотал лишь отдельные бессвязные фразы:

– Я не знал, что он старик... Только бы он простил меня.

Затем последовали бессвязные, но страстные и искренние слова молитвы.

Джоб Лег ушел домой – он был словно оглушен случившимся. Мэри и Джем вместе ждали приближения смерти; но агония затягивалась, занималось утро, и Джем решил купить лекарство, которое облегчило бы муки умирающего, и ушел искать аптеку, которая была бы открыта в столь ранний час.

Во время его отсутствия Бартону стало хуже; он упал поперек постели и, казалось, перестал дышать. Напрасно Мэри пыталась приподнять его – она слишком ослабла от горя и волнения.

Вдруг внизу хлопнула дверь, и, подумав, что это вернулся Джем, Мэри громко позвала его.

На лестнице послышался звук шагов, но это были не шаги Джема.

В дверях стоял мистер Карсон. С первого взгляда он понял все.

Он подхватил тело умирающего, и хотя душа Джона отлетала, в его тускнеющих глазах мелькнула благодарность.

Мистер Карсон поддерживал его. Джон Бартон молитвенно сложил руки.

– Молитесь за нас, – сказала Мэри, опускаясь на колени и забывая в этот торжественный час все то, что разделяло ее отца и мистера Карсона. Он же не мог произнести других слов, кроме тех, что он прочел всего несколько часов тому назад: «Боже, будь милостив к нам, грешным. Прости нам наши согрешения, как мы прощаем обидевших нас».

Мистер Карсон умолк – Джон Бартон умер.

Так закончилась трагедия жизни бедняка.

Мэри долго ничего не сознавала. Когда она пришла в себя, то увидела, что лежит на кушетке в большой комнате, а Джем поддерживает ее голову. Рядом, о чем-то тихо и серьезно разговаривая, стояли Джоб и мистер Карсон. Потом мистер Карсон попрощался и ушел, а Джоб сказал громко, но так, словно говорил сам с собой:

– Господь услышал молитву этого человека и послал ему мир.

## ГЛАВА XXXVI

### РАЗГОВОР ДЖЕМА С МИСТЕРОМ ДАНКОМ

День, – первый из загробных дней,  
Последний – боли и скорбен...

Байрон. [\[131\]](#)

Мэри со времени своего возвращения из Ливерпуля чувствовала (хотя, быть может, даже ясно этого не сознавая), что у ее отца есть только один спасительный и желанный выход – смерть.

Она была свидетельницей того, как Совесть сокрушила его смертную оболочку, и не смела вопрошать бесконечное милосердие божье о том, что ждет его за гробом.

Но когда утихла первая боль, вызванная этим страшным ударом, и Мэри могла уже размышлять и рассуждать, она старалась нести свое горе с покорностью и смирением. Конечно, немалой поддержкой бедной осиротевшей девушке служила нежная, заботливая любовь Джема, а также сочувствие и ласковое внимание Джоба и Маргарет.

Мэри не спрашивала их, о чем они шепчутся, – ее не интересовало, когда будут похороны и какими они будут. Она отдала себя в руки друзей с доверием маленького ребенка, радуясь тому, что ничто не мешает ее воспоминаниям, от которых слезы переполняли глаза и медленно скатывались по ее бледным щекам.

Это был самый долгий день в ее жизни, – так как ей не о чем было заботиться, не о чем думать; и все же этот длительный, хотя и вынужденный, покой, возможно, пошел ей на пользу, ибо у нее было достаточно времени, чтобы осознать свое положение и со всей глубиной понять, что утреннее событие оставило ее сиротой, – правда, это избавило ее от мук, которые ждут тех, чьи близкие умирают ночью, в часы, отведенные природой для сна. Ведь в таких случаях люди, измученные долгими, тревожными часами бдения, не выдерживают чрезмерного горя и засыпают, не постигнув до конца случившегося, а утром в отчаянии просыпаются и вновь переживают всю горечь ужасной утраты, которой ничем, никогда не возместить.



Этот день принес много забот миссис Уилсон. Сочувствие, да и обычай требовали, чтобы она навестила свою будущую невестку. И по извечной ассоциации идей (может быть, связывающей смерть с кладбищем, кладбище – с церковью, а церковь – с праздниками) она собиралась надеть для этого визита свое лучшее платье, давно уже лежавшее без употребления, и решила проветрить его у огня – занятие, доставившее ей немало удовольствия.

Когда Джем в день смерти Джона Бартона вернулся домой поздно вечером, усталый и измученный хлопотами и волнением, его мать кончала приводить в порядок свой траурный наряд и была в самом разговорчивом настроении. И Джем, хотя он только и думал о том, как бы отдохнуть, пришлось сесть и отвечать на ее вопросы.

– Ах, Джем! Значит, он скончался?

– Да. Откуда вы знаете это, мама?

– Джоб зашел по дороге к гробовщику и сказал мне. А кончина его была мирной?

Джем понял, что она еще ничего не слышала о признании, сделанном Джоном Бартоном на смертном одре. Он вспомнил обычную сдержанность Джоба Лега; и тут же решил, что постарается и дальше скрывать эту тайну от матери, однако сделать это будет куда легче, если ему удастся добиться ее согласия на переезд в Канаду, о чем он раньше рассказывал Мэри. А сохранить тайну было необходимо, иначе семейное счастье, о котором он мечтал, оказывалось в большой опасности. Джем знал раздражительность матери и боялся, что во время какой-нибудь вспышки она не удержится и попрекнет Мэри преступлением ее отца, а Джем хорошо понимал, как тяжело это будет Мэри. Поэтому он решил утром отправиться к Джобу Легу и попросить его хранить случившееся в тайне; если даже Джоб уже все рассказал Маргарет, на ее скромность можно положиться.

Но что предпримет мистер Карсон? Удастся ли убедить его пощадить память Джона Бартона?

Течение его мыслей было прервано раздраженным возгласом матери.

– Джем! – сказала она. – И зачем ты только сидел у постели умирающего, коли не можешь даже рассказать о последних его минутах. Я пробыла весь день одна-одинешенька – только Джоб заходил – и все надеялась: вот придет Джем и все мне расскажет, раз уж он все видел своими глазами. А что толку-то, если ты молчишь, словно воды в рот набрал! И для чего только ты туда ходил, если даже не запомнил, что он сказал напоследок!

– Он ничего не сказал, мама, – ответил Джем.

– Подумать только! Он так любил рассуждать, а пропустил такой случай! Ну, а умер-то он легко?

– Он мучился всю ночь напролет, – ответил Джем, с неохотой вспоминая эти часы.

– И ты, конечно, забрал у него подушку? Как, не забрал?! С твоим-то образованием и ученостью ты мог бы сообразить, что в таких случаях это единственная помощь. Да ведь в подушке-то наверняка были голубиные перья! Подумать только, вы с Мэри совсем уже взрослые, а не знаете, что смерть никогда не придет легко к человеку, который лежит на подушке с голубиными перьями!

Джем обрадовался, когда ему наконец удалось укрыться в своей тихой комнатке, где он мог прилечь и без помех подумать обо всем том, что произошло и что необходимо было сделать.

Прежде всего следовало поговорить с мистером Данком, прежним его хозяином. Поэтому рано утром на следующий день Джем отправился на завод, где столько лет проводил все свои дни, где думал свои думы и переживал надежды и разочарования. Ему стало горько при мысли, что он должен навсегда расстаться с этими знакомыми местами, и это чувство только усугубилось, когда он заметил, что большинство рабочих поглядывает на него угрюмо и неприязненно. Пока он у входа в литейную поджидал мистера Данкома, мимо него, возвращаясь с завтрака, прошло много рабочих, но лишь двое-трое поздоровались с ним, а остальные либо ограничились холодным кивком, либо и вовсе его не заметили.

«Как тяжело, – с нарастающей досадой и возмущением подумал Джем, – что, как бы честно ни жил человек, люди всегда рады поверить любому скверному слову о нем. Конечно, если я останусь в Англии, со временем все забудется, но сколько придется пережить Мэри? Рано или поздно правда раскроется, и тогда на нее все время будут указывать пальцем как на дочь Джона Бартон. Ну что ж! Господь судит не так строго, как люди, это единственное утешение для всех нас!»

Мистер Данком не верил в виновность Джема, хотя и не заявил об этом вслух, заметив враждебность рабочих. Все же он согласился, что при сложившихся обстоятельствах Джему лучше всего уехать.

– Как я вам уже, по-моему, говорил, мы получили письмо от тамошних властей, которые просят нас рекомендовать толкового человека, хорошо знакомого с машинами, на работу по изготовлению инструментов в Сельскохозяйственный колледж, открываемый в Торонто, в Канаде. Это выгодная должность – дом, земля и хороший процент с изготовленных инструментов. Если вас интересуют подробности, я покажу вам письмо, но

я, кажется, оставил его дома.

– Спасибо, сэр. Я сразу могу сказать, что я согласен. Я должен уехать из Манчестера, и раз уж приходится покидать Англию, то чем скорее это будет, тем лучше.

– Конечно, правительство оплачивает проезд и даже, кажется, даст пособие и на семью, но вы, если не ошибаюсь, не женаты?

– Нет еще, сэр, но... – Джем смутился, точно девушка.

– Но, – закончил с улыбкой мистер Данком, – я полагаю, что вы еще до отъезда обзаведетесь женой, а, Уилсон?

– Да, сэр. И кроме того, у меня есть мать. Я надеюсь, что она согласится поехать с нами. Но я могу сам оплатить ее проезд, не нужно обременять правительство.

– Нет, нет! Я сегодня же напишу, рекомендуя вас. И укажу, что, кроме вас, в семье есть еще два человека. А они вряд ли поинтересуются, о детях идет речь или о родителях. Надеюсь, что мы еще увидимся до вашего отъезда, Уилсон, хотя не думаю, что вам дадут много времени на сборы. Но лучше зайдите ко мне домой – так вам, наверное, будет гораздо приятней. А то эти молодцы слишком уж упрямы. Ну, не падайте духом!

Итак вопрос был решен, и Джем сразу почувствовал облегчение – не было больше нужды взвешивать доводы за и против отъезда.

Чем больше думал Джем о будущем, тем яснее становился ему его путь. В этом настроении он отправился к Мэри, чтобы рассказать ей, как складываются дела, если она будет в силах его выслушать. У нее сидела Маргарет.

– Дедушка хотел повидать вас, – сказала она Джему, как только он вошел.

– Он мне тоже очень нужен, – ответил Джем, вспомнив принятое прошлой ночью решение просить Джоба Лега, чтобы он сохранил в тайне признание Бартона.

И вот, задержавшись лишь затем, чтобы поцеловать милое, измученное горем лицо Мэри, он поспешил от любимой к нетерпеливо ожидавшему его старику.

Едва увидев Джема, Джоб воскликнул:

– Я получил записку от мистера Карсона, и, бог ты мой, он хочет видеть тебя и меня. Ты уверен, что больше ничего не случилось, а?

Он с недоумением поглядел на Джема. Но если у Джоба вдруг и мелькнуло подозрение, его тут же рассеял честный, бесстрашный и открытый взгляд Джема.

– Право, не могу понять, что нужно бедному старику, – ответил он. –

Может быть, он в чем-то еще не разобрался, а может быть... но зачем гадать; пойдемте к нему.

– Не будет ли лучше, чтоб ты малость обождал, а? Пока я схожу узнаю, в чем дело! Может быть, он вбил себе в голову, что ты сообщник, и он заманивает тебя в ловушку?

– Я не боюсь, – сказал Джем. – Я не сделал ничего плохого бедному молодому человеку и ничего больше о нем не знаю, хотя сознаюсь, что одно время была у меня на него злоба. И если взяться за дело как следует, в этом убедиться нетрудно. Я готов, чем могу, помочь несчастному старику, потому что вреда от этого теперь никому уже не будет. Кроме того, у меня есть свои причины желать разговора с ним, так что все это вышло кстати.

Смелость Джема несколько приободрила Джоба, но все-таки, если сказать правду, он предпочел бы, чтобы молодой человек последовал его совету и предоставил ему выяснить намерения мистера Карсона.

Тем временем Джейн Уилсон надела черное парадное платье и отправилась к Мэри выразить ей свои соболезнования. Она с некоторым трепетом думала о том, что в подобных случаях (так, по крайней мере, ей казалось) полагается уснащать свою речь цитатами из писания и нравоучительными поговорками, а поэтому, направляясь к дому скорби, она мысленно приготовила множество красноречивых тирад.

Когда она осторожно открыла дверь, Мэри, печально сидевшая у очага, увидела ее – увидела мать Джема, добрую знакомую ее покойных родителей, утешительницу ее собственных детских бед и обид, – и бросилась к ней, крепко ее обняла и, горько плача, воскликнула:

– Нет больше его... он умер... нет никого... все умерли, и я осталась совсем одна!

– Бедная девочка! Бедная, бедная ты моя! – говорила Джейн Уилсон, нежно ее целуя. – Ты не одна, и не надо так расстраиваться. Уж про отца-то небесного, который всегда защитит сироту, я и говорить не буду, ну а Джем? Ну, а я, Мэри, голубушка? Хоть я, бывает, и ворчу, да ведь это не со зла, а ты теперь будешь мне дочерью – любимой, родной моей дочкой. Я буду любить тебя не меньше, чем Джем тебя любит, хоть и другой любовью. А если я когда и разворчусь, ты не обижайся и помни, что в сердце моем, открытом господу, живет горячая любовь к тебе – только согласись, чтобы я была тебе вместо матери, и не говори больше, что ты осталась совсем одна.

Миссис Уилсон сама громко рыдала уже задолго до того, как закончила свою речь, ничуть не похожую на то, что она собиралась сказать, – на те благочестивые прописные истины, которые она усердно вспоминала

по дороге сюда. Ибо в ее прекрасных словах заключалось подлинное благочестие души, и они не нуждались в приправе из евангельских изречений.

Обнявшись, они сидели на одном стуле, оплакивая одного и того же усопшего, храня в сердце одинаковое доверие и безграничную любовь к одному и тому же живущему.

И с этой минуты ни одно мимолетное облачко не омрачало их взаимной любви и доверия; даже Джем скорее мог вызвать раздражение матери, чем Мэри. В присутствии Мэри она старалась не давать выхода беспричинному дурному настроению и постепенно почти избавилась от бывшей ворчливости.

Много лет спустя, разговаривая с матерью, Джем с удивлением догадался по случайно оброненным ею словам, что она знает о преступлении Джона Бартона. Им давно уже не доводилось встречаться с теми, кто знал их в былые дни в Манчестере и мог бы открыть ей эту тайну (которую к тому же вряд ли в Манчестере и знали, ибо Джем принял против этого все возможные меры). Поэтому Джем поспешил выяснить, во-первых, что именно она знает и, во-вторых, откуда. Оказалось, что ей все рассказала сама Мэри.

Ибо в то утро, о котором, главным образом, повествует эта глава, когда миссис Уилсон утешала рыдающую Мэри самыми нежными словами и ласками, она с удивлением и ужасом услышала от девушки, почему ее горе так мучительно, услышала о преступлении, запятнавшем память ее покойного отца.

Мэри и не подозревала, что Джем ничего не сказал матери; она воображала, что об этом уже известно всем, как стало известно и о подозрениях против ее возлюбленного; и вот слова (слетавшие с губ девушки в предположении, что миссис Уилсон все знает) открыли ее собеседнице страшную тайну и объяснили причину ее глубоких страданий – более глубоких, чем те, которые причиняет одна только смерть.

Именно в таких серьезных делах и находили выражение природная доброта и деликатность миссис Уилсон. Плохое здоровье и частые недомогания привели к тому, что она легко раздражалась из-за мелочей и давала выход этому раздражению, но она была способна на глубокое, благородное сочувствие большому горю и даже в первые минуты ничем не выдавала своего удивления и ужаса. Она не поддавалась любопытству и не стала расспрашивать о подробностях, а потом хранила эту тайну так же надежно, как и сам Джем. А когда в последующие годы она, случалось, сердила на Мэри и, дав волю раздражению против невестки,

принималась бранить ее за расточительность или скупость, за любовь к нарядам или нежелание прилично одеваться, за излишнюю веселость или излишнюю мрачность, она ни разу, ни разу, как бы велика ни была ее досада, не позволила себе хоть словом намекнуть на кокетство Мэри с Гарри Карсоном или на какое-либо обстоятельство, связанное с его убийством; когда она говорила о Джоне Бартоне, она всегда произносила его имя с уважением, которого заслуживала вся его жизнь, за исключением несчастного, позорного последнего ее месяца.

Вот почему Джем был ошеломлен, узнав через много лет, что все это не является для его матери тайной. С этого дня, когда он (не без угрызений совести) понял всю глубину ее самообладания и выдержки, его отношение к ней, всегда нежное и почтительное, стало почти благоговейным. С тех пор еще больше, чем раньше, он и Мэри старались превзойти друг друга в любви к матери, и это немало содействовало тому, что преклонные годы ее были очень счастливыми.

Однако я слишком много говорю о том, что случилось совсем недавно, тогда как еще не кончила свой рассказ о событиях, которые произошли шесть-семь лет тому назад.

## ГЛАВА XXXVII

### ПОДРОБНОСТИ УБИЙСТВА

Тот съел обед, а этот – нет,-  
Он ел три дня назад.  
И он кричит: – Позор и стыд  
Твердить, что ты мне брат!  
«Сон».

Жизнь мистера Карсона словно остановилась. Тот, на ком сосредоточивались все надежды, опасения и труды его последних лет, был у него внезапно отнят, исчез в той непроницаемой тайне, которая обрывает наше бытие. И даже мщение, которое он поставил себе целью, даже оно было отнято у него словно рукою всевышнего.

События, подобные этим, заставили бы задуматься даже самого беззаботного человека, а тем более мистера Карсона, обладавшего если не образованным, то энергичным умом. Собственно говоря, именно эта энергичность и была причиной того, что он посвящал все свои силы достижению материальных целей и не умел широко и философски смотреть на вещи.

Но основа основ его прошлой жизни рухнула, и восстановить ее было невозможно. Все это было похоже на переход из этой жизни в грядущую, когда большинство стремлений, которые определяют наше земное существование, становятся более призрачными, чем образы сновидений. И вот, оторвав свою душу от прошлого, которое теперь представлялось ему пустым – и хуже, чем пустым, – мистер Карсон, после того как убийца его сына умер у него на руках, несколько часов размышлял о том, как же быть дальше.

И пока он тщетно искал того, что могло бы вновь заставить его стремиться к чему-то и действовать, пока раздумывал о том, что желание добиться богатства, видного общественного положения или почетного места среди торговых королей это лишь погоня за фальшивыми ценностями (в чем он был совершенно прав) и что все подобные лживые призраки не могут ни на секунду заслонить перед его умственным взором могилу сына, он внезапно вспомнил, как мало он знает об обстоятельствах

и чувствах, толкнувших Джона Бартона на преступление. Но, возникнув, это скорбное любопытство, казалось, усиливалось с каждой минутой, на которую откладывалось его удовлетворение. Поэтому он отправил письмо и вызвал к себе Джоба Лега и Джема Уилсона, от которых рассчитывал получить некоторые объяснения того, что было ему неясно, а сам тем временем направился к мистеру Бриджнорсу, адвокату Джема, ибо, как он ни пытался прогнать это подозрение, ему порой по-прежнему казалось, что Джем причастен к смерти его сына.

Вернулся он раньше приглашенных им посетителей, и у него было достаточно времени, чтобы вспомнить все подробности того вечера, когда Джон Бартон сделал свое признание. Он испытывал унижение от того, что забыл тогда привычную гордую сдержанность, умение скрывать свои чувства и обнажил все глубины своего страшного горя в присутствии двух людей, которые по его же просьбе должны сейчас прийти к нему. И он решил окружить себя глухой стеной самообладания, сквозь которую, как он надеялся, во время предстоящего разговора не пробьется ни один отзвук чувства.

Тем не менее, когда слуга доложил, что его спрашивают те, кому он назначил прийти, и он распорядился, чтобы их проводили к нему в библиотеку, каждый, кто увидел бы его дрожащие руки и трясущуюся голову, понял бы не только то, как сильно состарили его события последних недель, но и то, насколько его волновала мысль о предстоящем разговоре.

Однако вначале он так хорошо владел собой, что Джем Уилсон и Джоб Лег сочли его самым бездушным и высокомерным человеком из всех, с кем им доводилось говорить, и забыли о сочувствии, которое в них вызвала его искренняя и глубокая печаль.

Пригласив их садиться, он, перед тем как заговорить, на мгновение прикрыл лицо рукой.

– Сегодня утром я заходил к мистеру Бриджнорсу, – сказал он наконец. – Как я и ожидал, он почти ничего не мог мне сообщить относительно некоторых событий, связанных с тем, что произошло восемнадцатого числа прошлого месяца, – событий, в которых я хотел бы разобраться. Возможно, все это я могу узнать у вас. Как близкие друзья Джона Бартона, вы, вероятно, многое знаете, а об остальном можете догадаться. Не бойтесь говорить правду. То, что вы скажете в этой комнате, я никогда никому не передам. Кроме того, вам известно, что по закону никого нельзя судить дважды за одно и то же преступление.

Он на минуту умолк, так как после всех волнений последних недель



даже говорить было для него утомительно.

Джоб Лег поспешил воспользоваться этой паузой:

– Я не собираюсь обижаться ни за себя, ни за Джема из-за того, что вы сейчас сказали насчет правды. Вы нас не знаете, и на этом деле конец. Только было бы вернее считать других порядочными и честными людьми, пока они не докажут обратного. Спрашивайте о чем угодно, сэр. Даю слово, что мы или скажем правду, или совсем ничего не скажем.

– Прошу прощения, – сказал мистер Карсон, слегка наклонив голову. – То, что я желал узнать, заключается в следующем, – продолжал он, взглянув на бумагу (его рука так дрожала, что он едва сумел надеть очки). – Можете ли вы, Уилсон, объяснить, как попал к Бартону ваш пистолет? Насколько я знаю, вы отказались объяснить это мистеру Бриджнорсу.

– Да, отказался, сэр. Я знал, что если бы я тогда сказал об этом, то обвинили бы Бартона – вот я и не стал ничего говорить. Вам, сэр, я расскажу сейчас все; да только рассказывать-то почти нечего. Это пистолет моего отца, и они с Джоном Бартоном в давние годы любили ходить в тир стрелять и всегда брали с собой этот пистолет – они хвастали, что он хоть и старый, но бой у него точный.

Джем мысленно выругал себя, заметив, как вздрогнул при этих словах мистер Карсон, но каждое такое невольное свидетельство глубокого чувства вновь пробуждало в сердцах их обоих сочувствие к старику. Джем продолжал:

– Как-то на неделе... кажется, это было в среду... да, в день святого Патрика... [\[132\]](#) когда я шел домой обедать, я встретил у наших дверей Джона. Матери не было, и он никого не застал. Он сказал, что пришел попросить пистолет, и даже сам взял бы его, да только не смог найти.

Мать боялась пистолета, поэтому после смерти отца (пока он был жив, она вроде думала, что он с ним справится) я спрятал его у себя в комнате. Я сходил за ним и отдал его Джону, который все это время ждал на улице.

– А как он объяснил, зачем ему понадобился пистолет? – торопливо спросил мистер Карсон.

– Тут он, по-моему, ничего не сказал. А сначала он что-то пробормотал про тир, и я решил, что он опять решил пострелять там, как когда-то с моим отцом.

Пока Джем говорил, мистер Карсон сидел выпрямившись и напряженно слушал его, но теперь напряжение прошло, он откинулся на спинку стула, сразу ослабев и обессилив.

Однако он тут же снова выпрямился, потому что Джем снова заговорил, стремясь сообщить все подробности, которые могли бы

интересовать несчастного отца.

– Я и понятия не имел, для чего ему понадобился пистолет, пока меня не арестовали. А почему он решился на это, я и до сих пор не знаю. Конечно, никто не станет меня осуждать за то, что я не попробовал обелить себя, впутав в дело старого знакомого нашей семьи – друга моего отца, отца девушки, которую я люблю. Поэтому я наотрез отказался рассказывать об этом мистеру Бриджнорсу и сейчас не сказал бы об этом никому, кроме вас.

Джем сильно покраснел, когда косвенно упомянул о Мэри, но его честный, смелый взор, не дрогнув, встретил пронизывающий взгляд мистера Карсона и убедительно говорил о его невиновности и искренности. Мистер Карсон не усомнился, что Джем рассказал ему все, что знал. Поэтому он обратился теперь к Джобу Легу:

– Вы все время были в комнате, когда Бартон говорил со мной, не так ли?

– Да, сэр, – ответил Джоб Лег.

– Прошу извинить меня за то, что я буду спрашивать вас прямо, не смягчая вопросов. То, что я сейчас узнаю, меня немного утешает. Не знаю, почему, но это так. Скажите, а прежде вы не подозревали Бартона?

– Нет, клянусь богом, нет! – торжественно произнес Джоб. – Сказать по правде (и ты уж прости меня, Джем), мне порой сдавалось, что это сделал Джем. Хотя временами я был так же твердо убежден в его невиновности, как в своей собственной, а уж когда я принимался рассуждать, то ясно понимал, что такой человек, как Джем, не мог бы этого сделать. Но Бартона я никогда не подозревал.

– И все же, судя по его признанию, он должен был отсутствовать в это время, – сказал мистер Карсон, вновь заглядывая в свой лист.

– Это правда. И вернулся он не скоро – я сейчас не могу точно сказать, через сколько дней. Но, видите ли, человек очень часто многого не замечает даже у себя под носом, пока ему не скажут. И если б я не услышал, что сказал вам Джон Бартон в тот вечер, я бы ввек не догадался, что могло толкнуть его на это; ну, а что касается Джема, то стоит только взглянуть на Мэри, и сразу ясно станет: ему было из-за чего ревновать.

– Значит, по-вашему, Бартон ничего не знал о том, что мой сын имел несчастье... – он взглянул на Джема, –... ничего не знал о внимании моего сына к Мэри Бартон? Но ведь Уилсон знал об этом.

– Женщина, сообщившая мне это, заверила меня, что она не говорила об этом с отцом Мэри и не собирается этого делать, – вмешался Джем. – Я не думаю, что он что-нибудь знал об этом. А то бы он прямо так и сказал.

Не такой он был человек, чтобы молчать в подобном случае.

– И кроме того, – добавил Джоб, – той причины, которую он назвал умирая, было, так сказать, вполне достаточно. Особенно для тех, кто его знал.

– Вы имеете в виду те чувства, которые вызывало в нем обращение хозяев с рабочими? Так вы полагаете, что он мстил моему сыну за его роль в подавлении забастовки?

– Видите ли, сэр, это не так просто, – ответил Джоб. – Джон Бартон был не из тех людей, что советуются с другими; к тому же он не любил болтать о своих делах. Поэтому я могу судить только по его образу мыслей и общим высказываниям, а об этом деле я от него ни разу слова не слышал. Видите ли, ему никак не удавалось примирить огромные богатства одних людей и горькую нужду других с тем, что написано в Евангелии...

Джоб умолк, подыскивая слова для выражения того, что ему самому было совершенно ясно, – того впечатления, которое производил на Джона Бартона разительный и уродливый контраст между положением людей разных сословий. Но прежде чем он успел выразить свои мысли, заговорил мистер Карсон:

– Значит, он был последователем Оуэна <sup>[133]</sup> и требовал полного равенства, общности имущества и прочих нелепостей?

– Нет, нет! Джон Бартон не был дураком. Ему не нужно было объяснять, что если бы сегодня вечером все были равны, то завтра кто-нибудь уже вырвался бы вперед, поднявшись на час раньше. И за деньгами да за богатством он не гнался – только бы прокормить себя и свою семью. Но мучила его и терзала, сколько я его знал, мысль о том, что те, кто носит более дорогую одежду, вкуснее ест и имеет больше денег в кармане, держат его на почтительном расстоянии от себя, и им все равно – радость у него или горе, будет он жив или умрет, попадет в ад или в рай. (И скажу вам, сэр, что сознание этого терзает сердце многих других бедняков гораздо сильнее, чем нужда, и делает муки голода еще злее.) Джону было очень тяжело видеть, что кучка золота вот так разделяет его и таких же, как он, людей. А он очень любил людей, пока не обезумел, глядя, как унижают ему подобных, хоть и сам Христос был бедняком. Одно время я частенько слышал, как он говорил, что он не различает богатых и бедных, потому что все они – люди. Но в последнее время он очень озлобился, видя горе и мучения, которых, как он думал, хозяева могли бы не допустить, если бы захотели.

– Так вы все считаете, – сказал мистер Карсон. – Ну, каким образом можем мы не допустить этого? Мы не можем регулировать спрос на

рабочую силу. Это не по плечу никому. Все зависит от событий, над которыми властен один лишь бог. Когда наши товары не находят сбыта, мы страдаем так же, как и вы.

– Ну, не совсем так же, сэр. Хотя я и не силен в политической экономии, это-то мне известно. Пусть в таких делах я плохо разбираюсь, но у меня есть глаза. И мне еще не приходилось видеть, чтобы хозяева худели и слабели из-за недостатка пищи. Я не очень-то замечал, чтобы они меняли свой образ жизни, хотя в тяжелые времена это, наверное, бывает. Но они-то урезают себя в роскоши, а такие, как я, лишаются самого необходимого. Неужто, сэр, вы не согласитесь, что человеку туго приходится, коли он готов отдать все на свете, лишь бы найти работу и спасти своих детей от голодной смерти, а найти ее не может? Я не собираюсь говорить так, как говорил бы Джон Бартон, но, во всяком случае, это для меня ясно.

– А теперь послушайте меня, мой милый. Живут два человека. Один производит хлеб, другой, скажем, сюртуки. Так неужели будет справедливо, если человека, который растит хлеб, заставят отдавать его в обмен за сюртуки, независимо от того, нуждается он в них или нет, лишь бы у второго была работа? Вот к чему сводится вопрос – остается только увеличить число людей. Тысячам рабочих приходится менять занятие, когда, скажем, устанавливаются новые машины, и это неизбежно. Все это пустой разговор, так и должно быть!

Джоб Лег некоторое время размышлял, прежде чем ответить:

– Правда, ткачам пришлось туго, когда появились механические ткацкие станки; все такие новшества превращают жизнь человека в лотерею. И все же я твердо верю, что и механические станки, и железные дороги, и все такое прочее – это дары господни. Я достаточно долго прожил на свете и знаю, что он ниспосылает людям страдания для того, чтобы потом наделить их большим благом. Но я уверен, что есть его воля и на то, чтобы те, кого он своей милостью сделал счастливыми и довольными, облегчали по мере сил эти страдания. Конечно, чтобы сразу сказать, как это устроить, нужно больше знаний и мудрости, чем есть у меня или любого другого человека. Но мне ясно, что бог, благословляя человека радостью, вместе с ней возлагает на него и обязанность: счастливый должен облегчить несчастному его горе.

– И все же факты доказали и доказывают каждый день, что человеку гораздо лучше не зависеть от посторонней помощи и полагаться на самого себя, – задумчиво сказал мистер Карсон.

– Факты – это ведь не цифры, и нельзя сказать: взаимодействие таких-то двух фактов даст такой-то результат. Бог ниспослал людям чувства и

страсти, которые нельзя уложить в математическую задачу, потому что они все время меняются. Бог также сделал некоторых людей слабыми, и не в каком-нибудь одном отношении, а в самых разных. Один слаб телом, другой – рассудком, третий – духом, четвертый не может отличить правый путь от неправого, и так далее. Или если кто-то знает, где правда, ему не хватает силы, чтобы придерживаться ее. Так вот, я думаю, что те, кто крепок в любом даре господнем, предназначены для помощи слабым – факты там или не факты! Прошу прощения, сэр, я не могу как следует выразить свою мысль. Я как засорившийся кран: вода течет по капельке, и нельзя решить, велико ли давление внутри.

На лице Джоба отразилось большое огорчение: он чувствовал, что его словам не хватало убедительности, хотя он так ясно представлял себе, что следует сказать.

– То, что вы говорите, несомненно, очень справедливо, – ответил мистер Карсон, – но какое отношение это может иметь к поведению хозяев – к тому, что случилось со мной? – добавил он очень серьезно.

– Я недостаточно учен, чтобы спорить. Но мне в голову часто приходят мысли – я уверен, очень справедливые, хотя они, может быть, не вытекают одна из другой, как доказательства геометрической теоремы. Хозяева должны – и вы тоже, сэр, – ответить своей совести и богу, сделали ли и делаете ли вы все, что в ваших силах, для того, чтобы уменьшить зло, неотъемлемое от занятия, которое приносит вам ваш капитал. Слава богу, это не моя забота. Джон Бартон попробовал решить этот вопрос, и его ответом было: нет! И тогда его сердцем овладели озлобление, гнев и безумие; в своем безумии он совершил тяжкий грех, причинил огромную печаль и раскаялся в содеянном, плача кровавыми слезами. В том мире он кротко и покорно примет свою кару, это я знаю. Я никогда не видел, чтобы человек так горько раскаивался, как он в ту ночь.

Несколько минут царило молчание. Мистер Карсон закрыл лицо руками и, казалось, совершенно забыл об их присутствии, но они боялись встать и уйти, чтобы не потревожить его.

Наконец он сказал, избегая смотреть им в глаза, выражавшие теплое участие:

– Благодарю вас обоих за то, что вы пришли, и за то, что так откровенно говорили со мной. Боюсь, Лег, ни вы, ни я не убедили друг друга, способны или нет хозяева устранить зло, на которое жалуются рабочие.

– Не хочу спорить с вами, сэр, особенно сейчас; но я говорил не о том, способны хозяева сделать это или нет. Нас сильнее всего ранит то, что они

не хотят даже и попытаться облегчить беды, которые временами, словно мор, обрушиваются на фабричные города, а сами они, как мы видим, могут остановить работу и не страдают от этого. Если бы мы видели, что ради нас хозяева пытаются найти какой-то выход из положения, пусть даже они медлили бы с этим, пусть в конце концов ничего бы не сделали и просто сказали бы: «Бедняги, мы всем сердцем сочувствуем вам, мы сделали все, что в наших силах, но не можем помочь вам», – тогда бы мы переносили тяжелые времена, как подобает мужчинам. Заранее и не угадаешь, на какую выдержку и самообладание оказались бы способны рабочие, если бы они знали, что им сочувствуют, что им помогут при малейшей к тому возможности. Если наши братья не могут помочь нам ничем, но мы слышим от них слова ободрения и искреннего участия, то мы убеждаемся, что испытания ниспосылает нам бог, а мы знаем его милосердие и без колебаний предаем себя в его руки. Вы сказали, что наш разговор бесполезен. А я с вами не согласен. Я знаю теперь вашу точку зрения. Я запомню ее, и, когда мне нужно будет оценить ваши поступки, я теперь буду думать не о том, поступаете ли вы правильно с моей точки зрения, а о том, поступаете ли вы правильно с вашей. Вот почему наш разговор мне кое-что дал. Я уже старик и, может быть, никогда вас больше не увижу, но теперь я буду молиться за вас и думать о вас и ниспосланных вам испытаниях – вашем огромном богатстве и жестокой смерти вашего сына – и буду просить бога облегчить их вам ныне и вовеки. Аминь! Прощайте.

Джем, откровенно рассказав обо всем, что знал, хранил с тех пор исполненное достоинства молчание. Теперь они с Джобом встали и поклонились мистеру Карсону, глядя на него с глубоким сочувствием и интересом, которые не мог не вызвать человек, переживший такой тяжкий удар и сумевший простить того, кто нанес этот удар. Было видно, как мужественно борется он со своим горем и каких трудов ему это стоит.

Он тоже низко поклонился им в ответ. Затем он быстро подошел к ним и пожал им руки; так, не произнеся больше ни слова, они расстались.

Великое горе пробуждает в людях силу и ясность мысли, которые в былые времена порождали пророков.

Для тех, кто обладает большой способностью любить и страдать, а также душевной стойкостью, приходит время, когда они поднимаются выше своего личного горя и начинают думать об истинных причинах несчастья, искать средства (если они есть), которые могли бы спасти от подобного несчастья если не их самих, то других людей.

Отсюда те прекрасные благородные усилия, о которых мы время от времени слышим, – усилия тех, кто сам был распят на кресте агонии и кто

не хочет допустить, чтобы такие же муки постигли других. Это одна из величайших целей, заключенных в страдании, – преодолев ниспосланное богом горе, человек извлекает из него благословение, но не для себя, а для целых поколений.

Суровая натура мистера Карсона не сразу обрела подобное утешение, и та же суровость помешала ему снискать своими поступками уважение общества, ибо характер человека изменяется легче, чем уже сложившиеся привычки и манеры. Поэтому те, кто только мельком видел мистера Карсона или знал его поверхностно, до самой его смерти считали его бездушным и холодным человеком. Но те, кто пользовался его доверием, знали, что самым горячим его желанием было избавить других от страданий, подобных тем, которые перенес он сам; он хотел, чтобы хозяева и рабочие поняли друг друга, чтобы между ними воцарились доверие и любовь; чтобы все поняли простую истину: интересы одного являются интересами всех и поэтому требуют совместного рассмотрения и защиты. А для этого надо дать рабочим образование, дабы они могли самостоятельно судить обо всем, перестав быть невежественными придатками к машинам, надо связать рабочих с хозяевами узами уважения и дружбы, а не только денежными расчетами, – короче говоря, надо подчинить отношения между обоими сторонами Христовым заповедям.

Многие улучшения в системе найма, появившиеся в Манчестере, своим происхождением обязаны кратким, убедительным доводам мистера Карсона. Многие другие, пока еще только намеченные, также исходят от этого сурового, задумчивого человека, которого страдания многому научили.

## ГЛАВА XXXVIII

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Время, строгим к нам не будь!  
Не парим мы в небесах,  
Наше счастье, наш уют -  
В маленьких вещах;  
Тихо, скромно плыть бы нам  
По житейским по волнам.  
Время, строгим к нам не будь!  
*Барри Корнуолл. [\[134\]](#)*

Через несколько дней после похорон Джона Бартон все переговоры относительно назначения Джема в Торонто были закончены, и был назначен день отплытия. Хотя отправляться нужно было почти немедленно, оставалось сделать еще многое: закончить сборы, а главное – устранить крупное препятствие, которого опасались и Джем и Мэри. Этим препятствием было предполагаемое сопротивление миссис Уилсон, которая еще ничего не знала об их планах.

Им очень хотелось, чтобы их дом всегда был и ее домом, но они боялись, что страх перед жизнью в чужой стране может оказаться для нее непреодолимым препятствием. Наконец Джем после вечера, мирно проведенного в обществе матери, рискнул заговорить с ней на эту тему, перед тем как ложиться спать. К его изумлению, она охотно согласилась на его предложение уехать вместе с ним и его женой.

– Оно конечно, Америка, она очень далеко отсюда, наверно, намного дальше Лондона и совсем за границей. Да только Англия мне разонравилась с тех пор, как они, как дураки, схватили такого честного человека, как ты, и упрятали его в тюрьму. Я поеду с тобой куда хочешь. Может, в этих индейских странах уважают порядочных людей. Ладно, чего там говорить, сынок, я еду.

Таким образом, их путь с каждым днем становился все глаже и легче; настоящее было ясно и просто, будущее исполнено надежд, так что у них было достаточно времени, чтобы вспоминать прошлое.

– Джем! – сказала Мэри как-то вечером, когда они, счастливые, сидели



в сумерках и разговаривали вполголоса, дожидаясь прихода Маргарет, обещавшей составить Мэри компанию на ночь. – Джем! Ты никогда не рассказывал мне, как ты узнал о моем непростительном кокетстве с бедным мистером Карсоном. – Она вспыхнула от стыда при воспоминании о своем легкомыслии и спрятала лицо у него на плече.

– Мне не хотелось бы говорить тебе об этом, моя любимая. Мне все рассказала твоя тетка – Эстер.

– А, помню! Но как же она узнала? Я была так расстроена в тот вечер, что и не подумала спросить ее об этом. Где ты ее встретил? Я забыла, где она живет.

Мэри говорила открыто и простодушно, и Джем стало ясно, что она не знает правды об Эстер, но он колебался, говорить ей об этом или нет. Наконец он сказал:

– Где ты видела Эстер в последний раз? Когда? Расскажи мне, любимая; ты ведь об этом еще не говорила, и я ничего не понимаю.

– Ах, это случилось в ту ужасную ночь, когда все было как в дурном сне.

И она рассказала ему о ночном визите Эстер, добавив:

– Мы должны повидаться с ней до отъезда, хотя я и не помню точно, где она живет.

– Но, милая Мэри...

– Что ты, Джем! – воскликнула она, испуганная его колебанием.

– У бедной Эстер нет дома. Она стала одной из тех жалких созданий, кого называют уличными женщинами.

И он в свою очередь рассказал ей о своей встрече с Эстер, не опустив ни одной подробности, так что Мэри пришлось поверить, хотя все в ней восставало против этого.

– Джем, милый, – воскликнула она затем, – мы должны найти ее, обязательно должны.

И она вскочила, словно собираясь немедленно отправиться на розыски.

– Но что же мы сможем сделать, родная? – спросил он, нежно пытаясь ее успокоить.

– Что? Джем, мы сможем сделать все, что угодно, лишь бы удалось найти ее. Она, наверное, очень несчастна и с радостью откажется от своей нынешней жизни, если кто-нибудь протянет ей руку помощи. Не удерживай меня, Джем; как раз сейчас такие, как она, выходят на улицу. Кто знает, может быть, она бродит где-нибудь поблизости.

– Погоди минутку, Мэри! Если хочешь, я сейчас пойду и поищу ее,

хотя толку из этого не выйдет. А тебе идти нельзя. Было бы лучше завтра навести о ней справки в полиции. Но если я и найду ее, как я уговорю ее идти со мной? Она однажды уже отказалась и сказала, что не может бросить пить, чем бы ей это ни грозило.

– Ты никогда не уговоришь ее, если будешь сам сомневаться и бояться, – сказала Мэри со слезами. – Надо самому надеяться и верить в то хорошее, что должно сохраниться в ее душе. Надо воззвать к этому... О, приведи ее домой, и мы так будем ее любить, что поможем ей исправиться!

– Конечно, – сказал Джем, заражаясь настроением Мэри. – Она вместе с нами поедет в Америку, и мы поможем ей очиститься от греха. Я иду прямо сейчас, моя самая любимая, и если не смогу найти ее сегодня, то завтра попытаюсь отыскать через полицию. Береги себя, родная, – сказал он, нежно целуя ее на прощанье.

Однако его усилия были безуспешны. Джем бродил по всему городу, но так и не встретил Эстер. На следующий день он обратился в полицию. После долгих объяснений там наконец по его описанию сообразили, что речь идет о женщине, известкой под кличкой «Бабочка», – так ее прозвали за пестрые платья год или два назад. С помощью полиции Джем отыскал место, которое она часто посещала, – грязный ночлежный дом за Питер-стрит. Джема и его спутника, добродушного полицейского, впустила внутрь сама хозяйка, довольно подозрительно оглядевшая их. Она отвела их на просторный чердак, где спали двадцать – тридцать мужчин и женщин всех возрастов, ибо временем их занятий – попрошайничества, воровства или проституции – была ночь.

– Я знаю, Бабочка должна быть здесь, – сказала хозяйка, осматриваясь. – Она пришла позавчера ночью и сказала, что у нее нет ни пенни, чтобы заплатить за ночлег, и что если бы она была в деревне, то забралась бы куда-нибудь в лес или в овраг и умерла бы там, как дикий зверь; но здесь полиция никому не дает покоя на улицах, и ей нужно местечко, чтобы умереть спокойно. Ну уж какое тут у нас спокойствие! Да только в ту ночь комната была почти совсем пустая, и потом сердце у меня доброе (а жаль, потому что, будь я потверже, я бы сколотила побольше денег), вот я и позволила ей остаться. Но сейчас ее, кажется, здесь нет.

– Она что, очень больна? – спросил Джем.

– От нее только кожа да кости остались. А кашляет так, что прямо пополам разрывается.

Они стали расспрашивать постояльцев, и оказалось, что, чувствуя приближающуюся смерть, она захотела еще раз побывать на свежем воздухе и ушла, но куда – никто не знал.

Оставив Эстер записку и договорившись, что полицейский и хозяйка как только узнают что-нибудь о ней, сразу же сообщат ему, Джем направился к дому Мэри, с которой, потратив весь день на розыски, он еще не виделся. Он рассказал ей о своих неудачных поисках, и оба они, расстроившись, некоторое время сидели молча.

Потом они снова стали говорить о своих планах. Через день-два Мэри должна съехать с квартиры и до дня свадьбы, назначенной через неделю, прожить у Джоба Лега; и в тот же день они намеревались отплыть в Канаду. Обсудив это, они вновь умолкли, но теперь их молчание было счастливым. Джем сидел рядом с Мэри, обняв ее за талию; ее головка покоилась на его плече. Она вспоминала все, что было пережито в этом доме, который она так скоро покинет навсегда.

Внезапно она почувствовала, что Джем вздрогнул, и тоже вздрогнула, не зная почему. Она пыталась разглядеть выражение его лица, но вечерние тени так сгустились, что она ничего не смогла увидеть. Джем глядел на окно; она тоже посмотрела туда и увидела прижатое к стеклу бледное лицо и глаза, напряженно вглядывающиеся внутрь.

Пока они, как зачарованные, смотрели, не в силах двинуться с места, лихорадочно блестящие глаза потухли и стоявшая за окном фигура бессильно рухнула на землю.

— Это Эстер! — воскликнули оба в один голос.

Они выбежали во двор. Перед ними, словно груда цветных тряпок, лежала мертвая или потерявшая сознание несчастная растоптанная Бабочка — когда-то чистая душой и телом Эстер.

Она пришла, чтобы перед смертью еще раз бросить взгляд на места, где прошли светлые годы ее юности.

Так раненый олень из последних сил стремится достигнуть зеленой прохлады родного логовища, чтобы там умереть.

Они не могли понять, жива она или нет. Подошли Джоб и Маргарет, так как уже настало время сна. Джоб сказал, что пульс Эстер еще немного бьется. Они перенесли ее наверх и уложили в постель Мэри, не решаясь даже раздеть ее, чтобы каким-нибудь неловким движением не спугнуть угасающую жизнь. Но все было напрасно.

Около полуночи Эстер раскрыла глаза и обвела взглядом эту, такую знакомую, комнату; Джоб Лег, стоя на коленях рядом с ее изголовьем, горячо молился за нее, но тут он умолк, заметив ее возбужденный вид. Внезапно она резким, судорожным движением села в кровати.

— Так, значит, это был только сон? — спросила она растерянно. Затем ее рука привычным движением, точным даже в этот страшный час смерти,

потянулась к спрятанному на груди медальону, и, нащупав его, она поняла, что все, выпавшее на ее долю с тех пор, как она последний раз чистой девушкой спала на этой постели, было правдой.

Она вновь откинулась на подушки и больше не произнесла ни слова. Медальон с волосами своего ребенка она все еще держала в руке и несколько раз прижимала его к губам в долгом, нежном поцелуе. Пока у нее хватало сил, она тихо плакала, а потом умерла.

Ее похоронили в той же могиле, где уже лежал Джон Бартон. И они лежат там, без имени, даже без инициалов и без дат смерти. На камне, под которым покоятся останки страдальцев, высечены только эти строки:

«Псалом 102, стих 8-9.

Щедр и милостив господь.

Не до конца гневается и не вовек негодует».

Я вижу длинный и низкий деревянный дом, где достаточно простора и света. Старый дремучий лес вырублен на много миль кругом, и лишь одно могучее дерево осеняет крышу дома. Возле него разбит цветник, а за ним простирается большой фруктовый сад. Кругом пылают краски теплой и мягкой осени, и сердце замирает при виде этой пышной красоты.

У двери дома, глядя в сторону города, стоит Мэри, ожидая возвращения мужа с работы. Она ожидает и, улыбаясь, слушает:

Ну-ка, хлопайте в ладоши!

Папа слив, таких хороших,

Нам принес в кармане,

А для Джонни – пряник!

Затем слышится восторженный визг Джонни. Бабушка несет его к дверям и торжествует, когда Джонни, несмотря на уговоры матери, не хочет уходить с ее рук.

– Почта из Англии! Это из-за нее я задержался!

– Ах, Джем, Джем! Не держи их так крепко! Что же в них написано?

– Хорошие новости! Ну-ка, угадай, что именно?

– Скажи скорей! Я не могу угадать! – просит Мэри.

– Значит, ты сдаешься, да? А что скажешь ты, мама?

Джейн Уилсон на мгновение задумывается.

– Уилл и Маргарет поженились? – спрашивает она.

– Нет, но скоро поженятся! Значит, наша старушка куда

сообразительнее молодой. Ну-ка, ну-ка, Мэри, попробуй же догадаться!

Он многозначительно прикрыл ладонью глаза мальчика, но тот оттолкнул его руку, заявив:

– Не визу!

Джем убрал руку и сказал:

– Ну вот! Теперь Джонни видит. Догадываешься, Мэри?

– Маргарет вылечили, и она теперь видит!

– Да. Ее вылечили, она видит не хуже, чем прежде. Ее свадьба с Уиллом назначена на двадцать пятое число этого месяца, и Уилл в следующее плавание привезет ее сюда. Джоб Лег тоже собирается приехать – не для того, чтобы повидать тебя, Мэри, или тебя, мама, или тебя, мой маленький герой (он поцеловал сына). Он едет для того, чтобы собрать коллекцию канадских насекомых, пишет Уилл. Как видишь, мама, ухвертки ему дороже всего!

– Милый Джоб Лег! – мягко и убежденно сказала Мэри.

---

---

notes
-------

## Примечания

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2-е, т. 2, стр. 283.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 2, стр. 290.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 2, стр. 463.

[4] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 2, стр. 444.

[5] Там же.

[6] Шарлотта Бронте печаталась под псевдонимом «Керрер Белл».

[7] Л. Толстой, Полн. Собр, соч., т. 60, М. 1949, стр. 218.

[8] «Отечественные записки», 1871, вып. 9. стр. 144.

[9]...подобных «лепте вдовицы»... – то есть хотя бы даже самых незначительных. Выражение это возникло из евангельской притчи о том, как Христос увидел среди богачей, клавших деньги в храмовую сокровищницу, бедную вдову, положившую две лепты, – самые мелкие монеты, и, обратившись к ученикам, сказал: «Эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего; а она от скудости своей положила».

[10] Гаскелл имеет в виду волну революционного подъема, прокатившуюся в 1848 году почти по всей Европе.

[11] Все стихи, кроме специально отмеченных, даются в переводе Э. Гольдернесса.

[12] Здесь Джон Бартон ссылается на евангельскую притчу о богаче и о нищем Лазаре, который просил подаяния у его ворот. После смерти богач попал в ад, где терпел жестокие муки. Вдали он увидел Лазаря, вкушающего райское блаженство, и стал умолять патриарха Авраама, чтобы тот послал Лазаря принести ему каплю воды. Но Авраам ответил: «Ты получил уже добро твое в жизни твоей... И, сверх того, между нами и вами (то есть между раем и адом. – П. Г.) утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят».

[13] *Пемброкский стол* – тип небольшого, богато орнаментированного стола с опускающимися боковыми крышками, который был модным в конце XVIII века.

[14] Эпиграф к главе III взят из стихотворения английского поэта Томаса Гуда (1799-1845) «Смертное ложе».

[15] «*Похоронная касса*» – распространенная в описываемое время среди рабочих форма взаимопомощи. Все члены «похоронной кассы»

еженедельно вносили в ее фонд определенную сумму, и собранные деньги шли на оплату похорон умерших членов кассы и их родственников.

[16]...*председательствовал на профсоюзных собраниях...* – Профсоюзы, долгое время запрещенные в Англии, были формально разрешены законом в 1824 году, однако им запрещалась организация стачек, создание более широких межпрофессиональных союзов и т.д. Капиталисты вели жестокую борьбу против них, увольняя их членов и выдвигая против них обоснованные или подстроенные обвинения в нарушении указанных запретов, что грозило тюремным заключением или ссылкой. Поэтому активно участвовать в работе профсоюзов было в то время весьма опасно.

[17]*Рабочие делегаты* – доверенные лица, которых рабочие выбирали на митингах и которые должны были представить парламенту хартию и сообщить ему о нуждах и требованиях народа.

[18]...*примкнул к чартистам...* – В конце 30-х годов XIX века в Англии широко развернулось революционное рабочее движение, известное под названием «чартизма» (от англ. «чартер» – хартия). Чартисты пытались добиться от парламента принятия «Народной хартии», требовавшей всеобщего избирательного права, тайного голосования, отмены имущественного ценза для парламентских депутатов и т.д. Чартисты проводили по всей стране митинги, на которых собирали подписи под хартией. Первую хартию подписали 1280 тыс. человек, однако она была в июле 1839 года отклонена парламентом, который отклонял и все последующие хартии, собиравшие все больше голосов (до 5 млн.). К началу 50-х годов XIX века чартистское движение пошло на убыль, сменяясь другими формами борьбы пролетариата за свои права. Чартизм не достиг своей цели, но он сыграл большую роль как «первое широкое, действительно массовое, политически оформленное, пролетарски-революционное движение» (Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 29, стр. 282).

[19] Эпиграф к главе IV взят из поэмы английского поэта Эбенезера Эллиота (1781-1849) «Засохшие цветы».

[20]*Остров Мэн* – остров между Англией и Ирландией, в 110 км от Ливерпуля.

[21]*Я... послала Уилла в Ранкорн по Герцогскому каналу, чтобы он моря попробовал...* – Ранкорн – небольшой городок в устье реки Мереей, в 25 км. от моря; его соединяет с Манчестером речной Герцогский канал длиной примерно в 30 км. Таким образом, за время своего короткого плавания Уилл ни разу даже издали не видел моря.

[22]...*в Южную Америку – по ту сторону солнца, как мне сказали.* –

Это замечание Элис не так бессмысленно, как кажется. Поскольку в Англии солнце видно в южной части небосвода, а в Южной Америке – в северной, у невежественного наблюдателя действительно может сложиться впечатление, что при плавании на юг корабль проходит прямо под солнцем и оказывается по другую его сторону.

[23] *«Боже, помяни царя Давида...»* – христианский гимн на слова библейского псалма.

[24] *«Principia» Ньютона* – общепринятое сокращенное наименование основного произведения великого английского физика, астронома и математика Исаака Ньютона (1642-1727); произведение это, как и все научные труды того времени, было написано по-латыни, и полное его название было *«Philosophiae naturalis principia mathematica»* («Математические начала натуральной философии»)

[25] *Линней Карл* (1707-1778) – шведский натуралист, создатель первой в мире всеобъемлющей системы классификации всего животного и растительного мира.

[26] *Энтомологи* – ученые, занимающиеся изучением насекомых.

[27] *Семейства Ephermeridae и Phryganeidae* – научные названия семейств насекомых – поденок и мошек.

[28] *Каталани Анжелика* (1779-1849)-знаменитая итальянская певица (сопрано); выступала в Лондоне с 1806 по 1814 год.

[29] *...«крепкая как смерть, любовь»...* – цитата из библейской «Песни Песней».

[30] *...с великодушием сэра Филиппа Сиднея.* – Филипп Сидней (1554-1586) – английский писатель и государственный деятель. Когда Нидерланды в 1581 году восстали против испанского владычества, он вступил в нидерландскую армию, командовал кавалерией и был смертельно ранен в сражении при Гравелине. Рассказывают, что, умирая, он отдал принесенную ему воду раненому солдату, сказав: «Она ему нужнее».

[31] *Методизм* – одна из форм протестантской религии, возникшая в Англии в XVIII веке. Методисты принимают все основные принципы протестантизма, но не признают существующей церковной организации, молятся не в церквях, а в молельнях, и всей религиозной жизнью методистской общины руководят выборные дьяконы.

[32] *Берегись воды! (Франц.)*

[33] *...не было «ни серебра, ни золота»...* – видоизмененная цитата из евангельских «Деяний апостолов».

[34] *Разве они поступают с нами так, как хотели бы, чтобы мы поступали с ними?* – Здесь Джон Бартон ссылается на одно из основных



положений христианской религии: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».

[35] Безупречная (франц.)

[36]...не было и «стука костей по мостовой»... – несколько измененная цитата из стихотворения английского поэта Томаса Ноула (1799-1861) «Похороны нищего».

[37]добрые самаритяне... – В Евангелии есть притча о том, как некий человек был ограблен и изранен разбойниками. Увидевший его священник не захотел ему помочь, но проходивший мимо самаритянин – житель города Самарии, враждовавшего с племенем раненого, – подобрал его и позаботился о нем. Отсюда возникло выражение «добрый самаритянин» – человек, всегда готовый оказать бескорыстную помощь.

[38]Попечительский совет – выборный муниципальный орган, ведавший сбором налога в пользу бедных и распределением помощи.

[39] ...«шов, отворот, рукав»... – цитата из знаменитого стихотворения Томаса Гуда «Песня о рубашке», в котором рассказывается о тяжелой жизни и каторжном труде швеи.

[40] ...Бену больше *тринадцати лет*. – Принятый в 1833 году закон о детском труде на фабриках устанавливал для детей моложе тринадцати лет рабочий день в восемь часов, что приводило к соответствующему снижению заработка; подростки от тринадцати до восемнадцати лет работали двенадцать часов в сутки.

[41]Мартынов день - приходящийся на глубокую осень (11 ноября), когда в сельских работах наступает перерыв, был обычным днем перехода батраков от одного хозяина к другому. Поскольку вначале промышленность черпала рабочую силу из деревни, большие наборы на фабриках обычно тоже приурочивались к этому дню.

[42] См. прим. к стр. 19

[43]...видения Альнашара... – то есть хрупкие грезы. В сборнике арабских сказок «1001 ночь» есть рассказ о том, как некий Альнашар на все свои деньги купил корзину стеклянной посуды, чтобы перепродать ее. По пути на базар он стал мечтать о том, как выгодно продаст товар, накупит нового и так далее, разбогатеет и женится на дочери визиря, а она станет попрекать его низким происхождением. Тут Альнашар рассердился и ударил жену ногой – корзина упала, все стекло разлетелось вдребезги, а с ним и все мечты Альнашара.

[44]«Северная звезда» – еженедельная чартистская газета, основанная в 1837 году и в первые годы своего существования выражавшая весьма революционные взгляды.

[45]... *петиция, которую в ясные весенние дни 1839 года подписали тысячи людей...* – Здесь Гаскелл допустила неточность. Сбор 1280 тыс. подписей под первой хартией занял почти год – с мая 1838 по май 1839 года. В частности, большой митинг в Манчестере, собравший около 300 тыс. участников, состоялся 25 сентября 1838 года.

[46]...*как жена Щеголя Тиббса, «стирала две единственные рубашки» отца...* – Щеголь Тиббс – персонаж, выведенный английским писателем Оливером Гольдсмитом (1728-1774) в серии сатирических очерков «Гражданин мира»; Тиббс старался казаться богатым и знатным светским щеголем, хотя на самом деле был так беден, что две его рубашки, за неимением служанки, приходилось стирать жене.

[47]...*скажи им, чтоб они велели хозяевам сломать машины.* – Когда в Англии в конце XVIII – начале XIX века произошел промышленный переворот, многие рабочие объясняли ухудшение своего положения появлением машин. Особенной остроты выступления за уничтожение машин (так называемое движение луддитов) достигли в 1811-1812 годах, то есть почти за 30 лет до описываемых событий. Но затем рабочие поняли, что в их тяжелой жизни повинны не машины, а хозяева этих машин. Таким образом, приведенное высказывание свидетельствует о политической отсталости говорящего.

[48]*Общества механиков* – возникшие в Англии в 1823 году общественные организации, ставившие своей целью распространение научных и технических знаний. Общества механиков устраивали в своих клубах лекции, беседы и концерты. Членом общества мог быть всякий, вносящий двадцать один шиллинг в год. В этих обществах состояли многие рабочие.

[49]*В шелка себя обрядишь ты,  
Простишься с нищетой* –  
– строки из стихотворения английской поэтессы Сусанны Блемайр (1747-1794) «Серебряный венец». Четверостишие заканчивается так:

*Но брось о Дональде мечты,  
Другому стань женой.*

[50]*Нортон Каролина* (1808-1877) – английская писательница и поэтесса.

[51]*Всадник на коне бледном* – смерть; образ этот заимствован из Библии: «И я взглянул, и вот конь, бледный, и на нем всадник, которому имя смерть».

[52]*«Утешайте, утешайте народ мой, говорит бог ваш»* – христианский гимн на слова из библейской книги пророка Исайи.

[53] *Холборн* – один из центральных районов Лондона.

[54] *Дерби* и *Джоанна*-персонажи английской народной баллады, олицетворение счастливой супружеской пары.

[55] *Бэмфорд* Сэмюел (1788-1872) – английский рабочий поэт, ткач по профессии; за стихотворение, направленное против реакционного законодательства, был в 1819 году подвергнут тюремному заключению.

[56] *...чистый листок «валентинки»...* – В Англии существует обычай, по которому юноши в день святого Валентина (14 февраля) анонимно посылают своим возлюбленным какой-нибудь подарок; чаще всего это – художественно оформленный листок с поздравлением, именуемый «валентинкой».

[57] *Если раньше беда наказывала их бичом, то теперь она наказывала их скорпионами.* – Измененные слова библейского царя Ровоама: «Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Скорпионом в древней Иудее назывался особый тяжелый бич с металлическим крючком на конце.

[58] *Принц Альберт* – Альберт Фрэнсис Чарльз Огастес Эммануил, принц Саксен-Кобург-Готский (1819-1861), с 10 февраля 1840 года – муж английской королевы Виктории.

[59] *...это ты убила ее, как Каин убил Авеля?* – В Библии рассказывается, что старший сын Адама, жестокий и злой Каин, убил своего младшего брата, кроткого и богобоязненного Авеля, позавидовав ему из-за того, что бог принял жертвоприношение Авеля и отказался от жертвы Каина.

[60] Первый эпиграф к главе XI взят из стихотворения великого шотландского поэта Роберта Бернса (1759-1796) «Мэри Моррисон». *Уизер Джордж* (1588-1667)-английский поэт.

[61] *...«поставить все на карту, все выиграть иль проиграть».* – Видоизмененная цитата из стихотворения шотландского политического деятеля и поэта Джеймса Грехема, маркиза Монтроза (1612-1650).

[62] Эпиграф к главе XII взят из стихотворения английского поэта Уолтера Лендора (1775-1864) «Жалоба девушки».

[63] «*Барбара Аллен*» – английская народная баллада, героиня которой, умирая, рассказывает в том, что была жестока со своим возлюбленным.

[64] *...молчали, точно два квакера, на которых еще не снизошел святой дух.* – Квакеры – религиозная секта, возникшая в Англии в XVII веке. Молитвенные собрания квакеров начинались очень спокойно и чинно, но затем молящихся охватывал религиозный экстаз, они принимались трястись, прыгать и выкрикивать бессвязные и бессмысленные слова. При

этом считалось, что на них снисходит святой дух, заставляющий их пророчествовать.

[65] *Сьерра-Леоне* – область в Западной Африке.

[66] *Exocoetus* из семейства *Scombridae* – летучая рыба из рода долгоперов, семейства щукомакрелей.

[67] *Araneida* – отряд паутинных пауков. *Mygale* – паук-птицеяд.

[68] ...*Бостон U. S.*, а это значит *Uncle Sam* – «Дядя Сэм». – На самом деле буквы *U. S.* означают *United States* – Соединенные Штаты. Приведенная Уиллом шутливая расшифровка этого сокращения часто служит для разговорного обозначения США.

[69] *Но где же он?* – строки из стихотворения английского поэта Альфреда Теннисона (1809-1892) «Мариана», в котором изображается тоскующая девушка, покинутая своим возлюбленным.

[70] ...«слепого горя первый срок»... – цитата из поэмы великого английского поэта Джорджа Байрона (1788-1824) «Гяур».

[71] «*Был болен; в темнице был, и вы пришли ко мне*» – несколько видоизмененная цитата из Евангелия; суть соответствующего места Евангелия в том, что всякая помощь, оказанная человеку, попавшему в беду, есть заслуга перед богом.

[72] *Имя Мэри заключало в себе те же могучие чары, что и «сверкающий взор» старого моряка.* – В поэме английского поэта Сэмюэла Колриджа (1772-1834) «Стих о старом моряке» рассказывается, что некий таинственный старый моряк остановил на улице прохожего и заставил его выслушать рассказ о своей жизни. Прохожий не мог уйти, ибо старый моряк «удерживал его своим сверкающим взором».

...«*слушал, как трехлетнее дитя*» – цитата из той же поэмы.

[73] «*Блаженны чистые сердцем, ибо они бога узрят*» – цитата из Евангелия, из так называемой Нагорной проповеди Иисуса Христа, в которой излагаются основы христианского вероучения.

[74] *Борджиа* – знатная итальянская семья, из которой наиболее известны Родерик Борджиа, впоследствии папа римский Александр VI (ум. в 1503 г.), его незаконный сын кардинал Цезарь Борджиа (казнен в 1507 г.) и дочь Лукреция. Все они знамениты распущенностью, коварством и крайней жестокостью.

[75] *Франкенштейн.* – Имеется в виду герой одноименного романа английской писательницы Мэри Шелли (1797-1851), искусственно созданное человекообразное чудовище, совершавшее жуткие и бессмысленные преступления, так как, не будучи человеком, оно было лишено нравственного чувства.

[76] *Джон Бартон стал... коммунистом.* – В описываемую эпоху, до создания коммунистической партии, буржуазные писатели называли коммунистами всех без различия сторонников отмены или ограничения частной собственности.

[77] *...укладывать их на свое прокрустово ложе* – то есть силой навязывать свои взгляды и мнения. Выражение это возникло из греческой легенды о разбойнике Прокрусте, который захватывал путников и укладывал их на железное ложе. Тех, кто был короче ложа, он вытягивал, а у более длинных отрубал ноги.

[78] *...они не понимают, что творят. Так судите их, как судил милосердный и возлюбленный спаситель наш.* – Согласно евангельской легенде, когда Христа распинали, он сказал: «Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят».

[79] *...«равен королю бедняк, лишь был бы честен он»* – цитата из стихотворения Роберта Беркса «Честная бедность».

[80] *Феб и Сатур* - цитата из пьесы великого английского драматурга Вильяма Шекспира (1564-1616) «Гамлет» (акт I, сцена 2). В греческой мифологии Феб – одно из имен прекрасного бога Аполлона; сатиры – уродливые мохнатые лесные божества с козлиными рогами и копытами.

[81] *...с семью другими духами, злейшими себя.* – Цитата из Евангелия, смысл которой в том, что если изгнать злого духа из одержимого им человека, он снова возвращается с другими духами, «и бывает для человека того последнее хуже первого». Гаскелл хочет этим сказать, что борьба против насилия путем насилия не может принести положительных результатов.

[82] *...уподобляясь римским сенаторам, ожидающим появления Бренна и его галлов.* – Согласно римской легенде, когда к Риму в 390 году до н.э. подошла армия галлов под предводительством Бренна, все жители города укрылись в цитадели, но сенаторы отказались покинуть жилища своих предков и, одевшись в лучшие одежды, сели перед дверьми своих домов ожидать смерти. Все они были перебиты галлами.

[83] *...знакомы с мнением... Тейфельсдрек, изложенным в «Sartor Resartus».* – Тейфельсдрек, главный герой сатирического романа английского писателя Томаса Карлейля (1795-1881) «Sartor Resartus» («Перепор্তняженный портной»), создал новую науку – «философию одежды», согласно которой не «человек делает платье», а «платье делает человека», то есть человек ценится не по его действительным достоинствам, а по одежде.

[84] *...воспользовавшись строкой из знаменитого монолога толстого*

рыцаря в «Генрихе IV». – Имеются в виду слова Фальстафа из пьесы Шекспира «Генрих IV» (часть I, акт IV, сцена 2): «Свет еще не видывал таких пугал».

[85] Боб Сойер – один из персонажей романа великого английского писателя Чарльза Диккенса (1812-1870) «Посмертные Записки Пиквикского клуба», недоучившийся студент, гуляка и пьяница.

[86]...он смешал деяния старшего и младшего Брутов... – Луций Юний Брут Старший возглавил восстание римского народа, приведшее к изгнанию царя Тарквиния Гордого и установлению республики (509 г. до н.э.); был одним из двух первых консулов Рима, приговорил к смерти собственного сына, когда тот устроил заговор с целью восстановления монархии, и пал в битве за родину. Марк Юний Брут Младший, любимец, а по некоторым сведениям незаконный сын римского диктатора Юлия Цезаря, осыпанный его милостями, тем не менее, из любви к свободе и ненависти ко всякой тирании, возглавил заговор против Цезаря и участвовал в его убийстве (44 г. до н.э.).

[87] Перевод Г. Шенгели.

[88] Эпиграф к главе XVIII взят из поэмы Байрона «Осада Коринфа».

[89] Эмерсон Ральф (1808-1882)-американский писатель и философ-идеалист. Критикуя с романтических позиций капиталистическое общество, он искал выхода из его противоречий в религии и сближении с природой.

[90] Хеменс Доротея (1793-1835)-английская поэтесса, автор сентиментальных стихотворений.

[91] Следственный судья. – Согласно правилам английского судопроизводства, во всех случаях известной или подозреваемой насильственной смерти собранные полицией сведения передаются в так называемый следственный суд, состоящий из следственного судьи и двенадцати присяжных. Этот суд решает, было ли совершено преступление, возбуждает уголовное дело и передает его дальше в обычный суд.

[92] Алекто – в греческой мифологии одна из эриний – богинь мщения, Орест – герой греческих сказаний. Его мать Клитемнестра убила своего мужа, царя Агамемнона. Орест, чтобы отомстить за отца, убил свою мать.

[93] Эпиграф к гл. XIX взят из стихотворения Сэмюэла Колриджа «Мучительный сон».

[94] Джек, Шенпард (1702-1724) -знаменитый английский грабитель.

[95]...как Люцифер, а ведь он... был ангел. – Согласно христианской легенде, Люцифер был главой ангелов, вторым после бога на небесах; но



он замыслил взбунтовать ангелов и низвергнуть бога, был за это сброшен с неба в ад и стал главой адских сил, символом и средоточием всяческого порока. Поэтому обмолвка миссис Уилсон очень трагична: сравнение Джема с Люцифером действительно выглядит точным – для тех, кто верит в виновность Джема.

[96]...это запрещено в писании. – В Библии действительно сказано: «Не вари козленка в молоке его матери», но это чисто пищевой запрет, не имеющий никакого переносного значения.

[97]Далила – возлюбленная древнеиудейского героя Самсона. Подкупленная его недругами, она хитростью узнала у него, что секрет его силы в волосах, остригла его, пока он спал, и, связав, выдала врагам.

[98] Мамочка моя! (итал.)

[99] Эпиграф к главе ХХI взят из трагедии великого немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гете (1749-1832) «Фауст», часть I., перевод Б.Пастернака.

[100]леди Джералдайн... не дано было власти над Кристабель. – В неоконченной поэме Колриджа «Кристабель» змея-оборотень, носящая в человечьем обличии имя леди Джералдайн, пытается околдовать и женить на себе знатного барона. Одна только дочь барона, чистая и прекрасная Кристабель, не поддается под чары леди Джералдайн и видит настоящую ее сущность.

[101]Китс Джон (1795-1821)-английский поэт-романтик.

[102]...как лев сопровождал Уну по дебрям... – В аллегорической поэме английского поэта Эдмунда Спенсера (1552-1599) «Королева фей» Уна – прекрасная девушка, олицетворение истины; в ее странствиях ее повсюду сопровождал лев.

[103]...на человека, который обнаружил кончик шелковой нити... перед входом в лабиринт. – Согласно греческому мифу, критский царь Минос ежегодно приносил юношей и девушек в жертву Минотавру – чудовищу с головой быка, жившему в лабиринте, из которого никто не мог найти выход. Но когда в жертву должен был быть принесен греческий герой Тесей, полюбившая его дочь царя Ариадна дала ему с собой клубок ниток,, Тесей привязал конец нити у входа и разматывал клубок по мере того, как углублялся в лабиринт. Встретив Минотавра, он его убил, а затем с помощью путеводной нити благополучно выбрался из лабиринта.

[104]...прочитал один из томов Блэкстона... – Уильям Блэкстон (1723-1780)-один из крупнейших английских юристов; в 1765-1766 годах он опубликовал четырехтомный труд «Комментарии к английским законам». Следует отметить, что система английского права чрезвычайно сложна и

запутанна; даже для поверхностного овладения ею требуются длительные и систематические занятия.

[105] *«Дайте другим поступать с вами так, как вы хотите поступить с ними»* – видоизмененная цитата из Евангелия (см. прим. к стр. 48).

[106] *...чувство, некогда связавшее Руфь с Ноеминой...* – В Библии (Книга Руфи) рассказывается, что Руфь после смерти своего мужа вопреки обычаю не вернулась к родителям, но осталась со своей свекровью Ноеминой и даже последовала за ней на ее далекую родину, оставив всех своих близких.

[107] Крэбб Джордж (1754-1832) – английский поэт.

[108] Диковинкой (лат.).

[109] Рюккерт Фридрих (1788-1866) – немецкий поэт.

[110] *...железные дороги повсюду, а особенно в Манчестере, стали теперь обычным средством сообщения...* – Первая в Англии (и в мире) железная дорога, перевозившая пассажиров, была открыта в 1825 году. Вторая дорога, открытая в 1829 году, то есть примерно за десять лет до описываемых событий, связывала Ливерпуль с Манчестером.

[111] *«Гардиан»* – «Манчестер Гардиан», крупная газета, основанная в 1821 году.

[112] *...судья наденет черную шапочку...* – Согласно правилам английской судебной процедуры, судья надевает черную бархатную шапочку перед тем, как произнести смертный приговор.

[113] Уверенностью (франц.)

[114] *...скелет, накрытый одеялом... адмирал лорд Нельсон...* – статуи, украшающие двор ливерпульской биржи. Скелет в плаще, с косой и песочными часами – обычное аллегорическое изображение смерти. Горацио Нельсон (1758-1805) – знаменитый английский флотоводец.

[115] Аллан Каннингем (1784-1842) – английский поэт.

[116] *...вдоль Чеширского берега...* – Река Мереей, на которой стоит Ливерпуль, служит границей между двумя графствами. На левом (южном) ее берегу лежит графство Чешир, на правом – Ланкашир.

[117] Эпиграф к главе XXXI взят из пьесы в стихах шотландского писателя Джона Уилсона (1785-1854) «Осужденный».

[118] «Золотая вода» (нем.).

[119] Милмен Генри (1791-1868) – английский поэт. Эпиграф к главе XXXII взят из его трагедии «Фазио».

[120] Юпитер – верховный бог в римской религии. Изображался в виде сурового, величественного и невозмутимого старца.

[121] *...роковую Елену...* – то есть женщину, послужившую причиной



кровавого раздора. Согласно греческим преданиям, война между греками и троянцами, окончившаяся полным уничтожением Трои, началась из-за того, что сын троянского царя Парис похитил жену одного из греческих царей Елену Прекрасную.

[122] *Беатриче Ченчи* – молоденькая девушка, казненная в 1605 году в Риме за отцеубийство. Беатриче была вынуждена подослать наемных убийц к своему отцу, жестокому и развратному Франческо Ченчи, чтобы избавиться от его гнусных домогательств. Хотя она и была приговорена к смерти, но вызвала всеобщее сочувствие, и итальянскому художнику Гвидо Рени (1575-1642) было разрешено в те несколько дней, которые отделяли вынесение приговора от казни, посещать ее в тюрьме, чтобы написать ее портрет, ставший впоследствии знаменитым.

[123] *...лоцман, имеющий сертификат Тринити-Хаус...* – Тринити-Хаус – основанная в 1514 году корпорация, поощряющая мореплавание. Она обладает официальным правом экзаменовать штурманов и лоцманов и выдавать им документ о их профессиональной подготовке – сертификат.

[124] *Авессалом* – старший и любимый сын библейского царя Давида, поднявший против него восстание и убитый при его подавлении.

[125] *Requiescat in pace* - «Да почит в мире» (лат.) - слова из заупокойной молитвы.

[126] Эпиграф к главе XXXIII взят из пьесы Вильяма Шекспира «Цимбелин» (акт IV, сцена 2). Перевод П.Мелкова.

[127] *Nunc dimittis* – «Ныне отпускаеши» (лат.), в переносном смысле – предсмертные слова. Согласно евангельской легенде: некоему Симеону было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Христа. Увидев в храме младенца Иисуса, Симеон благословил его и сказал: «Ныне отпускаеши раба твоего, владыко, по слову твоему с миром».

[128] *Солфорд* – пригород Манчестера.

[129] *...подобно Марфе, заботясь лишь о земном...* – В Евангелии рассказывается, что, когда Иисус пришел в дом к некоей Марфе, сестра ее Мария «избрала благую часть» – села у ног Иисуса и слушала его поучения, сама же Марфа «заботилась о большом угощении». Легенда эта часто цитируется при противопоставлении возвышенных, духовных интересов мелким материальным заботам.

[130] *Прости нам наши согрешения, как и мы прощаем тем, кто согрешит против нас* – видоизмененная цитата из христианской молитвы «Отче наш».

[131] Эпиграф к главе XXXVI взят из поэмы Джорджа Байрона «Гяур». Перевод Г.Шенгели.

[\[132\]](#) *День святого Патрика* – 17 марта.

[\[133\]](#) *Оуэн Роберт (1771-1858)* – английский социалист-утопист, считавший необходимым перестроить общество на началах коллективного владения средствами производства, равенства и совместного труда.

[\[134\]](#) *Барри Корнуолл* – псевдоним английского поэта Уолтера Проктера (1787-1874).